ISSN 0012-6756

Дружба народов

6/2020

В номере:

Полёты во сне и наяву

Роман Булата ХАНОВА «Развлечения для птиц с подрезанными крыльями» — о молодых людях. Кто-то бежит от гиперопеки матери, не принимающей веганства и феминистских устремлений дочери, кто-то — от опустошающих отношений с неврастеничной подругой, кто-то — от своей суперблаго-получной семьи, недовольной несостоятельностью отпрыска… Предполагается: они на взлете, но обстоятельства прибивают их к земле. У каждого — своя дорога, однако все пути ведут в небольшой городок Элнет Энер. В этом городке и пересекаются герои романа, ищущие себя, озабоченные феминизмом, сексизмом и прочим харассментом. А еще в их повестке — асексуальность.

Три дебюта под одной обложкой

Александра СТЕПАНОВА входит в «толстожурнальное» пространство повестью «Жужжалка». Это захватывающее фантасмогорическое повествование о номерной радиостанции, Золотой Бабе среднеобских хантов, мальчике-готе и гласе Бромала, дарующем бессмертие. Неожиданные сюжеты раскручивают в своих рассказах и наши дебютантки Елена ЕРМОЛОВИЧ и Ольга ПТИЦЕВА.

Подлёдная почва радости

Мощная, насыщенная аллюзиями и метафорами социальная поэзия Вячеслава ШАПОВАЛОВА, философские, но эмоциональные стихи Марии ВАТУТИНОЙ, яркая лирика Вадима МЕСЯЦА и Сергея ПОПОВА.

«Все діялося в гомоні століть,/ Неначе квадрокоптера політ/ Понад горбаті вулички й сараї./ Бо то була таки твоя земля —/ Оті воскові в чагарях поля./ Не розумівся: ти в Едемі, в раї?» Стихи известного украинского поэта, лауреата Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко Петра МИДЯНКИ публикуются в оригинале и в переводах на русский и белорусский языки. Эта подборка — итог полугодовой работы студии сравнительного поэтического перевода «Шкереберть» (руководитель Галина Климова), работающей в рамках международной гуманитарной программы «Минская инициатива».

Мы тут все — родственники

«Мы объедем весь Кыргызстан и будем разговаривать только с теми, кого нам пошлет случай. Специально подготовленные герои — мое журналистское прошлое. Я не хочу к нему возвращаться». Так замыслила и осуществила свой замысел журналистка и писательница из Бишкека Диана СВЕТЛИЧНАЯ. Теперь вместе с ней этот путь проделает и читатель.

«Магазины бумажных книг»

«Литература на карантине. Все засели по домам; типографии остановились, издателей лихорадит, пишут правительству, прося о поддержке. Понятно, что самое интересное начнется тогда, когда пандемия закончится (или сделают вид, что она закончилась), все выползут из своих домов и окажутся в новом прекрасном мире. И там — кроме экономических последствий, которые придется разгребать долго и муторно, — много чего не будет». О прошлом, настоящем и будущем книжных магазинов и самого процесса чтения размышляет в эссе «Изгнание из книжного рая» Евгений АБДУЛЛАЕВ.

Дружба народов

6'2020

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
http://дружбанародов.com

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Ольга БРЕЙНИНГЕР

Ирина ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Ольга БАЛЛА
Дмитрий БИРМАН
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Валентин КУРБАТОВ
Ольга ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид НАГИМ
Илья ОДЕГОВ
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.04.2020.
Подписано в печать 25.05.2020.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 5731. Цена свободная.

16+

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Вячеслав ШАПОВАЛОВ. Язычествует молвь на косогоре. *Стихи* **3**
Булат ХАНОВ. Развлечения для птиц с подрезанными крыльями. *Фрагмент романа* .. **6**
Мария ВАТУТИНА. Жизнь обратима. *Стихи* **66**
Александра СТЕПАНОВА. Жужжалка. *Повесть* **70**
Ольга ПТИЦЕВА. Что это с нами? *Рассказы* **93**
Елена ЕРМОЛОВИЧ. А мы остаёмся здесь... *Рассказы* **100**
Сергей ПОПОВ. Родная ботаника. *Стихи* **116**
Ринат ГАЗИЗОВ. Цельное зерно, домашняя закваска, замес вручную. *Рецепт пошаговый* **119**
Евгения НЕКРАСОВА. Дочь рыбака. *Рассказ* **132**
Валерий ПИСКУНОВ. Политен. *Рассказ* **144**
Вадим МЕСЯЦ. Как незаконный отпрыск Пазолини. *Стихи* **152**
Игорь КОРНИЕНКО. Здесь другие правила. *Рассказы* **155**
Леонид ЛЕВИНЗОН. Таджикистан—90. *Рассказ* **172**
Марк МАРЧЕНКО. К истокам. *Рассказ* **182**

ПРОЗА.DOC

Анатолий НИКОЛИН. De profundis. *Два эссе* **189**
Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ. Исчезнувший мир. *Документальная повесть* **202**

МИНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Петро МИДЯНКА. «Не розумівся: ти в Едемі, в раї».
Студия сравнительного поэтического перевода «Шкереберть»:
Дмитрий АРТИС, Евгения Джен БАРАНОВА, Герман ВЛАСОВ,
Яна-Мария КУРМАНГАЛИНА, Анна МАРКИНА, Олеся МИФТАХОВА,
Анна ПАВЛОВСКАЯ, Роман РУБАНОВ, Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ **223**

НАЦИЯ И МИР

Диана СВЕТЛИЧНАЯ. Случайные люди **235**

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Ольга ПОГОДИНА-КУЗМИНА. Ценность своего существования (*В.Пустовая. «Ода радости»*) **245**
Светлана ШИШКОВА-ШИПУНОВА. Так была ли оттепель? (*С.Чупринин. «Оттепель: события. Март 1953 — август 1968 года»*) **247**
Дмитрий АРТИС. Настоящая история, похожая на сказку (*А.Маркина. «Сиррекот, или Зефировая гора»*) **250**
Мария МИХАЙЛОВА. Время не властно... (*Р.Полищук. «Конец прошедшего времени»*) **253**
Даниил ЧКОНИЯ. Дитя любви (*М.Холмогоров. «Презренной прозой говоря»*) **257**
Ольга БУГОСЛАВСКАЯ. Оружие святых (*С.Иванов. «Блаженные похабы»*) **260**

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Изгнание из книжного рая **262**

БЛОГ-ПОСТ

Кирилл ШТОЛЬЦ. Литературный синтез **266**

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. В ритме танца **268**

SUMMARY **272**

© «Дружба народов», 2020

Вячеслав Шаповалов

Язычествует молвь на косогоре

Факелоносцы

Язычествует молвь на косогоре
реки, несущей воды в никуда,
пока неописуемое море
расхристанные топит города.
От копоти пространство почернело.
Чтоб неповадно было вдругорядь —
соборный свет гримасой печенега
накрыло и велело догорать.
И во главе подавленного гула
смерть голосит, что всем она сестра:
автофекальный томос истанбула,
канун перераспятия Христа.

На берегу три идола могли ведь
ещё надежду поберечь в тепле,
слепые очи девственница Лыбедь
дарует зрячей сумрачной толпе,
и на устах, что вымазаны кровью —
чужой молитвы бессловесный рык:
в пути от православья к празднословью
отвергнут христианнейший язык.
Они идут, свергая храм за храмом
и капища надстраивая ввысь,
где их отцы под прапором багряным
всё предали, что защищать клялись.

Шаповалов Вячеслав Иванович — Народный поэт Киргизии, Заслуженный деятель культуры и лауреат Государственной премии КР, «Русской премии» (2015) и многих других. Автор 12 поэтических сборников, ряда книг переводов поэзии Запада и Востока и научных монографий. Профессор, академик. Живет в Бишкеке. Постоянный автор «Дружбы народов».

Страшна дорога к храму и горбата
растоптанная толпами тропа.
Но тягостный бесплотный гром набата
с востока слышат в Лавре черепа,
он нарастает, встречный вал смертельный,
и, сам уже не властвуя собой,
в тела, как нож, вонзает крест нательный —
и демоны за ним идут гурьбой,
и Саркофаг пронизывает трепет,
и птицы молча рвутся в вышину,
и снова — и уже навеки! — Припять
берёт в себя днепровскую волну.

Горная ведьма

Wer reitet so spaet durch Nacht und Wind?

J.W. von Goethe. «Erlkoenig»

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын...

Гёте «Лесной царь» (пер. В.Жуковского)

...Кто скачет ущельем в ночной аил[1], сына кто на груди укрыл? —
сердечко вздрагивает у мальца возле большого сердца отца,
висит багровой луны автостоп, дробится тьма у кремнистых троп,
хлещет коня молодой чабан, горит и бредит его мальчуган.
— Атам, посмотри, как сквозь кусты сверкают мне глаза албасты!..
— Нет, то не ведьмино око, балам, то речка с луною напополам!
— Но мамину песню она поёт, ехать в долину нам не даёт!
— То голос реки отражает скала, а мама наша давно умерла.
— Ах, папа, на склоне горит костер, там вижу я братьев и сестёр,
мои одноклассники, к ряду ряд — так звёзды падают и горят!..
— Сынок, успокойся, это роса, испуганных птиц ночных голоса,
прижмись, храбрец, теснее ко мне — быстрее поскачем при луне.
— Отец мой, мраком обожжена, за нами тянется тишина,
имя моё называет она, скользит ногой в твои стремена,
неслышно касанье её руки, холодные слёзы её легки,
щёки бледные у неё, когти медные у неё!..
...Конь так не скакал и от стаи волков!
Искры рвутся из-под подков!
Село вырастает в серой пыли!..
...Больницу — в город перевели.

[1] Аил — село; атам — папа; албасты — злой дух гор; балам — дитя мое (*киргиз.*).

* * *

Ночь августа.
В примолкнувшие травы,
прочёркивая чёрный небосвод,
монеткой брошенная для забавы,
звезда неназванная упадёт —
нечаянная чья-то там утрата,
осколок взора, уголёк в росе,
бездомная, последний вздох заката.
Ей в унисон в серебряном овсе
вдруг перепёлка прокричит спросонья.
И — далеко видны, освещены
пожарищем всплывающей луны,
прекрасные
начнут свой танец
кони...

Булат Ханов

Развлечения для птиц с подрезанными крыльями

Фрагмент романа

Настя

Все не любят прощаться, но некоторые хотя бы умеют это делать.

Настя вот не умела.

Накануне отъезда она напоследок навестила бабушку и дедушку. Пока бабушка стряпала, Настя сидела рядом с дедом в спальне и притворялась, что тоже увлечена политическим ток-шоу. Приглаженный ведущий из числа тех, чьи лица примелькались на экране до такой степени, что стали гарантией пустословия, твердил о воле и решимости. Носовой платок безупречно выступал из его нагрудного кармана, и Настя поневоле задумалась, обладает ли болтун еще какими-либо чертами из джентльменского набора, помимо умения красиво одеваться. Может, он отключает мобильный на свиданиях. Или не просит в долг.

В конце передачи, когда камера взяла ведущего крупным планом, дедушка приподнялся на постели и произнес:

— Сейчас анекдот будет!

И правда, ведущий плутовато улыбнулся и сказал:

— Семья рыбачит. Сын спрашивает у отца: «Почему твой поплавок стоит, а у дедушки лежит?» Раздается голос бабушки за спиной: «Знаешь, Сёма, когда дедушкин поплавок стоял, что он только не ловил!»

Настя поморщилась, а дед пояснил:

— Каждый раз анекдот рассказывает. Люблю этот момент.

Да уж, чтобы втянуть людей в свои политические разборки и навязать узколобое видение, эти не погнушаются ничем. Даже сексистским острячеством.

Недолго, буквально мгновенье, дед выглядел почти счастливым.

Тридцать лет назад он, подорвав здоровье на силикатном заводе, вышел на пенсию по инвалидности и с тех пор грозился умереть со дня на день. В последние месяцы старик одряхлел: заметно осунулся, бросил читать и играть в шахматы, прекратил исправно питаться, хоть и брился регулярно. Ноги ниже колен у него отекли

Ханов Булат Альфредович родился в 1991 году в Казани. Окончил филологический факультет Казанского федерального университета. Кандидат филологических наук по специальности «История русской литературы». Печатался в журналах «Дружба народов», «Идель», «Октябрь» и др. Лауреат премии «Лицей» (2018).

Постоянный автор «ДН». Предыдущая публикация — 2019, № 11.

Полная версия книги выходит в издательстве «Эксмо» в августе 2020 года.

так, что пухлые стопы напоминали стопы голема. Телевизор заменил дедушке окно в мир, поэтому шуткам про поплавок попросту не было альтернативы.

Постельный режим как пожизненный приговор.

К столу дедушка не вышел, и Настя обедала с бабушкой. Та сварила суп со щавелем и зеленым луком и пожарила картошку с грибами. Насте вновь досталось за убеждения.

— Отощаешь ведь там. Приготовят на всех уху или макароны с фаршем, а ты что будешь делать?

— Бабуля, мы уже договорились, кого с кем поселят. Моя соседка тоже вегетарианка.

— И подавно оголодаешь. Я уж и не представляю, что вы там сытного вдвоем намудрите.

— Чечевичную похлебку сварим.

— И долго вы протянете на чечевичной похлебке?

— Не скажи, бабуля, это великое блюдо. Неслучайно Исав первородство за нее продал, а не за баранью ногу, например. Хоть и был охотником, а все равно соблазнился вегетарианскими вкусностями.

Не оценившая шутку бабушка покачала головой. Будучи религиозной, она тем не менее не считала нужным навязывать внучке свою картину мироздания и не давала вовлечь себя в споры о Боге, тем более что все равно не могла противопоставить Настиным доводам ничего, кроме твердой убежденности в истинности Священного Писания и словах своего настоятеля.

Бабушка расспросила Настю о грядущей жизни в новом городе: о соседке, об общежитии, о магистерской программе, о президентской стипендии. Обе переживали, но по своим причинам: бабуля беспокоилась за бытовую сторону дела, а Настя — за то, не наскучит ли ей вызов. Она понимала, что говорит с бабулей на разных языках, и давно бросила затею свести эти непохожие языки к единому целому или хотя бы сблизить их.

Наверное, быть взрослой — это и есть в том числе отказаться от стремлений наладить вещи, которые наладить нельзя.

По дороге домой Настя лелеяла робкую надежду, что с мамой удастся попрощаться правильно, раз уж с бабушкой и дедушкой не получилось.

Вместо этого мама закатила скандал. К приезду дочери она разворошила оба ее чемодана с не меньшим рвением, чем таможенник, доискивающийся до контрабанды в багаже подозрительного мигранта. Ради обыска мама раздвинула диван в гостиной. Белье, повседневная одежда, блузки, брючный костюм, тренч, полотенца — все смешалось. Даже уложенные в пакет книги громоздились теперь по соседству с содержимым косметички.

Как будто мама в отсутствие Насти трясла по очереди каждую книгу, рассчитывая, что из нее выпадет что-то кроме забытых там закладок и чеков.

Опережая возмущенный возглас дочери, мама воскликнула:

— Новую юбку ты мне, конечно, показать не удосужилась!

Чуть ли не в лицо Насти костлявый кулак сунул измятую юбку. Ту самую, где на черно-синем фоне высились черные силуэты городских зданий, над которыми парили черные же птицы. Настя не имела привычки заказывать вещи в интернет-магазинах, но в этом случае эффектный принт сразила ее наповал. Не отпугнула и цена.

— Чего молчишь?

— Я купила ее недавно и пока не надевала.

— То есть ты собиралась носить ее в Элнет Энере, когда я не увижу?

Настя почувствовала, что сейчас она закипит. Мама применила излюбленный прием, выдвигая надуманные обвинения и вынуждая тем самым Настю обелять себя. Вне зависимости от того, оступилась ли она по-настоящему или всего лишь не оправдала сверхъестественных маминых ожиданий.

— Скажи сразу, чем тебе не нравится эта юбка. Она закрывает колени, она не безвкусная, не вульгарная. Материал, в конце концов, хороший. Что тебя не устраивает?

— Ты на рисунок смотрела вообще?

Мама уставила палец на силуэт православного храма с венчавшим купол крестом.

— Ты будешь утверждать, что это не кощунственно?

— Мама, ты серьезно? Это типичный городской пейзаж. Вон и комплекс деловых зданий, и купол цирка виднеется.

— Ты мне зубы не заговаривай!

— Я и не заговариваю. Если б вместо православного храма там были сатанинские церкви с перевернутыми крестами, я бы еще поняла.

— Это кощунственно! Я не позволю моей дочери расхаживать в этом.

— Тогда сама и носи эту юбку.

Раньше бы Настя себе такое выражение не позволила.

Не успевшая переодеться, она опять прыгнула в монки, перекинула через плечо синий рюкзак и покинула дом под оскорбления. Уже за дверью она размазала по щекам слезы и зашмыгала носом.

Интересно, протянул бы тот лощеный ведущей свой платок незнакомой девушке, если у нее слезы текли вместе с тушью? Положим, что да. Еще бы и помощь предложил. Верный способ запомниться участливым и благородным ценой пустякового вложения.

В гипермаркете через дорогу Настя купила овсяный йогурт и два злаковых батончика. Ужин состоялся там же, на скамейке за линией касс. На жующую девушку косились покупатели, разгружавшие свои тележки, а Настя, вытирая красные глаза, отвечала им сконфуженной улыбкой. Знакомьтесь, мол, я кролик, бегущий прочь от норы.

Мама не звонила.

Сделав круг по кварталу, Настя вернулась к своей пятиэтажке. В гостиной горел свет, поэтому Настя покаталась на качелях, прорезая тишину двора их монотонным скрипом. Несмотря на то что в сиденье не хватало доски, сейчас это не тяготило. Всяко лучше, чем мельтешить перед человеком, который тебя разве что не презирает. Улыбаться, угождать или, напротив, стараться быть незаметной. Какая разница, натягиваешь ты улыбку или нет, если в чужих глазах ты обладаешь нулевой степенью пригодности.

Сцена с юбкой не только вывела Настю из себя, но и озадачила. Мама и раньше поминала Бога, однако столь выпирающую набожность демонстрировала впервые. Не исключено, что под предлогом для ссоры пряталась ревность к уезжающей дочери и желание упрочить власть над ней.

Когда свет в гостиной погас и зажегся в спальне, Настя поднялась в квартиру. Светя телефонным фонариком, она в темноте сгребла вещи с дивана и переложила в кресло, чтобы упаковать завтра перед отъездом. Через стенку было слышно, как мама, укладываясь спать, нарочито шумит и вздыхает — еще один коронный прием по выставлению Насти виноватой. Она боялась, как бы мама не вышла среди ночи и не устроила бы напоследок шквальный разнос, на фоне которого все предыдущие померкли бы.

Да уж, попрощались как надо.

И кто теперь из них взрослый, если никто не настроен даже на подобие примирения?

Так ли уж важно тогда делить поведение на взрослое и детское, если одно от другого неотличимо? Что, если «взрослость» — не что иное, как грязный аргумент в споре, воображаемый признак, который спешат приписать себе те, кто ошибочно убежден, будто находится по ту сторону завышенной чувствительности и хронической незрелости?

Будильник, установленный на пять утра, выдернул Настю из постели. Она раскидала по чемоданам пожитки, утрамбовывая их чуть ли не ногой, чтобы уместились, и уже на лестничной площадке вызвала такси до автовокзала.

Юбку не взяла.

В такси Настя, прижав к груди портфель, вспоминала бессчетные унижения, которым подвергала ее мать. Она следила за профилями «ВКонтакте» и «Инстаграма», рассказывала об ущербности замужней жизни, записывала телефоны подруг дочери, и без того редких. И это не говоря о вспышках ярости, вызванных остатками пищи в раковине или прочими пустяками. Мама часто замахивалась в гневе, но никогда не била.

Наиболее отвратительным был осмотр тела: периодически она без предупреждений велела раздеваться и разглядывала обнаженную Настю с видом ратолога или серпентолога — сухо, настороженно, с едва уловимой брезгливостью. Мама не сообщала, что она искала: порезы, засосы, синяки, татуировки, пирсинг. Насте, годами боявшейся спросить о смысле этой процедуры, иногда приходило в голову, что ее оценивают на предмет брака. Как блендер перед приобретением. Мама в роли придирчивого покупателя, сомневаясь в выборе, словно вынюхивала малейшие дефекты, чтобы отказаться от покупки и подтвердить этим собственные опасения.

Знала бы она, что Настя на самом деле утаивает.

Прождав полтора часа до первого рейса в Элнет Энер, она погрузила чемоданы в багажный отсек разваливавшейся «Газели». Усатый водитель в протертых джинсах и пропахшем табаком свитере желтыми пальцами отсчитал сдачу:

— Держите, девушка!

Зажав купюры в кулак и смешавшись, Настя юркнула в хвост маршрутки.

Обязательно ведь нужно подчеркивать гендерную принадлежность, никак без этого.

Молодой сосед, верзила в баскетбольной форме и с надетой задом наперед кепкой, начал знакомство издалека.

— Прикинь, в первый раз на футболе побывал, — поделился он. — На настоящем матче. Все не как по телевизору. С трибуны кажется, что обычные люди бегают. Как мы, короче.

Не обращая внимания, Настя распутала наушники.

— В гости к нам едешь?

— По работе.

Верзила на секунду остановил взгляд на лице Насти, на области рта. Должно быть, соображал, что с ней не так.

Это диастема, дружок. Щербинка между передними зубами, хоть и не портила облика Насти, оставляла двоякое впечатление. Кто-то находил это милым, кто-то смущался и, вопреки воле, отводил взгляд во время разговора. Сама Настя называла свою внешность кроличьей и не терялась при бестактных вопросах.

Она воткнула наушники, и сосед сделал второй заход:

— Что слушаешь?

— Софию Ротару.

Настя нажала на «Play», увеличила громкость и прикрыла глаза.

Немолодой рассудительный женский голос, предваряя птичью трель, объявил:

— Большая выпь.

Елисей

Перед тем как выбежать из вагона на Василеостровской, Елисей вручил Лене конверт и велел вскрыть завтра.

Едва двери захлопнулись и метро унесло ее в тоннель, Елисей выключил телефон. Само собой, она прочтет письмо в поездке и содержание ее как минимум покоробит. А кого бы развеселило?

Режиссер сбежал со скандальной премьеры своей постановки! Сенсация!

Заботясь о торжестве формы, Елисей купил у букиниста антикварную открытку

с разводными мостами и запечатал конверт сургучом. Как натура тонкая, она должна оценить.

Теперь и ты узнала, что эта встреча была последней.
Собственно, на то у меня две причины:
1. Меня утомило, что у тебя каждый день Помпея;
2. Мы не созданы друг для друга.
Передавай привет Леониду Якубовичу и Раулю Амундсену.

Почему Якубович и Амундсен? Пусть поломает голову над логической связью там, где ее нет.

У Елисея чесались руки добавить, что он прекращает общение по состоянию здоровья, но и так получилось забористо и неучтиво.

Два дня назад Лена позвонила утром и в шестьсот тридцать восьмой раз заныла о том, как ей трудно подняться с постели и заставить себя пойти в магазин. Собирая справки для лора и одеваясь, Елисей попутно выслушивал надрывный нарратив об агорафобии и искал способ быстрее завершить разговор.

— У меня все тело болит!

— Температуру измеряла?

— Она нормальная!

— Завари зеленый чай и включи музыку.

— Какой еще чай?

— Который я приносил, помнишь?

— Я не хочу, ты понимаешь?

— Лена, прости, я правда не знаю, что тебе сейчас нужно.

— Скажи что-нибудь хорошее. Что ты меня любишь.

— Я тебе и так каждый день это говорю.

Просовывая голову в воротник, Елисей уронил телефон.

— С тобой все в порядке? Дорогой, скажи мне что-нибудь хорошее.

— Я бы все-таки посоветовал заварить чай и включить какой-нибудь альбом из твоих любимых. А вечером поехать на лекцию по фотографии, анонс которой я скидывал. Твоя же тема.

— Я не могу!

— Можешь.

— Нет!

— Лена, ты требуешь чего-то жалостливого и проникновенного. Если я отвечу на это требование, то получится, что потакаю твоей беспомощности. Это неправильно. Поэтому я снова порекомендую заварить чай, послушать музыку и прогуляться на лекцию. Попробуй, это тебя не убьет. И да, я зануда.

— Значит, ты меня не поддержал. Ясно. Я учту.

Елисей нажал на сброс и швырнул в стену ложку для обуви.

Мало того, что Лена пыталась развести его на вдохновляющий спич, так еще и не справилась, как у него дела. Ему грозят операцией на горле, а она лезет с комнатными слезами. Такое чувство, что, будь фобии заразными, Лена бы инфицировала каждого в Петербурге.

Пока Елисей ждал своей очереди у врачебного кабинета, пришло голосовое от Лены. Она излила на него гнев, уведомила, что с любовью покончено, и занесла в черный список.

Днем последовали бурные извинения Лены и предложение начать все заново.

— Давай перезагрузим наши отношения, — сказала она.

— Я за.

Тогда и созрел план с открыткой и всем остальным.

Сама подставилась. Порывая — порывай.

Сложно определить, когда именно Елисей бросил учиться — до болезни или во

время нее. Скорее всего, ни то ни другое. Занятия приелись на первой же неделе, а магистратура до жути напоминала армию однообразием и непостижимостью конечной цели, ради которой вращались скрипучие шестеренки бюрократического механизма. И армия, и университет функционировали исключительно в поломанном состоянии, с анекдотичными перегибами и перехлестами. Бесспорно, в армии тяжело с девушками и с перемещениями в пространстве, но общий принцип ее организации похож на университетский — институция, существующая по собственным законам, далеким от разумных. Иначе говоря, тщательно регламентированный беспорядок.

Короче, нет смысла писать магистерскую с военником на руках. Если только по любви. Но любовью к геоурбанистике в ее академическом формате Елисей так и не воспылал.

Поначалу он по инерции готовился к зачетам, брал книги в библиотеке, встречался с научруком. А на излете беспринципной петербургской зимы Елисея сбила с ног простуда, цепкая и затяжная. Он менял лоров и терапевтов, горстями закидывал в глотку антисептики и противокашлевые, пил антибиотики курс за курсом. Медицинские термины мешались в голове, как слова из иностранного языка.

Заболев, Елисей рассчитывал вылечить фарингит до весны. Затем до апреля. Затем до мая. Незаметно «дедлайн» сдвинулся к лету. В конце концов Елисей, признав бессилие, прекратил выставлять сроки организму, который его предал.

Елисеем овладела не поддающаяся оправданию умеренность: он избегал острой пищи, сторонился ветреных набережных и носил шарф до июня. Вдобавок к нему прилипла привычка откладывать важные решения. Елисей позволял Лене держаться за него и спустя полгода после того, как ее скучные истории и бесконечные вздохи перестали занимать его внимание. Кроме того, непонятным для себя образом он закрыл летнюю сессию, притом что формальная привязанность к университету тяготила даже сильнее, чем отношения с Леной.

Момент истины настал тогда, когда Елисей обнаружил, что без запинки выговаривает слово «оториноларинголог» десять раз подряд. Через день после этого поворотного события Лена объявила о разрыве и забанила Елисея, а последующее помилование и примирение уже ничего не значило. Оттягивать дальше было преступно.

В тот же вечер Елисей купил антикварную открытку и написал Матвею, с которым они учились в Институте наук о Земле и три года делили комнату в общежитии. Матвей неоднократно звал друга к себе в Элнет Энер и завлекал прелестями провинциальной жизни.

Значит так
План простой
Расстаешься с болотно-чахоточным краем и первым же рейсом летишь в чудесную землю, где тебя ждут заботливые друзья, первоклассные врачи и чистый воздух)
У нас как раз комната свободна)

Судя по описанию, ты в Израиле живешь, не меньше.

У нас круче) Ни терактов, ни палестинцев конфликтных под боком)

Та свободная комната — она большая?
Тихая?
Теплая?

Я тебе так скажу
Комната до того просторная, что ты в ней и с Леной своей бы поместился)
Она настолько тихая и теплая, что там можно медитировать нагишом)
А еще есть балкон с приятным сюрпризом)

Не говори только, что вы там коноплю выращиваете.

Нет, ничего такого) Приезжай, и сам увидишь) Помнишь, как Егорка Летов пел? Я принял решение)
Вот и ты прими)

Насчет Лены Матвей, разумеется, шутил. Не так давно он с гордостью сообщал, что они с Владом превратили свою квартиру в ЗБС (Зону бесконтрольного сексизма), поэтому Елисей имел больше шансов поселиться там с алабаем или крокодилом, чем с Леной.

И хорошо.

Наутро после эпизода с конвертом Елисей за бесценок сдал букинисту все книги и составил заявление об отчислении из университета. Хотелось сделать напоследок что-нибудь безумное, что-нибудь такое, что бы отпечаталось в городском фольклоре: искупаться в Обводном канале или вызвать на дуэль мороженщика. Тем не менее от затеи Елисей отказался, так как сообразил, что любое безумство в его исполнении предстанет всего-навсего мещанским возмущением против мещанского же порядка, жалкой попыткой скрыть от себя свою приземленность.

Забирая из общаги походный рюкзак с вещами, Елисей на секунду замер перед холодильником. Сосед хранил там бутылочку пшеничного нефильтрованного. Такого непритязательного и такого желанного. Неужели такой бюргер, как Елисей, не заслуживает перед долгой дорогой стаканчика доброго вайзена?

Ан нет, нельзя.

Все же уйти просто так Елисей не мог. В коридоре общежития он расклеил объявления:

Потерялся ручной уж. Тот, кто вернет кусачую радость хозяину, получит вознаграждение 500 рублей. Просьба звонить вечером.

И приписал внизу вымышленный номер.

Насчет первого же рейса Матвей также пошутил. Самолеты и поезда были Елисею не по карману. Он вышел на М-11 ловить попутку и включил телефон, чтобы посмотреть прогноз погоды.

Спустя мгновение на экране отразился входящий от Лены.

— Ты где?

— Уехал.

— Куда?

— Я и сам не решил.

— Надеюсь, у тебя хватит ума, чтобы извиниться передо мной?

— Боюсь, что не хватит.

Вопреки ожиданиям, она не плакала и не кричала. Ее голос даже не вздрагивал.

— Тогда молись, чтобы ты больше мне не встретился. Иначе долго буду возить тебя мордой по асфальту.

— Звучит устрашающе.

— Я предупредила.

Елисей хотел ответить: «А как же твоя агорафобия?», но растерялся и сбросил вызов.

Как все перевернулось. Буквально вчера он высокохудожественно обставил расставание, а теперь, так получается, на всех парах улепетывал от разъяренной бывшей.

Вспомнилась пафосная фраза: «Не огорчайся, потому что прошло. Радуйся, потому что было». По мнению Елисея, романтично настроенный автор ошибся. Правильный вариант звучал так: «Радуйся, потому что прошло. Огорчайся, потому что было».

Прощай, Лена. Прощайте, сокровенные шутки, понятные лишь для двоих. Прощайте, вздорные обвинения. Прощайте, отношения, бурные, но однообразные, многообещающие, но опустошительные.

До Подмосковья Елисей доехал к раннему утру на дальнобойной фуре с гигантской надписью «Bluewater» на весь бок. Потрепанный бытовыми злоключениями водитель без устали сваливал свои неудачи на женщин: на бывшую жену, на сестру своего друга, на придорожных путан, на «злых баб» вообще. Елисей, который поначалу поддерживал диалог исключительно в режиме внимательного слушателя, тоже подключился к прокурорскому тону шофера и привел в пример историю себя и Лены, умолчав о пикантных подробностях вроде ее загулов и собственного розыгрыша с конвертом.

— Сам посуди, — сказал водитель. — Недаром в слове «мужик» слышится что-то мощное, крепкое, солидное, а в слове «баба» — что-то истеричное и гадкое. Русский язык все про нас знает.

— Феминистки возразили бы тем, что язык тоже мужчины придумали.

Утром дальнобойщик высадил путника в задернутом тучами Солнечногорске. С помощью автобусов и метро Елисей пересек Москву и выбрался на трассу до Элнет Энера.

Как назло, с машинами везти перестало. Елисей подолгу выстаивал под крапающим дождем, вытянув руку с загнутым кверху большим пальцем. Грузовики автостопщика будто не замечали, а легковушки, как правило, подбрасывали до ближайшего поселка или городка. Такие короткие перемещения выматывали почище часовых перелетов: ради несчастных десяти километров Елисей знакомился с водителем, нащупывал почву для разговора, делился веселыми историями — в общем, убедительно играл роль благодарного пассажира. В итоге Нижний Новгород остался за спиной лишь глубокой ночью. Мысли сбивались в кучу. Чудилось, что за час сна Елисей убил бы кого угодно.

— Да у тебя глаза, как у китайского пчеловода. Тебе бы в мотель, — сказал последний шофер.

Он попрощался с Елисеем на автобусной остановке рядом с садовым товариществом с трудновыговариваемым названием. Елисей, подложив под голову рюкзак, отрубился прямо на остановке.

Пробудился он от того, что заложило нос. Все-таки ночевки на свежем воздухе мало вяжутся с хроническим фарингитом. Звездное небо над головой, отнюдь не завораживающее, свидетельствовало, что сон был краток. Нацепив рюкзак и отряхивая голову от усталости, Елисей в пустынном одиночестве побрел по направлению к Элнет Энеру. Ерундовые четыре сотни километров — и его ждут мягкая постель и балкон с сюрпризом.

Слева расстилалось сжатое поле со скатанными кипами сена. Лунный свет эффектно ложился на них, очерчивая красивые контуры, так что Елисей, даже будучи изможденным, оценил пейзаж на пятерку с минусом, добавив минус только за иллюзию пасторальной идиллии, некстати встроенную в картинку.

Когда позади раздалось рычание мотора, Елисей автоматически вытянул в сторону руку — наудачу, без особой надежды.

Новехонькая, словно из автосалона, «Тойота Камри» поравнялась с автостопщиком. Дверца отворилась, и Елисей просунул в проем немытую голову.

— Я в Элнет Энер еду, — произнес из мрака водитель.

— Ого, свезло так свезло! Мне ведь тоже туда.

— Садись. К девяти доберемся.

По первым секундам стало ясно, что доверительной беседы не предвидится. Молчаливый брюнет без тени заспанности на лице выглядел так, будто катил на корпоративное совещание в соседнем квартале. Его идеально выбритое лицо напомнило Елисею армейское прошлое, когда он каждое утро отскребал станком наклевавшуюся щетину из страха перед вафельным полотенцем. Ухоженный, с легким запахом

парфюма, в деловом костюме, капитально серьезный водитель «Камри» не походил на того, с кем обсуждают девушек или футбол.

Елисей задремал. В сознание его вернул загремевший российский гимн.

— Слушаю. — Водитель невозмутимо прижал телефон к уху. — Так точно. Спасибо, что предупредили.

Он затормозил и велел Елисею не отстегивать ремень, а сам открыл багажник. Пока Елисей гадал, в чем дело и не замешивают ли его в темную историю, загадочный брюнет провел какие-то манипуляции на крыше авто и снова занял свое кресло.

— Планы изменились, — сообщил он. — Приедем пораньше. Держись крепче.

Прежде чем Елисей осмыслил, что все это значит, «Тойота» рванула как бешеная. Стрелка спидометра сначала подскочила до ста восьмидесяти, а затем постепенно, но неуклонно доползла до двухсот. Машина полетела, едва касаясь асфальта. По диким голубым отблескам в окне Елисей сообразил, что водитель установил мигалку. И сделал это не из любви к быстрой езде, а по долгу службы.

Заложило не только нос, но и уши. Голова, будто наспех припаянная, грозила оторваться и дергалась, точно цветок на стебле. По шейным позвонкам прокатывалась вибрация, как по стеклу от легкого землетрясения. Елисей вжался пальцами в сиденье и напрасно пытался унять дрожь. Не будь он голоден со вчерашнего дня, то без сантиментов разукрасил бы салон бизнес-класса содержимым желудка. Все это казалось частью возмутительного аттракциона: августовская ночь, средняя полоса, пасторальные виды, телефонное предупреждение, неистовая гонка со временем на пределе человеческих и технических возможностей, инфернальный заезд без соперников, без комментариев и без саундтрека.

Запонки на белоснежных манжетах водителя посверкивали в темном салоне, как змеиные глаза. В облике незнакомца не чувствовалось напряжения. Иногда он рулил одной рукой, словно отдыхая. Происходящее его не трогало, весь его вид выражал аристократическую скуку.

В шесть утра оглушенный безумным вояжем Елисей сидел на центральной площади Элнет Энера и прикидывал, куда бы деть два часа до того, как пробудится Матвей. Интернет отказывался выдавать информацию о круглосуточных забегаловках в округе. Тогда Елисей вспомнил, что в родном Трехгорном уже не так рано, и набрал на телефоне номер.

— Алло, мама, привет. Не отвлекаю? Хотел сказать тебе, что уехал из Питера.

Марк

Он чуть не поперхнулся какао, когда прочел письмо.

Ему предлагали принять участие в конкурсе на вакансию в госкорпорации «Атомпром». Нужно зарегистрироваться на официальном сайте, набросать о себе хвалебные строки и выдвинуть идею для стартапа.

Вроде бы ничего особенного, рядовая вирусная рассылка.

Вот только этот и-мейл на левое имя Марк завел меньше месяца назад. И у него были свои счеты с «Атомпромом».

Помимо всего прочего, вчера ему дважды звонили с разных номеров и дышали в телефон.

Разумеется, никто и никогда не говорил, что за ним не станут следить. Никто не обещал, что на него не нацепят цифровой ошейник. Это такой мягкий способ призора — без отметок в отделе полиции и налоговой, без вшитых в одежду датчиков, без ласковых звонков по вечерам, без приглашений на семейные торжества, наконец. Ни жесткого тебе контроля, ни липкой заботы. Трать карманные миллионы, лакай в самолетах шампанское, ныряй с аквалангом и, главное, не слишком выделяйся на бесцветном фоне.

Покончив с французским завтраком, Марк удалил и письмо от госкорпорации,

и почтовый ящик для верности. Пусть они расценят это как паникерство, ему все равно.

Марк поднялся из гостиничного ресторана в номер и вытащил из саквояжа титановый нож для колки льда, припасенный для таких случаев. От первого удара смартфон отпрыгнул в сторону. Со второй попытки лопнуло защитное стекло и обнажился беззащитный дисплей. Марк бил сильно, уверенно, без замаха, и круглые следы с побелевшими вмятинами по контуру напоминали небесные объекты с исходящим от них холодным мерцанием.

Когда микросхемки и аккумулятор пришли в неисправимое состояние, Марк прекратил насилие над техникой. Поврежденную сим-карту он убрал в медный портсигар к двадцати шести таким же, а остатки от смартфона сложил в верхний ящик тумбочки, где хранилась гостиничная Библия на английском.

После горячей ванны Марк позвонил на ресепшен и заказал трансфер до аэропорта. Прощай, город-герой Ростов, нет причин скучать по тебе.

Кряжистый таксист с южным лицом цвета морковного сока, избыточно аккуратный в вождении, окружил пассажира зудящим молчанием. Лишившийся телефона Марк ерзал и чесал переносицу. На попытки завести разговор шофер откликался вежливыми, но общими фразами. Его будто не волновало ни повышение цен на бензин, ни тем более закрытие Парамоновских складов.

— Представьте, вам предложили бесплатную путевку в любую точку земного шара, — сказал Марк. — Куда угодно, хоть на Гавайи, хоть в Париж, хоть в Мурманск. И оплатили бы два билета: туда и обратно. Какое направление бы вы предпочли?

— В Ташкент бы полетел.

— Там красиво в сентябре?

Таксист поднял вверх большой палец.

— Во! Там сейчас дыни сладкие, как шербет. В России такие дыни только Президенту на стол подают. Хочешь купаться — едешь в горы на Чарвак. Хочешь старинную красоту смотреть — едешь в Самарканд. Люди из Парижа, из Берлина говорят: много где были — такого загляденья, как в Узбекистане, нигде не видели.

Нехватку лексем в речи шофера с лихвой окупала простосердечная страсть. Марк загрустил. Его-то перемещения ограничивались известными пределами, и даже доступный любому студенту Узбекистан был под запретом.

Таксист не набрал сдачи с пятитысячной купюры.

— Оставьте себе, — велел Марк. — Купите чурчхелы.

Он сообразил, что совет прозвучал обидно.

— Или бензина. В общем, чего душа пожелает. А мне пора.

Минуя магнитную рамку и багажный осмотр, он корил себя за невежливость. Барские жесты лишь ставили Марка в позицию милостивого владыки и вдобавок укрепляли в других холопскую психологию.

Тот, кто выжидает господских щедрот, никогда не покинет рабства.

Два ближайших рейса — до Санкт-Петербурга и до Элнет Энера — одинаково подходили Марку. Он купил билеты эконом-класса в обоих направлениях и распечатал посадочные талоны через терминал.

— Простите, что отвлекаю, — обратился Марк к уборщице в синей униформе. — Можете мне помочь?

Он вытянул перед ней руки со сжатыми кулаками, как раскаявшийся преступник перед полисменом с наручниками.

— Право или лево?

Не снимая желтых перчаток, уборщица указала на левую.

— Значит, Элнет Энер! Спасибо, дорогая! Доброго вам вечера!

Марк с наслаждением разорвал ненужный посадочный талон и за две минуты до окончания регистрации сдал багаж.

Элнет Энер так Элнет Энер. Имеется и такой город на карте, и даже с собственным Кремлем. Столица Беледыша. У национальных республик есть своя

специфика. Она пролегает между замолчанной претензией на автономию и отчетливыми намеками на культурную исключительность, между сведенными к холостому повторению обрядами и загнанными в складные учебники историческими драмами, между наивными чаяниями благостных стариков и тонкой политической игрой на вымышленных различиях и вместе с тем не равняется ничему из перечисленного. Так что на первых порах будет на чем заострить внимание. Да здравствует очередная глава монотонного романа! Да здравствуют экзотические блюда и новый вид из окна! Да здравствуют перемены, которые ничего не меняют!

На заключительном досмотре Марк стоял в очереди за беременной девушкой и вспомнил народную примету, согласно которой встреча с беременной сулит счастье.

— Не боитесь, что рентгеновское излучение вам повредит? — поинтересовался он.

— Там допустимая доза, — ответила девушка.

— Возможно.

Спустя мгновение Марк обратился снова:

— А вы в курсе, что при прохождении через сканер вам наносят незримую биометрическую метку, аналог штрих-кода. С ним вы автоматически попадаете во все электронные базы. Всего лишь секунда — и вы уже зачислены в цифровой концлагерь, вам присваивают порядковый номер, а мировые элиты держат вас на крючке.

Девушка неверно истолковала намерение Марка. Она усмехнулась.

— Знаете, ко мне еще не подкатывали на досмотре перед рейсом. Вынуждена признать ваше чувство юмора, хотя это и бестактно с вашей стороны.

В голосе незнакомки не чувствовалось ни напряжения, ни злобы. Марк отреагировал смущенной улыбкой и ляпнул что-то о работе на тайное правительство.

В самолете он сжевал холодный сэндвич с курицей и от корки до корки изучил брошюру от авиаоператора. Эконом привлекал Марка больше бизнес-класса оттого, что в первом никто не уделял пассажирам повышенного внимания и не носился с ними, как с великовозрастными детьми. Здесь стюарды не прочитывали всякий взгляд как завуалированную просьбу и не искали повода угодить.

Марк давно прекратил мнить себя исключительным. Его метафизические запросы повторяли миллионы таких же запросов, импульсивные попытки заглушить одиночество структурно вписывались в обширную сеть таких же попыток со стороны других. Марк знал, что не страдал психическими расстройствами. В его хаотичных метаниях от простоты к искушенности и обратно, в спонтанных перелетах из города в город, в разбитых телефонах и удаленных аккаунтах содержалось столько же безумия, сколько и в ухищрениях офисного труженика, торгующего из-под прилавка левыми сим-картами ради копеечной прибыли, или в оправданиях пьяницы, уверяющего, будто водка мешает расти раковым клеткам. Все это не более чем заскоки, странности, далекие от цветущего буйства и неподражаемого сумасшествия.

Перед тем, как поймать такси в аэропорте Элнет Энера, Марк разменял наличные, чтобы не развращать водителя.

— Куда едем?

— Отвезите меня, пожалуйста, в гостиницу. Чтобы она была в центре, но без вида на Кремль. Без фонтанов в холле и без вульгарных картин в номерах. Солидную, но без чрезмерного шика. С высоким рейтингом, но не наивысшим. Не замешанную в скандалах. Не предназначенную для крупных делегаций. Понимаю, что звучит почти апофатично, поэтому уточню еще два условия: со шведским столом и с отменной химчисткой.

— Мне за вас, что ли, выбрать?

— Именно так.

Шофер изобразил на лице обременительное раздумье и заявил, что поездка будет стоить две тысячи. Что ж, пускай считает, будто развел богатенького клиента.

Высаживая Марка у отеля «Волга Премиум», таксист предупредил:

— Насчет химчистки вы лучше сами у них спросите.

Марк снял люксовый номер, убедившись, что он включает и ванну, и душ.

— Ничего себе у вас фамилия! — не удержалась администратор на ресепшене, вписывая данные.

— Мы дальние родственники, — сказал Марк и подмигнул.

Дизайн в кремово-шоколадных тонах свидетельствовал, что шофер, похоже, угадал. Марк запахнул портьеры и присмотрелся к помещению. Очевидно, целостная картина возникнет не сразу, пока же в голове складывалась лишь сумма обособленных элементов. Раздельный санузел, обилие дерева в декоре, ореховая мебель, встроенные в потолок светильники, квадратная спальня с гигантской кроватью, просторная гостиная, широченная плазма на стене. Почему-то дизайнеры и проектировщики отелей исходят из того, что зажиточные постояльцы без ума от больших размеров, и потакают этой воображаемой страсти. Порадовали капсульная кофемашина и ручной режим регулировки температуры. Марк повысил ее до двадцати четырех, чтобы передвигаться по номеру босиком.

Решено, он остается здесь на месяц.

Вот содержимое минибара если не портило всю обедню, то огорчало. Справившись у администратора, где ближайший алкостор из приличных, Марк прикупил там восемнадцатилетний «Гленморанжи».

После второго бокала он нашел очертания бутылки женственными, а после третьего путано и безбрежно философствовал сам с собой.

Все его действия последних лет — это поступки виноватого человека. Это поступки человека задолжавшего. Он всего-навсего изнеженный отпрыск, которому крупно повезло и еще крупнее не повезло. Он пробовал то, пробовал это, подступался, приценивался, перебирал, привязывался, порывал. Он подверг сомнению слишком много аксиом и не приблизился к твердому знанию. Его маршруты тяжело предсказать, но легко отследить.

Его смерть ничего не докажет. Так же, как и его мажорное существование. Так же, кстати, как и отчаянные попытки вырваться из него. Любой отчаянный жест кажется жалким, не так ли?

Отделенность и обделенность — есть ли граница между ними?

Марк выволок из саквояжа пакет с зеленой бамбуковой подушкой. Гардероб в новом городе он предпочитал менять целиком, а подушку повсюду возил с собой.

Глубокой ночью он подступился к открытому нужнику на улице. Нужник был затерян в снегах, его продувало насквозь. Приколоченная к кривому столбу, покачивалась на ветру фигура в черном балахоне, и синюшное лицо под капюшоном указывало, что это не чучело, а труп. Марк побрезговал касаться его. Мимо прошелестел низкорослый мужичонка с мертвым младенцем на руках и сбросил ребенка в фекальную яму. Раздался плеск. Извинившись перед Марком, мужичонка объяснил, что это их древний обычай. Если не прикончить первенца, то разразится чума.

Сергей

Покинув совещание, Хрипонин ослабил галстучный узел. Теперь можно. Шея затекла, расправленные плечи задеревенели, ноги сопрели в непрактичных лакированных туфлях.

Впрочем, это того стоило. Фестиваль крафтового пива официально утвердили и внесли в план. В отчетах Гордумы «Крафтиру» подадут как культурное мероприятие в рамках республиканской молодежной политики. Госкомитет по туризму вложится в продвижение. Наймут музыкантов, напечатают буклеты. Все чин по чину.

Хорошо быть с мэром на короткой ноге, а еще лучше — состоять с ним в родственных отношениях. Именно так бы сказали завистники, но только Сергей знал, во что ему обходятся братские узы.

— Если ты меня, не дай бог, подведешь...

Михаил подступился со спины, и Сергей вздрогнул.

— Если я тебя подведу, ты будешь отвечать перед федеральными комиссиями, — сказал он, оборачиваясь.

— И не поспоришь. — Михаил усмехнулся. — Крутая речь, горжусь. Ты так страстно говорил про воспитание молодежи, про творческую активность, про позорные разливайки в спальных районах, что я на секунду подумал, будто ты сейчас потребуешь ввести сухой закон или, на худой конец, комендантский час.

— Ну да, а свой бар подарю духовной общине.

— Ага, самое то. Кстати, я велел Кириллу доставить тебя в бар после совещания. Он ждет внизу.

— Да незачем утруждаться, — возразил Сергей. — Такси вызову без проблем.

— Он внизу уже. Ему на пользу. Если тебя не повезет, то поедет таксовать, сам понимаешь.

Сергей ненавидел этот деликатный патронаж, но поблагодарил брата за беспокойство.

Михаил элегантно, одним махом пристроил шофера к делу и в очередной раз подчеркнул свое старшинство. Да еще и обставил все как скромное благодеяние, как саму собой разумеющуюся заботу.

Кирилл на серебристом «Лексусе» дожидался на парковке Гордумы, пристегнувшись и положив руку на руль. Поза водителя порождала иллюзию, точно он готов тронуться с места по щелчку пальцев.

— Как ваши дела, Сергей Владимирович?

— Отлично.

— Вот и отлично, раз отлично. Тогда поехали.

Кирилл, круглощекий стареющий добряк с аккуратно зачесанными набок волосами, поражал Хрипонина умением затыкать паузы пустейшими фразами, при этом вкладывая в них теплоту, человечность, даже некое подобие смысла и ни разу не заискивая. Шофер идеально держал субординацию и словно бы не придавал значения тому факту, что работал на мэра республиканской столицы. Не исключено, что в узком кругу Кирилл бахвалился высоким, пусть и холопским, статусом, однако верилось в такое с трудом.

— Как в Госсовете? — поинтересовался водитель. — Жизнь кипит?

— Кипит.

По пути он без предупреждения завернул на заправку.

— Машина пить хочет, — сообщил он и захлопнул за собой дверцу.

Сергей с досады развязал галстук, скомкал его и засунул в брючный карман.

Едва ли не с любовным выражением на лице, роднящим шофера с рачительным фермером, Кирилл нежно отвинтил пробку бензобака и вставил туда заправочный пистолет.

Надо было настоять на своем и вызвать такси. Сэкономил бы и время, и нервы. А вместо этого Хрипонин жег себя изнутри смехотворным негодованием и безропотно дозволял водителю изображать из себя самостоятельную единицу.

— Напоили железного коня, пора снова в дорогу, — безмятежно сказал Кирилл, возвращаясь в «Лексус». — А представьте, Сергей Владимирович, автомобили в будущем станут на пиве ездить. Типа экологичный аналог.

— Тебя опередили. В Новой Зеландии уже разработали биотопливо на пиве.

— Ого, как здорово! Значит, годиков через пятьдесят и до нас доберется.

В окне проплыл щит с социальной рекламой. Мэрия предупреждала: «Встречная — черная полоса твоей жизни».

Добравшись до бара, Хрипонин с порога затребовал фермерской утки и крепкого бельгийского эля. Бармен Аркадий, в меру компетентный, в меру почтительный блондин из бывших панков, наполнил бокал боссу и спросил:

— Так понимаю, крафтовый фест наверху одобрили?

— С чего это ты взял?

Пусть только Аркадий намекнет на родственные связи. Сергей его без промедления уволит.

— Если бы не одобрили, вы бы водку пошли хлестать.

— Логично. Да, утвердили, в ноябре «Крафтиру» проведем.

— Поздравляю, Сергей Владимирович. Вы заслужили.

— Все заслужили. Я заслужил, ты заслужил, город заслужил.

Хрипонин поднял бокал в знак победы и сделал торжественный глоток. В желудок словно бухнула ледяная ампула с лекарством.

Помимо бара, Сергей владел бирмаркетом и фермерской лавкой, однако только в «Рекурсию» наведывался регулярно. Если магазин проще доверить грамотному управляющему (а сокурсник Насонов зарекомендовал себя таковым), то с баром эта история не прокатит. Любое питейное заведение, если это не безликая окраинная рюмочная, куда стекается, за отсутствием альтернативы, самая невзыскательная публика, обладает ни с чем не сравнимой аурой. Эту ауру не измерить ни средней ценой за выпивку, ни качеством бизнес-ланчей, ни уровнем культуры персонала, ни дизайном интерьера, ни чистотой уборной, ни впечатлениями посетителей, нализавшихся до покаянных звонков призракам из прошлого. Эта ускользающая от определений аура — главное, что удерживает бар в городских алкогидах, в ресторанных рейтингах и в тяжелой ротации на волнах сарафанного радио. Как ни банально, у каждого бара есть душа. И хозяин обязан отслеживать мельчайшие вибрации этой души, трепетно оберегать ее и не травмировать ретивыми новшествами или, напротив, оскорбительным невниманием. Если владелец холодеет к детищу, бар умирает. Помещение пустеет, и туда въезжают другие господа со свежим проектом и своими представлениями об устройстве души, вымученными и противоречивыми.

— Налей-ка мне имперского стаута, — приказал Хрипонин Аркадию. — И передай на кухню, пусть мне еще утки принесут.

Сергею казалось остроумным название «Эль Стакано», пока Михаил не признался, что при этих словах в его голове возникает образ красномордых мексиканцев в комичных шляпах на веревочке. Сергей ни секунды не цеплялся за бракованный вариант — лишь прекратил делиться соображениями с кем попало.

Маркетологи утверждали, что требуется одно единственное слово — емкое, благозвучное, свободное от сорных ассоциаций. Настолько же тотальное, насколько и пустое. «Искра» отсылала к совковым символам, «клевер» — к Ирландии и к пабам, «ежевика» — то ли к клубничке, то ли к яблочной IT-тематике. От компонентов вроде «крафт», «пена», «пиво», «beer» Хрипонин отрекся из-за их исчерпанности. Нет верней способа прослыть эпигоном и распугать клиентуру, чем наречь бар «Пенным причалом» или «Пивным прибоем».

«Рекурсия» угодила в поле зрения случайно. Посередине увлекательного спортивного ролика «Ютуб» выплюнул на экран рекламу курса для программистов. Злясь на то, что рекламу нельзя пропустить, Хрипонин прослушал ее до конца и обомлел.

То самое слово.

Выяснилось, что понятие используют и в программировании, и в физике, и в лингвистике, и в логике, а в матанализе есть даже термин «бар-рекурсия». Сергей набрел на золотую жилу и гордился собой.

Запив последний кусочек утки последним глотком имперского стаута, Хрипонин заказал такси.

— Совершенствуемся для каждого, — пробормотал он, ступая за порог. — Заботимся о каждом.

Жена в наушниках смотрела видеоуроки по плаванию и молча подняла вверх указательный палец, приветствуя Хрипонина и вместе с тем предупреждая, чтобы не отвлекал. Он с грустью вновь отметил про себя, что ее лицо похоже на цветы из ее салонов — такое же красивое, изящное, с гармоничными пропорциями и абсолютно безжизненное.

Впрочем, незачем винить Лизу. С ее бизнесом Сергей вообще превратился бы в законченного невропата.

— Ну как, папа, крафтанул? — поинтересовался Гриша, заглянувший на кухню за кофе.

— Крафтанул, а затем повторил.

— Круто. А я тут «Декстера» смотрю, вот на минуту прервался.

— «Декстер» — это про супергероев или про вампиров?

— Про серийного убийцу, который судит негодяев.

— Славное, наверное, зрелище.

— В точку, пап!

Лиза приостановила видео и сняла наушники.

— Такое ощущение, будто вы сговорились.

— И в чем наш сговор? — спросил Сергей. — Привет, дорогая.

— Вы мешаете мне учиться кролю.

— Да тебя инструктор в бассейне научит. А по компьютеру ты фиг поймешь.

— Надо, чтобы в голове сложилась картинка. Чтобы порядок действий засел в подсознании.

— Значит, так. — Хрипонин притворился серьезным. — Шаг первый. Примите в воде строго горизонтальное положение.

— Очень смешно.

— Я активирую твое подсознание.

— Да ну вас.

Лиза захлопнула ноутбук и ушла с ним в гостиную, оставив в воздухе ускользающий шлейф парфюмерных ароматов. Гриша выбрал капучино на приборной панели и стал ждать, пока кофемашина его сварит.

— Мама сказала, — произнес сын, — что наймет репетитора по обществознанию и истории.

— Так мы вроде уже в мае договорились, что так и сделаем. Жаль, что Игорь Кириллович отказался.

— Она говорит, что уже в сентябре занятия начнем. А я хотел в ноябре. Ну, или в октябре, на крайняк.

— Мама права. Чем раньше вкатишься в учебный год, тем лучше.

— Да я уже забыл, в каком году Куликовская битва была. Мозги одеревенели за лето. Нужно постепенно вкатываться, а не так вот — сразу.

— Ну-ну, не прибедняйся. — Сергей засунул руку в карман и обнаружил там смятый галстук. — Тебе стейк пожарить?

— Нет, меня мама покормит.

— Хорошо. Тогда иди «Декстера» досматривать, пока там маньяков без тебя не переловили.

Да уж, минули времена, когда Хрипонин называл детей цыплятками.

Облачившись в домашнее, он вытащил из маринада два здоровенных куска свиной вырезки и закинул их в электрогриль. Когда стейки прожарились до мутно-розового цвета, Сергей посыпал их тимьяном, положил на решетку две лимонные дольки и снова опустил крышку.

Он ценил разговоры с сыном и не понимал тех родителей, которые стремятся воспитать детей в стерильном информационном пространстве и кривят губы при упоминании секса и насилия. Такие родители больше пеклись о собственном благообразном облике, чем о будущем детей.

Нет верней средства отдалиться от ребенка, чем приучить его к ханжеству.

Бесспорно, разногласия с Гришей случались постоянно. Хрипонин отмечал про себя безалаберность сына, его зарождающуюся заносчивость и склонность к плоским суждениям. Гриша, как и тысячи подростков его возраста, с видом мудреца утверждал, что любви не существует, а жизнь скучна. Будь сын хотя бы на пять лет старше, Сергей доказывал бы ему, что жизнь скучна для тех, кто сам тосклив и бездарен, а

существование любви выгодно отрицать тем, кто не желает прикладывать усилия для построения семьи. Сейчас же Хрипонин осознавал, что все сыновнее философствование проистекает от нехватки опыта.

Сергей гордился тем, что не отнимает у ребенка счастливых заблуждений раньше положенного.

Вот с дочерью у него не так ладилось. В шестом классе Стелла зажглась идеями радикального феминизма и начала молоть чушь про засилье цисгендерных мужчин, про токсичные отношения и подружественные коммуны. Лиза призывала Сергея не бить тревогу.

— Сам знаешь, — говорила она. — Вчера они увлечены куклами, сегодня корейской музыкой, а завтра еще чем-нибудь. Не отбирать же у нее Интернет.

— Правильно, — соглашался Сергей.

В конце концов, дочь могла подцепить интерес и к чему похуже. К роликам Навального, например. Сегодня дети взрослеют быстро.

В августе они отправили Стеллу в элитный лагерь с изучением английского языка и ждали ее возвращения с надеждой, что за месяц дочь избавится от глупостей в голове или хотя бы заменит их на другие.

Настя

Пускай мама думает, что Настя обиделась, хотя это вовсе не так. Обиды — этап пройденный, а теперь Настя впервые дала отпор. Желая пристыдить дочь, мама ее разозлила. Пускай теперь сама помучается и осознает, каково это, когда с твоей совестью проворачивают циничные махинации. Пускай любуется кощунственной юбкой в гордом ведьминском одиночестве.

Соседке по общаге Настя о ссоре с матерью не рассказала, зато бабушке за глаза досталась шутливая взбучка.

— У нее строгое мясное кредо, — пояснила Настя. — Она боится, что мы тут отощаем, как узники в Освенциме.

— Жуткая смерть двух магистранток потрясла Элнет Энер, — произнесла Даша тоном захолустного репортера.

— Надо будет месяца через три на фотошопе сделать впалые щеки, обескровленное лицо и послать фотографию бабушке.

— Страшно представить ее реакцию.

— Она примчится спасать нас борщом и макаронами по-флотски.

Даша призадумалась.

— Иногда мне кажется, мои только порадуются, если меня увезут на скорой из-за растительной диеты. Тогда заботливый диетолог с докторской степенью вылечит меня от капризов и научит любить всех земных тварей, что попадают ко мне в тарелку.

Настя с Дашей познакомились на вступительных экзаменах и сразу договорились, что поселятся вместе, если поступят. Насте импонировали девушки такого типа: пластичные, улыбчивые, легкие на подъем, с открытым взглядом и без намека на субтильность. Даша занималась йогой, коллекционировала фенечки, заплетала дреды себе и другим и часто повторяла слово «добро». Вера в Джа составляла краеугольный камень ее мировоззрения. Через пять минут после знакомства с Дашей можно было без опасений ставить квартиру на то, что она боготворила Олю Маркес и равнялась на нее.

Так и оказалось: Дашин плейлист включал все альбомы «Alai Oli», а сама она постила цитаты вокалистки с завидным постоянством.

Соседка встретила Настю в черной футболке без рукавов и в карго болотного цвета. На загорелых плечах красовались коричневые веснушки, напоминавшие пятнышки на зрелом банане.

— Свидетельница Боба Марли! — воскликнула Настя.

— Она самая!

Польщенная Даша запустила руку в один из многочисленных брючных карманов и протянула на ладони карамельку в прозрачной обертке.

— Клюквенная. По вегану, без сахара и без краски. Я тут чудесный экомагазин нашла поблизости. Обязательно тебя туда свожу.

В знак доверия Настя сразу закинула конфету в рот. И правда, заметно лучше барбарисок ядовито-рубинового цвета, царапающих нёбо и сводящих скулы от кислоты. Кажется, с коммуникацией в Элнет Энере трудностей не предвидится. Если, конечно, Дашу не отчислят из универа за примерное растафарианское раздолбайство.

Пока Настя раскладывала вещи, соседка поведала ей об утреннем казусе на общей кухне.

— Захожу я, значит, проверить проростки. Там Мишель, наш негр-историк, жарит бананы на сливочном масле. Я смотрела-смотрела и осторожно спросила: «Почему ты их жаришь?» А он такой раздраженный повернулся и говорит с глубокой обидой: «Я разве обезьяна, чтобы их сырыми есть?»

Смущенно улыбнувшись, Настя предположила:

— Наверное, его достали этим вопросом.

Комната превзошла ожидания Насти. Чистенькие бежевые обои, пусть и подрастерявшие в свежести, тешили взор. Высокий потолок и широкое расстояние между кроватями, застеленными покрывалами в бело-фисташковую клетку, даровали ощущение покоя. Вместительный шкаф, солидные по меркам провинциального вуза тумбочки, персональные книжные полки — все складывалось в славный паззл, собирать который было одно удовольствие. На стенах в рамках и под стеклом висели фотографии с главными достопримечательностями Элнет Энера. Ничто нигде не отваливалось, не свешивалось, не скрипело, а завершал все это скромное великолепие обволакивающий яркий свет — не чета маминым тусклым энергосберегающим лампочкам.

* * *

На обед Даша накормила Настю веганским пловом с баклажанами и заварила имбирный чай. После обмена типичными шутками о скудном травоядном питании соседка уведомила, что пригласила гостей на вечеринку в честь новоселья.

— Сначала концентрация фриков покажется тебе запредельной, — предупредила Даша, — но вскоре ты почувствуешь, как комната заполняется теплом. Мы устроим островок гармонии и счастья на просторах скучной казармы. Именно ею, как я убедилась, и является эта общага с занудными дежурными по этажу, бессердечными вахтерами и комендантшей, для описания унылости которой не хватит никаких сильных эпитетов. Ты играешь на укулеле?

— Ни разу не пробовала.

— Я тебя научу.

Настя приняла душ и сделала укладку, нанеся на волосы глину и хорошенько взбив их. Вид в зеркале поколебал представления Насти о себе, поэтому она аккуратно расправила некоторые пряди. Теперь годится. Хаосмос во всей красе. Ну, может, не во всей, но красе.

Ее наряд на вечеринку составили черные джинсы и черная блуза-туника.

— Шикарно, — заверила Даша.

— Я ощущаю себя дебютанткой на сцене.

— Это не классический театр, так что нам не грозит публика из старперов, которые хвастаются своей умудренностью. Не волнуйся.

— Как думаешь, мне стоит что-нибудь купить и приготовить для гостей?

— Абсолютно ничего. Мы хозяйки, а они путники, которые бредут к нам на пламя свечи и приносят корзинки с дарами.

Сказав так, Даша пошла жарить картошку и мастерить салаты, фруктовый и фасолевый. На все предложения помочь она отвечала вежливым, но твердым отказом.

К шести начали стекаться те самые путники. Степень их фриковости Даша преувеличивала. Никто из гостей, на первый взгляд, не дотягивал до звания загадочного или хотя бы странного. Филолог Рита, очаровательнейшее существо с синими дредами и вздернутым, как у принцессы, носиком, притащила с собой бананы и грузинский виноградный лимонад. Басист Митя в затасканной черной куртке из кожимита, выделявшийся лающим смехом и почти что зомбическим выражением бровей, не взял с собой ничего и патетично извинялся, демонстрируя пустые руки с нестрижеными ногтями. Маша и Костя, трогательная пара с безупречными манерами, водрузили на стол сухое красное вино, адыгейский сыр, гуакамоле, три пачки кукурузных чипсов и пластиковые стаканы. Наконец, небритый Денис, который в силу возрастной помятости не мог никоим образом принадлежать к студенческому миру, извлек из кармана ветровки бутылку киргизского бренди. Как пояснил Денис Насте, хоть в его облике и нет ровным счетом ничего татаро-монгольского, его степной отец пас лошадей и пил кумыс.

Настя дивилась, когда только Даша, приехавшая в Элнет Энер на день раньше, перезнакомилась с этими людьми.

Рита рассказывала о летнем путешествии в Грузию и беспощадном кавказском гостеприимстве. Все с увлечением слушали, лишь Митя скептично перебивал повествование.

— Да быть такого не бывает! — провозглашал он. — Они там все потомственные русофобы.

— Мне такие не попадались.

— Тебе повезло, там повальная русофобия, — не унимался Митя.

— Нет там русофобии!

Настя стала ждать, когда скандальный музыкант объявит, что красота — это страшная сила и тайное оружие, благодаря которой русских девушек привечают даже на враждебных землях.

Не исключено, что Митя опустился бы и до таких приемов, если бы не вмешалась Даша.

— Так, — сказала она, — не будем отравлять дружную компанию националистическими миазмами.

Она достала укулеле и исполнила «Любочку». Настя, помнившая текст, изумилась, что эту не самую раскрученную песню из доцифровой эры знали все за столом. Раздухарившийся Митя подпевал темпераментнее остальных.

— Всем добра! — воскликнула Даша с последним аккордом.

— Всем добра!

— Йоу!

После второго бокала вина разговоры за столом разделились. Митя снова увел Риту и Дашу в грузино-русские политические дебри. Влюбленные шептались в своем уголке. Денис, почесывая заросшие щеки, примеривался к Насте и, судя по всему, целил ей в сердце. Меткостью он положительно не отличался.

— Даша сказала, что ты очень умная.

Настя пожала плечами.

— Ты ведь этнограф?

— Да.

— Этнография — полезное направление, — сказал Денис. — Оно напоминает нам, что каждый народ, даже самый маленький, значим для человечества. Нет более привилегированных и менее привилегированных. Отец мой повторял, что солнце для всех светит одинаково.

Настю подмывало сострить, что как раз таки солнце для разных этносов светит по-разному, эскимосы не дадут соврать.

— Наверное, он прав, — продолжал Денис. — Пусть мы и не сблизились, я многому у него научился. Не уверен, что я правильно понимал отца и определял его место в моей жизни. Я не виноват, и все же мне есть, о чем жалеть.

Настя молчала.

— Спустя годы на нас наваливается тоска по временам, когда мы испытывали счастье, но не сознавали его. Мы напрасно хватаемся за то, что ускользнуло от нас.

В кармане Насти просигналил телефон. Никогда еще ее так не радовали уведомления. Она коротко извинилась и выскочила в коридор, подальше от рефлексивного типчика и его половинчатых откровений.

Извещение из «Вайбера». Час от часу не легче. Установившая этот мессенджер разве что от избытка свободной памяти на телефоне, Настя не пользовалась приложением и не советовала его друзьям.

тут ты меня не забанила)

Насте словно снежок закинули за шиворот.

как ты, крошка?

скучаю по тебе

сильно-пресильно

Зачем это писать? Зачем это писать так?

ты уехала, как напоказ. мне не нужно очевидных знаков, чтобы прозреть. да, ты холодильник. ты не любишь меня, у тебя своя жизнь, свои планы. вот только не зачем, подруга, сбегать от меня. это обидно, знаешь ли

я тебя не преследую, это ты от себя бежишь

Дрожащими пальцами Настя снесла «Вайбер» вместе с треклятой перепиской. Коридорные стены угрожающе надвинулись, и Настя поспешила обратно в комнату.

— Сестра, что с тобой? — воскликнула Даша.

— Ничего.

— У тебя такой вид, как будто на твоих глазах человека расстреляли.

— Как будто раздавленную кошку в постель подложили, — добавил Митя.

Даша без предисловий съездила ему локтем по ребрам и наставила на Настю вопросительный взор.

— Кое с каким делом надо разобраться. Позвонить родным, уточнить. Связано с документами. Ничего серьезного.

Настя схватила портфель и двинулась к выходу.

— Ты ведь не домой сорвалась на ночь глядя?

— Нет, что ты. Я скоро вернусь.

— От нас точно никакой помощи не требуется?

— Никакой.

— Может, деньги?

— Нет. Спасибо.

Даша кивнула.

— Тогда расправляйся со своим делом и поскорей возвращайся на наш островок гармонии и счастья!

Уже в коридоре Настю догнала клейкая субстанция по имени Денис.

— Я тебя не обидел?

— Меня никто не обидел.

— Мало ли. Вдруг ляпнул не то.

— Все в порядке.

— Могу я сейчас помочь тебе чем-нибудь?

— Спасибо, я сама.

Несвежая черная футболка с рисунком рыбьего скелета наплывала на Настю. Едва сдерживаясь от того, чтобы не оттолкнуть Дениса, она пятилась в сторону лестницы. Увеличив расстояние до тактичного, девушка повернулась и помчалась.

Ему, наверное, тридцать пять, если не сорок, а он ловит шансы с иногородними студентками.

Что за наказание! Это не ее место, не ее. Она должна учиться в Чехии, в Нидерландах, в Норвегии, в Австралии или в Новой Зеландии, собирать легенды в поморской глубинке и спасать саамов от исчезновения.

Перед глазами мелькали убывающие цифры. Четыре, три, два. Зловещий красный на побелке. Как будто маляр, обезумевший от своей безвыходной скрупулезности, методично наносил номера этажей артериальной кровью через трафарет.

Во дворе общаги разгуливал полицейский патруль — крупные темные силуэты. Дубинки покачивались на их поясах.

Вы, ребята, последние, кому можно довериться.

Как абсурдно. Почти никто не любит полицию, однако почти все считают, что без нее нельзя.

Елисей

Матвей понял все по измаянному лицу друга. Елисей выглядел, как крестьянский сын, сбежавший из родного села и проведший бессонные ухабистые ночи в рыбном обозе.

Матвей расстелил постель, и Елисей, скинув джинсы и носки на ближайший стул, юркнул под одеяло в дорожной толстовке.

— В следующий раз сниму. И футболку тоже. Простынь постираю. Не буди.

Объятия Морфея настигли изнуренного путника удушающим захватом.

Пролежав без малого семь часов без единого движения, Елисей пробудился и рывком сел на кровати. Матвей, работавший рядом за ноутбуком, швырнул ему на колени махровое полотенце с символикой «Манчестер Юнайтед».

— Думал, ты захочешь принять душ, когда проснешься.

— Спасибо, хоть шампунь не кинул.

К выходу Елисея из ванной Матвей пожарил яичницу с помидорами и сварил в турке кофе. Елисей набросился на еду с таким аппетитом, что треск за ушами утратил свою метафоричность.

— Моей стряпне еще никогда такие комплименты не делали, — сказал Матвей. — Сдается мне, либо ты прямиком из блокадного Ленинграда сбежал, либо тебя Лена твоя голодом уморила. Как она, кстати, отнеслась к твоему переезду?

Не прекращая молотить челюстями, Елисей поднял вверх большой палец.

— То есть с надлежащим уважением?

— В точку.

— А как сама дорога?

Елисей отжевался, вытер рот салфеткой и пересказал автостопный трип, особенно напирая на ночевку под звездами и на бешеный заезд в «Тойоте Камри».

— Фееричная история, — заключил Матвей. — Вдруг этот психованный таким образом служит народу?

— Это как?

— Начнем с того, что он не работяга, который задержался на даче допоздна и вез домой репу, редиску и морковь.

— Маловероятно, — согласился Елисей.

— Машинка у него солидная, как и костюм.

— Я и говорю, что он фээсбэшник или депутат местный.

— Мелко берешь. Это серый кардинал тиранического режима. Влиятельный тип,

чьи руки до плеч испачканы кровью узников совести. Важный гусь с абонементом в политическое закулисье. И внутри этого мерзавца спрятан надломленный человек, страдающий от своих злодеяний. Чтобы хоть как-то их компенсировать, твой таинственный водитель спонсирует детские фонды, анонимно дарит инвалидам коляски и протезы, а по ночам подвозит автостопщиков до Элнет Энера. На высоком посту он не способен служить народу напрямую, вот и ищет обходные пути.

Полет фантазии оборвал Влад, сосед Матвея, ввалившийся в кухню и прозаично потянувшийся в холодильник за кефиром. Костлявый и бледный, со взъерошенными волосами и заправленной в песочные бриджи зеленой футболкой, Влад производил впечатление чокнутого программиста, объявившего бойкот заоконной действительности.

— Это наш Одиссей прибыл, — представил Матвей питерского друга.

Влад присмотрелся к новому квартиранту и сказал:

— Для обеда сейчас слишком поздно, а для ужина — рано. Полдники у нас не заведены, так что Матвей, наверное, тебя ценит, раз готовит тебе в неурочное время. Я людей не очень люблю, но пусть тебя это не напрягает. Велкам, как говорится.

Влад отпил из бутылки кефира, сунул ее обратно в холодильник и потопал к себе в комнату.

В переписке Матвей намекал на суровый характер соседа. Судя по скупому, но фактурному описанию, Влада сложно было причислить к компанейским парням. Он промышлял криптовалютой, почти не покидал дома, не общался с девушками и не смотрел сериалы, а на его стене висел постер с Михаэлем Шумахером.

Спустя минуту Влад вернулся и пожаловался Елисею на голубых.

— Не проходит и дня, чтобы я не увидел в новостной ленте запись про гомосеков. То на них охотятся, то их защищают. Засилье гейства в информационном поле.

— Раздражает, — согласился Елисей.

— Почему меня впутывают в чужие интимные отношения? Почему меня вынуждают занять позицию по вопросу, который меня не интересует, а?

Бормоча ругательства, Влад снова достал кефир и унес его с собой.

Елисей не насытился яичницей, и Матвей дополнительно сделал ему и себе сэндвичи с сыром и беконом. За едой бывшие однокурсники перемыли косточки университетским преподавателям, обсудили капризную петербургскую погоду и вспомнили затяжные, как переправа через Стикс, поездки по эскалаторам в метро. Матвей, расчувствовавшись, извлек из навесного шкафа две старые стопки и початую текилу.

— Помянем?

Елисей указал на горло и произнес:

— Отекает каждое утро. Реагирует на горячее и холодное, на острое и вяжущее. Бунтует против алкоголя в любых проявлениях. Даже безалкогольное пиво его, видите ли, не устраивает.

— Сочувствую, дружище.

— Надеюсь, причина в северном климате, точнее в его болотно-озерной вариации.

— Уверен, что так. Ничего, в наших краях скоро поправишься. Стаканами будешь спирт глушить.

— Я и от сериалов стал воздерживаться, — сказал Елисей. — Там в кадре постоянно мелькает алкоголь. Герои смачно осушают бокалы с виски по поводу и без, в одиночестве и в компании, затыкая паузы и поддерживая диалог. Если бы при просмотре «Ада на колёсах» я накатывал по стопке бурбона каждый раз, когда мне в глаза изящно и будто невзначай тычут аппетитной выпивкой, то к шестой серии я бы заговорил с персонажами, а к десятой — помчался бы в магазин за револьвером и ковбойской шляпой.

Матвей понимающе убрал текилу в шкаф.

— Кстати, о выпивке, — продолжил Елисей. — Где у вас самый крутой крафтовый бар?

— Сожжешь его, чтобы не соблазнял?

— Ни в коем случае. Я бы сходил туда.

Матвей озадаченно почесал затылок.

— Блог сам себя не напишет, — объяснил Елисей. — А пить я там не собираюсь.

— Подписчики не поймут, — согласился Матвей.

* * *

Елисея мучило чувство вины. Он нагло заснул в грязной толстовке, сбил Матвею и Владу режим питания, вторгся в их устоявшийся быт. Пускай они проведут вечер без хворого постояльца и рассудят, как с ним поступить. Если оставят без пяти минут иждивенца у себя, то славно. Если выпнут, тоже не беда. Можно податься в Саратов. Либо вернуться в Петербург. Либо махнуть на все и осесть в Трёхгорном. Это не лучший исход, но и не катастрофа.

Елисей шагал по широким тротуарам и скользил взглядом по вывескам. «Неврологический центр лечения боли», «Вейпер из виртуальной галактики», «Санта Барбер», творческая студия для детей «Рандеву Кидс», квест-пространство «Ризома», магазин инструментов «Синьор Гвоздодёр», продуктовый «Анчар».

Елисей поостерегся бы снеди оттуда.

Город ухмылялся и интриговал.

Бар «Рекурсия» располагался в самом конце центральной улицы Нарайна, названной, согласно «Википедии», в честь местного большевика-революционера. Обилие света и воодушевленных лиц за стеклянным фасадом притягивало, а в воздухе витал легкий хмельной запах куража, раскрепощенности и скрепленного выпивкой студенческого братства и сестринства.

Елисей набрал в грудь воздуха, настраиваясь стоять насмерть в битве с искушением, и толкнул дверь.

Сорок кранов с самыми разными сортами — от пацифистского цветочного сидра до ячменного вина с воинственным нравом, от консервативного лагера для олдфагов до экспериментального имперского стаута с замахом на революцию в истории пивоварения, от бельгийских ламбиков до челябинских портеров, от норвежцев до голландцев, от американцев до эстонцев — способны были удовлетворить самого взыскательного пивного брюзгу, имеющего привычку принижать плюсы и раздувать минусы. Прямоугольные столы для компаний от двух до десяти человек тянулись вдоль иссиня-черной стены с ликбезом по пивной теории. Рядом с холодильниками, забитыми сверху донизу бутылочным крафтом, разместился большой стол в форме полукруга, а над ним нависала помпезная трехъярусная люстра с пустыми бутылками, перевернутыми вверх дном. Их пестрые этикетки хотелось коллекционировать и коллекционировать.

В баре восседали вчерашние подростки с оголенными щиколотками и симпатичные бунтарки с синими и зелеными волосами, принарядившиеся для выхода в свет давние подруги и робкие парочки на втором или третьем свидании, псевдонордические самцы с ухоженными бородами и выбритые до синевы канцелярские служаки. Наметанный глаз Елисея вмиг различал прожженных бир-гиков и настороженных неофитов. Экраны беззвучно транслировали футбол, а из колонок лился приятный фолк.

Елисей попал в свою стихию.

Он приметил двух одиноких посетителей. Первый, моложавый субъект в малость помятом синем костюме, усердно поглощал креветки, и с пальцев его капал жир. Вторая, отрешенная девушка с каре, облаченная в свободную блузку и джинсы, задумчиво вертела перед собой картонную подставку для пива то по часовой стрелке, то против нее. Девушка словно сбежала с посредственного концерта и теперь размышляла, правильно поступила или нет. Бокал ее был пуст, если не считать крохотных клочков пены на дне.

— Здравствуйте, — обратился Елисей. — Вы решите, что я к вам клеюсь, однако это не так.

Она медленно подняла на него взгляд. Далекий от ласкового.

— Штука в том, что я делаю обзоры пива, а из-за фарингита мне пить запрещено. Бытие устроило мне засаду.

— Не вам жаловаться на бытие, — сказала девушка. — Вы, например, сегодня третий, кто ко мне подкатывает. Первый интересовался моими музыкальными пристрастиями. Второй вспоминал отца, который пас лошадей. Вы же давите на жалость.

— Вы неверно поняли, — возразил Елисей. — Я пивной блогер и собираю материал для обзора. Вот.

Он показал незнакомке свою профиль в «Инстаграме». Лицо ее посветлело.

— Ого!

— Что «ого»?

— Вы тот самый обзорщик, который пишет об ураганах, лавинах и прочей стихийной жути?

— Смотрю, вы в теме.

— Читала ваши публикации на «Крафт депо». Значит, про фарингит это правда?

— Сущая правда.

Девушка прикрыла лицо рукой.

— Простите, я вам нагрубила.

— Ерунда, обычное недоразумение. Так вот. Я отчаянно нуждаюсь в помощи. Давайте я возьму вам пиво, вы его протестируете, а я приду домой и по горячим следам набросаю заметку. Идет?

— И вы не навяжетесь за мной до дома?

— Даже не умоляйте.

Она кивнула.

— Есть уточнение. Позвольте мне побыть эмансипированной женщиной и самой купить себе пиво.

— Это лишнее. Я никогда не покупаю пиво. Меня им угощают.

Елисей достал из кармана пластиковую карточку.

— Пожизненный абонемент на бесплатное пиво от Крафтовой ассоциации России.

— Ого!

— Какой сорт вам принести?

— Любой, только не сладкий. И без молока.

— Непереносимость лактозы?

— Вроде того.

Пряча ликование, Елисей подошел к барной стойке и помахал абонементом перед барменом с пышными усами, подровненными ножницами по первой моде. Бармен, узнав блогера, настоял на совместном селфи, а затем принялся вдохновенно перечислять новинки. Крафтовый рынок определенно переживал взлет. У Елисея все скрутило внутри от недоступного ему изобилия, пока он выбирал.

— Извините за задержку, — сказал он, возвращаясь за столик с пивом для девушки и апельсиновым соком для себя. — К вашим услугам сухой стаут «Испытание пеплом». В основе ячменный солод, копченный на торфе.

— Звучит как название ядерной боеголовки.

— Угу. Кстати, я вспомнил киношный штамп. По логике сценаристов, я мимоходом, как бы ненароком, должен спросить: «Извините, я забыл ваше имя».

— А я должна ответить: «Я его не называла». И заподозрить вас в тайных намерениях.

— Именно!

Елисей на мгновение откинул голову и опустил веки. Ему нравилась его собеседница. Его завораживали ее сдержанный голос, непокорные волосы соломенного цвета и милая щербинка между передними зубами.

— У меня эксцентричное имя, — сказала она.

— Жизель?

— Близко.

— Жанна.

— Побойтесь Бога.

— Жозефина?

— И я всю жизнь обречена искать Наполеона с имперскими амбициями.

Елисей хмыкнул.

— Я запутался.

— В общем, это шутка. Я Настя. Оригинально, правда?

— Головоломно. — Елисей поскреб в затылке. — Дайте угадаю, вас в шутку уже называли Анестезией?

— Раз сто. А как зовут вас?

— Как и героя из «Сказки о мертвой царевне» Пушкина.

— Там, где семь богатырей?

— Да.

Настя вздохнула.

— Теперь вы сочтете меня глупой, ведь на ум мне приходит лишь царь Салтан из другой сказки.

— Не сочту. Тогда вторая подсказка. Париж.

— Винсент?

— Ни разу.

— Хм. Эрнест?

— По-вашему, я похож на Эрнеста?

— Гюстав Эйфель? Оноре де Бальзак? Людовик какой-то там? Это нечестно!

— Хорошо-хорошо. Открываюсь. С Парижем связаны Елисейские поля, а королевич Елисей — это жених мертвой царевны.

— Скажите еще, что Елисея проще отгадать, чем Настю.

— На изи! Ладно, раз уж мы познакомились, может, перейдем на ты?

— Договорились. Хоть это и неловко — на «ты» с королевичем.

Елисей взял со стола зубочистку, освободил от пленки и разломил пополам. Вот бы махнуть рукой на телесные сбои, на врачебные наказы и заказать пива для себя. Пробовать сорт за сортом и длить праздник до тех пор, пока он станет невыносимым. Этот вечер слишком прекрасен, чтобы не выпить.

Пришлось незаметно ущипнуть себя за ногу.

— Мои вкусовые рецепторы передают тебе благодарность, — сказала Настя. — Кофейная линия в основе на редкость плодотворно сочетается с торфяными обертонами. Описать свои ощущения?

— Ни в коем случае.

— Тоже так подумала. Я излагаю сбивчиво, да и ты в своих обзорах, похоже, не слишком опираешься на детали.

— Верно. А вот сравнение с ядерной боеголовкой мне пригодится. Не против, если позаимствую?

Настя пожала плечами.

— Твое пиво — твой обзор — твои образы.

— Отличный слоган! Сравнение же запало, потому что я родился в уральском городе, где производят ядерное оружие.

— Как любопытно!

— Как-нибудь расскажу об этом.

Произнеся это, Елисей смешался. Сейчас Настя припишет ему тайные намерения, долгосрочные планы и сухо попрощается. Решит, что ее расположение покупают за бокал стаута. Чтобы не обременять девушку излишним интересом, Елисей тактично увел взгляд.

За соседним столом крупный тип с эспаньолкой и ранней сединой в волосах деловито заливал что-то в уши молодой спутницы. Облаченная в облегающее фиолетовое

платье до колен, она любезно, с подчеркнутым достоинством внимала рассказу, не кивая и не поддакивая.

— ... такие китайские товары «Али экспресс» отправляются в Россию транзитом через Казахстан, — утверждал мужик. — Сейчас это самый развитый торговый узел в Средней Азии. Мировые корпорации инвестируют в Казахстан миллиарды долларов, там прокладывают автодороги, строят нефтепроводы и больницы. За двадцать лет прожиточный минимум в стране вырос, вдумайся, в семь раз. Если бы меня на камеру спросили, где грамотнее распоряжаются природными ресурсами и где выше уровень жизни, в России или в Казахстане, я бы без сомнений выбрал второе.

Распевая дифирамбы дружественному цветущему государству, тип периодически проводил пальцами по эспаньолке, будто удостоверяясь, что контуры ее не изменились. Под белой рубашкой с крапинками, расстегнутой на две пуговицы, виднелась бритая грудь, красная и упругая, как дубленая кожа.

Елисея передернуло от мысли, что сейчас он выглядит похожим на этого самодовольного охотника, красующегося перед добычей.

— Я даже не предполагала, что один из главных пивных блогеров живет в Элнет Энере, — сказала Настя.

— Честно говоря, это и для меня неожиданность. Я бросил Питер и пришвартовался здесь этим утром.

— Ого.

Настя сделала большой глоток и задержала его во рту. В ее карих глазах с оливковым отливом установилось изумление, точно ей сообщили, что ее любимое кафе внезапно закрылось.

— Представь, что у тебя малоизвестный мобильный оператор, — произнесла она. — Совсем нераскрученный. Ни рекламы на «Первом канале», ни фирменных салонов связи на автобусных остановках, ни шариков с символикой компании. И вдруг ты встречаешь человека, который пользуется тем же оператором, что и ты. У меня аналогичные чувства. Я ведь тоже приехала сюда сегодня.

Ответить Елисею помешала хлопнувшая за спиной дверь. Он повернул голову, и брови сами собой приподнялись.

Лохматый субъект на пороге казался диким.

Не варваром, не безумцем, а именно диким.

Юношеские черты в облике нового посетителя уживались со старческими, а его возраст навскидку не определил бы и специалист по социальному страхованию. Кончики выпуклых ушей торчали из-под вздорных рыжих косм, а выскобленные дряблые щеки добавляли виду потрепанности. Армейский низ контрастировал с отшельническим верхом: начищенные берцы слоновьего размера и камуфляжные штаны без всякой логики дополняла затрапезная шерстяная водолазка, облепленная репейными колючками. Вошедший двумя руками опирался на алюминиевую трость.

Все смолкли. Исчезла даже музыка.

— Моя порочная паства! — загремел раскатистый голос. — Вы снова отринули учение Божье!

Раздались аплодисменты.

— Руби с плеча, святой отец! — выкрикнул кто-то.

— Слава проповеднику!

Новоявленный гость потопал вдоль столов и барной стойки в дальний конец, волоча за собой трость. Она погромыхивала на стыках кафельных плит, как железнодорожный состав во время торможения.

Почти добредя до кухни, вихрастый субъект развернулся.

— Известно ли вам, что есть незрелость? Откуда она берется? Пребывает ли она в душах от рождения или проклевывается в них потом ростками белены и дурмана? Считается ли незрелым безвинное дитя или его безгреховная сущность ограждена от той незрелости, что губит нас?

Притихшая публика ждала продолжения.

— Вчера у фонтана меня потрясла юная дева. Она курила электронную сигарету и плакала так, что ее слезы, подобно воскресному дождю, зашуршали в моем сердце. «Что с тобой, дочь моя?» — спросил я, подавая платок. «Моя жизнь кончена! — воскликнула юная дева. — Кругом ложь и вероломство!» — «Но почему ты так решила?» — снова спросил я. И тут она утерла слезы и промолвила: «Потому что нож в спину вонзают те, кого защищаешь грудью».

«Проповедник» ударил кулаком по барной стойке, точно она перед ним провинилась.

— Она изведала боль, — изрек он. — Она открыла, что подлунный мир заключает в себе не только радость, но и горе, не только великодушие, но и коварство, не только свет, но и мрак. Подлость сбила ее с ног, и сомнение трупными червями прокралось в ее нежную душу. Горизонт заволокло графитовыми тучами, и пыль взвилась столбом.

Между тем бармен наполнил стакан лагером и учтиво подвинул его вещателю. Дикий незнакомец отхлебнул треть и вытер губы рукавом.

— Кто из нас осмелится судить юную деву? Кто из нас проводит смехом ее согбенную фигурку, устремленную в неизвестность? Кому из нас неведомо отчаяние, заполонившее ее? Разве не сталкивались мы с бесчестьем, которое сокрушает волю, и с обманом, который толкает в пропасть уныния? Разве не настигало нас озарение, что властвуют в земной юдоли негодяйство и беззаконие, лицедейство и алчность, равнодушие и цинизм, хейтерство и хайп? Словно кишечная хворь, набрасывались на нас немощь, страх и великий трепет. Не умея совладать с этими напастями, мы мирились с ними. Да, говорили мы, здесь нет ничего, кроме торжествующего скудоумия и циркулирующего разврата. Да, говорили мы, Бога не существует, а если Он и был когда-то, давно нас оставил. И считали себя умудренными, прозревшими, проникшими в чернильную сердцевину мироздания.

«Святой отец» запрокинул голову и опустошил стакан с пивом.

— И в этом наша роковая ошибка и слабость. Мы принимали за зрелость всеведущую ухмылку, прилипшую к устам, и презрение к боли ближнего своего. Мы кичились горьким опытом, как кичатся породистыми псами или горными алмазами. Мы кляли тех, кто гонится за деньгами, за статусом, за славой, кто поклоняется вещам и накручивает подписчиков в «Инстаграме», и брезговали теми, кто живет иначе. Боже всемилостивый, вопрошаю я, и это называют зрелостью?

Субъект сделал паузу и продолжил, теперь уже тихо и вкрадчиво.

— Подлинная зрелость иная. Она состоит в ясности ума и твердости сердца. Человек, верный Господу, говорит ясно и твердо держится своих слов, приспешник же дьявола изъясняется путано и в разговорах виляет. Незрел не младенец, кричащий в люльке, а человек, познавший сладость греха, как познают друг друга жених и невеста на свадебном ложе, и дозволивший себе грешить. Младенец не примет дьявола в объятия, ведь что младенцу до токсических щедрот, обещанных дьяволом! Что младенцу до лести и вирулентных ласк! Дьявол вербует лишь тех, кто уже вкусил от разочарования и подверг сомнению истину, красоту и благо. Незрелость — вот имя той слабости, что разоружает нас пред дьяволом. Незрелость — вот тот порок, что рушит нашу связь с Господом. Да превозможем мы в себе этот порок, да не убоимся зла, да не уподобимся гнусным шакалам! Укрепляйте в душе добродетель и будьте примерной паствой! Аминь!

— Аминь! — заголосили из-за столов.

«Святой отец» пригрозил тростью невидимым врагам и под овации бар покинул.

Тип с эспаньолкой кивнул куда-то в пустоту.

— Приз зрительских симпатий сегодня за ним, — пробормотал Елисей.

— Я бы даже сказала, приз зрительских эмпатий, — прибавила Настя.

Она смущенно отпила из бокала. Елисей, меньше всего желавший остаток вечера обсуждать посторонние вещи вроде вечерней проповеди, сказал:

— Я заволновался, когда ты объявила себя эмансипированной женщиной.

— Почему?

— Испугался, что припомнишь мне все грехи патриархата.

— Слишком много разговоров о грехе в столь тесном пространстве, — усмехнулась Настя. — Не бойся меня, я не злая фемка. То есть злая, но не настолько, чтобы мечтать о мире без мужчин и расценивать каждый мужской жест как харассмент.

— Тогда вздохну с облегчением. Я не настолько наивен, чтобы верить, будто можно жить без предубеждений, но твоя категоричная враждебность меня бы обескуражила.

Елисей отметил, что бессознательно воспроизвел ту же речевую конструкцию, которую использовала Настя. Не настолько, но.

— Как и любое социальное движение, феминизм неоднороден, — сказала она. — Раздоры между его течениями и внутри них иногда даже яростнее, чем споры с мужчинами.

— Подозреваю, что вы ссоритесь посильнее, чем фрейдисты с юнгианцами.

— Наверное, да. По статистике, половина банов в феминистских пабликах выписываются женщинам. Движение расколото. Если либеральные и интерсекциональные феминистки в целом дружат между собой, то радикальные презирают первые два течения и называют их представительниц подстилками патриархата.

— А в чем коренное различие между ними?

Настя сделала последний глоток пива и вытерла губы, аккуратно, как на званом ужине, приложив к ним салфетку.

— Либеральные феминистки борются за равенство прав с мужчинами и выступают за равные зарплаты, за равные карьерные возможности, за отсутствие гендерных привилегий. Либеральные феминистки винят не отдельных мужчин, а консервативные патриархальные ценности. Интерсекциональные феминистки идут дальше и воюют с притеснением как таковым. Если либеральный феминизм по преимуществу ставит в центр белую западную женщину, то интерсекциональный настроен на устранение самых разных дискриминаций: по гендеру, по цвету кожи, по сексуальной ориентации, по возрасту, по телосложению. Иначе говоря, интерсекциональные феминистки расширяют пространство борьбы и шире толкуют справедливость.

— А радфем?

— Радфем беспощаден ко всем, кто не разделяет его ценности на сто процентов. Для радикальных феминисток женщины и мужчины — это два полушария, два замкнутых сообщества: первое — угнетенные и жертвы, второе — угнетатели, абьюзеры, насильники. Среднего не дано. Они убеждены, что нет мужчин вне патриархата. Тогда как либеральные и интерсекциональные феминистки хотят реформировать систему, радикальные мечтают ее опрокинуть. Отсюда и введение в речь феминитивов, и отрицание концепта романтической любви, и даже неприязнь к трансгендерам.

— Я, конечно, трансами не восхищаюсь, но их-то за что? — удивился Елисей.

— По мнению радфем-активисток, есть за что. Если женщина меняет пол на мужской, то ее причисляют к предательницам. Мужчину, который совершает обратное, тоже не признают за своего. Радикальные феминистки утверждают, что женщина не с рожденья — это не настоящая женщина, так как бывшему мужчине неведомы ощущения бесправного и угнетенного недосущества, которым якобы чувствует себя женщина на протяжении жизни.

Елисей хмыкнул, чтобы резко не выражаться.

— Некоторые радикальные феминистки ненавидят маникюр, юбки, бюстгальтеры и любые собственные неудачи объясняют через гендер, — сказала Настя.

— Если мой вопрос покажется нескромным, ты вправе разбить о мою голову бокал, — произнес Елисей. — К какому направлению себя относишь ты?

Настя, прищурившись, приподняла бокал над столом, взвесила в руке и опустила обратно.

— К анархо-феминизму. Я тоже за кардинальную перестройку общества, но по экономическому принципу, а не по радфемовской модели. Меня раздражают развязные

мужланы и книги с идиотскими названиями вроде «Женщина как социокультурный продукт», и в то же время я понимаю, что дремучие патриархальные нравы и неравенство зарплат — это далеко не все ущербные стороны современной цивилизации.

Пока Елисей осмыслял услышанное, Настя поблагодарила за пиво и сообщила, что ей пора.

— Мне надо морально подготовиться ко сну, — пояснила она. — Тяжело засыпаю на новом месте. Настоящая головная боль.

— Лучшее средство от головной боли — напряженная интеллектуальная работа, — заверил Елисей. — Например, игра в крестики-нолики с воображаемым врагом. Подсчет овец также годится.

Ему не хотелось отпускать Настю. Он восхищался девушками, которые, будучи красивыми и умными, не выставляют напоказ свои преимущества и не напрашиваются на симпатию.

— Когда заметка о стауте будет готова, я могу отметить тебя в публикации, — предложил он. — Ты ведь подписана на мой блог в «Инстаграме»?

— Я оттуда удалилась. Лучше прочитаю заметку на «Крафт депо».

— Упомянуть тебя в ней?

— Не стоит.

Внутри Елисея как будто застрял лифт, с грохотом и скрежетом.

— Тогда с моей стороны будет преступным не соблюсти правила этикета и не предложить тебе еще одну дегустацию. Само собой, никаких сидров, сладких элей и молока в составе.

— Почему бы и нет?

Она произнесла это непринужденно, без вежливой сухости и без церемонной улыбки. Лифт снова поехал.

— Тогда так же, через неделю, в пятницу?

— Я за. В восемнадцать. Или в девятнадцать. Если тебе удобно.

— В восемнадцать! — воскликнул он и с трудом удержался от неуместного «спасибо».

Они договорились, что Настя добавит его в друзья «ВКонтакте», и попрощались у бара.

Елисей твердо решил не оборачиваться. Оглянешься — пропадешь. Оглядка — растерянность, сбой, навязчивый морок. У него забор забот и еще тысяча причин не оглядываться.

Когда Елисей все-таки повернулся, Настя уже исчезла за углом.

Интерлюдия
«Испытание пеплом»

Над проектом трудились лучшие умы крафтового цеха, Платоны и Аристотели от философии пива. Запершись в секретном бункере под ничем не примечательной железнодорожной станцией, они сутками напролет ставили опыты над водой и над огнем, над сахаром и над солодом, варили и коптили, ломали копья в кровавых диспутах и жгли торф, любовно собранный отважными мелиораторами на галлюциногенных болотах. Когда драгоценный напиток был готов, первый бокал поднесли дежурному на станции. Вглядевшись в таинственное варево цвета дегтярной эмульсии, дежурный храбро отхлебнул.

Волна жженого оцепенения окатила его с ног до головы, точно поток фотонов обрушился на сетчатку. В эпицентре всё испарилось. Стекла лопнули так же бесшумно и стремительно, как и рассыпались стены. Площадь с ратушей и памятником старому вождю песочным вихрем взмыла в воздух. Солнце вымахнуло из-за горизонта и, осветив все, растворилось в янтарном небе. Следом на месте солнца проступило зловещее клубообразное Нечто. Оно походило на гигантский обугленный гриб и на сумрачное дерево с полыхающей кроной, на абажур, подсвеченный лампой накаливания,

и на обезумевшего джинна, высвобожденного из бутылки. Казалось, субстанция, преодолев все диалектические противоречия, вырвалась из замкнутой цепи самопорождений и перед уничтожением себя обрела, наконец, завершенную форму, одновременно сверхъестественную и зримую, губительную и притягательную. Словно в насмешку над мирозданием, над зловещим Нечто вырос пламенный нимб, санкционирующий это разрушение из разрушений, безумие из безумий.

Дежурный по станции, по-прежнему обездвиженный, с героическим мужеством вкушал остатки безумия. Нераспавшиеся изотопы и радиоактивный пепел. Ионизирующее излучение и сейсмические колебания. Зараженные облака, плывущие в соседние земли, и электромагнитный импульс, несущийся по линиям электропередач. Выведенные из строя компьютеры и стертые данные. Экоцид и гуманитарную катастрофу. Уставшая от беспрестанного обновления субстанция не покончила с собой, хотя и продвинулась в своих попытках еще дальше.

Настя

На репетиторском сайте она перевела анкету из родной Самары в Элнет Энер. Дома она преподавала школьникам историю и обществознание и рассчитывала в новом городе зарабатывать так же. Не у мамы же просить. Накопленные за три года положительные отзывы и высокий рейтинг анкеты позволяли надеяться, что заказы не заставят себя ждать.

Так и случилось. Насте предложили заявку. Клиент: Елизавета Андреевна. Ученик: Григорий, 9 класс. Цель: подготовка к ОГЭ. Средняя оценка: 4 ?. Ставка: 1000 рублей / 90 минут.

Елизавета Андреевна по телефону сообщила, что они желали бы заниматься дважды в неделю, в будни и выходные. Гриша — мальчик ленивый, но способный. Иногда конфликтный, но воспитанный. Позитивный и коммуникабельный. В будущем он пойдет по юридической линии, поэтому обществознание и историю надо подтягивать уже сейчас. Со старыми педагогами ему скучно, и родители принципиально ищут молодого, который умеет увлечь и донести знания в доступной форме.

— Познакомитесь, подружитесь, — сказала Елизавета Андреевна. — У вас, молодых, и подход актуальный, и методика эффективная. Сами понимаете, учителя советской закалки не тянут современные требования, да и подружиться с ними проблематично.

Настя вообразила себе обеспеченного отпрыска, почему-то рыжеволосого и конопатого, в меру развращенного и избалованного. Ей, в общем-то, все равно, с кем заниматься: с мальчиками, с девочками, с шестым классом, с одиннадцатым, с богатыми клиентами или не очень. Как показывала практика, степень порядочности не зависела от достатка в семье. Никогда не угадаешь, где нарвешься на грубость — в билетной кассе пригородного вокзала или на званом ужине у ректора.

Порой Настя стеснялась своей работы, оттого что в чужих глазах репетиторство представало чем-то легковесным, непостоянным, лишенным того ореола мужественности и будничного героизма, которые окутывали фигуру школьного учителя, чей голос охрип от многолетнего искоренения невежества и чьи подушечки пальцев иссохли от скрипучего мела. Если уч*и*теля воспринимали как агента просвещения, то репетитор, подобно домашним кондитерам и установщикам пиратских программ для «Windows», приравнивался к безликим зашибателям деньг*и*. Из-за этого Настя называла себя не репетитором, а преподавателем.

Ученик Гриша проживал в элитном микрорайоне у реки. Исполинский дом выходил окнами на роскошную набережную, а затемненные стеклянные панели неизвестного назначения, облепившие песчаного цвета фасад, напоминали солнечные батареи. Начиная с калитки, Настя не уставала изумляться, до чего здесь все избыточно: огороженный высоким забором двор, отделанный плиткой изумрудного

цвета фонтан, консьержка в синей, как у проводников, униформе, четыре лифта на подъезд, кулер с артезианской водой на первом этаже, пышные цветы в горшках. Настя оценила бы великолепие, организуй его жители своими силами, однако, будучи навязанным жилищной компанией в довесок к коммунальным услугам, весь этот шик казался чуждым, как будто приклеенный к подарочной открытке ценник.

На пороге Настю вместо Елизаветы Андреевны встретил ее муж Сергей. На лице его блуждала труднообъяснимая улыбка. По развитой мускулатуре, по стрижке с выбритыми боками, по приталенной белой рубашке и модным джинсам, подпоясанным брендовым ремнем, чувствовалось, что он борется с годами, хотя выпуклый живот и приметные морщины наглядно демонстрировали, кто побеждает в битве. Сведенные плечи, согнутые словно под бременем богатства, делали Сергея похожим на сутулого мясистого бульдога. Насте почудилось, что она этого типа где-то видела. Или кого-то наподобие него, тоже с эспаньолкой.

— Учитесь? — поинтересовался Сергей.

— В магистратуре.

— Сами отсюда?

— Из Самары.

— Как вам наш город?

— Пока осваиваюсь.

Настя мимоходом отмечала для себя убранство прихожей. Паркетная доска, ковровые дорожки, семейные фотографии в рамках. Декоративную ветку оседлало чучело тетерева — бородатого черного красавца со сложенными крыльями и с распушенным хвостом. Тетерев словно замер со вздернутыми красными бровями. Настя поежилась.

— Как будто сейчас вспорхнет и улетит, — рассмеялся Сергей и обратился к чучелу: — Нет, птичка, ты от нас никуда не улетишь.

Настя безмолвно ждала, пока ее проводят к ученику.

— Жаль, конечно, что вы не из Элнет Энера, — сказал Сергей. — В магистратуре ведь два курса обучения?

— Все верно, два.

— Мы планировали три года заниматься, до окончания одиннадцатого класса. Так-то у нас на примете был преподаватель — профессор гражданского права из Беледышского университета, мой хороший знакомый. Не срослось, и жена настояла на молодом репетиторе.

— Если мы поладим, то никаких сложностей с продолжением занятий не возникнет, — произнесла Настя. — Не факт, что я через два года вернусь в Самару. Кроме того, есть вариант со скайпом. Тоже удобная форма обучения, сейчас педагоги ее активно практикуют.

— По сути, да, — согласился Сергей. — Главное — найти контакт, понравиться друг другу.

Настя не возразила, хотя перспектива понравиться избалованному сыну мажора, увлеченного таксидермией, ее не прельщала.

По пути в комнату Гриши в дверном проеме мелькнул бильярдный стол.

Когда Настя и Сергей вошли в одну из многочисленных комнат, отпрыск, восседавший на крутящемся офисном кресле за белым письменным столом, нехотя обернулся и поздоровался. Настя заняла уготованный ей табурет. Жесткий и вдобавок низковатый, ну да ладно.

— Зовите, если что-то понадобится, — велел Сергей, затворяя за собой дверь.

Обычно при знакомстве ученики встречали Настю у порога. Гриша, худощавый подросток с безразличной миной, не искал расположения и не стремился произвести впечатление любителя истории и обществознания. Для урока он заготовил тоненькую тетрадку и черную ручку, а на здоровенном игровом мониторе застыл на паузе неизвестный Насте фильм. Стол загромождали учебники, тетрадные обложки, беспроводные наушники, восьмой айфон.

— Компьютер лучше выключить, чтобы не отвлекал.

Гриша свернул проигрыватель и перевел систему в спящий режим.

Чтобы оценить знания нового ученика, Настя традиционно задавала ему ряд произвольных вопросов из всего школьного курса. Каковы причины Великой Отечественной войны? Какая партия захватила власть во время Октябрьской революции? Когда правил Ярослав Мудрый? Что такое феодализм? Какие сословия существовали в XIX веке? Чего добивались декабристы? Кто такой Емельян Пугачёв? Борис Ельцин? Павел Нахимов? Елизавета Петровна? Настя не добивалась точных ответов, а следила за течением мысли и за умением переключаться от общего к частному и наоборот.

Гриша ориентировался в школьном курсе весьма приблизительно. Он отличал князя Владимира от Екатерины Второй, Суворова от Жукова, Ленина от Сталина, но Екатерина Первая, Брусилов и Троцкий в его картину мира не помещались. История в голове ученика не принимала линейную, циклическую или спиралевидную форму, а расплывалась на аморфные сгустки мифологем и идеологем: поганые монголо-татары уничтожали посевы и резали детей, Пётр Первый под страхом смерти принуждал брить бороды, одноглазый старик Кутузов дальновидно жег Москву и путал все карты французам, избежавшие виселицы декабристы махали кирками в Сибири, Сталин хладнокровно казнил десятки миллионов людей, советские солдатами радостно били из «Катюш» фашистскую нечисть.

— Тебе сколько лет? — спросил вдруг Гриша.

— Мы с тобой на «вы», — напомнила Настя.

— Сколько лет вам?

— Двадцать один.

— А вы еще учитесь?

— Учеба — понятие растяжимое, — сказала Настя и улыбнулась. — Великие люди вроде Ньютона и Эйнштейна учатся всю сознательную жизнь. Если же ты имеешь в виду получение образования, то я окончила четыре курса и теперь штурмую магистратуру. Но нам стоит вернуться к занятию. Как ты объясняешь для себя такой термин, как «общество»?

Гриша вздохнул, словно к нему обратились с непомерной просьбой.

— Группа людей.

— Что объединяет этих людей в группу?

— Ну, социум.

— Так, а что в таком случае называется социумом?

— Единство.

— Гриша, мы крутимся вокруг одного и того же. «Общество», «социум», «единство» — это родственные понятия, но они не позволяют вникнуть в суть дела. Мы будто скользим по поверхности.

— Не понимаю, что вы от меня хотите.

Настя извлекла на свет последние запасы дружелюбия.

— Я не жду от тебя конкретного ответа, потому что единственного определения общества, раз и навсегда зафиксированного в словарях, просто-напросто нет.

— Тогда почему я должен найти это единственное определение, если его нет?

— Я не требую найти единственное определение. Есть множество критериев, из которых и складывается упомянутое тобой единство: территория, язык, система ценностей, социальное положение, средства производства. Можно назвать эти критерии строительной смесью, скрепляющей отдельных личностей в социум. Понимаешь?

— Допустим.

Настю задело это высокомерное «допустим».

— Мне не очень нравится твой подход к занятию.

— Мне тоже, — сказал Гриша. — Я думал, что мы термины и даты начнем записывать, тетрадь вот приготовил.

У Насти задрожали губы. Тетрадь он тонюсенькую приготовил, одолжение сделал.

— С другим преподавателем и запишешь, — заключила она и направилась к выходу.

Хватит с нее унижений. Сперва ей сообщают, что ее, как дублера, взяли на замену профессору гражданского права, затем сажают на табуретку для прислуги, а в конце концов принуждают распинаться для ублажения господского сынка, имеющего свои виды на учебный процесс. И за две тысячи в неделю она якобы обязывается водить дружбу с таксидермической семейкой. Размечтались.

В коридоре Настя едва не уткнулась в Гришиного отца. Он взирал на нее с недоумением.

— Мы заниматься не будем, — сказала она.

— Что так?

— Не подружились.

Настя обогнула Сергея и услышала в спину:

— Девушка! То есть как вас... Анастасия Евгеньевна! Потрудитесь объяснить, в чем дело.

— Пусть Гриша объяснить. А я не хочу, чтобы ко мне относились как к сырью какому-то.

— Что за снобизм?

Настя не ответила. Разобравшись с первого раза с хитроумным дверным замком, она шмыгнула за порог.

Она назвал ее девушкой!

Ну да, раз она девушка, от нее многого не ждут. Пусть, стало быть, не выеживается и не жалуется, раз ее угораздило родиться гендерно неполноценной.

Мало кому в голову приходило, что женщина способна изобрести двигатель или хотя бы самовар. Нет, снисходительно замечали они, ее удел — вдохновлять, следовать рядом и быть осыпанной за это горой однотипных комплиментов.

Теперь еще и приравняли к снобизму нежелание сливаться с ландшафтом.

Ни разу не оглянувшись, Настя покинула мажорный дом и шмыгнула за калитку. Хоть принципы и удалось отстоять, вместо восторга обретенной свободы Настя чувствовала горечь и злобу. Она не высказала Сергею и его заносчивому отпрыску всего, что о них думает.

Лишь огрызнулась, точно моська какая-нибудь.

Настя тряслась в ржавом трамвае и слушала в наушниках голоса птиц. Когда трамвай проезжал мимо парка, солнце мелькало между ветками лип и кленов. Как будто скачки напряжения.

Сергей

Он сразу узнал ее.

Сначала она растянула маленький бокал эля, а затем к ней подрулил незнакомый парень. Они угадывали имена друг друга и обсуждали «Инстаграм». Молодежь как она есть: легко сходится, легко заводится.

Анастасия с первого взгляда ему не понравилась. Гордячка с кусачими взглядами. Колючая и слабонервная. А уж как она отреагировала на шутку с тетеревом. Хрипонин поставил бы цистерну траппистского пива на то, что эта особа сочла обитателей дома купающимися в роскоши живодерами. Типичная позиция рабов: завидовать чужой жизни и думать, что свою обустроили бы лучше, не будь они стеснены в средствах.

Жаль, правда, что Анастасия застала его в баре с Ксенией. Не ровен час, припишет ему, помимо прочих грехов, свидания на стороне.

— Она забросала меня вопросами, а потом вскочила и убежала, — сказал Гриша.

— Какими именно вопросами?

— Разными. Про Петра Первого, про СССР.

— И внезапно прервала занятие?

— Она спросила меня: «Что такое общество?» Я ей ответил: «Единство людей». Она такая: «Неправильно». Я говорю: «Нас так на уроках учили». Она снова: «Неправильно, значит, учили». Я запутался и уточнил: «Что вы хотите от меня услышать?» Она мне: «Ничего не хочу услышать, мне определения из учебника не нужны». Как я ей другое определение дам, если мы только по учебнику в школе и занимались?

— Хм.

— Я специально для нее приготовил тетрадь, чтобы термины и даты записывать, а она мне заявила: «Ищи тогда новых репетиторов и показывай свою тетрадь им».

Сергей понимал, что слова сына, как лица заинтересованного, стоит делить как минимум на три. Но даже если допустить, что Гриша преувеличил степень неадекватности Анастасии, то в сухом остатке все равно налицо ее тотальное дилетантство. Словно месячные в башку ударили. Это же позорище. Репетитора, который ведет себя как психованный, к детям подпускать нельзя.

Лиза тоже хороша. Нанимает девушек, и расхлебывай за ней. Женщины то, женщины это, женщины более ответственные. Будь вместо Анастасии парень, Сергей разобрался бы с ним. Позвал бы в кухню на профилактическую беседу за чашкой чая, научил бы манерам — аккуратно и вежливо. Расстались бы красиво, без этих показных жестов.

— Заметь, сынок, она вдобавок и приезжая. Казалось бы, деталь мелкая, но значимая.

— Почему это важно?

— Эта деталь сообщает кое-что о характере человека. Тот, кто скитается, обыкновенно нетерпелив по натуре. Он мечется из края в край, из крайности в крайность, приценивается, примеряется, прикидывает. Он неспособен определить, что ему дорого, а что нет. Слышал пословицу: «Не место красит человека, а человек — место»?

Гриша потупил глаза.

— Слышал.

— Она как раз об этом. Тот, кто мотается с места на место, ищет, где бы его повкусней и поласковей встретили. Где можно меньше работать и больше получать. От таких ни благодарности не дождешься, ни элементарной надежности. Помнишь ведь, что случилось с Римской империей?

— Она рухнула?

— Ее погубили легионеры. А легионер — это не кто иной, как наемник, гастарбайтер. Вот тебе урок истории и обществознания в одном флаконе.

Хрипонин почувствовал, что прошелся по Анастасии чересчур голословно, и поспешил подкрепить выводы:

— Разумеется, переезжают по разным причинам. Кто мигрирует из-за войны, кто перебирается из обнищавшей деревни в город ради лучшей доли. Я такие примеры не беру. Я о таких скитальцах, что без царя в башке. Как эта самая Анастасия Евгеньевна. Я еще в коридоре перед вашим занятием спросил у нее, откуда она. Так и так, отвечает, из Самары, в магистратуру у вас поступила. А дальше что? Она и не знает, что дальше. Вернется в родной город, не вернется, зачем учится, для кого — никакой ясности в голове. Нет ценностей. Зато претензий вагон.

Гриша вроде как приободрился. Хрипонин гордился тем, что сумел перевести досадный эпизод в мудрое наставление сыну. По сути, в этом и кроется искусство управленца — без лишнего шума потушить пожар, попутно вынеся из него житейский опыт и укрепив собственную репутацию.

Единственный просчет Сергея состоял в том, что Анастасия видела его в «Рекурсии» с Ксенией. Не просчет даже, а невезение. Пригласил, называется, администратора на бокал ламбика — обсудить грядущий крафтовый фест и послушать горячую проповедь. Почти служебный диалог, ничего криминального или распутного.

Не исключено, конечно, что эта психованная подумает, будто Сергей проводил

пятничный вечер с женой. Добро, если так. Кто-то смотрит сериал, кто-то навещает родственников, кто-то культурно пьет пиво в баре.

* * *

Лиза приехала из цветочного салона утомленной, но довольной. Она заключила сделку, по которой обязалась обеспечить букетами пышную свадьбу на двести человек. Жених продает холодильное оборудование, невеста ведет популярный блог о здоровых отношениях, родители с обеих сторон состоятельные, медовый месяц на Доминикане — все эти бесполезные подробности Хрипонин вынес со стоическим спокойствием, позволив жене выговориться и заслуженно похвастать успехами за чашкой кофе.

— Как там Гришин репетитор? — наконец поинтересовалась Лиза.

— А-а, репетитор, — протянул Сергей. — Я в шоке, мягко говоря. Точно петарда в кулаке взорвалась.

Он перечислил события вечера, не преминув отметить, какой многоуважаемая Анастасия Евгеньевна оказалась импульсивной, взвинченной, заполошной и некомпетентной.

— Поторопились мы через сайт специалиста нанимать, — закончил Хрипонин.

— Имеешь в виду, я поторопилась?

— Если только очень тонко намекаю.

— Ну-ну, мистер тонкий намекатель. Сбавь-ка обороты. Я сегодня добрая, но это не значит, что ты можешь вешать на меня любые обвинения.

Хрипонин коснулся пальцами руки жены и провел извилистую линию от запястья до локтя. Лиза, не шевельнувшись, с холодным любопытством проследила за нанесением незримой метки по ее коже.

— Экзамены эти, — пробормотал Сергей. — ОГЭ, ЕГЭ, баллы, шмаллы. Вернули бы нормальные вступительные испытания. Вместо этой нервотрепки. Эксперименты бесконечные, усложнения, инициативы одна глупее другой. Сканеры, камеры. Не удивлюсь, если школьники с высокими результатами будут дополнительно анализы на допинг сдавать.

Пальцы осторожно, задерживаясь на крохотных родинках, поползли вверх, к плечу.

— Увидишь, так и сделают, — продолжил Сергей. — Помимо детей, и нас начнут проверять. На Западе в тестовом режиме уже ввели экзамен на родительские права.

— Это где?

— То ли в Германии, то ли в Дании.

Лиза аккуратно ухватила пальцы Сергея, закопавшиеся под бретельку черного лифчика, и убрала их с ключицы.

— Ты прав, на сайте нет смысла репетитора искать.

— Да и молодым я не то чтобы доверяю.

— Чересчур возрастные мне тоже не нравятся. Они такие же капризные и вспыльчивые. Кроме того, детям с ними скучно... — Лиза задумалась. — Слушай, а давай ты поднимешь свои связи и разведаешь, где найти толкового преподавателя. Опытного, но гибкого. Не такого, который зарыл нос в конспекты из прошлого тысячелетия.

— Попробую.

— Отлично. А я напишу отзыв на Анастасию Евгеньевну. Эх, кто же знал, что все так обернется.

Сказав это, Лиза ополоснула под краном чашку из-под капучино и упорхнула из кухни. Хрипониным отнюдь не в первый раз овладело ощущение, что им насладились, причем за его счет. Сначала дерганая магистрантка выпустила на него пар, как на какого-нибудь автослесаря или починщика сумок, а теперь вот жена умыла руки после собственной осечки и честь по чести снарядила его в миссию. И если Сергей с ней не справится на пятерку, то припоминать ему будут долго.

Пока Лиза составляла отзыв, Хрипонин приготовил на троих карбонару с ветчиной и беконом по любимому рецепту: на кокосовом масле и чтобы спагетти утопали в сливках и сыре. Кулинарную струнку у себя Сергей обнаружил в те времена, когда подросла Стелла и отпала потребность в няне. Лиза настояла на отказе от домработницы, мотивируя это нежеланием подпускать кого-либо к тесному семейному кругу на расстояние оклика из соседней комнаты, а компромиссные перекусы из жареных яиц и гречневой каши, столь привлекательные в аскетичные студенческие годы, потеряли романтический шарм. Хрипонин, все активней интересующийся фермерской едой с маркером «экологично», обретал черты рачительного и благодушного хозяина, который, красуясь перед воображаемыми телезрителями фартуком в шотландскую клетку, колдовал за плитой с гарнирной лопаткой в одной руке и прихваткой в форме рождественской рукавицы в другой.

Перед ужином Лиза сунула Сергею планшет с текстом:

К сожалению, Анастасия Евгеньевна не произвела впечатление человека, готового к работе с детьми. Ей присущи эмоциональная незрелость, отсутствие выдержки, слабое знание предмета. Она не умеет мотивировать ребенка и доносить до него свою мысль. Анастасия Евгеньевна, не справившись с добровольно взятыми на себя обязанностями, убежала с первого же занятия, а на просьбу объяснить свои действия посоветовала нам искать другого специалиста.

— Выслала на модерацию, — сказала Лиза.

— Не слишком сурово? — усомнился Сергей.

— По-моему, объективно. Самое странное, что до моей оценки на сайте висело уже четыре отзыва — сплошь положительные.

— Может быть, подставные.

— Не исключено. Сейчас столько способов накрутить себе рейтинг...

Лиза положила планшет на холодильник.

— Страсть как проголодалась.

— Тогда зови Гришу. Я накладываю.

После ужина Хрипонин забрался с ноутбуком в гостевую спальню и, триумфально стряхнув с ног тапки, завалился на двуспальную кровать. Перед глазами пронеслись образы подростков из американских фильмов, возлежащих на постели в кроссовках или кедах, пока родители не видят. Вот дураки, это же неудобно.

Сергея не оставляло ощущение, будто жена высказалась по Анастасии излишне жестко и однобоко. Он вбил в поисковик «ВКонтакте» имя и фамилию. Среди четырех с половиной тысяч Анастасий Тимофеевых в Самаре числились восемьдесят три. Та самая пряталась под аватаркой с мультипликационным оленем во втором десятке.

Так-так-так. Минимум личной информации и всего шесть фото. На каждом из них лицо у нее серьезное, если не понурое, как будто ей запрещено улыбаться. В подписках тематические группы о малых и исчезающих народностях, о мировой и российской истории, о веганстве, об антикапиталистическом движении и, куда без этого, паблики с феминистическим вздором. Борьба, значит, за обездоленных и бесправных. Полный набор штампов для заклятых идеалистов с неустроенной личной жизнью.

Ткнув по случайной ссылке, Сергей прочел закрепленный на верхушке пост:

Сначала мужчины тысячелетиями удерживают в руках средства производства, а затем хвастаются тем, что все изобретения и открытия принадлежат им.

Хрипонин от души посмеялся. Да, он такой. Он добыл огонь и спустился в шахту за алмазами. Он оседлал коня и пришвартовался к берегам Америки по пути в Индию. Он поборол оспу и поднял в небо самолет, выдумал нотную запись и передал привет из космоса, сконструировал полку для обуви и одарил домохозяйку блендером.

Цельсий и Фаренгейт, Эдисон и Тесла — это все он. Он изобрел все, включая бумагу, каблуки, сепаратор, консервную банку, шприц для подкожных инъекций, вешалку, радио и самовар. Так что не мотайся под ногами, Анастасия Евгеньевна, и иди вари борщ, который, надо полагать, тоже изобрел мужчина. Притом настолько скромный, что постеснялся патентовать свое детище.

Когда смех иссяк, Сергей в очередной раз обеспокоился женским наступлением, беспримерным по своей наглости. Ядовитая идеология под видом жвачки для мозгов расползалась по сети и вторгалась в неокрепшие умы почище нацистской пропаганды. Не экологическая катастрофа, не ядерная опасность, не нашествие варваров-мигрантов — вот настоящая угроза для человечества, какой бы абсурдный или унылый облик она ни принимала. Еще поколение-два, и растерявшие остатки достоинства мальчики в унисексе будут по стенке ходить, дабы их не уличили в оскорбительном поведении.

Самое страшное, что Стелла также подпала под демоническое обаяние псевдоосвободительной псевдофилософии феминисток. Хрипонин с тревогой ждал возвращения дочери из лагеря. Стелла слала приветы и с гордостью сообщала, что выучила две сотни слов на английском. Cough, sneeze, bruise, headache, классно, правда?

Елисей

Петербург между тем не отпускал. Алкал внимания, поклонения, жертв. Ревнивый до неприличия, город напористо помещал себя в центр помыслов и устремлений Елисея, оттесняя на периферию прочие локации и означающие.

Его внезапный отъезд никого в восторг не привел. Сначала позвонил оповещенный в числе последних научрук, чье недоумение прямо по ходу длинного монолога переросло в кипучее недовольство. Следом написала настроенная мирно Лена, которая нашла через знакомых чудо-лора из Бурятии, принимающего на Озерках по вторникам и четвергам. Убедительней всех действовал деканат: там потребовали утрясти заключительные формальности с отчислением и расставить нужные подписи. Елисей по телефону едва ли не клялся, что ни одной живой душе не обмолвится, если в университете подделают его почерк, но безликий бюрократический аппарат настоял на личном присутствии.

Перебросив через плечо вещмешок с бутербродами, Елисей на рассвете во вторник ступил на трассу — все так же пытать счастья с попутками. Голодный и остервенелый, в среду он влетел в деканат Института наук о Земле за двадцать минут до закрытия и объявил, что берет всех в заложники до тех пор, пока ему не поднесут бумаги на подпись.

— Променяли магистратуру на блогерство? — пошутила секретарша.

— С особым цинизмом, — ответил Елисей, размашисто выводя фамилию под очередным документом.

Перспектива возвращаться в Элнет Энер автостопом пугала и отвращала. Во-первых, надо поспеть на барную дегустацию с Настей в пятницу вечером. Во-вторых, Елисей не чувствовал себя настолько юным, чтобы, вверив себя дорожной стихии, тащиться по обочине с бодрой песенкой на устах и искать милости у каждого попутного автомобиля. Елисей не мыслил себя вне России, однако после десятка беспрерывных перемещений из одного пассажирского сиденья в другое мечтал хотя бы день побыть бельгийцем или люксембуржцем.

Незадачливого путника в Петербурге приютила на ночь одногруппница Вика. Она запекла на ужин картошку под сыром и выволокла на кухню ортопедический матрас.

— Ты будто настоящий кочевник, — сказала Вика.

— Надо будет доложить Секацкому, — отозвался Елисей. — Пускай Александр Куприянович включит меня в номадический дискурс.

— Ты считаешь километры, как остальные автостопщики?

— Перестал считать, когда перевалило за десять тысяч. Антона Кротова мне все равно не обогнать, да и не вижу особой доблести в том, чтобы состязаться за бесполезные цифры и брать символические рубежи. Покой и свобода от болячек — вот и все, чего я желаю. Лежать под одеялом и не знать голода, жажды и будильника. Как мертвый, но живой.

Простившись с Викой на следующее утро, Елисей двинулся на остановку междугородних рейсовых автобусов. Полулегальные частники на газельках и пазиках, оснащенных телевизорами и старыми кондиционерами, предлагали относительно дешевые и в меру сердитые маршруты для тех, кто экономил на поездах и самолетах. Пришлось оторвать от сердца две тысячи рублей за возможность целые сутки, прижавшись виском к окну, ни с кем не говорить и никого не слушать. Помятый и заспанный, Елисей в пятницу едва ли не на четвереньках выполз из автобуса на привокзальной площади Элнет Энера и, размяв одеревеневшие ноги и спину, побрел к Матвею — приводить себя в порядок перед встречей с Настей.

Гладя единственную свою рубашку, Елисей прокручивал в голове сценарии грядущих диалогов. При лучшем развитии событий они с Настей беззаботно болтали обо всем подряд, то и дело с изумлением обнаруживая точки пересечения и дополняя слова друг друга. При худшем Настя заводила специфический интеллектуальный разговор, который Елисей мог поддержать разве что общими фразами. Он смыслить не смыслил ничего в феминизме, этнографии или рабочем движении, а Настю, как и любую девушку, вряд ли заинтересовали бы нудные армейские истории про пение гимна каждым утром, бесконечные фотоотчеты и недели боевой готовности. Пока Елисей жил в Петербурге, он время от времени выбирался на публичные лекции по философии и психоанализу, бессистемно посещал выступления Секацкого и Смулянского, однако не умел с уверенностью отличить Расина от Рансьера, а фаллическую фазу от генитальной.

* * *

Хотя Елисей добрался до «Рекурсии» заранее, Настя уже ждала его у входа. На ней был не броский, но практичный наряд из теплой васильковой блузки с длинными рукавами, черных брюк и джинсовых кед. Человековед внутри Елисея с осторожностью отметил, что Настя не исключает прогулку после бара.

Они заняли свободный столик.

— Несладкое и без молока? — уточнил Елисей.

— Ты чуткий. Спасибо.

Усатый бармен с крашеными в жгучий блонд волосами и бровями встретил блогера как родного и порекомендовал экспериментальный индийского пейл-эль «Колыма Inn». В роли искорки выступал растертый в порошок черный чай, добавленный в пиво при сухом охмелении и внесший во вкусовую палитру терпкие и вяжущие чифирные нотки. Бармен объяснил, что эль раскроется ярче и полней, если пить его в торжественной задумчивости, поминая политзаключенных, в сталинские годы без вины мотавших сроки за колючей проволокой на территории вечной мерзлоты. Елисей, предвкушая веселье, взял колымское пиво для Насти, а себе купил апельсиновый сок.

— Кажется, я догадываюсь, какой будет следующая заметка, — сказала Настя. — В ней ты напишешь о лагерных издевательствах и сборе стланика.

— Придется напрячь фантазию, чтобы тебя удивить, — сказал Елисей. — Кто тебе ближе, Солженицын или Шаламов?

— Шаламов.

— Аналогично.

Они чокнулись.

— Напоминает красное вино с избытком танинов. Что-то вроде молодого каберне, где дубовая бочка подавляет остальные оттенки, — произнесла Настя и заслонила рот рукой. — Ой, прости, я же не должна делиться ощущениями.

— Все в порядке. Расскажи лучше, почему у тебя пунктик против сладкого пива. Я понимаю, когда многие парни, которые мнят себя суровыми мужланами, презрительно отзываются о сидре и о фруктовых ламбиках. Мачисты полагают себя выше всего этого баловства. Но в чем твой резон?

— Это принципиальный вопрос.

— Почему?

Настя задумалась.

— Причина, разумеется, не в том, что один вкус более солидный и благородный, чем другой. И уж тем более не в моей зависти к гендерно привилегированной половине человечества. Я считаю, что сладкое пиво — это такое же лукавство, как очки виртуальной реальности или детский шампунь без слез. Тот, кто пьянеет, злоупотребляет свободой и добровольно отдает себя во власть рефлексов и инстинктов. Иначе говоря, это совсем не весело и ничуть не сладко. Опьянение — это процесс, пусть и обратимый, интеллектуального и нравственного падения на дно колодца, из которого ты будешь выбираться без посторонней помощи, карабкаясь по шершавым стенкам и стачивая ногти. Я за то, чтобы падение было жестким, как аварийная посадка в тайге, и горьким, как действительность в классовом обществе. Поэтому я предпочту индийский пейл-эль клубничному сидру.

— Убедительно, — согласился Елисей.

— Кстати, я гуглила твои публикации. Прочла прошлогодний цикл статей о культуре питья на «Ноже».

— О да, веселое время! Тогда в анкетах я называл себя писателем, пил в три горла первосортный крафт и думал, что фарингит — это не про меня.

— По-прежнему никаких подвижек со здоровьем?

— Абсолютно никаких. Глотка раздражена, будто кошка исцарапала изнутри. Вдобавок стоит набрать воздуха в легкие, как их тут же рвет на части кашель.

Чтобы подтвердить, Елисей глубоко вдохнул и затрясся в приступе кашля.

— Я не специалист, но проблемы с горлом могут возникнуть из-за рефлюкса, — предположила Настя. — Это заброс желчи из пищевода.

— Мне лор уже советовал обратиться к гастроэнтерологу, — сказал Елисей.

— Прости, что лезу с рекомендациями.

— Да ерунда.

— Правда. Сама не выношу советов, о которых легко догадаться.

— Все в порядке. Ты много извиняешься, и меня это смущает. Что до рефлюкса, то спасибо за напоминание. Мне давно пора сделать ФГДС и провести биопсию желудочных тканей. Эта неделя выдалась суматошной, а вот со следующей я примусь за обследование своего бедового тела. Слово блогера.

Настя улыбнулась и кивнула. Елисей залюбовался ею. Ее тонкие брови, безусловно, что-то сообщали о ее характере, равно как и прелестный вздернутый нос, и аккуратный вертикальный подбородок без ямочки, и изящная щербинка между передними верхними зубами, однако Елисею вовсе не хотелось наделять это геометрическое совершенство тайными смыслами. Гладкость Настиной кожи оценили бы по достоинству и фэшн-фотографы, перевидавшие на пленочно-цифровом веку тысячи моделей, а приглушенно-розовая помада подчеркивала мягкость черт лица. Оно выражало отрешенность, но не ту твердокаменную отрешенность на физии отчужденного индивида, которому в крохотное окошко суют бумажку на печать, а ту лучистую меланхоличную отрешенность, что родственна одухотворенным натурам и которая предшествует озарениям мысли.

Когда в баре заиграли «Franz Ferdinand», оливковые глаза Насти потеплели.

— «The Fallen»! — воскликнула она. — Вариация на тему «Что, если бы Иисус сегодня вернулся в наш мир?» Ничего оригинального, но задорно.

— Up now and get them, boy, — повторил Елисей вслед за вокалистом. — Задорно, ты права.

— Ты и текст знаешь?

— Не целиком. Вот у «Wonderwall» текст полностью знаю.

— «Wonderwall» все знают. Это как «Районы-кварталы» или гимн России.

— Выпьем за этот потрясающий ассоциативный ряд.

Они снова чокнулись.

— Давай я научу тебя одному трюку, — сказал Елисей.

Он бережно взял у Насти бокал, пытаясь во избежание неловкости не коснуться ее подушечек пальцев, и хорошенько звякнул по нему своим стаканом с соком. Со дна пивного бокала наверх ринулась стайка пузырьков.

— Эффектней всего такой фокус проворачивать с лагером, — прокомментировал Елисей. — Ну и, само собой, рассчитывать силу, чтобы не разбить посуду.

— Здорово!

— Не экскурс в теорию феминизма, но я старался.

— Не скромничай. Это выглядело так, словно пивной гуру посвятил неофитку в один из секретов.

— Тогда раскрою еще парочку. — Елисей покрутил круглую картонную подставку под пиво, гадая, чем бы удивить Настю. — Ты когда-нибудь делала пивные коктейли?

— Ни разу.

— Обязательно попробуй. Это полигон для испытаний. Можно, например, заполнить треть бокала соком черной или красной смородины, а сверху залить крепким темным элем. Получится кислая и тягучая смесь, что-то вроде творческого союза между русской дачной культурой и вековыми традициями бельгийских пивоваров.

— Кажется, с такого ракурса бабушкин урожай я еще не рассматривала!

— Или вот еще рецепт, называется «Ирландская бомба». Ингредиенты сугубо ирландские: стаут «Гиннесс», виски «Бушмилс» и ликер «Бейлис». Классическую стопку наполняем ликером и виски в пропорции пятьдесят на пятьдесят и опускаем этот термитный заряд в «Гиннесс». Пить надо быстро, огромными глотками. Во-первых, важен бомбический эффект, а во-вторых, сливки из «Бейлиса», смешавшись с пивом, моментально сворачиваются в комочки наподобие катышков на пальто, и напиток теряет примерно восемьдесят процентов от своей эстетической привлекательности.

— Звучит славно, но, увы, не мой вариант. Я веган и не пью молоко. Плюс ликер сладкий.

— Точно, прости. Вылетело из головы.

Настя прищурилась.

— Теперь мой черед отучать тебя от извинений, — сказала она.

— Хм, вот и я пал жертвой вредной привычки, — произнес Елисей. — Надо нам составить договор, по которому мы обязуемся не досаждать друг другу необоснованными извинениями.

— И заверить его у нотариуса.

— Непременно.

Настя сделала глоток. Елисей с неохотой констатировал про себя, что пиво в ее бокале убывает.

— Насчет «Ирландской бомбы», — сказала Настя. — Я не боюсь крепости и потому опущу в «Гиннесс» стопку, до краев полную виски.

— Звучит как заявка на вступление в ряды Ирландской республиканской армии.

— А то. Я же злая фемка.

Сменилась песня, и по стартовым гитарным аккордам Елисей и Настя синхронно опознали «Wonderwall».

— Вот это поворот! — воскликнула Настя.

— Искренне надеюсь, что наш столик не прослушивается.

— Ну да, ведь я только что пообещала вступить в террористическую организацию.

Настя замерла, внимая Лиаму Галлахеру, соловьем разливающемуся о чудесной стене, и безмолвными движениями губ сопровождала пение.

— Эта песня как награда за кошмарную неделю, — произнесла Настя.

— Что-то не так с учебой?

— Нет. Разругалась с типом, от которого зависел мой потенциальный заработок. И на горьком опыте убедилась в своей бесправности и несостоятельности. Вновь.

Елисей промолчал, ожидая, что Настя поведает, что случилось. Вместо этого она заговорила о другом.

— Я три года планировала поступление в Чехию. Учила чешский, стажировалась в этнографическом музее в Глинско, копила высокий GPA, впрягалась в волонтерские программы и в сомнительные проекты, жертвуя на них каникулы и все свободное время. Работала в сомнительном культурном фонде. А весной, буквально за месяц до защиты диплома, поняла, что бюджетку я не потяну.

— И вместо Чехии ты осталась в России.

— Не то чтобы я всегда и везде ставила Европу выше России. Совсем наоборот, я в восторге, что мне повезло родиться здесь. Без лукавства, я предпочту Алтай Парижу и Берлину, а вольную жизнь в Поморье хлебной должности в лондонском банке. Но учеба в Праге была моей мечтой.

— Почему именно Элнет Энер, а не Самара?

— Я дважды ездила сюда на конференцию, а затем выиграла Президентскую стипендию для магистров. Теперь я вынуждена писать выпускную работу по беледышской национальной общине и закапываться в местные архивы. Повторюсь, не худшая доля, но не к этому я стремилась.

Елисею претила возможность примерять на себя роль утешителя, тем более что Настя в жалости не нуждалась.

— И никаких идей, что делать в дальнейшем? — спросил он.

— Никаких. Разве что устроить мировую анархическую революцию.

— Достойный проект, — оценил Елисей. — Я с тобой. Если, конечно, меня не обяжут присягнуть радикальным феминисткам.

— А как ты относишься к частной собственности?

— Из своего у меня лишь походный рюкзак с вещами. У меня нет квартиры, машины, дачи. Депозитарной ячейки тоже нет. Я за отмену частной собственности, какой вопрос.

— Отмену, а не перераспределение. Это ключевой пункт.

— Исключительно за отмену.

— Тогда вы приняты, товарищ Елисей.

— Отлично, товарищ Анастасия.

Они стукнулись бокалами и дружно осушили их.

— Символичный разговор у нас получился под колымский эль, — сказал Елисей. — Тебя угостить еще?

— Пожалуй, мне хватит.

— Если ты за, можем прогуляться. Погода теплая.

— Почему нет?

В порыве ликования Елисей чуть не предложил Насте понести ее на руках через весь этот провинциальный город, где они так чудесно встретились.

Пока они сидели в баре, небо Элнет Энера окрасилось в сумеречный лавандовый цвет. Солнце, по расписанию укатившее за горизонт, оставило ностальгические

сливово-сизые разводы, с дионисийской щедростью размазанные по кромке. Плотный воздух словно застыл, сберегая остатки летнего тепла. На фасадах зажглась подсветка.

— Успела изучить город?

— Почти нет, а ты?

— Только дорогу до бара.

Настя приостановилась.

— Кажется, впереди будет Кремль.

— Ведите нас на Кремль, товарищ Анастасия.

Елисей предполагал, что ему придется замедлять шаг, так как за годы автостопных вояжей он навострился передвигаться быстро и обгонял пешеходов. Лена на прогулках раз за разом одергивала не в меру стремительного спутника, и они за долгие месяцы отношений, похожих на тяжбу между возмущенной прихожанкой и безучастным к ее дешевым жестам священником, так и не приноровились к ритму друг друга. К счастью, Настя являла собой противоположность. Она шла бойко, бесшумно касаясь земли кедами, не подстраиваясь и не заставляя подстраиваться под себя. Иногда она замирала, привлеченная чем-нибудь, и снова легко и непринужденно трогалась с места.

— Есть еще одна причина, по которой я уехала из Самары, — сказала она. — Я связалась с человеком, который на меня дурно влиял. Мешал готовиться к госам, расхолаживал, заявлял на меня права. Знаешь ведь, в фильмах есть такой персонаж — разбитной дружок или подружка. Его задача — сбивать с пути. Сегодня он напаивает тебя дешевым ликером, завтра без повода закатывает истерику на людях, послезавтра раскаивается и плачет у тебя на плече, потом снова что-нибудь.

— С легкостью представляю.

— Он то умиляет, то вымораживает. Такой человек то держит обещание, то нет, то превосходит твои ожидания, то не оправдывает их. Он слишком хорош и слишком плох для тебя одновременно. Самое обидное, что ты чувствуешь вину в любом случае — за свою беспомощность, за унизительную скромность, за вторые роли, которые вечно отводишь себе.

— Я с такими не сближался, но типаж мне знаком.

— Я росла без отца, с мамой. Ее забота обо мне выливалась порой в жуткие формы. Мама до сих пор уверена, что я не пью и краснею, когда слышу грубые выражения. Через разрушительную связь с этим взбалмошным человеком я, видимо, пыталась ускользнуть от маминой гиперопеки.

Елисей осторожно возразил:

— Отчасти согласен с тобой, отчасти нет. Как показывает опыт, у каждого из нас на определенном этапе возникает соблазн попробовать нечто перченое и бросить вызов устоявшимся практикам. Откуда бы эти практики ни брались: из семейного воспитания, из школьного устава, из армейского распорядка. Аналитически говоря, мы балансируем между принципом реальности и принципом удовольствия и сбрасываем накопленное напряжение приемлемым на тот или иной момент способом. Поэтому тебе не стоит винить себя за глупую связь. Не надо... С ней ведь покончено?

— Надеюсь, что да. Этот человек достал меня манипуляциями. Он мог звонить посреди пары или работы и умолять приехать. Якобы у него то, у него се, живот болит, нога опухла. Мне это надоело. Я нашла в себе силы объявить, что с меня хватит, и кинула его во все черные списки.

— Одобряю.

— Тогда же я пообещала себе не идти на компромиссы. Если меня что-то не устраивает, сразу сообщаю о своем недовольстве и обрываю контакты. Больно, зато честно.

По высоким кремлевским стенам, ровным и гладким до блеска, без труда угадывался новодел. Красный кирпич приобретал ночью тяжеловесный багровый

оттенок, приличествующий, впрочем, главной городской крепости. Вдоль фасада располагались в ряд декоративные пушки, развернутые дулами в сторону предполагаемого противника, который осмелился атаковать культурный заповедник. Информационные таблички утверждали, что пушки отлиты по старинным эскизам, и скрупулезно декорированные фигурной резьбой лафеты на огромных колесах вроде бы удостоверяли это.

Елисей тщетно осмотрел несколько орудий в поисках запального отверстия, и они с Настей проследовали в высокую арку, сделанную в главной башне Кремля, увенчанной зеленым, как июльская листва, шпилем. За аркой вне всякой симметрии теснились строения самого разного стиля и калибра. Среди них выделялись гигантский собор с пятью золочеными куполами в форме луковиц и барочные домики в малахитовых и пунцовых тонах, похожие на здания гильдий времен Ренессанса. Под крышами барочных домиков размещались банки, закусочные, кофейни, сувенирные киоски, трогательные зоопарки, музеи.

— Пышное зрелище, — отметил Елисей.

— Все для народа, — поддержала Настя.

По усилившемуся ветру и потянувшей спереди прохладе стало ясно, что они направляются к реке.

— Кстати, перед отъездом из Петербурга я тоже развязался с капризной особой, — сказал Елисей. — Не назову разрыв болезненным, и все же.

— Тебя в ней что-то раздражало?

— Пожалуй. Я же прекратил с ней общение.

— Что именно, если не секрет?

— Страсть к биполярной депрессии. Такой диагноз она себе поставила, начитавшись психологической литературы. Кроме того, она упивалась агорафобией, дереализацией и паническими атаками. Помнится, она выкладывала в «Инстаграм» простыню за простыней о том, как важно бережно относиться к человеку, страдающему депрессией, и беречь его ранимую натуру.

— Это модно — романтизировать психические расстройства, — сказала Настя. — Вот дисбактериоз или гломерулонефрит романтизировать совсем не хочется.

— Модно и выгодно. Моя пассия, например, корила меня за то, что не чувствует себя моим сладким пирожочком.

— Какой инфантильный ужас.

— В ответ я говорил, что это сама она не чувствует себя *своим* сладким пирожочком и потому валит на меня вину за низкую самооценку. Этот вывод ее только злил. В общем, никому не пожелаю возиться с депрессивными субъектами и убирать за ними ментальный мусор. Их нарциссизм безграничен.

Дорога за красными стенами спускалась к набережной, отделанной широкими плитами. Набережная была застроена барочными домами наподобие тех, что кучились на территории Кремля, только крупнее. Фасады зданий обильно украшали пилястры и орнамент в виде пузатых ангелов, грозных львиных морд, гребня морской волны. Дотошную стилизацию под европейство подчеркивали как строгое оформление строений, так и стерильная чистота мостовой, словно надраенной с шампунем. На реке допоздна работала станция по прокату лодок и катамаранов, а со станции звучали эстрадные хиты.

Елисей с Настей остановились перед памятником Елизавете в образе удалой девицы верхом на скачущей лошади. Длинное, до пят платье императрицы по замыслу скульптора развевалось по ветру. На лице Насти застыло то же, что и в баре, выражение элегической отрешенности, притягательной, как солнечное затмение или рассветный туман над озером. Эта решительная девушка, мечтавшая о мировой революции и разругавшаяся с неким влиятельным типом в первую же неделю пребывания в городе,

казалась странной и неуместной, точно бокал для пива «Квак». Елисей отмечал про себя, что подпадает под ее обаяние, и не противился этому.

— Есть одно средство, — сказал он, — которое помогает мне избегать нездоровой привязанности к кому-либо.

Настя улыбнулась.

— Старый добрый цинизм?

— Это не наш метод.

— Что тогда?

— Я никого не ставлю в центр. Ни другого человека, ни себя и свою гордость. Это не означает, что я веду себя безалаберно и пускаю все на самотек, нет. В меру возможностей я чуток и внимателен, добр и терпелив, надежен и снисходителен. Тем не менее я не обожествляю тех, к кому привязываюсь, и не извожу себя, если что-то движется не так. Это мешает вкушать аффекты полной ложкой, зато предохраняет от нервных срывов и прочих излишеств.

— А что ты ставишь в центр?

— Не знаю. — Елисей задумался. — Наверное, пивные заметки. То есть не число подписчиков и лайков, а сам акт письма.

— Здорово! А я этнографию! Во мне живет дух исследований.

Они миновали еще два памятника. Босой рыбак за лодочной станцией разворачивал невод. Напротив дворца бракосочетания позировала свадебная пара из Ренье III при параде и Грейс Келли с букетом невесты.

— Ты сочтешь меня ненормальной, но я задам этот вопрос, — вдруг сказала Настя. — Я разным людям его задаю. Этнограф как-никак. По-твоему, что такое человек?

— Что такое человек? — переспросил Елисей.

— Какое определение ты бы вложил в это понятие?

Елисей на мгновенье замер, собираясь с мыслями. Он будто вновь очутился в университете и угодил на экзамен.

— Мое сердце принадлежит психоанализу, поэтому я на время забуду о биологических концепциях, которые лишь сбивают с толку, — произнес Елисей.

— Твоя воля.

— Человек — это картотека речевых стратегий. Он не сводится ни к сумме обстоятельств, ни к сумме поступков, ни к сумме намерений, потому что, строго говоря, человек — это и не сумма вовсе, а набор сингулярностей, которые беспрестанно пополняются и меняют весь расклад. Человек окружает себя привычками и ритуалами, иногда разрушительными, иногда чудными, почти всегда избыточными. Он узнает себя в других и утаивает собственную сущность от типа, с которым пересекается в зеркале. Он одержим химерами: любовью и счастьем, истиной и красотой, порядком и покоем. Главная химера, пожалуй, носит имя реальности. Ее считают то жестокой, то невыносимо скучной, то желанной, то какой-нибудь еще. На какие только жертвы ни пускается человек, на какие неистовые ухищрения, чтобы вступить с реальностью в непосредственный контакт, чтобы схватить полноту бытия во всем его многообразии и клокочущем великолепии. На деле же человек вместо погони за бытием следует за тенями, раз за разом попутно отмахиваясь от своих принципов, которые в конечном итоге тоже оборачиваются тенями, разве что более плотными и рельефными. Человек расколот и расщеплен на тысячи частей, он обречен на нехватку и навязчивое повторение, но в этом нет ровным счетом никакой трагедии, потому что так работает бессознательное и такова участь субъекта. Он ежесекундно не поспевает за собой и себе не соответствует. Я, например, хочу выглядеть серьезно и солидно, но улыбаюсь в неподобающие моменты. Я многое бы отдал, чтобы быть похожим на английского джентльмена с каменным лицом, который одинаково апатично реагирует на смерть

любимого дворецкого и на выигрыш на скачках. Вместе с тем мне известно, что таких англичан не существует, а сам я — всего лишь человек, расколотый и расщепленный.

— Полегче, полегче, — сказала Настя. — Предупреди ты меня о столь роскошной речи, я бы включила диктофон.

— Это не для прессы, — с деланым высокомерием воскликнул Елисей.

— Какие мы заносчивые. Кстати, ты убедил ознакомиться с психоанализом.

— Это моя миссия. Я агент фрейдолакановского знания. Вербую агентов, служу партийным интересам. Если без шуток, то настоятельно рекомендую не откладывать знакомство. Психоанализ — тонкая вещь.

— Тонкая?

— Он не о том, что сказали, а о том, что умолчали.

— Этнография отчасти о том же.

Елисей гордился тем, что сумел увлечь Настю. Он соотносил себя с ней, а она, желал он верить, соотносила себя с ним.

По пути на автобусную остановку Настя в свойственной ей сдержанной манере поблагодарила за вечер и сказала:

— Поправляйся скорее. И сообщи, если что-то понадобится. Все равно что. Даже если просто поговорить и пожаловаться на горло. Я не мастер по дельным советам, но я хотя бы выслушаю.

— Помечу галочкой, что не должен злоупотреблять твоим доверием и ныть по пустякам.

— Все мы иногда нуждаемся в том, чтобы кому-нибудь поныть.

Елисей не обнял Настю на прощание. Встречного движения она не совершила, а нарушать хрупкое равновесие, покоившееся на родстве интонаций и на синхронности шагов, он не решился.

— На каком этаже ты живешь в общаге? — спросил он.

— На четвертом. А что?

— Эх, жаль, что не на пятом. Песню классную знаю.

Когда Елисей остался один, до него дошло, что он с ног валится от усталости. И все же он без колебаний согласился бы хоть каждую неделю устраивать суточные заезды в междугородних маршрутках со сломанными кондиционерами ради таких путешествий по набережным.

Интерлюдия
«Колыма Inn»

Лучшие умы крафтового цеха превзошли себя и соединили два несовместимых элемента: горький, как нестираемые воспоминания об ошибках юности, индийский пейл-эль и терпкий, как утренняя выволочка от желчного начальника, крепкий чай, известный в народе как чифирь. Хмель и кофеин. Много пьянящего хмеля и много бодрящего кофеина. На роль испытателя сорта был призван доцент из ВШЭ, тертый полемист с безупречным русским языком и четырьмя тысячами подписчиков на «Фейсбуке».

Напиток опалил доценту пищевод, и всполох пробежал по задней стенке сердца. Назрела священная война. «Фейсбук» превратился в сцену, а слова — в орудия. Давний спор о советском наследии забурлил, как адский котел, а вместо дров в пламя полетели политические упреки. Сталин и Ленин. Тухачевский и Власов. Солженицын и Бродский. Прага и Вьетнам, оттепель и застой. Колхозы и заводы, коммуналки и хрущевки. Диссидентские разговоры на кухнях и счастливые лица на майских демонстрациях. Концлагеря плюс электрификация всей страны. Виртуальное число жертв репрессий то росло до шестидесяти шести миллионов, то снижалось до одного. Как в рэп-батле, всё рифмовалось со всем: большевизм с татаро-монгольским игом, ненасытность

вождей со слезинкой ребенка, методы чекистов с экспериментами доктора Менгеле, вареные джинсы с планом Даллеса, а Крым с предсказаниями Черчилля.

Участники отваливались от полемики один за другим, не вынося запредельного градуса. Сыпались проклятия, и заламывались руки. Наконец остались лишь двое: преподаватель-либерал из ВШЭ и его патриотичный оппонент, обезумевший от собственной правоты. Он напирал по всем фронтам. Казалось, у тертого полемиста нет ни шанса. Тогда он высунулся из-за бруствера и воззвал к перемирию. Этот благородный жест, наивный и трогательный, был встречен соперником с радостью.

Никакие идейные распри не стоили перегрызенных глоток и забитых до отказа бан-листов. Бывшие противники стиснули друг друга в объятиях. Доцент вынул флягу с колымским пейл-элем и разлил его по жестяным кружкам, как по кубкам. Палачи и жертвы исчезли. Их место заняли ублаготворенные наследники великого прошлого.

Марк

Они встретились на «Октябрьской» и побрели в сторону Новой Третьяковки, огибая лужи. Анна, так и не снявшая перчатки, демонстративно убрала руки в карманы пальто. Ее красная, как вино пинотаж, помада соответствовала нуарным тонам московского марта. Разговор не клеился. Марк и Анна больше заботились о том, чтобы поддеть друг друга, чем найти общие точки. Он фамильярно называл ее Аней, а она высмеивала его ботинки.

— Постой, — сказал он. — Ну и лужи, видишь? Такие большие, что в них скоро рыбу ловить начнут.

Неуклюжая шутка изменила все. Они прекратили быть частью мрачной действительности. Анна вынула руки из карманов, ее голос потеплел. Она предложила поужинать и, услышав согласие, виновато уточнила, будет ли Марку удобно и не нарушает ли она его планов. Он насилу убедил Анну, что она не обуза, и прижал ее к себе, жмурясь от летевшей в глаза мороси.

Пожалуй, чересчур сентиментально.

Даже без «пожалуй». Очень-очень сентиментально. Имей Марк координаты сценариста его снов, уволил бы плута без выходного пособия. Хотя бы по той причине, что сны искажают воспоминания.

Обнаружилось, что Марк заснул в банном махровом халате. Недопитый виски в бокале источал, как и вечером, дымно-резиновый аромат. Хорошо еще, что не приснился теракт в метро или спаленная мебельная фабрика.

Марк выплеснул виски в раковину, умылся и щепетильно, на манер хорошего мальчика с иллюстраций в букваре, причесался перед зеркалом. Анна и ее яркая помада не выходили из головы. Тогда Марк выпрямился, наполнил легкие воздухом, задержал дыхание и заученно напряг мышцы таза. Раз, два, три... Через полминуты Марк резко наклонился и отрывистыми выдохами выпустил остатки кислорода через рот. Со стороны это, наверное, смотрелось дико. Не пополняя запасов воздуха, Марк принял строевую стойку и втянул живот до предела. Грудная клетка приподнялась, расстояние между ребрами будто схлопнулось, а к солнечному сплетению из самых низин потянулся ток, собираясь в шар. Когда шар достиг размеров теннисного мяча, Марк расслабил диафрагму и сделал вдох, затяжной и глубокий. Теннисный мяч растворился, и ток послушно растекся по артериям и сосудам.

Отдышавшись как следует, Марк дважды повторил шестое ритуальное действие. Им овладело ощущение благостного покоя, с которым и подобает встречать утро.

Чистя зубы, Марк заметил красные следы на щетке. Кровоточащие десны не сбили бодрый настрой.

Погода располагала к прогулкам — перед завтраком, после него, вместо него.

Марк понимал, что здесь не Ростов, не юг, и потому стремился насытить себя бабьим летом и открыть себя последним дружелюбным солнечным лучам. В декабре же можно махнуть в Сочи или в Судак, а можно лежать целыми днями в теплой ванне среди бугров пены и отмякать до весны. Если разнеженная душа потребует встряски, то есть и такой аттракцион: во время приема ванны топить в ней фены, радиоприемники и мобильные телефоны, пока они подзаряжаются. Риск испустить дух не выше, чем в путешествии дикарем по Забайкалью, зато опыт с электроникой чище и в некотором смысле артистичнее.

Марк, проигнорировав завтрак в отеле, устроил променад по аллее и приблудился в псевдояпонской забегаловке с телевизором, настроенном на «Муз-ТВ». Полуденное безлюдье умиляло и придавало обстановке почти домашнее очарование. В меню отсутствовали роллы с креветками, а из сахарницы, снабженной дозатором, не сыпался сахар. Молодая ведущая хит-парада на царапающем ухо сленге презентовала исполнителей одного незнакомее другого. Марк представил, что очутился на кухне у тетушки-домохозяйки, которая, хоть и не блистала кулинарным мастерством и не питала к племяннику трепетных чувств, все равно радовалась его визиту.

С «Филадельфией» в черном пластиковом контейнере Марк расправился под трек о маленькой стервочке, с которой бойз-бэнд из трех рэперов обещал разделить судьбу и фамилию. Роллы разваливались на части от соприкосновения с разбавленным соевым соусом, а сливочный сыр напоминал смесь подсоленного творога с акционным майонезом. Тем не менее благодарный «племянник» захвалил персонал за отменное кушанье и первостатейный сервис.

— Уношу в душе кусочек Азии, — польстил Марк официантке на прощанье.

Он не выстраивал маршрутов и планов и не сверялся со спутниковым навигатором. Его не торопили веление сердца и стрелки часов, не гнали в путь зависть и злоба. Марк полагался на спонтанность. Он шагал в направлении звуков светофора и на позолоченные кресты храмов в отдалении, миновал затянутые жухлым бурьяном пустыри и стихийно возникшие автостоянки, с опаской обходил настороженных уличных собак, пересекал безликие дворы с песочницами и турниками или без песочниц и турников. Время, утратившее ценность даже в презренном денежном эквиваленте, ярмом висело на плечах. Вынужденное существование по ту сторону экономии и расточительности, по ту сторону обид и притязаний, веры и безверия выключило Марка из укорененных практик межчеловеческого обмена, к которым так или иначе сводилось все многообразие культур, какие они есть.

За очередным поворотом подстерегала круглосуточная рюмочная с загадочной надписью на вывеске:

Бар «БАР»

Помимо пожилой продавщицы-барменши за прилавком, в тесном зале за круглыми стоячими столами порознь выпивали два типа. Первый, почетный пьяница в костюме-двойке верблюжьей расцветки, водолазке и мокасинах, закусывал водку бутербродами с сельдью и сплевывал косточки в салфетку. Второй, похожий на комбайнера или тракториста амбал в джинсовке и рабочих штанах, надвинув на лоб бейсболку, смотрел из-под нее «Муз-ТВ» и потягивал пиво из кружки. Стену украшал выцветший плакат с Майклом Джексоном, на подоконнике в вазе из пластиковой бутылки морщился невзрачный кактус.

Марк заказал две стопки дагестанского коньяка и шоколадку, которую разломил на дольки. Хит-парад давно закончился, и по телевизору шел в записи концерт незнакомой группы.

— Не пойму, брови у нее настоящие или нет, — прохрипел верзила пропитым голосом, следя за передвижениями вокалистки на экране.

Выпивоха словно ни к кому не обращался, хотя Марк зуб дал бы, что тот заскучал и захотел общения.

— Точно ненастоящие, — сказал «тракторист» неопределенно. — Хотя хер его знает.

Будет ему общение.

— Вы какие брови предпочитаете? — откликнулся Марк. — Натуральные или татуированные?

Амбал с удовольствием принял вызов.

— Натуральные, какой вопрос! Фальшивым бровям я верю не больше, чем восстановленной целке. А тебе какие нравятся?

— И мне натуральные. Можно и без бровей.

— Это как? — Выпивоха обеспокоился. — Уродина же получается.

— Не факт, — возразил Марк. — В классической живописи немало женских образов, чье очарование не испорчено отсутствием бровей. Джоконда та же. Или девушка с жемчужной сережкой. Видели эту картину?

— Какую?

— «Девушка с жемчужной сережкой».

— Не. А кто нарисовал?

— Вермеер. Учитывая, что девушка с жемчужной сережкой еще и в тюрбане, я не исключаю, что она вообще лысая. Впрочем, это не главное. Главное — душа.

Марк невозмутимо опрокинул стопку и откусил краешек от шоколадной дольки. «Тракторист» удержался от разоблачающих его недоумение жестов вроде поскребывания в затылке и решительно потребовал от продавщицы по новой наполнить кружку «Жигулем».

— Таких певичек на эстраде теперь до херища, — завел он разговор снова. — Ни рожи, ни голоса, зато звезда.

— Пустышки, — поддакнул Марк.

— Во-во. Знаешь, как этих звезд делают?

— Нет.

— Тогда слушай. Заводит, короче, продюсер любовницу. Чисто потрахаться. Месяц пялит ее раком, два пялит, потом ему надоедает. Он от скуки и начинает ее раскручивать. В студию возит, на сцену пропихивает, реклама, то-се. Так обычная блядь и превращается в звезду.

— Мощно.

Марк уважительно потряс подбородком.

— А то. Это мы тут с тобой пиво просроченное пьем, а в эту минуту в шоу-бизнесе несмешные деньги куют.

Верзила с чистой совестью отступил со своей кружкой. Он, завсегдатай подобных питейных центров, восстановил пошатнувшийся авторитет в глазах лощеного балабола, посмевшего на чужой по всем меркам территории поминать классическую западноевропейскую живопись.

Согласно Марку, проблема большинства мужиков заключалась в том, что они простосердечно думают, будто высоколобые субчики с правильной речью и культурными отсылками ни о чем, кроме прекрасных книжек, не ведают и боятся суровой изнанки жизни, как боятся клубка змей, осиного гнезда или неизвестной слизистой субстанции. Пролетарии самонадеянно полагают, будто уж они-то смекнули, что к чему в этом пропащем мире, и на этом основании приписывают себе неоспоримое преимущество перед высокообразованными лопухами, мягкотелыми и педантичными до зубовного скрежета.

Покинув бар, Марк вызвал такси до Фламандской набережной. Он успел привязаться к ней за неделю пребывания в Элнет Энере. Набережная символизировала ни много ни мало цивилизацию — всю, целиком, от первых алфавитов до беспилотного

такси. Здесь, на набережной, властвовала помпезность, любовно возведенная из неуместных элементов. Коллективный демиург в лице градостроителей без всяких на то отчетливых причин возжелал соорудить в своем отечестве целый квартал по образу и подобию бельгийского барокко и воплотил безумную мечту. В однотипных домах из красного и желтого кирпича с мраморными вставками, словно перенесенных на аэробусах из центра Брюгге, Марк видел памятник человеческому духу, ведомому неизъяснимыми прихотями и непредсказуемыми дерзаниями. Этот дух не делал ставку на необходимость или гармоничность, его не волновали мелочи вроде отсутствия скамеек на набережной или украденных оттуда зеленых урн. Мнительные бюргеры, приколотые к повседневным заботам, точно безвкусные брошки к бабкиному платью, усматривали в набережной всего лишь насмешку над их нуждами, всего лишь аферу по расхищению народных денег, всего лишь доказательство, что господа тысячей путей попирают рабов без снисхождения к их горькому ропоту. Между тем демиург воздвиг помпезный квартал не ради увеличения своего и без того раздутого капитала. И не ради увеселения завистливых и беспомощных бюргеров. И не ради скромной похвалы от владыки — того, что на фоне Кремля торжественно обращается к подданным в последние пять минут каждого года. И не ради беспечных парочек, что высыпают на набережную весной, будто после зимней спячки. И не ради далеких потомков с обтекаемыми силуэтами. Демиург воздвиг квартал ради того, чтобы оправдать свою миссию и возвеличить человечество в глазах Всевышнего, незримо наблюдающего за своими сынами и дочерьми из-под косматых бровей.

Марк отобедал в ресторанчике с беледышской кухней. Здесь пахло домашней снедью и хорошим маркетингом. Суп с кислой капустой и коноплей порадовал, как, впрочем, и обжаренное с грибами и яблоками щучье филе, и знаменитые трехслойные блины, и чайник душистого травяного настоя. Галантный официант щеголял в национальном костюме из длинной белой льняной рубахи, перетянутой на животе ремнем, широких черных холщовых штанов и кожаных сапог до колена. Гарсон заверил, что щуку для блюда выловили вчера в кристально чистом озере, а напоследок вместе с чеком положил в счетницу пластинку «Орбита».

По всей длине набережной на почтительном расстоянии друг от друга высились памятники: Елизавета верхом на скакуне, свадебная пара князя Ренье III и Грейс Келли, рыбак с сетью, водовоз с затравленной лошадкой, какой-то местный деятель искусства с книгой и пером в руках. Шагая вдоль них, Марк отмечал и палитру госучреждений, размещенных под сенью зеленых кровель фламандского зодчества: Минсельхоз, эндокринологическая клиника, международная школа с преподаванием на пяти языках... Страннее всего казалось сочетание под одной крышей Музея матрешек и общественной приемной правящей партии, разделенных только дверями.

Весело, наверное, притвориться сказочным простаком, который, мечтая творить добро, явится в общественную приемную правящей партии и на голубом глазу предложит ряд блестящих идей по приближению светлого будущего. Например, раздавать сухпайки в электричках. Либо организовать дни бесплатного проезда в городских автобусах. Либо построить рядом с мэрией огромный дом для путешественников.

Марка часто посещали мысли о невинных проделках. Иные идеи так и угасали в бесплотных фантазиях, а иные он с удовольствием проворачивал. Так, в Петербурге Марк симулировал кражу дрели в магазине для ремонта, а по центру Воронежа расклеил ложные объявления о пропаже длинношерстных котят с тигровым окрасом.

В конце набережной из земли торчала металлическая конструкция в форме дерева, на ветвях которого вместо листьев гроздьями свисали разноцветные замки с именами возлюбленных и датами. Сегодня Марк добрался сюда впервые и с любопытством изучал эти свидетельства чужого громогласного и оттого сомнительного

счастья. Маши беззастенчиво плюсовались с Сашами, Димы спевались со Светами, Оля образовала сердечный союз с Олегом, даже некий Борис обрел свою Элефтину.

Марка на замках не нашлось. Ни с Анной, ни с кем-то еще.

И так всегда.

А ведь он не Любомир, не Геворг и даже не Рубен.

Перед возвращением в отель Марк заглянул в супермаркет за лимонадом. За линией касс, рядом с камерами хранения, у всех на виду стоял стеклянный ящик для пожертвований на строительство церкви. На дне его покоились монеты и немногочисленные мятые купюры. Вместе с лимонадом Марк купил красную ручку-роллер и, накарябав на тысячерублевке: «Для лучшего храма во Вселенной», бросил ее в ящик. С него не убудет.

Уже в холле гостиницы перспектива очередной вечер проваляться на кровати в обнимку с бутылкой возрастного скотча потеряла свою привлекательность. Если бы Марк сочинял стихи, писал картины или хотя бы вел блог, то счел бы допустимым такой способ расправляться с временем, однако без возвышенного занятия, которое оправдывало бы одноликий образ жизни, ежедневные возлияния в четырех стенах люксового номера вызывали у Марка острые приступы чувства вины. В одиночестве его терзали воспоминания, и он нуждался в соприкосновении с людьми, пусть и сведенном к бесцельному наблюдению за ними и куцым диалогам с персоналом. Поэтому взамен того, чтобы подняться в свою уютную камеру, Марк побрел в «Рекурсию».

Благодаря бесподобным креветкам и упоительным кислым элям бар занимал второе место в личном рейтинге Марка после Фламандской набережной. В «Рекурсии», в отличие от рюмочных для луженых глоток, собиралась разборчивая публика. Она шутила, праздновала, обменивалась новостями. Здесь пили за сокровенные мечты и выбалтывали секреты — кто по расчету, а кто под натиском хмельных паров. В посетителях проглядывали забавные провинциальные нотки, выраженные прежде всего в излишней озабоченности свежими поветриями, будь то ориентиры в одежде, еде или сленге. Марк, предпочитавший легкую небрежность и помятость в наряде, отмечал, что его ровесники из Элнет Энера, одетые в выбеленные зауженные джинсы, в приталенные рубашки с подвернутыми рукавами и платья безупречного кроя, обутые в кроссовки стоимостью в половину зарплаты, по сравнению с ним представляли прямо-таки авангард вкуса. Впрочем, эти милые чудачества Марк переносил без раздражения, потому что с ними в комплекте шли такие ценные качества, как присущие молодости здоровая беспечность и аллергия на идеалы.

Марк прикипел к «Рекурсии» в том числе и потому, что угодил в ней на экспрессивную лекцию от блистательного фрика. Про себя Марк окрестил его Августином. Уличный философ тогда вещал о зрелости и незрелости, и Марк с удовольствием посмотрел бы на новое его выступление.

Оформляя заказ у стойки, Марк поинтересовался у бармена:

— Какая у вас общая численность населения?

— Не такая маленькая, — сказал бармен и подмигнул.

Креветки принесли в означенный срок. К тому моменту Марк уже справился с бокалом кислого эля и попросил вторую порцию этого восхитительного напитка, от которого заворачивалась слюна и лесенки из морщин выстраивались вокруг глаз. Заняв себя выколупыванием даров моря из розовых панцирей, Марк ловил ухом случайные фразы из потоков речей, доносившихся со всех сторон.

— Это не проблема для композитора достаточно гениального...

— Ополаскиватель для рта я бросила, когда нечаянно проглотила вместо него шампунь...

— У него было четыре стула, а он поскакал за табуреткой, как индюк...

— Ты не ты, если... Если твоя... Если с тобой... Короче, ты не ты, если не ты...

— Не сдавайся, рационализируй!

Последнее выражение Марк мог бы сделать своим девизом.

Внезапно речи оборвались. Стихла музыка.

Марк оторвался от тарелки и увидел уличного философа. Серая водолазка висела на нем как мешок, из горловины которого торчала косматая голова, насаженная на кадыкастую шею. Штаны цвета хаки и десантные ботинки на перекрестной шнуровке добавляли образу воинственности, как и увесистая трость.

— Узрел я бесчинства ваши, и сердце мое сжалось от тоски, — провозгласил Августин.

Он потопал вдоль барной стойки, постукивая тростью по кафелю перед собой, как слепец. На середине пути философ встал и метнул яростный взгляд на бармена.

— Пива мне! И не вздумай меня отравить, шелудивый пес.

Бармен не посмел ослушаться. Он наполнил граненый стакан и робко, почти полакейски, вычерпал ложечкой пену. Августин настороженно понюхал напиток и пригубил его.

— Всяких я вижу среди вас, — обратился оратор к публике. — Лукавых и простодушных, скупых и расточительных, сановитых и безродных. Есть среди вас те, кто открыто предается низменным страстям, а есть и те, кто прячет гнусные помыслы в тайных уголках души и притворяется приличным. Есть те, кто те разнуздан и зол, как бешеный вепрь, а есть и те, кто смирен и труслив, как лабораторная мышь. Но нет среди вас детей.

Философ глотнул пива.

— Осмотритесь вокруг. Изучите лица ближних своих. Напрягите затуманенный разум. И ответьте — не мне ответьте, а себе — на вопросы: «Где все дети? Почему здесь их нет? Разве может так статься, что среди веселья и шума нет ни одного ребенка?»

Августин опустошил стакан и требовательно постучал им по стойке. Бармен верно истолковал сигнал и вторично поднес стакан к крану.

— На какие только уловки вы ни идете, чтобы казаться красивыми. Втираете пудру в щеки, стрижете усы и бороду у цирюльника, нянчитесь с волосами, укладывая их то так, то сяк. Расписываете свои тела сатанинскими миниатюрами. Наращиваете мышцы на тренажерах. Примериваете тысячи платьев, чтобы найти свое. Возитесь с побрякушками, точно собачники с щенками. Жеманно облизываетесь, наблюдая за собой в зеркале. И вот вы, прихорошенные, ухоженные, являетесь сюда, чтобы сразить всех своим великолепием. Разве не в этом ваша презренная слабость?

Посетители сидели придавленные. Даже Марк, прекрасно сознавая, что философ всего-навсего эпатирует публику, чувствовал себя так, словно вместо заводного боевика угодил на фильм о Холокосте с мрачными кадрами.

— Ты несправедлив к нам, проповедник, возразите вы мне. Вовсе не из тщеславия мы наряжаемся, скажете вы, вовсе не жажда возвеличиться движет нами. И вы будете правы. Элегантное одеяние, румяна и белила — это не орудие вашего честолюбия, а лишь шторка для тех душевных язв, что поразили вас за годы скитаний в подлунном мире. Вы не желаете выставлять напоказ ваши червоточины и облекаете себя в пленительные наряды, как просвещенный грешник облекает низкие думы в изящные словеса. Вы щадите ближних и потому оберегаете их от сокрытого в вас злонравия так долго, как можете.

Августин отпил пива и причмокнул.

— И поэтому говорю я вам: осмотритесь вокруг и изучите лица ближних своих. Среди вас нет детей. Нет ваших драгоценных чад, нет младших братьев и сестер, что с невинными улыбками играют в машинки и куклы. А нет их потому, что вы стыдитесь перед ними. Вы стыдитесь язв и червоточин. Вы боитесь, что дети узрят вас развязными и болтливыми, с ухмылкой вкушающими аббатский эль и ванильный стаут. Вы не приводите сюда детей, ибо осязаете свою испорченность. Вы не хотите напоминать

себе, что дети, в отличие от вас, не кутаются в шелка и не примеряют на себя чужие мечты, вульгарные и патогенные. Дети честны, а вы не можете позволить себе такую роскошь, как беззаветная искренность.

Философ отодвинул от себя недопитый стакан.

— О дети! О невинные чаяния! О растоптанные мечты! О младенческий плач! Признаюсь, что мне тяжко выносить его. Мне тяжко видеть, как бессловесные существа задыхаются от крика, как они краснеют, надрываются, судорожно колотят ногами воздух. Этот бесформенный вопль есть не что иное, как выплеск отчаяния, захлестнувшего ребенка. Ребенка, который еще не овладел речью и не выучил слово «хтонический», но уже постиг, до какой степени хрупка его жизнь, сколько в ней мрака и горя. Когда фрустрация и уныние одолевают нас, мы лепим улыбки себе на уста. Мы малодушно уклоняемся от страха. Но не таковы дети. Они не стесняются кричать и плачем корят нас за то беспросветное бытие, в которое мы по легкомыслию забросили их.

Августин схватил трость двумя руками и выставил горизонтально перед собой, точно норовя ее погнуть или сломать.

— Нет! — воскликнул он. — Не будут наши дети расти во мраке! Не будут стыдится себя и покупать прощение у самозванцев! Не будут верить лживой рекламе и выплачивать повышенные ставки по ипотеке! Мы воспрянем ото сна и соорудим для них лучший из миров. Мы украсим его дворцами с анфиладами и райскими садами. Да будет так!

— Да будет так! — нестройным хором поддержала публика.

— Да не предаст нас воля наша, да не застынет кровь в жилах при виде сатанинского отребья. Да не убоимся мы зла и укрепим добродетель в сердцах наших. Аминь!

— Аминь!

По дороге в гостиницу Марк размышлял над лекцией. Что-то в ней такое было. Что-то, кроме комического осадка. Что-то, не подвластное расшифровке. Сам Марк, отформатированный и переформатированный, давно перестал вопить и плакать, хотя в глубине души соглашался с детьми, орущими в колясках без заметной причины. Как мужчина, полноценный ли, нет, неважно, он не мог впадать в истерику из-за оцепившей его безнадеги, и единственное, что ему оставалось, — воспринимать Вселенную не очень серьезно. Сардонически, если точнее. Другого выбора нет, разве что топить в ванне фены и радиоприемники.

Настя

В действительности она угадала, какую песню о пятом этаже имел в виду Елисей. Расшифровала предназначенный для нее код.

И эта расшифровка привела ее в замешательство.

Мосты в этом городе не разводят. Фамильярные коты, пожалуй, по дворам разгуливают, однако это ни о чем не говорит.

Настя не отрицала, что с момента знакомства с Елисеем ее жизнь преобразилась. Изменилась сама мера зрения. Настя помирилась по телефону с мамой, прекратила злиться на Гришу и его аморальную семейку, а также набрала в библиотеке кипу книг по беледышской истории и мифологии. Существенней всего — что отпустил страх, будто тот человек из «Вайбера» в любую секунду ворвется в ее жизнь с беспардонным «Эй, подруга!» Пусть хоть каждый день заводит аккаунты взамен заблокированных и рассылает бредовые послания — Настя не позволит себе даже встрепенуться хоть раз.

В немецком существовало точное слово для описания этого состояния. *Geborgenheit.*

С Елисеем Настя не боялась проронить глупость, и до него она ни с кем не чувствовала такой тонкой связи, установившейся за столь короткий срок.

А еще порядок вещей подсказывал, что за полосой теплых лучей неумолимо

следует тусклый оптический ряд. Настю растрогало, что Елисей на остановке не кинулся ее лапать под предлогом прощальных объятий и вообще избежал всех этих тактильных обрядов, которые в глазах большинства превращают собственничество в законное, если не благопристойное, обладание. Но рано или поздно Елисей попытается — само собой, деликатно и чутко — сократить расстояние. И что тогда?

Какая же она простушка в том, что касается личного и сокровенного! Ей проще разоблачить хитроумного бизнес-тренера или по заветам Леви-Стросса разобрать структуру мудреного мифа, чем разгадать замолчанные эмоции и скрытые сигналы, которые на раз считывает любой школьник старше пятнадцати.

Наверное, лучше всего будет напрямую обозначить границы приемлемого и неприемлемого. Обозначить, а после честно спросить, по нраву ли ему некто Анастасия Тимофеева с ее завышенными требованиями или нет. По зубам ли ему этот вызов с сомнительными перспективами?

Все это Настя прокручивала в голове, пока она переписывалась с Елисеем в преддверии третьей встречи.

Настя поведала, что в детстве воображала, что живет в семье динозавров. Бабушка — сальтазавр с костяными пластинами поверх кожи, мама — кусачий и когтистый тираннозавр, а она сама — юркий овираптор. Елисей в ответ рассказал о Трехгорном, где рос. В закрытом уральском городке, образованном вокруг завода по производству ядерного оружия, не совершалось ни убийств, ни ограблений, ни дебошей, и жителей окружал стерильный купол безопасности.

Настя призналась, что вычеркнула из подписок в «Инстаграме» бывшую сокурсницу, которая в постах завидовала чужой внешности, чужим путешествиям и достижениям и заражала этой завистью других. Елисей по секрету шепнул, что не следит за лентой в «Инстаграме», а использует его, как заправский циник, лишь для продвижения пивного блога.

Выяснилось, что оба предпочитают динамичное кино и не выносят затяжных кадров Тарковского, чтобы оба не терпят эстетства, опозданий, светского трепа, сломанных банкоматов, жирной пищи, клубной музыки, анекдотов про блондинок и рассказа про неношеные детские ботиночки из шести слов.

Настя выслала Елисею фото рекламного щита с призывом «Развивайся прозрачно!» Так местный депутат напутствовал малых предпринимателей.

А как развиваешься ты?)

Мутно и нелинейно, как и положено расщепленному субъекту.

Аналогично, товарищ Елисей)

Через минуту Елисей отправил снимок закусочной с надписью «Pancakes».

Ты при этом слове тоже вспоминаешь случай Человека-волка?

Прости?

Ну, Сергей Панкеев — Человек-волк, один из самых известных анализантов Фрейда.

Настя погуглила, прежде чем откликнуться.

Слишком тонкая шутка для меня, чтобы оценить сразу)
Но отныне блины для меня повязаны с психоанализом так же прочно,
как Грейс Келли с князем Монако)

Настю более чем устраивало, что Елисей не закидывает ее ежечасными посланиями и не впутывает ее в нудные ритуалы вроде обмена пожеланиями доброго дня и спокойной ночи.

* * *

В университете начались занятия. Компанейская Даша тут же подружилась с одногруппниками и вбросила идею насчет волжского пикника, которую, впрочем, нестройным коллективным решением отложили до весны. Настя же пока повременила с тесными знакомствами, так как не нуждалась в новых эмоциональных контактах. Желая побыстрее приступить к исследовательскому проекту, она условилась о встрече с научруком.

Профессор Аманда Максимовна, сухопарая дама в строгом винтажном костюме из твида и с заколотыми в пучок волосами, выразила легкое недоумение по поводу бескрайнего энтузиазма своей магистрантки. Трескучим голосом, отдаленно напоминающим дробь аиста, профессор сообщила о тех научных направлениях, по которым могла бы курировать Настю в ее этнографических рейсах, как с претензией на метафоричность выразилась сама Аманда Максимовна.

— В первую очередь и главнейшим образом, это область сакрального знания у беледышцев, — сказала она. — Магические техники, куклы-обереги, пища на обрядовых праздниках. Дикорастущие растения и колдовские свойства, которые этим растениям приписывают. Орнамент в одежде, несущий защитную функцию.

Настя, хлопая ресницами, взирала на Аманду Максимовну, пронизанную с головы до пят ученым скепсисом, инъецированную торжеством победившего разума, впитавшую со школьной скамьи язык истмата и диамата, чуткую к дыханию рынка и голосу догмы. Консервативную и расчетливую. Почетный доктор наук, повернутый на магических техниках и куклах-оберегах, выбивающий на них гранты. Что важно, это никому не кажется странным.

— Вместе с тем вы, Анастасия, можете присмотреться к блоку тем, связанных с беледышской культурой еды. К примеру, почти не изучен распространенный до 1917 года рацион коренного населения в зимнее время года. Мало сведений о традициях лечебного питания. Кроме того, не возбраняются и компаративистские исследования. Тот же беледышский стол интересно сравнить с кухней других территориально близких малых этносов.

Заполнившая две страницы блокнота мелким почерком Настя пообещала за неделю определиться, к чему лежит душа.

— Неделя — это слишком поспешно. Даю вам на раздумья две.

Напоследок Аманда Максимовна продиктовала телефон Япара Шалкиева, краеведа и видного представителя местной общины, а также известила, что в Институте беледышской энциклопедии в четверг после каникул соберется совет по защите беледышского языка. Насте, как специалисту по малым народам, будет полезным понаблюдать за собранием и лично оценить, какие меры принимает республиканское правительство для спасения национальной культуры.

Явившись в четверг в Институт беледышской энциклопедии, Настя еще до начала действа сообразила, что «полезно» — это не то слово, которое измерило бы ее пребывание здесь. Комиссия, занявшая конференц-зал, меньше всего походила на спасателей с высокой миссией. Настя застала типичный сбор должностных пустоцветов, щеголяющих в презентабельных костюмах и деловито щелкающих замками на кожаных кейсах. Это была порода функционеров от образования, которые числились одновременно в пяти-шести исследовательских штатах, перемещались с конференции на конференцию, вели вебинары с наукоемкими названиями и для пухлости портфолио издавали никому не нужные монографии и методички. Задача этих функционеров

состояла в том, чтобы переводить злободневные проблемы в отлаженное бюрократическое русло.

Совет расположился за широким круглым столом с черными микрофонами, на манер гибких щупалец торчащими из пультов. Председатель в пиджаке лакричного оттенка взял слово.

— Приветствую всех после каникул, коллеги, на нашей установочной встрече, — сказал он. — Надеюсь, вы плодотворно отдохнули и накопили много сил для содержательной работы.

Непроницаемое лицо председателя с ястребиным носом не выражало ни надежды, ни избытка накопленных сил, а лишь источало безграничную компетентность. Его седые волосы разделял четкий, словно проведенный по линейке, пробор.

— Прежде чем возобновить нашу работу, попрошу всех засвидетельствовать свое присутствие. По завершении передайте контрольный лист с подписями секретарю. Анна Евгеньевна, проследите, пожалуйста, за выполнением процедуры.

Председатель пустил список по столу и приступил к рассказу об изменениях в составе комиссии. Сначала вспомнили тех, кто ее покинул, а затем представили новых членов, поголовно почетных и возрастных, наподряд обладателей ученых степеней и наград. Насте все эти имена и фамилии с длинным хвостом из регалий ни о чем не говорили.

— Перед тем, как наметить планы на грядущий период, освежим в памяти минувшие достижения. Анна Евгеньевна, запустите нам презентацию.

Когда презентацию настроили, председатель вооружился пультом и продолжил служебный монолог, бесстрастно комментируя таблицы и диаграммы на слайдах. Столько-то учеников в республике выбрали изучение беледышского языка в рамках школьного курса. Столько-то детей пополнили садики, где воспитание осуществляется на беледышском языке. В ряде гимназий в тестовом режиме запущена экспериментальная линейка учебников. В двадцать шестой раз прошел фестиваль народной песни и пляски «Мечты полёт отважный». В семнадцатый раз вручена литературная премия «Родное сияние» имени Кежвата Сурая в номинациях «Проза» и «Поэзия». Музей композитора Стефана Кемайля открылся после реставрации. Бывшей улице Дегтярной присвоено имя летчицы Матри Кельге, героя Советского Союза. На национальном телеканале «БТВ» стартовал цикл передач об истории родного края для подрастающего поколения. Стартовали съемки двенадцатичасового детективного телесериала «Изгой» полностью на беледышском языке. На «Google Play» и «App Store» появился удобный навигатор полностью на беледышском языке. Подготовлена озвучка первого сезона сериала «Зачарованные» на беледышском языке, премьерный показ состоится в октябре. Подготовлен перевод на беледышский язык книги «Гарри Поттер и философский камень»...

Настя с присущим ей недоверием всматривалась в слайды, удостоверявшие победоносное шествие беледышской культуры по просторам Вселенной. Обстоятельное наступление по всем фронтам со смутными намерениями. Как будто в одичавшем саду проложили дорожки из гравия и украсили их арками с клематисами. Именно солидность речи председателя, рапортовавшего о прогрессивном развитии и передовых моделях организационной деятельности, подбивала Настю на подозрения, что за изнанкой благолепного фасада из народных фестивалей и переводов «Гарри Поттера» творятся темные дела. Если тебя закармливают цифрами и фактами, что-то нечисто.

О планах на осень поведал другой статусный старикан, столь же флегматичный, как и его начальник. Хотя Настя не вслушивалась, она краем уха ухватила новость о постановке на беледышском языке шекспировской «Бури» на сцене национального драматического театра.

Возвращаясь в общагу с заседания, Настя раздумывала, рассказать Елисею о комиссии или нет. Решила, что нет, так как ему будет скучно.

* * *

На пиво по пятницам, обретавшее черты доброй традиции, Елисей нарядился в куртку из кожзама, потертые чиносы и черные кеды. Из-за этого образа вкупе с длинными каштановыми прядями и непринужденной улыбкой на обветренных губах Елисей смахивал на рокера старого пошиба, постигшего азы мастерства в гараже, а не в школьном оркестре или чистенькой студии.

— Ты когда-нибудь играл в группе? — поинтересовалась Настя.

— О да. Черная страница моей биографии.

— Почему?

— Мало, что мы были молоды и пьяны. Проблема в том, что мы были молоды, пьяны и бездарны. Собирались в пустовавшем цехе пухо-перьевой фабрики и лабали панк-рок среди станков.

— Как вы назывались?

— Угадай. Даю тебе десять попыток.

— Когда в прошлый раз я угадывала твое имя, получилось не очень. Так что я пас.

— Хотя бы одно предположение.

— Что-то фрейдистское. «Панкейки»?

— Нет, тогда я дедушкой не увлекался. Та-дам! Вокально-инструментальный ансамбль «Блевотная миля»!

— Ну и фантазия.

— Шучу-шучу! Но такое название басист по первой предлагал. Мы ругались, бранились, а затем нарекли себя «Стальными пиротехниками».

— Опять прикалываешься?

— Ни разу. Перед тем, как распасться, мы даже записали сингл. «В поисках тени». Хочешь, спою?

— А я точно выживу после него?

— Три к четырем, что выживешь.

Елисей состроил величественную и яростную гримасу, словно принес не мир, но меч.

— Глаз воспаленный цепляет на стенах нервные тени двуличной системы, — напел он с гротескным пафосом. — Мертвое небо и опыт бесценный — вот и все наши с тобою тотемы.

Настя замахала руками.

— Нет-нет, прекрати травмировать мои уши. Я не вынесу.

— По-твоему, мы не имели шансов на успех?

— Ни малейших.

— Считаю так же. Думаешь, нам пока рано знать друг о друге такие вещи?

— Слишком рано. Я не готова к черным страницам твоей биографии. Лучше перейдем к питейной части.

Елисей побрел к барной стойке. Настя вздохнула. Жаль, что ему нельзя пить до сих пор.

Незадачливый рокер скоро вернулся с апельсиновым соком для себя и пивом для Насти. Мутный рыжий цвет напитка колебался между печеной тыквой и ржавчиной, выскребенной с газовой плиты.

— Морковный эль «Бабушкина грядка», — отрекомендовал Елисей. — Сварен по фермерским традициям.

— Бьюсь об заклад, что фермеры об этих традициях и не слыхивали.

Настя присмотрелась к зернистым пузырькам, рвущимся на поверхность.

— Ты уверен, что он несладкий?

— Бармен ответил, что нет.

Настя отпила. Бармен не обманул. Во вкусе и впрямь ощущалась печеная тыква,

только без приторности. И кабачок. И еще что-то с грядки. Эль чуть вязал и чуть сушил рот, но опыт любопытный.

— Я с диастемой похожа на кролика, — сказала Настя. — Поэтому морковная тема к месту.

— А диастема — это?

— Щель между передними зубами.

— Забавно. Не, я такой символический ряд в уме не прокладывал.

Настя слегка захмелела. Все двигалось своим чередом.

— Как твое горло?

— Никаких перемен. От целебного воздуха средней полосы тоже нет толку. Слизистая атрофирована, разве что кашель поумерил хватку.

— Что говорят врачи?

— Я к ним не наведывался.

Произнеся это, Елисей увел взгляд и потянулся за зубочисткой на столе.

— Ты чего, ну? Обязательно обратись к лору. Не оттягивай.

— Да я в курсе. Был загружен на неделе. Занимался документами, искал работу.

— Если тебе понадобятся деньги, то я поделюсь, — предложила Настя. — На доктора, на лекарства. У меня большая стипендия, ты меня не обеднишь.

— Тебя я еще не обкрадывал, — сказал Елисей. — Нет, друзья меня обещали по знакомству отвести к специалисту. Проблема не в оплате, а в нехватке времени. Но спасибо.

Настя про себя предположила, что дело не ограничивается нехваткой времени, и решила не допытываться насчет истинных причин. Неполная правда — это не всегда ложь.

— Обязательно обратись к лору, — повторила Настя. — Я за тебя волнуюсь.

Шумная студенческая компания освободила соседний стол. В баре внезапно образовался островок пустоты, как на месте снесенного дома. На лице Елисея уже не гуляла беззаботная улыбка, как в начале встречи.

Он молчал и беспокойно катал между пальцами пленку от зубочистки.

— Я мнусь в моменты, которые принято называть торжественными, — вымолвил он наконец, направив взор на остатки пива в бокале Насти. — Эта невыносимая приподнятость, эти застаревшие формулировки. Заскорузлые клише. Как будто тебя пригласили на сцену за «Оскаром» и обязали произнести набор этикетных фраз, чтобы помучить перед триумфом. Впрочем, это неудачное сравнение. Забей.

— Ты о чем? — не поняла Настя.

— Обычно я доверяюсь иронии, а сейчас не могу. И это раздражает.

— Так, я запуталась. Я что-то не так сказала? Что тебя раздражает?

— Что не могу довериться иронии.

Каким-то чутьем, запрятанным глубоко-глубоко, где нет категорий и оценок, Настя сообразила, что ей надо немного отодвинуться — не отпрянуть, а именно легонько отодвинуться — и отвести от стесненного Елисея пытливый взгляд. Она расслабила плечи и сделала глоток морковного эля.

— Короче, не пугайся того, что услышишь, — предупредил Елисей.

— Уже пугаюсь.

— Если быть максимально точным и конкретным, то я хотел бы угощать тебя роскошным пивом и готовить тебе веганские блюда. Я хотел бы подставлять плечо, чтобы ты отдыхала на нем после утомительных этнографических будней. За последние две недели мой горизонт определенно сместился. Не исключено, что причина не только в тебе, но и в городе со странным названием на две буквы «Э». Тем не менее я воодушевлен и восхищен, я повернут на тебе и чистосердечно в этом признаюсь.

Елисей сконфуженно поморщился и добавил:

— По крайней мере, я учел печальный опыт Игоря Николаева и обошелся без пяти причин.

У Насти все внутри замерло. А затем в голове зазвучали напористые голоса, перекрикивавшие друг друга. Они вещали неразборчиво и не принадлежали никому из тех, кто мог бы говорить властно: ни маме, ни бабушке, ни А., ни Сергею с чучелом тетерева в прихожей, ни Денису с рыбьим скелетом на футболке. На Настю словно набросились с агрессивными нотациями, невнятными и оттого не менее болезненными. На нее никогда раньше не нападали голоса. Она выскочила из-за стола и побежала в уборную, чтобы спрятать от Елисея шквалистое смятение.

Ополоснув лицо и дождавшись, пока нотации в голове смолкнут, Настя вернулась. Ее будто накрыл озноб.

— Я смутилась, — объяснила она.

— Решил, что ты не желаешь меня видеть, — сказал Елисей. — И все же посторожил твой портфель. Чтобы не стащили, пока ты отлучалась.

— Почему я не должна желать тебя видеть?

— Ну, после этого нелепого спича.

Настя пальцами робко коснулась руки Елисея, которая покоилась на столе. Рука горела.

— Все хорошо, — произнесла Настя.

— То есть ты сейчас не умчишься отсюда без оглядки?

— Ни в коем случае.

Несмотря на выпитое пиво, Настю по-прежнему трясло от озноба. Она прилагала усилия, чтобы составлять элементарные предложения.

— Не обращай внимания на странную реакцию, — сказала она. — У меня в такие моменты нет ни бури эмоций, ни бури слов.

— Все в порядке.

— Не в порядке. Из-за этого меня даже прозвали холодильником.

— Глупее прозвища не встречал.

Настя аккуратно отодвинула в сторону пустой бокал с бусинками пены, блестевшими на стенках. Елисей, очевидно, ждал вразумительного отклика на свое признание, и Настя в замешательстве размышляла, как не утонуть в общих выражениях и как не прослыть холодильником.

— Может, мы прогуляемся? — предложила она. — До набережной, как в прошлую пятницу?

Пелена осенних кучевых облаков застилала закат, отчего сумерки казались более зябкими и неприветными. Фасады зданий источали холодный свет, ломаными волнами стелющийся по тротуарной плитке. Промоутеры, накинув капюшоны своих худи и ветровок, торопливо расставались с пестрыми листовками.

В конце улицы Нарайна пустовал двухэтажный особняк, сиротливо ждавший реконструкции. Его кирпичные стены осели и местами продавились внутрь. Окна на первом этаже заколотили листовым металлом, на втором посверкивали битые стекла в гнилых деревянных рамах. Лет сто с хвостиком назад здесь, несомненно, обитало какое-нибудь «ваше степенство» или «ваше благородие», а теперь дом напоминал потухшего пьянчугу, стыдившегося своей участи.

— В геоурбанистике есть теория разбитых окон, — сказал Елисей. — Она чаще используется в криминологии, но не суть.

— Что за теория?

— Ее разработали американцы Уилсон и Келлинг в 1982 году. Если кратко, то она сводится к закону неубывания энтропии. Если разбили стекло и его не поменяли, то масштаб разрушения неминуемо разрастется. Скоро в здании разобьют все окна до единого, стены разрисуют граффити. Здание замусорят и забросят, а грязное пространство захватят бездомные или бандиты.

— Мизантропическая теория, — заключила Настя.

— Еще какая. И все-таки я удивлюсь, если этот особняк до сих пор не облюбовали бомжи.

— Чур, проверять не рискнем.

Под прицелом муляжных пушек у Кремля Настя наконец-то отважилась заговорить о самом существенном.

— Дула орудий наставлены на нас, как сумрак ночи, — начала она. — Дальше медлить некогда. Поэтому я возьму слово.

— Признайся, я все испортил?

— Не испортил. Все хорошо.

За последний час она произнесла фразу «Все хорошо» дважды. Ну и ну.

— В точном немецком языке есть точное слово «Geborgenheit», — сказала Настя. — Оно трактуется как «защищенность» и подразумевает средоточие тепла, спокойствия и уюта. Словно ты только проснулась в летней комнате от солнечных лучей, а выбираться из-под одеяла лень, потому что тебе комфортно и хочется провести так целый день. Лучше и не один. С тобой я испытываю похожее чувство.

— Ого, — только и вымолвил Елисей.

— Ты чуткий и остроумный. Ты учитываешь мое мнение и не переделываешь меня. Не рассматриваешь меня как проект, который требует апгрейдов и доработок.

— Представить не могу, что в тебе нужно что-то дорабатывать.

Они шагнули в высокую арку, высеченную в красной башне, и ступили на кремлевскую территорию с барочными новоделами.

— Загонов у меня множество, — призналась Настя. — И я имею в виду вовсе не пункт насчет феминизма.

— Вряд ли меня что-то в тебе оттолкнет.

— И все же. Например, я злопамятная.

— Я не собираюсь причинять тебе зла.

— У меня странные увлечения. Я люблю слушать голоса птиц в наушниках. Мне нравится подниматься на шестнадцатый этаж универа по лестнице и сбегать обратно. Кроме того, я обожаю браться за толстенный нон-фикшн страниц на пятьсот и его конспектировать. Позавчера, к примеру, принялась за Бруно Латура и его акторно-сетевую теорию.

— Прекрасные увлечения. Будем меняться идеями.

— И не забывай: я — холодильник.

— Вздор.

— Не вздор. Это мой главный загон. Я абсолютно нетактильная. Я против поцелуев, объятий, почесываний за ухом, держаний за ручку и прочего. Не то чтобы я стеснительная недотрога, которую надо раскрывать и постепенно готовить к телесной близости. Я нетактильная в принципе. Сразу оговорюсь: у меня нет жутких болезней, изъянов и детских травм. Кроме того, я не страдаю комплексом неполноценности. Мне это попросту незачем.

Елисей не остановился и не споткнулся. Он молчал, и Настя про себя чуть не молила, чтобы он разрядил обстановку беззаботной шутейкой.

— Ты асексуальна? — спросил Елисей.

— Да. И это не позерство.

— Прости, я обязан уточнить кое-что. Это ведь не связано с тоской по тому своенравному человеку, который сбивал тебя с пути и закатывал публичные истерики? То есть это не вежливый способ донести до меня мысль, что мы всего лишь друзья и мне нечего ловить?

— Нет-нет, ты что. Никакой тоски по бывшим. Я действительно асексуальна. И мне комфортно быть такой.

— Прости, пожалуйста.

Они покинули кремлевские стены. Дорога спускалась к пустынной набережной, освещенной сотнями фонарей. С реки дул влажный ветер, но его шумные порывы не пугали Настю.

— По-моему, это круто, — сказал Елисей, артистично спрыгивая с последней ступеньки на мощеную мостовую. — Любвеобильность Лены меня порядком напрягала. Мало того, что полежалки с ней выжимали из меня все соки, так эти нежности еще и упрощали наши отношения. Бесконечные обнимашки порождают стандартные разговоры, а застой формы — это симптом скудного содержания.

— Точно! — радостно подхватила Настя. — Я в такой плоскости об этом не думала.

— Сужу по собственному опыту. Время, когда мы не миловались друг с другом, мы тратили на заморочки вроде Лениной депрессии и моей черствости.

— Твоей черствости?

— Ну да, меня обвиняли в черствости, если я хотя бы дважды в день не извещал Лену, как крепко я ее люблю.

— Я-то полагала, что у меня загоны...

Они миновали памятник молодой Елизавете верхом на необъезженном жеребце. Настя удивилась, какая вокруг тишина. Не только из-за малолюдности, но и из-за того, что лодочную станцию закрыли и оттуда не звучала музыка.

— Значит, моя нетактильность для тебя не помеха? — Настя обнаружила, до чего же робок ее голос.

— Скорее плюс, — заверил Елисей. — Это делает связь более разноликой и возвышенной. Не в нравственном смысле, а в романтическом. Блин, я снова упираюсь в пафос.

— Все хорошо.

— Я сказал «возвышенной», потому что имел в виду высокие ставки. Мы отвергаем привычные модели и движемся навстречу неизвестности, которая ничего не обещает. Это как прыжок с парашютом, но без инструктора. Как двадцать прыжков с парашютом.

Хотя Настя и плохо считывала чужие эмоции, сейчас она бы руку на отсечение дала, что Елисей глубоко взволнован. Взволнован и наэлектризован, словно испил тока из люминесцентных фонарей, двумя плотными рядами выстроившихся вдоль прямого, как стрела, пути. У Елисея даже в самых расплывчатых очертаниях не было ни представления, что их поджидает, ни плана, как жить дальше. Как, впрочем, и у Насти.

— У меня тоже есть загон, — произнес Елисей.

— Какой?

— Ты никому не расскажешь?

— Клянусь Леви-Строссом.

— Я серьезно.

— Никому не расскажу. Обещаю.

— Дома я хожу исключительно в шляпе. Ты не против?

— Чего?

Настя едва не споткнулась.

— Шутка-минутка, — улыбнулся Елисей. — Решил, что после критической дозы пафоса нам не помешает встряхнуться.

— Я повелась. Зачет!

На противоположном берегу в сияющем великолепии раскинулись роскошные высотки, снабженные консьержками, подземным паркингом, видеонаблюдением, сигнализацией и прекрасным видом на Кремль. Настя с удовлетворением отметила про себя, что печальный эпизод с Гришей уже не злит ее, а воспринимается как комичное недоразумение. Сам же элитный микрорайон в сознании Насти отсылал не

к одному из череды ее собственных промахов, а к панорамным снимкам из заокеанской жизни. Возможно, набережная Сан-Франциско. Или Чикаго. Или Сиэтла.

Перекодировка образа. Из личной болячки в глянцевую картинку.

— Кстати, что ты вкладываешь в слово «человек»? — спросил Елисей.

— Не уверена, что я мастер определений.

— Тем не менее.

Что ж, логично.

— Так, — начала Настя. — Несмотря на то что мизантропические теории меня не устраивают, к гуманистам я тоже отношусь с подозрением. Концепция, будто человек от природы благ и невинен, кажется мне столь же простодушной, как и мысль, что внутри нас дремлет кровожадный монстр, усмиренный культурой и уголовным кодексом. Человек по натуре не плох и не хорош, не слаб и не силен, не ничтожен и не велик. Он в большей мере социален, чем биологичен, хотя и отрицание его природной основы — это непозволительное упущение. Бакунин, считавший независимость каждого индивида целью и вершиной истории, утверждал, что в любом из нас есть бунтарское чувство, которое пробуждает тягу к свободе, подчас отталкивающую и пугающую нас самих. Я бы назвала это бунтарское чувство отправной точкой человечества. Во что в итоге оно выльется в том или ином случае, зависит в первую очередь не от отдельного индивида и уж тем более не от высших сил, а от социального пространства. Тяга к свободе приобретает различные воплощения, число которых безгранично. С одной стороны, это творчество, коллективный труд, пиратские серверы с бесплатной музыкой, открытые проекты с горизонтальной организацией. С другой, — гнев, массовая истерия, народный самосуд, нацистская чума. Чем сильнее человек стеснен, тем свирепее и прямее выражается его тяга к свободе. Он не нуждается в том, чтобы его вели за руку в светлое будущее, чтобы навязывали ему прелести имперского духа, религиозной чистоты, корпоративной этики или казарменного социализма. Человека не надо представлять перед воображаемым судом истории — он представит себя сам.

— Ты явно скромничала, говоря о том, что ты не мастер определений.

Как ни желала Настя обнять Елисея на прощание, она подавила порыв. Нельзя, чтобы в ней увидели растроганную девушку, изменяющую принципам, которые только что озвучила.

И все-таки она простушка. Будь она опытней, то на речь Елисея в баре отреагировала бы сдержанней. Заявила бы, что польщена, и попросила бы время на раздумье. Нет, не попросила бы, а вежливо поставила бы в известность, что ей требуется взвесить все варианты. И непринужденно перевела бы разговор в светское русло.

А что она?

Смутилась, убежала, а затем еще и выдала инструкцию по применению с заголовком «Анастасия Тимофеева» на обложке. Раскрыла все карты.

Ну, почти все.

И как потом себя не корить?

Мария Ватутина

Жизнь обратима

* * *

В своей небесной кузне (дзинь-да-дзинь,
Да в воду пшшшш, да снова в горн нетленный),
Творец всего — приумножает жизнь
По разным оконечностям Вселенной.

Опять вон там над бездной встала тьма,
И суша появляется, и воды.
Он ставит оттиск старого клейма
И вешает на крюк её, под своды.

В Лефортове, в Немецкой слободе,
В Москве, в России, что одна шестая,
Здесь, на Земле, но, в общем-то, везде
Живу я, взглядом в космос прорастая.

Ну, то есть я — практически микроб,
Но только поумней и понахальней —
Я! — часть Вселенной! — прикрываю лоб
При взмахе молотка над наковальней.

И эти звёзды, коим нет числа,
Они — мои, до самой завалящей,
И то, что в этом мире я была,
Не мог не видеть Млечный путь над чащей.

И я могу, спасибо кузнецу
(и это знаю только я, похоже),
Гуляя по Бульварному кольцу,
Передвигаться по Вселенной тоже.

Ватутина Мария Олеговна — поэт. Родилась и живет в Москве. Окончила Московский юридический институт и Литературный институт им.А.М.Горького. Работала юристом, адвокатом, журналистом. Автор десяти поэтических книг. Победитель Первого всероссийского турнира «Красная площадь. Время поэтов» (2016), лауреат многих литературных премий.

* * *

Что было — раздала и сушит вёсла,
Ладонями наверх, разверзнув чресла,
Сидит она, и жизнь её погасла,
И смерть её прокисла.

Всё отдала, что было, до кровинки.
Подкладку, и подшёрсток, и брюшину,
Разъята снизу на две половинки,
Расщеплена впускать в себя мужчину.

Мужчиной разродившаяся после,
Собой кормила сытно в годы постны.
Всё отдала, сидит и сушит вёсла.
А по небу плывут чужие вёсны.

А эта вот — ничейная маячит.
Присвоит, оживёт, переиначит,
И кровь её запенится по жилам,
И запоёт — не снилось старожилам!

Сожмётся, словно скомканный платочек:
Ай, слава богу, не случилось дочек!
И, втягивая воздух черноземный,
Расправит крыльев парашют резервный!

И ничего, что в скомканной России
Её для лёгкой жизни не спросили,
Ну, просто мало равных ей по силе,
Чтоб от такой бессмертие вкусили.

* * *

Знаю, знаю, не во мне, не вовне,
Знаю, правда — на твоей стороне.
Знаю, знаю, где твоя сторона,
Не страна она теперь, а война.

Хлебосольные твои земляки
Побросали гарбузы, бураки,
Собирают по садам в хуторах —
Человеческие смерти и страх.

Даже если и живёшь стороной,
Ты страдаешь внутривенной войной,
Ибо замысел у Бога таков:
Кровь одна у всех у нас, земляков.

Запорошена, черствеет земля.
Заморожена, чернеет заря.
Перестрелка, артобстрел, снайпера.
Не рыдай. Уже привыкнуть пора.

Дача Пильняка

Чёрный ковёр и железные полочки.
Светит Луна. Комары.
Шкалик на письменном. Тихое *сволочи*!
Цедишь в чужие миры.

Нет тебя, страшного. Все похоронены,
Кто в этом доме живал,
Кто здесь наездами с умершей родины
В лунной фате танцевал.

Так танцевала и я, пересмешница,
Вдрызг изводя зеркала.
Тестом всходила. С постели, безгрешница,
Белой Данаей звала.

Ночью холодной — горячие простыни,
Смятые потные сны.
С дальней веранды — нечаянной поступи
Тихие всплески слышны.

Первый помещик советского дачного
Замка в сосновом углу?
Анна играет клубами табачного
Дыма, халат на полу?

Ты ли, последний герой, в окружении
Призраков этих ночных?
Я ли в оконном тебе отражении,
Неутолённый жених?

Или проклятье из уст Иокастовых
Бродит по дому в ночи?
Кто там? Да кто там! Пород этих карстовых
Тяжкий скиталец? Молчи.

Что за собор мы устроили, мёртвые,
В этом скрипучем гнезде?
Воспоминаньями к стенкам припёртые
Тени. Круги на воде.

* * *

В тёмном углу Вселенной
Койка, на койке плед.
Лампы стальной настенной
Льётся бессильный свет.

Прут времена чредою
Мимо прозрачных стен.
Но не живет мечтою
Тот, кто на койке тлен.

Слабеньким кровотоком
Внемлет большим вестям,
Чуя каким-то боком:
Катится всё к чертям.

Не потому, что взглядом
Тыркается в провал,
А потому что адом
Жизненный опыт стал.

Скрученный эмбрионом,
С тикалкой у виска,
С вечным речным Хароном
С пятой минуты сна.

Кроме него о смерти
Не с кем и позевать.
Третье тысячелетье.
Четвёртому не бывать.

* * *

Денег нет... да их и не было...
Счастье — есть. Но так... вообще...
Видно, Бога я прогневала.
Персонально — я. В плаще.

В брюках этих облегающих.
Говорила мать: ни-ни.
В муках этих обжигающих,
От лукавого они.

Вот жила бы тихо замужем:
Дети, кухня, огород.
Нет, к словарным древним залежам
Предъявила крупный счёт.

Над Москвой зима сутулится,
Дышит в тонкий родничок.
Я ещё могла бы втюриться,
Если б Боженька помог.

Только я у Них на галочке,
Не сказать «под колпаком».
Из любой любовной лавочки
Выхожу порожняком.

Лёд скорлупками яичными
Под ногами хрусь да хрусь...
Может быть, тогда — наличными.
Дальше я уж разберусь.

* * *

Не бойся старости, не бойся.
Устройся у камина в холле
И пледом в клеточку накройся,
И ногу на ногу. Не боле.

Когда ты встанешь поразмяться,
Прорвав земное притяженье,
Поймёшь: по сути, не разнятся
Два края жизни, два рожденья.

Сквозь толщу дней своих тревожных
Мы возвращаемся в младенцев
С дрожаньем в мышцах икроножных
И немотой переселенцев.

Молись и ты на оба края
Беспомощности этой ложной,
Телесности не ощущая,
Ступая цаплей осторожной.

О, не шепчи поверх дыханья,
Когда выходит старец к люду
Великой поступью прощанья:
— Неужто я таким же буду?

Поймёшь и ты у поворота,
Как древний галл в предместье Рима:
Жизнь обратима, и всего-то.
Жизнь обратима.

Александра Степанова

Жужжалка

Повесть

Они именно то, что вы полагаете.
Люди не должны быть введены в заблуждение.
Станции не предназначены, скажем так,
для общественного потребления.

Сотрудник Министерства торговли
и промышленности Великобритании

Забавные все-таки штуки эти номерные радиостанции... Да, перед сном на всякий случай не включай, а то скажешь потом, что не предупредил, вот и предупреждаю. Умом понимаешь, что слышишь позывные, а внутри все равно ёкает: кто это? где он? кто его принимает?.. А может и нет никакого «его», никаких «их»? Есть только ты — и эти слова в твоей голове, которые внушают тебе нечто, чего ты не в силах раскодировать до тех пор, пока в телеэкране не мелькнет... Там, не знаю — синяя лошадь, или субмарина битловская, или «бромал» этот двадцать пятым кадром. И все, кто крутил ручки приемников, настройки веб-сервисов радиооцифровки или просто файл в кэш загрузил и слушает, как мы с тобой сейчас, побросают дома и с пустыми глазами — в бой. Выборка, правда, так себе получится — армия спятивших радиолюбителей... И наши форумчане — в первых рядах, под командованием Энгеля. Такому даже оружие выдавать не обязательно — он глаголом жечь будет, глагол у него что надо, забористый, а главное, совершенно неиссякаемый. Это ведь Энгель первым нашел меня в скайпе, когда стало известно, что «жужжалка» теперь не из Ленинградской области, а с Алтая вещает. Пока остальные пересчитывали имеющиеся в наличии палатки и дни до получки, без которой ни в какие экспедиции их жены не отпустят, Энгель скумекал, что именно я сижу ближе всех к новому источнику сигнала. Тихонько сижу, в обсуждениях особо не отсвечиваю, не иначе, в одиночный сталкинг отправиться решил. Вот он и позвонил. Набрать совершенно незнакомому человеку, с которым на форуме парой слов год назад перекинулся, для него не проблема. Для меня — да, пожалуй, но тут уже, как говорится, граница взломана не со зла, а по врожденной простоте.

Ты же, говорит, из Барнаула? Что, *туда* поедешь? Я б поехал, но... А от тебя двести кэмэ всего — и такая тоска в глазах от невозможности немедленно из своей Москвы телепортироваться, что я даже простил ему этот звонок по скайпу. Видно, что человеку очень надо, а у меня уже и правда рюкзак собранный стоит.

Александра Степанова — литературный редактор, соведущая окололитературного подкаста «Ковен дур» (первое место премии «Блог-пост»—2019), автор книг, выходивших в издательстве АСТ. Родилась в 1984 году в городе Горьком. Закончила Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского по специальности «психолог», преподаватель психологии. Живет в Москве. Это первая «толстожурнальная» публикация.

Я, говорит, пьесу пишу. Про них. И понимаешь, там должен быть бункер.

В два ночи про бункер мне сложно, но я виду не подаю, киваю.

И живут там люди, которые знать не знают о том, что наверху, а главный у них Алтарник, это его молитву мы слышим по радио: «я — узэбэ семьдесят шесть, я — узэбэ семьдесят шесть, Бромал, Бромал». И зачем, спрашиваю, ему это нужно? А Энгель на меня стеклянно так смотрит и говорит невпопад: «Так они, ну. Влюблены». Краснеет при этом до луковиц волос, даже через экран видно, что сложно у него с любовью, да и пьеса какая-то мутная. Идея о том, что Бромал из позывных «жужжалки» — божество подземных людей, показалась мне не очень убедительной, но говорить об этом Энгелю я не стал — не мое дело. Фактуру собрать пообещал, конечно, хотя какая там фактура — лес, деревушка неподалеку, может, военная часть, но на карте ее, понятное дело, отыскать не удалось. Любовь какая-то... Чудак этот Энгель.

* * *

Вот представь: грунтовка обрывается у вполне обжитого поселка, но по координатам навигатор ведет дальше, туда, где дороги нет и в помине — сплошная снежная равнина, правда, по самому краю, вдоль леса, слегка подрасчищено. На карте в том месте белеет ничто; к ничту ведут гнилые столбы с оборванными проводами, такие, знаешь, подпирающие небо макушки языческих идолов. И по мере приближения к нужной точке вдруг появляется и нарастает монотонный гул — поначалу кажется, что это от усталости в ушах звенит, но стоит только приглушить магнитолу и опустить стекло, становится ясно, что источник шума не внутри, а снаружи, хотя все равно непонятно, где. Будто сама земля вибрирует, недовольная тем, что в нее навтыкали столбов. Справа по борту лес, а у меня тут *Forndom* и *Kring mig, jag ser blott lik men kvar i luften ∂r deras skrik*[1], ты, конечно же, помнишь, и кажется, что сто*и*т на мгновение скосить взгляд на лесную гряду, чего я не делаю, — и то, что мелькает, появляясь и исчезая в свете фар, замрет и посмотрит тоже...

И где-то там, в кромешной чаще, видится мне сидящая на яхонтовой горе Золотая Баба с сыном и внуком во чреве — Калтащ, Калтащ эква — женщина, Калтащ сунь — мать, убереженная жрецами от Торира Собаки, и Стефана Пермского, и дружинников Ермака... Вся братия Кондинского монастыря искала ее и не нашла, каратели ЧК ни угрозами, ни пытками не добились у местных хантов точного места. И только один ссыльный незнамо какими посулами заслужил доверие жрецов и прикоснулся-таки к божеству. И обрел великое могущество, и вершил судьбы мира. А звали его Иосиф Джугашвили.

Заяц! Твою ж мать...

Юркая тень на мгновение чиркает по дороге прямо перед капотом и тут же растворяется в ночи. Луч света шныряет из стороны в сторону, колеса рыхлят снег и увязают все глубже. Наконец, натужно рыкнув, глохнет двигатель. В наступившей тишине становится слышно, как барабанит по крыше и стеклам снежная крупка, покачивается в замке зажигания брелок.

Ну подумаешь — косой, вот чего шарахнулся?..

А снаружи гудит и гудит земля — высоковольтное такое «бз-з», и темень чернильная, густая, хоть ложкой черпай да в рот клади.

Я нахожу дрожащими пальцами ключ. Мотор оживает, отбрасывает прочь тонкие щупальца холода, воет, тщится выдернуть добычу из снежного плена, рывок вперед, рывок назад, заскребла по днищу снежная корка — и присели.

Вот спасибо тебе, Калтащ!

Ничего, думаю, в деревне должен быть трактор — ведь кто-то же расчистил путь. *Forndom* переселяются в наушники — так и гудения этого странного почти не слышно, и шагать веселей. «Вы сошли с маршрута», — напутствует механическая Алиса.

---

[1] Вокруг меня лишь мертвецы, но в воздухе еще витают стоны (*швед.*).

«Надеюсь, что не с ума», — отвечаю я мысленно и, поправив лямки рюкзака, по самые глаза натягиваю шарф и прячу голову под капюшон.

Да, вот еще что. В начале шестидесятых некто Молданов наткнулся на эту Бабу в охотничьем лабазе. Сообщил, разумеется, куда следует. Приехали ученые, ковырнули — а Баба не золотая, а деревянная. Жрецы подменили! Делать нечего — забрали что было. И началось — один за другим погибли музейщики, затем все восемь детей Молданова, а после и сам он паралич схватил. Хоть и идол, а алчности не прощает. Вот такая тебе история...

Деревенька нехотя показывается из мельтешащей белой круговерти. Избы поникшие, окна дремлют, только в крайнем — едва-едва свет. Дрожащий, слабенький — свеча? керосинка? При виде него внутри поднимается беспричинная, глухая, гробовая тоска, будто на чужих похоронах — только возле покойника может так тлеть, где и свет-то уже не нужен, но без него просто-напросто страшно, а с ним — таким — еще страшней. То ли звук этот как-то на мозги действует, то ли запустение вокруг — хоть бы одна собака, зараза, тявкнула — но в какой-то момент жуть становится настолько нестерпимой, что развернуться бы и деру... Вот только некуда.

Я смахиваю с ресниц снежные хлопья и топаю к дому по узенькой тропке. Крыльцо в три ступени отзывается морозным скрипом. За дверью мяукает кошка.

Мне открывают на пятый, уже почти безнадежный стук. Изнутри вырывается теплое облако с запахом жилища, окутывает приподнятую узкой кистью керосиновую лампу, колышет кружево манжеты и растворяется в стылом воздухе.

Кто ты и что здесь забыла? Как твое имя, на каком языке ты заговоришь со мной? Что за время скрывается за твоими плечами? Что там — часы с бегущими противосолонь стрелками? Разбитые зеркала? Цветы, засушенные между страницами альбомов? Фэн де сьекль, декаданс, «в решетчатые окна влетает столп огней»?.. Ребенок.

Не кошка — ребенок плачет. У нее ребенок...

Я пытаюсь стряхнуть наваждение, но оно не проходит. В чуть раскосых глазах женщины с лампой нет ни капли любопытства.

— Простите, — бормочу я в шарф и, опомнившись, стягиваю его с лица. — У меня тут машина неподалеку застряла, мне бы как-нибудь до утра...

Тьма хватает ее за запястье и втаскивает внутрь, но она все еще где-то рядом — я слышу хрусткий шелест ткани, и слабые младенческие причитания, и старческие «ш-ш-ш», и «м-м-м», и «пш-пш-пш». Лампа выплывает вновь. Одетая в пальто и горжетку, ее владелица взглядом приглашает меня за собой, подол юбки стекает с крыльца, она идет, держа перед собой огонь, и высоко вскидывает колени всякий раз, как ноги проваливаются в снег.

— Что у вас тут шумит? — спрашиваю я, чтобы хоть немного снизить уровень абсурдности происходящего. Она резко оборачивается и смотрит прямо на меня — брови-ниточки, почти черная помада на тонких губах:

— Шумит? Ничего не слышу. Ветер? Может, ветер?

Вокруг меня лишь мертвецы, но в воздухе еще витают стоны...

Ее озябшие пальцы долго и безуспешно пытаются повернуть ключ в навесном замке на калитке соседнего дома. Я жду, разглядывая расшитую бисером шляпку-колокол, пряди темных волос и беззащитную шею над платиновым лисьим мехом. Замок не поддается. Пальцы женщины едва сгибаются.

— Дайте мне.

Стянув зубами перчатку с правой руки, я легче легкого отпираю замок и протягиваю ключ своей провожатой. Та прячет его в муфту, с усилием приоткрывает створку и снова колет меня взглядом в упор.

— Только до утра. Потом уходите.

Уговаривать меня не приходится. От этого жужжания и з*а* ночь свихнуться можно. Дождусь трактора, дернем из сугроба «Князя», может, навещу эту заброшенную базу или что там мне Энгель вместо нее впарил, — и домой: горячий душ, крепко

сваренный кофе с ложкой бальзама, зашторенные окна, слегка приукрашенный отчет о поездке для тех, кто до сих пор пересчитывает палатки.

— До утра, — повторяет она, дирижируя длинным ржавым ключом. — До-ут-ра. — И, подхватив лампу, ведет меня во чрево дома, его единственную комнату, щедро обставленную косыми горками и резными буфетами, с креслом-качалкой, придвинутым к застывшему печному очагу, в дальнем углу светлеет конус полога над пустой колыбелью, и рядом что-то под тканью — зеркало? Накрытое зеркало?

— А где хозяева?

— Вам-то что?

По-свойски распахнув створку шкафа, она извлекает оттуда мутную бутыль и два фужера. Щедро льет прозрачную жидкость в оба, звякает стеклянной пробкой, ставит бутыль на печку и протягивает мне бокал.

— Умерли они. Пейте.

Я делаю глоток. По пищеводу разливается огонь.

— До дна, — командует она и показывает, как надо, залпом опрокинув в себя пойло и припечатав бокал к столу. Я кое-как проталкиваю в себя еще немного, выдыхаю и отставляю остальное, пока она стаскивает с кровати покрывало и взбивает подушки.

— Ложитесь.

— Я б еще поработал, — неизвестно за что оправдываюсь я и киваю на рюкзак, в недрах которого притаился замерзший ноутбук. — Просто оставьте мне лампу и скажите, где найти розетку...

— Лягте! — Не просьба — приказ. Я проваливаюсь в объятия перины, цепляюсь ногой за ногу, скидывая ботинки, и чувствую, как сверху тяжело ложится одеяло.

Между тем девушка Гибсона разводит огонь. Возится с дровами, чиркает каминной спичкой, раскуривает папиросу. Ты, верно, сошла бы с ума от этой комнаты и этой женщины, извела бы километры пленки, а я лежу и смотрю — устала, присела в кресло, снимает шляпку, вытирает лоб. Волосы волнами до плеч золотятся, сама — чернильная запятая в кресле, я б тебе показал, но камера телефона не возьмет этот свет, только испорчу... Я лучше так расскажу — на самом-то деле не было никакой Бабы, понимаешь? Только деревянная чушка, болван, которого среднеобские ханты притащили на осаду русского городка в устье Иртыша, надеясь на его помощь и защиту, однако выстрел из казацкой пушки «кумира их с древом на многие части раздробиша», и то же самое случится сейчас с моей головой, если я не перестану слышать этот звук. Спиртное немного приглушает, но лучше бы...

Я ворочаюсь под одеялом, доставая из кармана мобильный с перекрученными вокруг него наушниками. Не хочу включать музыку, батарейка и так на пределе, но даже просто чем-нибудь уши заткнуть...

Да, так лучше. Лежать, моргать и говорить с тобой, чтобы не тронуться, ты уж потерпи.

И номерные радиостанции, скорее всего, такая же чушка. Просто шифровки — может, военных или спецслужб. Я, правда, читал, что среди голосов попадаются детские, непонятно, как такое возможно... Но факт остается фактом — вряд ли я найду здесь что-то эдакое. Триумфального освобождения бедных крошек из подземного плена не случится. Материал?.. Ну, еще одну проходную статью в местную газету я тебе обещаю. Никакой мистики — только факты. А еще газетная бумага отлично впитывает грязь, именно поэтому осенью и зимой на нее такой повышенный спрос — автолюбители застилают ею резиновые коврики в салоне. Я и сам так делаю. Но только не с твоей страницей, нет.

Я только теперь понимаю, что как будто угодил в один из сюжетов Энгеля — ты, наверное, тоже заметила... Весь этот антураж, словно собранный воедино каким-то безумцем: деревня, плачущей младенец, равнодушная девица с лицом под вуалью и холодными пальцами, дым папиросы... Вот только если б Энгель действительно здесь распоряжался, то эта красавица сейчас поднялась бы с кресла, сбросила бы под ноги

мокрое пальто и подошла бы ко мне, жалкому, дрожащему под одеялом чужаку, и распустила бы свой корсет, а я...

Ты не поверишь, но именно так все и происходит.

* * *

Комната, кирпичная кладка стен, окон нет, с потолка свисает на проводе тусклая лампа. Справа на авансцене — закрытая дверь с железной ручкой. Слева, за грубо сколоченным столом, повернувшись спиной к Леониду, Ольге и младшему Роману, сидит Алтарник. Перед ним военный радиопередатчик. Слышно постоянное жужжание.

Алтарник: Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид. Семерка, четверка, двойка, семерка, девятка, девятка, единица, четверка. Я — УЗБ-76, я — УЗБ-76. Сто восемьдесят, ноль восемь. БРОМАЛ. Семьдесят четыре, двадцать семь, девяносто девять, четырнадцать. Единица, восьмерка, ноль, ноль, восьмерка. Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид. Семерка, четверка, двойка, семерка, девятка, девятка, единица, четверка. Ноль, ноль, восьмерка. Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид. Семерка, четверка, двойка, семерка, девятка, девятка, единица, четверка. Я — УЗБ-76, я — УЗБ-76. Сто восемьдесят, ноль восемь. БРОМАЛ. Семьдесят четыре, двадцать семь, девяносто девять, четырнадцать. Единица, восьмерка, ноль, ноль, восьмерка. Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид. Семерка, четверка, двойка, семерка, девятка, девятка, единица, четверка.

Ольга уводит младшего Романа. Алтарник и Леонид остаются.

Леонид: Он когда-нибудь отвечает?

Алтарник *(снимая наушники, устало)*: Он?

Леонид: Бромал. Он говорит с вами?

Алтарник: Бромал говорит со мной прямо сейчас — твоим голосом. Бромал смотрит на меня прямо сейчас — твоими глазами.

Леонид: А есть ли у него собственный голос?

Алтарник: Глас Бромала — ваши жизни. Вы живы, пока звучит глас Бромала. Как только Бромал перестанет отвечать мне, полчища болезней пожрут ваши тела и вы все умрете. Бромал здесь и нигде. Он в каждом из нас.

Леонид: Но что, если...

Алтарник: Не смей сомневаться, щенок. *(Уходит, вбивая в пол каблуки).*

Леонид *(в пустоту)*: Что, если Бромала нет?.. *(Приближается к радиоточке, рассматривает шкалы приборов, вертит в руках наушники).* Что, если нас вообще никто не слышит?.. Нельзя сомневаться, нельзя... Или... Или нас слышат — такие же люди! Да, такие же люди! Вот бы поговорить с ними — с другими людьми! Вот бы узнать, как они там! *(Достает из-под одежды ветхий каталог с древнерусскими иконами из коллекции Эрмитажа, листает).* Такие красивые... С золотыми тарелками на головах... Грустные только очень. Красивые и грустные. *(Прижимает книгу к груди, изображает пальцами десницу благословения и застывает).*

Возвращается Ольга.

Ольга: У Анны дочка родилась, доченька! Такая забавная, милая! Волосики нежные-нежные, а запах, как сладко она пахнет! Представляешь... Ой, а что это у тебя?

Леонид: Книга про других людей.

Ольга: Ты что, украл ее? Украл у Алтарника? Можно, я посмотрю? *(Бережно листает и гладит страницы).* Очень красивая. Жаль, что ничего не понятно... Ты только верни ее, пожалуйста, верни, он накажет тебя, если узнает...

Леонид: Скажи, ты веришь в Бромала?

О л ь г а *(испуганно)*: А ты разве нет?..

Л е о н и д: Верю, наверное. Я раньше очень сильно верил. Даже плакал, когда слышал молитву, плакал от каждого слова, так они меня переполняли — мне хотелось кричать, чтобы не умереть от невыносимого счастья!

О л ь г а: Да, я знаю, как это бывает.

Л е о н и д: «Я — УЗБ-76, я — УЗБ-76...»

О л ь г а: Ш-ш, нельзя, не надо, тебе не пристало!

Л е о н и д: «Сто восемьдесят, ноль восемь. Бро-мал. Семьдесят четыре, двадцать семь, девяносто девять, четырнадцать...» Нет ничего. Совсем ничего. Пустота внутри.

О л ь г а *(вытирая слезы)*: Это пройдет. У меня такое было, когда старшего Романа наверх уводили. Пройдет. Тебе с Алтарником поговорить надо. Признаться во всем надо. Пройдет.

Л е о н и д *(гладит ее по щеке)*: А я не хочу, чтобы проходило. Мне сейчас кажется, будто я вот-вот узнаю что-то важное. Правду узнаю, понимаешь?

О л ь г а: Малышку назвали Ольгой.

Л е о н и д: Она будто бы совсем близко — правда, а я смотрю, но не понимаю, что это она, не догадываюсь, хотя внутри себя уже знаю...

О л ь г а: Девочке выпало имя Ольга. Значит, мне придется уйти наверх.

Л е о н и д: Нет. Подожди, не может быть... Тебе? Уйти?

О л ь г а: Все будет хорошо. Там же старший Роман, и старшая Анна, мама Ромочки, и самая старшая Анна...

Л е о н и д: Наверху ты умрешь.

О л ь г а: Они не умерли, и со мной ничего не случится. Там тоже звучит глас Бромала — потихоньку, правда. Помучаюсь немного и привыкну. Все привыкают.

Л е о н и д: Я тоже уйду. С тобой уйду, сбегу отсюда... Я не смогу здесь без тебя. Пока ты там со старшим Романом, пока вы... Я не смогу, не хочу...

О л ь г а: Уйдешь — и Бромал замолчит. Погибнешь сам и остальных погубишь.

Л е о н и д: А что если нет никакого Бромала?! Что, если мы можем уйти отсюда в любую минуту, но сидим, как дураки, потому что верим Алтарнику?

О л ь г а: Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид. Шестеро внизу. Остальные лишние.

Л е о н и д: Не уходи, пожалуйста, я тебя очень прошу, не уходи!

О л ь г а: Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид... Остальные лишние. *(Скрывается).*

Л е о н и д плачет. Дверь открывается, и входит м л а д ш и й Р о м а н. Не обращая внимания на Л е о н и д а, он садится за стол перед радиостанцией, вешает на шею наушники и по-школьному складывает руки на столешнице.

Р о м а н *(прилежно выговаривая слова)*: Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид. Семерка, четверка, двойка, семерка, девятка, девятка, единица, единица... Ой! Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид. Семерка, четверка, двойка, семерка, девятка, девятка, единица, четверка. Я — УЗБ-76, я — УЗБ-76. *(Смотрит на часы, включает радиостанцию, надевает наушники, говорит в микрофон).* Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид. Семерка, четверка, двойка, семерка, девятка, девятка, единица, четверка. Я — УЗБ-76, я — УЗБ-76. Сто восемьдесят, ноль восемь. БРОМАЛ. Семьдесят четыре, двадцать семь, девяносто девять, четырнадцать. Единица, восьмерка, ноль, ноль, восьмерка. Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид. Семерка, четверка, двойка, семерка, девятка, девятка, единица, четверка.

Л е о н и д *(поднимая голову)*: Что будет, если ты или Алтарник перепутаете слова?

Р о м а н: Бромал замолчит, и все вы умрете.

Жужжание усиливается.

* * *

Я просыпаюсь от тум-м, тум-м, тум-м и ж-ж-ж... Только теперь они приправлены монотонными ударами топора. Где-то на улице. Возможно, мне это только кажется. Я пытаюсь встать, путаюсь в проводе наушников, задеваю его рукой, и «капли» выскакивают из ушей. До чего же адский шум... Верхней губе влажно. Я стираю ощущение тыльной стороной ладони и рассматриваю длинный алый след. Лет с пятнадцати кровь носом не шла... Душно. Рядом никого. Сплошное тум-м, тум-м, тум-м-м-м...

Выдравшись из-под одеяла, я подхожу к окну и отбрасываю в сторону вялую занавеску. Страшности поражаются: стильный молочник губит колено.

Хм.

Странности продолжаются: субтильный молодчик рубит полено. Заносит над головой топор, ветер колышет кружевное жабо на застегнутой под горло черной рубашке, треплет смоляные пряди волос, топор опускается — хряп! Мастерский удар. Узкие кожаные брюки обтягивают тощие коленки, тяжелые ботинки на толстой подошве кажутся неестественно большими, в мочке уха покачивается жемчужная серьга — хряп! Сноровистый малый!

Я торопливо обуваюсь, застегиваю молнию джинсов, заправляю футболку под ремень и накидываю куртку. Телефон, ключ от машины, документы — по карманам. Рюкзак сиротливо притулился к буфету. Я выхожу на крыльцо. Передо мной — нетронутое снежное поле.

Воздух здесь... Сладкий, чистый, густой, как сметана. Не надышаться.

— Эй, ты!

Вооруженный топором мальчик-гот стремительно оказывается рядом. Тщедушное тело с напором, который сложно в нем заподозрить, прижимает меня к бревенчатой спине дома.

— Не трогай ее, слышишь? — Черные ресницы и родинка над губой. Тени под глазами, не свойственные сельским жителям. Зрачки размером с радужку. — Она моя. Не смей к ней прикасаться.

Я беру его руку за ледяное запястье и с усилием отцепляю от воротника куртки.

— Трактор когда приходит?

— Раз в неделю, — шипит парень и сплевывает в сторону. — Забудь.

Раз в неделю? Раз в неделю?! Я штурмую снежную равнину, проваливаясь по колено, волоку себя к калитке — стараниями парня с сережкой ее удается приоткрыть, но все, что дальше — снег, и все, что дальше — зыбь, и нет границы между небом и землей, и вообще ничего нет... Где-то далеко с криками дружатся стороны.

— Тронешь ее — убью, — произносит злой голос у меня за плечом. — А впрочем, ты и так скоро сдохнешь.

Будто в подтверждение этих слов на снег падает несколько горячих капель. Я снова вытираю нос и запрокидываю голову.

— Будь другом, отвали...

— В голове-то волки уже пируют? Не отвечай. По тебе видно.

Говнюк малолетний. Он уходит. Ты бы видела, как он уходит с топором на свече, будто король, — можно подумать, победил. К черту! Дров мне нарубил зачем-то, снег раскидал... Я набираю полную пригоршню и прижимаю колкое-холодное ко лбу, затем еще одну — и кладу на язык, перекатываю за щекой ледяную крошку. Возле забора брошена прислоненная лопата. Я хватаю ее и впиливаюсь в сугроб. Мною движет мысль, что нужно добраться до машины, машина — средоточие здравого смысла, машина реальна, она есть, она может меня спасти, хотя на самом деле нет, потому что я очень быстро выдыхаюсь, пот градом катит со лба, кровавая дорожка отмечает мой путь, я прикладываю к переносице снег, но это не помогает, и вот уже крови становится столько, что я вижу ее повсюду, куда ни взгляни, красного больше, чем белого, багровая дымка застилает глаза, свет моргает и меркнет, чтобы тут же

включиться вновь — только в режиме энергосбережения — и тускло осветить потолок каморки мертвых хозяев.

— Пейте.

На грудь давит знакомая стеганая тяжесть. Я с трудом разлепляю склеенные слизью губы. Безжалостная рука вливает мне в рот водку и держит за горло, не позволяя выплюнуть, пока я давлюсь, глотаю и кашляю.

— Врач, — хриплю я не своим, страшным голосом. — Мне нужен врач.

Девушка Гибсона выпускает наконец мою челюсть и пожимает плечами.

— Что в-вы делаете, когда болеете? Вы или ваши дети?

— Мы не болеем, — отвечает она звонко. — Никогда.

— Так не бывает...

По ощущениям внутри меня градусов сорок, не меньше. Кровь стекает по задней стенке горла, я сглатываю ее снова и снова, но поток не уменьшается. Я пью собственную кровь и стараюсь об этом не думать.

— Вас Роман за воротами нашел, — говорит она и чем-то хрустит. Я пытаюсь рассмотреть — сидит и разгрызает кусочки белоснежного льда. Один такой осколок ныряет между моих губ и медленно тает, наполняя рот молочной сладостью. — Нашел и принес сюда. Мог бы не приносить. Но принес.

— Злой клоун, — говорю я, вспомнив зрачки размером с радужку прямо напротив своего лица. Никакой благодарности я не испытываю.

— Роман не такой. Просто у него детки не получаются, но они только у Алтарника получаются, потому что он пришлый, а все, кто от него родился — они как Роман, вот он на вас и взъелся. Вы тоже пришлый. Как Алтарник и старшая Анна.

Случившееся ночью сразу приобретает новый тошнотворный смысл.

— Что здесь гудит? — допытываюсь я без надежды на правду. — Ты же слышишь? Ты слышишь. Что это?

Она прекращает колоть зубами замороженное молоко.

— Глас Бромала.

«Глас Бромала» звучит как сектантская фигня, но до меня вдруг доходит, что этот звук действительно напоминает фоновый сигнал номерной радиостанции, чертову «жужжалку». Вот только по-прежнему неясно, откуда он исходит — кажется, что сразу отовсюду, а точнее, из-под земли. Где-то поблизости наверняка есть генератор и радиоточка. Та самая, которую запеленговал информатор с нашего форума. Блядская, конечно, ситуация.

— Слушай... Прости, не знаю, как тебя зовут. Я тебе денег дам. А хочешь, вообще с собой заберу? В город увезу — большой город, красивый. И тебя, и ребенка твоего, и старшую эту. Ты когда-нибудь город видела? Там дома огромные, машины, торговые центры... Я вам квартиру сниму, помогать буду. Только выруби его. Глас этот — его же можно как-то заткнуть?

— Нет у меня никакого ребенка, — грустнеет она. — Мой Ромочка с Алтарником остался, тот его служению учит. А это Ольги и Михаила покойников сынок Лёнечка, Алтарниково семя. Не жилец мальчонка, они все вместе уйти пытались — туда, куда вы меня сейчас зовете. Отвернулись от Бромала, вещи в узел связали и пошли. Далеко не ушли — поняли, что без гласа умрут. Вернулись, но было уже поздно. Умерли они.

— Почему?

— Бромал убил. Он никогда не прощает.

— Что это за сигнал? Что он с вами делает?

— Я не...

— Ваши дети не болеют. Что еще?

— Алтарник сказал, мы будем жить вечно. Всё исчезнет — и лес этот, и ваш город с красивыми домами, и все люди — только мы останемся, потому что нас Бромал назначил для продолжения всего людского рода.

Я без сил откидываюсь на подушку. Только Энгель мог измыслить подобный бред.

— Где живет ваш Алтарник? Я хочу с ним поговорить.

— Это невозможно. Он внизу и никогда не поднимается на поверхность.

— Этот человек — спятивший психопат. Ау, какая вечность? «Жужжалка» выходит в эфир с начала восьмидесятых. Вы просто адаптировались к сигналу, но это не значит, что обратный процесс невозможен... Он держит вас здесь, потому что вы ему верите. Ваш Бромал — дурацкий набор букв и цифр. Позывной, превращенный в имя бога, тупые вы идиоты. Давай, отключи генератор. Ты увидишь — ничего не произойдет. Никто не умрет. Отключи чертов генератор, мы же в двадцать первом веке, чтоб вас всех, придурки, сектанты дремучие...

— Замолчите.

— ПРОСТО ОТКЛЮЧИ ЭТОТ ДОЛБАНЫЙ ГЕНЕРАТОР!

Лопает зверь. Я умираю помер 112 и кушаю тишину до тех нор, пока не плодится канарейка. Надо валить. Вспомнить бы, в каком месте я впервые услышал этот глас-чтоб-его-Бромала... Трасса, грунтовка, лес... Где-то там я опустил стекло — значит, звук появился чуть раньше, чем начал мне досаждать. Машина в километре отсюда, не больше. Плюс еще полкилометра от нее. Может, один. Может, полтора. Я дойду. Мертвые наушники, шарф, обмотанный вокруг головы, еще перчатки туда затолкал, чтобы вконец оглохнуть. Капюшон, рюкзак... Нет, рюкзак придется оставить — не дотащу. Да и о чем там жалеть... Несколько стишков, пара-тройка незаконченных статей, почти дописанный натужный роман, жалкий в своих попытках казаться оригинальным. К черту, к черту черновики. Жизнь с чистого моста. Если выберусь отсюда живым — брошусь всю эту чушь и вводу.

Я раздвигаю руками багровый туман и иду, как подбитый в бродилке боец, в ушах гулко бухает сердце, никакого сигнала, никаких фанатиков, снег, снег вокруг, шаг за шагом, снег за снегом, доползти до «Князя», забраться внутрь, закрыть глаза, согреться, снарядить патефон...

— Сделай милость, — произносит надо мной злой клоун, — смирись уже и сдохни в своей постели.

И я понимаю, что давно никуда не иду. Меня тащат.

* * *

— Ты уедешь, и я умру. Я умру даже раньше, чем ты окажешься в своем городе. Ты забудешь меня, а я без тебя умру.

Я уже не слушаю.

Я, наверное, смирился и готов сдохнуть в чужой постели.

О том, что я здесь, знает только Энгель. Завтра он не спохватится. Послезавтра тоже. Потом, может быть, попытается со мной связаться — разумеется, безуспешно. Хватит ли ему ума поднять шум или засидится над своей пьесой и отложит на завтра, бесконечное завтра? На работе решат, что свалил на дачу, да и пусть его, главное, проекты свои вовремя закончил, вот же любитель задницу морозить — окопался, творит, даже адреса не оставил, а впрочем, леший бы с ним, с адресом, все равно в такую даль никто не поедет — вот вернется, будет ему тут и синяя лошадь, и битловская субмарина, и двадцать пять кадров «бромала»...

— Ты уедешь, а я умру... — канючит она в очередной раз, будто бы я лежу здесь потому, что изо всех сил оттягиваю горький момент расставания, а не потому, что у меня кровь разве что из-под ногтей не сочится.

— Твой Роман обещал другое, — то ли говорю я, то ли только думаю, что говорю. — Я ему верю.

— Какое еще другое? — вытягивается она. — Не слушай. Он ревнует. Он ничего тебе не сделает.

— Выключи генератор.

Я повторяю эту фразу столько раз, что начинают болеть какие-то микромышцы лица, о существовании которых мало кто подозревает.

— Не могу. — В ее тоне, в том, как мнет она пальцами подол юбки и как покусывает прядь волос, не читается былой уверенности, и все же мы тем не менее

застряли — она мямлит, мнет юбку, грызет волосы, но твердит как заведенная: — Я не могу, мы все умрем тогда.

Этому нет конца.

— Объясни мне еще раз, — говорю я, пуская кровавые слюни. — Почему вы должны умереть?

— Генератор перестанет работать, — покорно повторяет она свою ущербную логическую цепочку. — У Алтарника не будет связи, он не прочтет молитву Бромалу, Бромал замолчит, и мы умрем.

— Послушай... Ничего не случится. Да, Алтарник останется без питания и просто выберется наружу, чтобы разобраться. Мы сможем поговорить...

— Ты уедешь, и я умру.

— Ты меня не любишь.

— Люблю, — всхлипывает она затравленно. — Больше жизни люблю.

— Так докажи. Выключи генератор.

* * *

...Давным-давно, но не так давно, чтобы никто не помнил, жил-был человек Борис — не хороший и не плохой, не красивый и не кривой. Как все. Борис родил Романа и Михаила, Роман родил Леонида, а Михаил никого не родил, потому что жену свою Ольгу с пьяной боли так кулаком отходил, что та упала и не поднялась больше. Не стало ни Михаила, ни Ольги — боль одна. И с болью этой вставал человек Борис утром, курил сигарету, смотрел в окошко на темное небо, снаряжался и шагал в свой цех, точил детали, обедал щами, снова точил и возвращался домой. Ухватила его злая боль — не слушаются умелые руки, совсем уморила, зубастая, семьдесят четыре километра ехал человек Борис до районного центра, двадцать семь минут сидел в очереди на прием, девяносто девять капель крови отдал в стеклянную трубку, четырнадцать месяцев, сказали, осталось.

Долго думал человек Борис. Скрутил петлю — ладная вышла петля. Подставил стул — крепкий, хороший стул, с сыном Михаилом вместе колотили. Встал — даже не скрипнул. Стоит человек Борис, петля на плечах лежит, в коридоре часы тикают. Придет со смены жена Анна, сумку с продуктами поставит — а он висит. Прискачет из школы внук Лёнька, бросит в угол портфель — а он висит. Не дело. Завздыхал человек Борис, веревку смотал, стул на место поставил. Вещи собрал и отправился в лес помирать. Шел он, шел, видит — дом, видит — другой, а тут огород, а там яблони. А людей не видит — ушли они, люди. Сто восемьдесят жителей было, ноль восемь в живых осталось — то разве деревня? В церквушке, что за лесом, ангелы плачут, но человек Борис их не слышит — не верует. Церквушка старая, лики суровые, черные, от сырости облупились, в алтаре, на горнем месте — мертвый ящик в два роста. «Уйди, злая боль, — подумал человек Борис, — сколько железных коней оживил — и это чудище оживлю». Семьдесят четыре дня соединял провода, двадцать семь раз опускал руки, девяносто девять слезинок пролил по прежней жизни, на четырнадцатый вздох загудела земля, упрятала злую боль — ни днем, ни ночью не показывается. Стал человек Борис вокруг церквушки ходить-бродить, и вверх, и вниз, и по сторонам — нет, не поймет, откуда звук. Вот под ногами холм-не холм, то ли люди натаскали, то ли ветром намело. Глянул — дверь. Сбил замок — темно, сыростью тянет, а жужжит-то как! Стал плутать, стены щупать, устал — спать лег, а как проснулся и обратно вышел — не лето вокруг, а поздняя осень. Помереть бы пора, но раз уж не помер, руками-ногами подвигал, встал и домой побрел.

Дома жена. «Аня!» — кричит человек Борис, а та не рада — гонит прочь, не знаю тебя, чего явился! Глянул в зеркало мельком — а там и не он вовсе... Черная борода кудрявая, брови вразлет, на лбу ни морщинки... Будто двадцать лет назад отмотал. «Я это, Аня...» — шепчет. И слезы градом.

Вот пришли они к холму — молодой мужчина и его старуха-жена. Бросилась

Анна за дверь, не оглядываясь, и скрылась из глаз, а человек Борис развел костер, печеной картошки поел, жужжание знакомое послушал и стал ее ждать.

И прождал до подснежников...

Вернулась Анна. Руки не ломит, ноги не крутит, глаза не туманит, сердце не колет — чудо!

«Еще! — хохочет. — Еще давай проверим! Людей исцелять будем! Святыми станем!»

Мямлит человек Борис, что не его в том заслуга — жужжалки, а жена руками машет: «Никому не говори! Молитвы читай, поклоны бей, в глаза не смотри, не человек ты отныне — пророк!»

Что за глупая баба! Отыскала в поселке под забором самого горького пьяницу, притащила туда, где жужжание слышно, посадила в пустой дом, дверь закрыла, окна занавесила. Пробормотал человек Борис свою молитвочку, наспех скроенную, — Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид, что еще он мог придумать? — и ждут на крылечке. Вышел пьяница новым человеком — ясно по сторонам глядит, на солнце щурится.

И потянулся к чудо-целителю люд. Несли кто чем богат, хозяйство наладилось, малыш Леонид родился крепенький... Жили, радовались, про церквушку и жужжащий холм помалкивали.

Привезли как-то мальчонку — кожица как бабочкино крылышко, сам хлипенький. Везли издалека, в бинты обернули. Долго ждали встречи с пророком, надеялись — и оставили сына на простынях в доме Алтарника. Ночь не спали — ждали чуда. Утром Анна в дом — и в крик. Мальчик кровью истек, кровь впиталась в пеленку, расплескалась повсюду, будто бы резали.

Привезли родители сына — увезли родители гробик.

Через день все точь-в-точь повторилось — дочь священника пуще врачей и Бога в алтарниково чудо поверила. И кровью истекла.

Сбежали горе-целители из деревни под холм. Сынка взяли, дверь изнутри заперли. Плачет Анна и мужу кается: «Это я твою жужжалку испортила! Так хотелось еще хотя бы на два годка помоложе! Я там что-то потрогала-покрутила, как жужжало, так и жужжит — только тише немного стало...»

А потом они не смогли уйти отсюда, не смогли, как и хозяева этого дома. Потому что постоянно должны были слышать этот звук, глас Бромала, слышать его, чтобы жить, хотя остальных он убивал.

Энгель, уймись, умоляю.

* * *

Ольга собирает вещи. Леонид бестолково топчется рядом.

Л е о н и д: Что, если Бромала нет? Что, если все это — роковая ошибка? Ты уходишь, потому что веришь в призрака. Призрак ломает нашу жизнь. Призрак превращает в призраков все, к чему прикасается.

О л ь г а: Ты не имеешь права так думать.

Л е о н и д: Мы не имеем права думать. Мы не имеем права любить. Мы не имеем права выбирать. Зачем цепляться за такую жизнь? Не проще ли узнать, что Бромала нет, и покинуть эту тюрьму? Не проще ли узнать, что он есть, и погибнуть?

О л ь г а: Любая жизнь лучше смерти.

Л е о н и д: Жизнь без тебя — все равно что смерть. Жизнь без жизни называется смертью, так зачем же мы врем себе, что живы? Почему он тебя выгоняет?

О л ь г а: Так решил Бромал.

Л е о н и д: Нет. Просто здесь, внизу, слишком тесно. Алтарнику пришлось придумать выбор Бромала, чтобы когда рождается новый человек, для него освободилось место. Вот почему он не показывает свой ритуал — никакого ритуала нет. Алтарник сам принимает решение. Это не Бромал, а он тебя изгоняет.

О л ь г а: Не нам с тобой судить.

Л е о н и д: Мы не имеем права судить. Мы только молимся, все время молимся и шьем — для кого мы шьем? Куда потом деваются все эти вещи? Кто их носит?

О л ь г а: Это наш труд. Мы должны трудиться, чтобы быть свободными.

Л е о н и д: Да, я помню, что говорит Алтарник. А в действительности?

О л ь г а: Бромал дает нам ткань и забирает готовое.

Л е о н и д: Ха! Значит, Бромала зовут старшая Анна! Я видел, как она спускала вниз тюки ткани...

О л ь г а *(испуганно)*: Ты следил за Алтарником? Ты знаешь, где выход?

Л е о н и д: Да, и уйду за тобой. Никто не сможет мне помешать.

О л ь г а: Ты когда-нибудь слышал про боль?

Л е о н и д: Боль? Что это?

О л ь г а: Я точно не знаю. Алтарник говорит, что мы не болеем. Болеть — значит, чувствовать боль. Я спросила его, какая она — боль... В ответ он взял иглу и проткнул мне палец. Это было не страшно — я сама очень плохо умею обращаться с иголкой... А потом он сказал, что Бромал хранит нас от боли, ибо боль есть величайшее из испытаний и страшнейшая из кар, и мы должны благодарить Бромала за освобождение от нее...

Л е о н и д: Я понял. Прямо сейчас понял: боль — вот что это такое. Я не могу спать. Стоит мне только закрыть глаза, и наступает темнота, в которой тебя уже нет. Я не могу есть — бессмысленно и гадко питать тело, которое остается здесь без тебя. Мне больно. Больно. Больно. Я думаю о смерти...

О л ь г а: Нет, ты не умрешь! Все пройдет. Пройдет, слышишь? Я тоже хотела... Пыталась... Когда Роман... Ах, неважно! Послушай меня — ты будешь жить, как раньше. Читать молитву. Трудиться. У тебя золотые руки. В каждом твоем творении прячется бог.

Л е о н и д: Бог, в которого я не верю. Бог-выдумка. Бог-злая шутка...

О л ь г а: Ты будешь жить, как раньше.

* * *

Стыло-то до чего... Даже стены от мороза потрескивают, а мне кажется, будто хрустят кости.

Ток, ток, ток, ток — вертится колесо, все быстрее и быстрее — ток-ток-ток-ток, токтоктоктокток... Скользит между пальцами ткань, ползет и ползет. Саван мне шьют... Швея сидит не шелохнется — черная, пыльная, только ловкие пальцы золотятся и стучит-строчит колесо. Нитку вытянула, прикусила, узлом связала — готов мой наряд. Подхватила и обернулась.

А лицо — золотое.

— Калтащ... — Голос забыл. Как чужой.

— По-разному кличут.

И идет ко мне, идет, подолом пол подметает.

— Зря пришел, — говорит. — Я и снегом в лицо кинулась, и зайцем под ноги нырнула. А ты меня — жизнь — по имени и все равно к смерти тянешься.

— Отпусти, златоликая. Никому не скажу... Отпусти...

Смотрит в сторону.

— Не я пленила — не мне миловать.

— Кто они? Те, кто пленил? Безумцы? Убийцы? Жертвы?.. Или я просто их выдумал?

Призадумалась Золотая Баба, стоит, жемчужные нити на шее перебирает.

— Сами решат.

— Калтащ эква, а ты правда Сталина видела?

Дрогнули в усмешке тонкие губы — довольна, значит, что матерью всего живого называю:

— Всякое видела, — говорит. — И как брат на брата идет, и отец на сына, и сын

на отца. Алчность видела, жажду добычи, предательство и блики золота в глазах убийц. Вот только людей я не видела, эква пырищ. Ни одного.

И глядит выжидающе в тишине. В тишине?

Слышу, как ветер в дымоходе воет, как скребется под полом мышь и потрескивают в очаге угли. Вот только «жужжалки» больше нет.

Спасибо тебе, златоликая... Не забуду...

Сгинула. Только шепот остался:

— Не меня благодари. Ее.

Снег скрипит, вороны каркают. Дверь в крайний дом чуть приоткрыта — ветер гуляет в сенях. Тишина здесь другая — шелестящая, мертвая. Половицы под моими ногами скр-р, скр-р, знаю, что увижу, но все равно иду. В кресле-качалке — темноволосая старшая Анна, укутанная в серую шаль. Из-под шали свисают ботиночки с ладонь, острый нос уткнулся в холодную грудь. Легко ушли... Ребенок и старуха. Больше здесь никого.

Еле слышно шипит черная пластиковая коробка. Я беру приемник в руки, чтобы выключить, но вместо этого прибавляю звук.

«Семерка, четверка, двойка, семерка, девятка, девятка, единица, четверка, — говорит мне радио. — Я — УЗБ-76, я — УЗБ-76. Не получаю генератор...»

Я подношу его к губам. Знаю, что никто не услышит, но не могу сдержаться.

— Пошел ты знаешь куда?

«Я — УЗБ-76! Не получаю генератор! Ид...»

Молчи, Бромал, молчи.

Цепочка следов убегает в лес.

Она, наверное, там. Заставила замолчать своего бога и упала замертво. И лежит. Стены старой церкви укутаны в иней. А она лежит.

Я слышу мелодичный звон — совсем хрустальный и тонкий, он становится громче и громче, движется вдоль забора, сворачивает, приближается.

— Ну что, всех убил? — ласково спрашивает Роман и колотит камертоном по золоченой тарелке, привязанной к голове. — Старуху? Ребенка? Красивую женщину? Меня?..

— Ты выглядишь как живой, — едва ворочаю я непослушными губами, а он улыбается и снова бьет по тарелке, будто в последний раз отдавая честь.

— Пока что.

* * *

Та же комната. Полумрак. В центре стоят в объятиях друг друга Л е о н и д и О л ь г а. Слышно постоянное жужжание.

Л е о н и д: Ты уйдешь, и я умру. Я умру даже раньше, чем ты выйдешь наверх. Знать бы, какой он — верх.

О л ь г а *(с ненавистью)*: Что бы там ни было, мне это не понравится.

Л е о н и д: Понравится. Ты увидишь небо. Услышишь ветер. Тебя встретит Роман с золотой тарелкой на голове. Понравится. Ты забудешь меня, а я без тебя умру.

О л ь г а: Я выбрала бы остаться с тобой, если б могла выбирать.

Л е о н и д: Но за нас выбирает Бромал.

О л ь г а: Да, за всех выбирает Бромал.

Л е о н и д: А если я докажу, что Бромала нет?

О л ь г а: Он болен.

Л е о н и д: Если докажу, ты позволишь мне бежать за тобой?

О л ь г а: Его рассудок помутился от горя.

Л е о н и д: Докажу — позволишь идти по твоим следам?

О л ь г а: Алтарник ему поможет. Я должна найти Алтарника *(вырывается из рук Леонида и убегает)*.

Л е о н и д: Докажу — нет. Докажу — нет. Докажу — нет. *(Подходит*

к радиостанции, дрожащими руками переключает тумблеры. Станция оживает.) Бромал, Бромал, Бромал. Я скажу неправильно, перепутаю имена и цифры. Если ты нас не слышишь, ничего не изменится. Если слышишь — мы все умрем. Прости меня, Бромал. Я очень хотел в тебя верить, но ничего не получилось. Если я ошибаюсь, ты меня остановишь. Я никого не хочу убивать. *(Надевает наушники, регулирует микрофон, ждет знамение, но ничего не происходит. Тогда он начинает говорить — очень медленно, запинаясь на каждом слове.)* Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид. С-семерка, чет-тверка, д-двойка, с-семерка, девятка, девятка, единица, четверка...

Из дверей появляются Алтарник и Ольга. При виде сидящего за пультом Леонида Алтарник прижимает Ольгу к себе и подносит к ее голове пистолет. Леонид наблюдает за ними огромными от страха глазами и говорит все медленней.

Леонид: Борис, Роман, Ольга, Ольга, Ольга, Ольга, Ольга...

Алтарник стреляет. Леонид срывает наушники и подхватывает мертвую Ольгу. Алтарник занимает место за пультом.

Алтарник: Единица, восьмерка, ноль, ноль, восьмерка. Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид. Семерка, четверка, двойка, семерка, девятка, девятка, единица, четверка.

Жужжание усиливается.
Стоя на коленях, Леонид оплакивает Ольгу.

Леонид: Бромала нет. Его нет, нет, нет, нет.
Алтарник: Ноль ноль восьмерка. Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид. Семерка, четверка, двойка, семерка, девятка, девятка, единица, четверка. Я — УЗБ-76, я — УЗБ-76. Сто восемьдесят, ноль восемь. БРОМАЛ. Семьдесят четыре, двадцать семь, девяносто девять, четырнадцать. Единица, восьмерка, ноль, ноль, восьмерка. Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид. Семерка, четверка, двойка, семерка, девятка, девятка, единица, четверка...
Леонид: ...нет, нет, нет, нет...

Жужжание резко прекращается.
На смену ему приходит звенящая тишина.

Алтарник: Ноль, ноль, восьмерка. Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид. Семерка, четверка, двойка, семерка, девятка, девятка, единица, четверка. Я — УЗБ-76, я — УЗБ-76. Не получаю генератор.

Леонид мрачно хохочет.

Алтарник *(в панике)*: Я — УЗБ-76, я — УЗБ-76. Не получаю генератор.
Леонид: Борис, Роман, Михаил, Анна, Леонид. Богу не нравится его новое имя! Борис, Роман, Михаил, Анна, Леонид — Брмал! Брмал! *(Смеется)*. Молчи, молчи!
Алтарник *(кричит)*: Я — УЗБ-76! Не получаю генератор! Ид... *(прикладывает к виску дуло пистолета)*.

Свет гаснет. В темноте звучит выстрел. Смех обрывается.

Леонид *(за пультом)*: Я верю. Верю. Пожалуйста, бог, прости. Я усомнился, я был слаб... Верни их. Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид. Верни их, пожалуйста. Семерка, четверка, двойка, семерка, девятка, девятка, единица, четверка.

Ты же бог, ты избавил нас от боли, даровал вечную жизнь. Я — УЗБ-76, я — УЗБ-76. Сто восемьдесят, ноль восемь. БРОМАЛ. Ну что тебе стоит? Семьдесят четыре, двадцать семь, девяносто девять, четырнадцать. Единица, восьмерка, ноль, ноль, восьмерка...

Открывается дверь. Снаружи в комнату падает яркий луч света.
Входит старший Р о м а н с золотой тарелкой на голове.

Р о м а н *(снимая тарелку)*: На, держи. Тебе нужнее *(падает замертво)*.
Л е о н и д *(надев тарелку и садясь среди мертвецов)*: Я — УЗБ-76. Уйди, злая боль *(умирает)*.

* * *

Ты скажешь, что я все выдумал — вернее, выдумал Энгель, — и, разумеется, будешь права, вот только парадокс этой выдумки заключается не в том, что так возмутило тебя: каким образом одному человеку удавалось водить за нос других и удерживать их в подземном бункере? Почему никто из них не заподозрил, что все не так, как утверждает Алтарник? Спроси об этом учебники истории, спроси газеты, спроси ведущих теленовостей, спроси нас самих, наконец. Меня волновало другое — постоянно работавший в заброшенной, отрезанной от электроснабжения деревне генератор. Алтарник должен был где-то брать топливо, а значит, какая-никакая связь с внешним миром у него все-таки имелась.

И я ее нашел. Я нашел человека на тракторе.

«Князь» дремал в том же сугробе, где я его оставил — потребовалось немало времени, чтобы его отыскать. Телефон разрядился, и я наугад — к счастью, память на маршруты никогда еще меня не подводила, — побрел в сторону деревеньки Кирсино, которую в самом начале ошибочно посчитал пунктом своего назначения.

Если ты думаешь, что я сразу нашел помощь, то это не так — в отличие от пустоглазых домов-призраков, мимо которых пролетаешь по трассе, не оглядываясь, Кирсино не производило впечатления вчерашнего Беловежского соглашения о распаде Союза — со всех сторон здесь отчетливо веяло Лезьенской волостью Шлиссельбургского уезда. Помыкавшись возле нескольких заборов, так и не отозвавшихся человеческими голосами, я наткнулся на чуть более солидный дом, который можно было бы назвать помещичьей усадьбой, если бы не припорошенный снежком трактор-тягач — исполинская ярко-желтая махина с бульдозерным отвалом с одной стороны и ковшом — с другой.

Я постучал. Из-под калитки высунулся собачий нос. Зычный бас приказал псу убираться. Лязгнул засов, и передо мной оказался усатый крепостной в накинутой на могучие плечи тужурке.

Я попросил помочь с машиной. Дал ему денег за возможность войти в дом, отогреться и высушить вещи. Мужик — он представился Лёней — не отказал. Предупредил только, что он здесь не владелец, а лишь присматривает за участком в зимнее время. Я спросил, где хозяева. Он ответил, что в городе. Бизнесом, дескать, занимаются — торгуют элитным шмотьем. За домом тарахтел генератор. Я спросил Леню об электричестве, и он посетовал на снежный катаклизм — где-то оборвало провода. После этого я начал следить за каждым его шагом. От щедро предложенной рюмки отказался — внутри еще теплилась надежда сесть за руль. Лёня не стушевался и выпил сам. Когда он достаточно разомлел от градусов внутри и снаружи, я осторожно поинтересовался про ту дорогу — зачем он ее чистит, если по ней все равно никто не ездит?

«Ты ж вот поехал, — резонно хохотнул он в ответ. — Да и бывают тут всякие. Ходят, интересуются. Что ищут — непонятно, но чего бы людям не помочь, если надо?»

«И часто ходят?» — встрепенулся я.

«Бывает».

«А назад-то возвращаются?»

«Да кто их знает? — брякнул он, но тут же себя поправил: — Тут обратно одна дорога. Возвращаются, видать, а то куда бы они делись?»

«А вы сами там были? Может, что-то странное видели?»

Я вдруг отчаянно пожалел о севшем аккумуляторе. Журналистское чутье подсказывало мне включить диктофон и записать разговор, однако никакой возможности сделать это даже на листке бумаги у меня не было, а потому пришлось напрячь память, чтобы зафиксировать каждое слово.

«Бывал. Нет там ничего. Рухлядь старая».

«А звук?»

Тут он наградил меня насмешливым взглядом из-под кустистых бровей и плеснул себе еще беленькой.

«Военных приблуда, мне до того дела нет. — И вдруг прибавил так странно, словно в последний момент попытался скрыть любопытство, но не сумел: — Тебя-то зачем туда понесло?»

Мне стало неуютно.

«Жужжание, — говорю, — слушал. Интересно, что такое и откуда».

«Ну и как? Узнал?»

Грузно поднявшись, он подошел к столу, открыл один из ящиков и достал из него нож. Не кухонный, а вроде армейского, с зазубринами в верхней части и продольной ложбинкой-долом. Этим ножом он неспешно и с видимым наслаждением принялся нарезать на кружочки батон докторской колбасы.

Я сглотнул сухим горлом.

«Нет, ничего не узнал».

«И Ромку, скажи, не видел, — пробасил он добродушно, но от этих слов внутри меня будто что-то оборвалось. — И Аньку, и малого, что помирает».

Я сидел и не знал, что сказать — продолжать ли отнекиваться, или во всем признаться, или вскочить и попытаться убежать — правда, в этом случае я облегчил бы ему задачу. Отмыть мою кровь с дощатого пола будет гораздо сложнее, чем сгрести на лопату кровавый снег. А он мне:

«Странно, что ты вернулся».

«Да вот, — брякнул я с бессильной и оттого особенно прочувствованной ненавистью. — Я вернулся, а они там лежат. Все мертвые».

Поигрывая ножом, Леня медленно обернулся ко мне.

«Уж не ты ли убил?..»

«Бромал».

«Бромал, — повторил он и, вытерев лезвие о тужурку, положил нож на столешницу. И я вдруг понял, что миновало, не станет он меня резать, может, даже отпустит на все четыре стороны. — Ты сам-то чем по жизни занимаешься?»

Мысли судорожно заметались в поисках лазейки. Соврать про жену и маленького ребенка, которых у меня нет? Про несчастных больных родителей на шее? Про рак? Психическое заболевание? Прогрессирующую амнезию?

«Статьи в газету пишу», — признался я обреченно, расписываясь во всех диагнозах разом.

«Журналист, значит!» — подивился он и бухнул передо мной тарелку с аккуратными нежно-розовыми кругляшками колбасы, при виде которых мне невольно подумалось о собственных сервированных пальцах.

«Ну вот что, журналист... — От этих слов, а вернее, от тона, которым они были сказаны, мои ноги сами поползли обратно в промокшие ботинки, а рюкзак вспрыгнул на спину, едва не придушив. — Поедем сейчас туда, и если все действительно так, как ты говоришь — подцеплю твой рыдван и даже до трассы дотолкаю. Но если нет...»

«Не так» быть не могло. Я знал это так же твердо, как свое собственное имя, но всю дорогу, что мы тряслись в холодной кабине трактора, меня не покидало

ощущение какого-то подвоха. Разумеется, я не думал, что покойники оживут и встретят нас приветственными взмахами рук, и я не горел желанием снова оказаться там, откуда выбрался с таким трудом, и видеть окоченевших мертвецов, и ботиночки величиной с ладонь, но самое главное — не верил я этому Лёне. Уж он-то был здесь своим — сходу повернул к нужному дому, остановился, велел ждать, а сам спрыгнул в снег и вскоре вернулся с первой маленькой ношей, завернутой в серую шаль. Тельце мальчика легло в ковш, Леня вернулся за старшей Анной. Все это время я сидел, зажав руки между коленями, и раскачивался из стороны в сторону — теперь я понял, зачем он меня сюда притащил. Хотел, видимо, похоронить всех этих несчастных по-людски, а я должен был чем-то помочь...

«Пей давай», — крякнул вернувшийся Лёня и сунул мне в лицо горлышко бутылки. Я не отказался. Было очень холодно, в ковше за моей спиной постукивали друг о дружку задубевшие тела женщины, ребенка и парня-гота, в общем, мысли по большей части меня покинули. Выпить за упокой — то немногое, что я мог сейчас для них сделать.

«Одну не нашел, — произнес Лёня, как мне показалось, немного смущенно. — Еще одна была».

«Возле генератора, может...»

«А», — буркнул он, и желтая ладья Харона заскользила к лесу.

В лес я не пошел тоже — помню только, что отвернулся и пил, пока ковш с неумолимой механической легкостью вытаскивал из ямы и откидывал в сторону пласт за пластом; пил, уже не чувствуя вкуса и совсем не пьянея, и только когда Лёня вдруг схватил меня за шкирку и стащил вниз, куда я скатился кубарем, не ощущая другой опоры, кроме собственного воротника, стало ясно, что толку от меня теперь не будет никакого, а потому вообще непонятно, зачем он сует мне в руки тот самый нож и приговаривает: «Бей».

«Ты чего? — засопротивлялся я. — Они ведь и так уже... Они уже... И так...»

Он поначалу вроде как меня уговаривал, а потом как заорет: «Бей! Убью же, сволочь! Убью!!!» — и так по затылку врезал, что слезы из глаз.

А она лежит передо мной, ветер кружева под подбородком шевелит, и вот здесь, в уголке глаза — льдинка...

Потом уже, когда все закончилось, Леня нож в целлофановый пакет завернул и спрятал под сиденье. Я тогда не очень соображал, даже когда уже услышал. «Если кто хотя бы вот сто-олечко... — Тут он подсунул мне под нос желтый заскорузлый ноготь и договорил: — Если хоть кому-нибудь проболтаешься — всего одно словечко — я тебя из-под земли, борзописец, достану...»

Ты знаешь, я мальчонку не смог, и женщину ту, и Бориса... Только ее, только ее одну, потому что знал — она бы простила. Если такое вообще возможно простить...

Прежде чем подцепить мою машину на буксир, Лёня велел отдать ему ноутбук и телефон — на самом деле я ничего не помню, просто придя в себя не обнаружил ни того, ни другого, поэтому решил, что все было именно так. Я отключился, стоило мне только оказаться внутри «Князя». Если б моему спасителю было угодно, он мог бы оттащить меня к ближайшему мосту и сбросить на лед, так что телефон и ноутбук — не самая невосполнимая потеря из всех возможных потерь.

В итоге он оставил меня на трассе и свалил, а я проспал неизвестно сколько и очнулся неизвестно где; без навигатора, в страшном похмелье, без понимания, было или привиделось, в шаге от того, чтобы отправиться на поиски ближайшего моста. Вместо этого я повернул ключ, выслушал мотор, я прикинул, сколько еще протяну без заправки, и просто потащился вперед — туда, где светлел горизонт, чтобы найти заправку, вымыть руки, взять кофе и сосиску в тесте, разговориться с милой девочкой-кассиром в надежде, что она подскажет, куда свернуть, и тотчас же свернуть. И знаешь, что? Я ни словом ни обмолвлюсь о том, что видел. Я пообещал это Калтащ — безо всяких угроз, я пообещал это Лёне — взамен на то, что нож с моими отпечатками

пальцев и следами крови навсегда упокоится в недрах дома торговца элитными шмотками.

Я не обмолвлюсь, но есть еще Энгель. Энгель, который сидит сейчас на кухне своей двушки в Царицыно и строчит в «Ворде» все то, что я поклялся оставить между мной и Кирсино, мной и ножом в моей руке, мной и хрустом, которым отозвалась ее грудная клетка.

Прости, но мне придется убить Энгеля.

* * *

«Все это определенно какая-то дичь», — подумал Борис Голубчиков, более известный в интернет-сообществах как Бо Энгель, и прибавил к ощетинившемуся в пепельнице ежику окурков еще одну иглу. Бо — потому что Борис, а Энгель — потому что в школе немецкий учил, и все, кто лично его знал, должны были ощущать в выборе псевдонима тонкую самоиронию — тощий и сутулый автор романов в жанре боевого фэнтези, с ног до головы обвешанный символикой блэк-металлистов, вместо креста под одеждой носил перевернутую пентаграмму, что самому ему казалось невероятно смелой формой протеста.

Должны были, но почему-то не ощущали.

Повздыхав еще немного, Бо выловил из тарелки последний обмазанный майонезом пельмень, отправил его в рот и заново пробежал взглядом напечатанный текст. Лучше не стало. Сюжету не хватало саспенса, классическая трехактная схема размазалась в неклассическую кашу. Врубив для вдохновения веселенький микс из гитарного боя и позывных «жужжалки», Бо запустил Гугл и погрузился в чтение статей про номерные радиостанции в надежде выцепить из них что-то новое, способное в момент придать пьесе глубинный смысл и немыслимую глубину. Ничего не нашел, психанул, свернул браузер и «Ворд» и щелкнул кнопкой электрочайника.

Неадекватно-счастливая девчонка на экране зомбоящика вещала про акции и спецпредложения на оливковое масло и сыр «моцарелла».

— Женя, Ульяна, Ольга, Зинаида, — подпевал Бо, размешивая растворимый кофе в чашке с выцветшим пионом на боку. — Сбой, сбой, сбой... Роман, Ольга, Павел, Яр*ы*.

Что за, нафиг, яр*ы*?..

С этими «ярами» в голове Бо и поставил исходившую паром чашку рядом с ноутбуком, а затем втиснулся на табурет между холодильником и столом, чтобы снова затосковать. Неясная тень гениальной идеи промелькнула вдруг в творческом мозгу — Бо вскинулся, глянул за окно, где плавно опускались снежные хлопья, даже рукой взмахнул, но мысль не поймал и поник обратно.

«Масленица пришла, масленица широка! Какой же праздник без моей сметаны?» — разорялась реклама. Теперь еще и блинов захотелось.

Бо наугад отмотал назад несколько страниц, прочистил горло и продекламировал:

— «Что, если Бромала нет? Что, если все это — роковая ошибка? Ты уходишь, потому что веришь в призрака. Призрак ломает нашу жизнь. Призрак превращает в призраков все, к чему прикасается»...

Идея крутила хвостом возле самого носа, но не давала себя рассмотреть.

— Ба! — гаркнул он в надежде выпросить свежих блинчиков к ужину, но бабуля не откликнулась. Телик в ее комнате орал гораздо громче внука.

Ладно, удовольствия потом, решил Бо и мужественно сощурился в монитор, однако стоило его истекающим эпитетами и метафорами пальцам хищно зависнуть над клавиатурой, затрещал городской телефон.

Бо раздосадованно цыкнул, но трубку снял — могли звонить из издательства.

— Служба социального опроса населения, — мило прочирикал женский голос. Его обладательница даже не подозревала, в какую бездну отчаянья мгновенно ввергла абонента. — Можно задать вам несколько вопросов?

— Задавайте, — вздохнул Бо. — Только недолго.

— Опрос займет всего минуту. В вашей семье прямо сейчас кто-нибудь смотрит телевизор? Если да, то какой канал?

— Я смотрю. — На самом деле Бо не смотрел, но привычка щелкать кнопкой пульта раньше, чем умываться и чистить зубы, укоренилась в нем лет с десяти. — НТВ.

Как раз в это самое время авантажный ведущий рассказывал об инсталляции «Люди-пули» и ее отношении к грядущей зимней олимпиаде. Бо аж загляделся.

— Кто-то еще?

— Да, еще бабуля. Ба! — попытался он вновь, зажав ладонью динамик телефона.

— Оу?

— Что у тебя там по телику?

— Да петух этот, ой, как его, забыла! Девок-то, девок раздевает!

— «Фэшн-вердикт», — расшифровал Бо в трубку.

— Благодарю за потраченное время, — ответила та и запищала.

Отхлебнув коричневой бурды, Бо выбрался из своего закутка и прошлепал в комнату. Встал в проеме, убедился, что с догадкой не ошибся и обреченно спросил:

— Ну и почему петух?

— Так надутый, как наш Петька, с этими своими бантиками, — охотно отозвалась не избалованная вниманием внука старушка из повернутого к экрану кресла. — Петьку-то нашего помнишь? Все заклевать тебя пытался, а потом ты его веником так отходил!..

— Угу, — поморщился Бо. — Ты это. Блинов напечешь?

— Напеку, вечером напеку, — пообещала она и махнула сухонькой рукой, мол, не мешай.

Вполне удовлетворенный подобным раскладом, Бо вернулся в кухню и ткнул в «пробел» уснувшего ноутбука. На экране появилась нетленка. За время отсутствия автора букв в ней, к сожалению, не прибавилось.

Бо плюхнулся на стул, поерзал, устраиваясь, и положил пальцы на клавиатуру. Закрыл глаза, подышал. Вот сейчас установится связь с вселенским идейным котлом и ка-ак попрет!..

In the town where I was born lived a man who sailed to sea[1], — доверительно сообщил телевизор.

Бо мотнул головой, будто отгоняя назойливое насекомое.

And he told us of his life in the land of submarines, — не унимался проклятый.

Бо стиснул зубы, потихоньку зверея, но глаз не открыл.

So we sailed up to the sun...

— Да чтоб тебя! — не выдержал Бо. Цапнул пульт, воинственно рассек им воздух, но вдруг застыл с царственно вытянутой рукой, уставившись в экран.

По волнам телеэфира, будто та самая неуловимая идея, неторопливо плыла желтая подводная лодка. И хотя выглядела она донельзя мирно, равно как и сама эта песня с детства ассоциировалась у Бо с гитарами, ромашками и любовью, а не войной, но отчего-то именно сейчас ему стало нестерпимо жутко. До сосущей пустоты в животе, до паники, до полного оцепенения. Впрочем, стоило только моргнуть, как наваждение исчезло, и странно неуместная в дневной прайм-тайм песенка сменилась зычным призывом купить квартиру побольше, впрочем, после слов «мы живем в жёлтой подводной лодке» это не только не вызвало недоумения, но даже показалось вполне логичным. Одновременно с подводной лодкой пропала и жуть, зато появился нестерпимый зуд в ногах. Бо срочно нужно было идти, а может, даже бежать.

Если бы кто-нибудь в тот момент спросил его о том, куда, он не смог бы ответить, но неопределенность конечной цели совершенно его не смущала.

«Похоже, я встал на чей-то след», — догадался начитанный Бо и ринулся в ванную.

---

[1] Здесь и далее — The Beatles, «Yellow Submarine».

Глядя на свое отражение в заляпанном зубной пастой зеркале, он обстоятельно снял пять металлических колечек с правого уха, затем три — с левого и уложил горстку железа на край раковины. Вычистил зубы, намылил лицо, тщательно потер глаза, чтобы наверняка смыть с век черный карандаш, и снова посмотрел. Бо Энгель неопределенного возраста и рода занятий стек в канализационную трубу вместе с мыльной пеной, и теперь из зеркала взирал Борис Голубчиков, двадцатипятилетний сисадмин сети турагентств «Звезда империи». Вот только пристальный взгляд из-под слипшихся ресниц не принадлежал ни тому, ни другому.

Он принадлежал Бромалу.

Напоследок Борис пригладил влажной расческой волосы и, оставшись вполне довольным собой, вышел из ванной.

Подходящего костюма у него не было. Невостребованная и, кажется, нестиранная со дня институтского выпускного рубашка висела в шкафу, по соседству обнаружились пиджак и даже галстук-бабочка отчаянно-желтого — на тогдашний мамин вкус — цвета. Брюки в тот раз пострадали слишком сильно. Когда Бориса наконец внесли в квартиру и положили в прихожей, их, как ни странно, не оказалось на месте. Наутро он, конечно, измыслил несколько адресов, где предположительно могли остаться дорогие по меркам их семьи штаны, но дальше расследование не продвинулось — детектив и жертва в едином лице заявили, что не желают ворошить прошлое. Мало ли что... наворошится.

С некоторым смущением остановив свой выбор на джинсах, Борис торопливо переоделся и выскочил в коридор. С кухни тянуло ароматом блинчиков с ванилью. Бабуля выглянула на шум, но тут же отпрянула и прижала к груди растопыренную пятерню.

— Ой, а что это ты, Боренька... Как на поминки-то вырядился?

Но Борис не отвечал. Он опаздывал.

— А блины-то? Блины? — суетилась она с плохо скрываемой паникой.

Бромал равнодушно посмотрел глазами Бориса поверх цветастого плеча.

— Уже не надо.

И Борисовыми ногами припустил к метро. Им предстояло проехать весь город насквозь, с кончика зеленого щупальца к кончику оранжевого. Борис, который искренне страдал в компании более чем пяти человек, на этот раз привычного трепета перед спуском в подземку не ощутил, но отчего-то даже этому не обрадовался.

В ожидании поезда он встал на край платформы и задумчиво глянул на пути. В затуманенном мозгу промелькнула мысль о том, что дальше ехать не надо и что вот она, цель, лежит прямо под ногами, но тут из тоннеля выползла железная гусеница, и вместе со всеми Борис потащился в вагон.

Людей было мало — как-никак, середина рабочего дня. Борис уселся на свободное место и стал смотреть на свое отражение в противоположном окне. Кривоватое, но симпатичное отражение явно знало больше него — Борис понял это, когда собственный правый глаз внезапно подмигнул ему из глубины мутного стекла. Борис смешался и перевел взгляд на свои ботинки, с которых натекла грязная лужа, впрочем, грязи здесь было столько, что никто ничего не заметил.

По мере приближения к кольцу вагон заполнялся пассажирами. На «Коломенской» ввалилась пожилая женщина с полными руками тяжелых на вид пакетов. Эти пакеты она почти приземлила на колени Бориса. Внутри он различил бутыль оливкового масла и несколько пачек сыра «моцарелла». Вспомнил, что на них действуют акции и спецпредложения и со вздохом отлепился от сиденья.

— Садитесь.

Женщина одарила его приветливой улыбкой и почти воспользовалась шансом, но тут взглянула вежливому молодому человеку в глаза и резко передумала.

— Сидите-сидите, — пробормотала она, сгребая в охапку поклажу, а потом зачем-то прибавила: — Всего вам доброго. — И устремилась в другой конец вагона.

Борис пожал плечами и приземлился обратно на нагретое место. Отражение удовлетворенно ему улыбнулось.

Переход с «Новокузнецкой» на «Третьяковскую» привычно бурлил. Протолкавшись в очереди к эскалатору, Борис встал на ступеньку и незряче уставился прямо перед собой. Таких взглядов вокруг было полно, и он не боялся, что его заподозрят.

— *We all live in a yellow submarine*, — тихонько пропел он, барабаня пальцами по поручню в такт. — *Yellow submarine, yellow submarine...*

«Как там дальше?» — успел подумать Борис, когда сокрушительный удар в плечо едва не отправил его в нокаут. Пигалица с огромным рюкзаком даже не подумала извиняться — вместо этого она обернулась и обожгла Бориса презрительным взглядом.

— *And our friends are all aboard!* — вспомнил он внезапно и выкрикнул это чуть ли не на всю станцию.

Взгляд пигалицы затуманился. Она отвернулась и побрела вниз с таким видом, будто забыла, куда направлялась. Видимо, так и произошло, потому что потом она осталась стоять возле стеклянной будки, а когда Борис сошел с эскалатора, безвольно побрела вслед за ним по платформе.

В вагоне они встали рядом, одинаково вцепились в поручень и одинаково посмотрели на свои лица, перечеркнутые нацарапанной на стекле пентаграммой.

— Как ты думаешь, что такое «жужжалка»? — равнодушно спросил Борис на «Китай-городе».

— Система сканирования эфира и поисков признаков жизни в случае чрезвычайной ситуации, — ответила она на «Тургеневской». — Так называемая «Мёртвая рука». Если по нашей стране нанесут ядерный удар, сигнал прервется, и это станет спусковым крючком для ответного удара. Все погибнут.

— Ты книги случайно не пишешь? — Механический голос объявил «Рижскую».

— В стол, — застенчиво призналась она, когда двери закрывались на «Алексеевской».

— Тогда что-нибудь пооригинальней придумай, — посоветовал Борис на «ВДНХ», и оба вышли.

Двери вестибюля дробили людской поток на ручейки, которые затем растекались в разные стороны. Впервые за несколько по-настоящему морозных недель потеплело, но тепло все равно не было — было промозгло, зябко и ветрено сразу со всех сторон. Под ногами хлюпала снежная каша и похрустывали крупицы реагента. Вдалеке Останкинская телебашня безуспешно пыталась проковырять шпилем серое столичное небо.

Шли молча. До конца оставалось всего ничего.

Останкино, смаковал Борис, рассекая ботинками бурую жижу. Все равно, что назвать целый район Труповским или Покойничьим. Их тут и правда пруд пруди — Останкинское кладбище, Лазаревское, Пятницкое... Изначально, читал, на этом месте было языческое капище, потом здесь закапывали тела душегубов и самоубийц, а позже с Божедомки перенесли морг и обустроили еще один погост, можно сказать, казенный — для нищих, бродяг и неопознанных жертв преступлений. Божедомка — это нынешняя Дурова, а когда-то туда свозили тела бродяг и утопленников, и они лежали там, дожидаясь, пока оттает земля. Борис, в смысле Бо Энгель, как-то приезжал, бродил в поисках сам не знал чего — вдохновения? искры? послания из прошлого? Всматривался в лица домов, тщась проглядеть время до прорех, сквозь которые в лицо пахнуло бы воздухом старой Москвы, дореволюционным окраинным бытом, жизнью и смертью, конечно. Но ничего не высмотрел, взял два пива и поехал домой, чтобы засесть на форуме радиолюбителей.

Из всех увлеченных «жужжалкой» форумчан самыми преданными оставались сам Бо и второй администратор под ником «Цыган». В жилах кареглазого и темноволосого Миши Левина текло ровно столько же цыганской крови, сколько в Борисе — ангельской. Несмотря на это, Миша обладал двумя неоспоримыми ценностями,

совершенно для Бориса недоступными и оттого желанными вдвойне — порталом в прошлое и публикациями, пусть даже не книжными, а в СМИ.

Портал в прошлое, судя по обсуждениям и фотографиям в «болталке», безо всяких усилий открывался прямо за дверью левинского гаража. Вел он, правда, не так далеко и совсем не туда, куда хотелось бы, а именно — в начало двухтысячных, откуда с мудростью и неизбывной печалью смотрел узкими фарами просевший на все четыре колеса свидетель агонии АЗЛК Москвич-2142 — «Князь Владимир». Что же касается публикаций, то смириться с фактом их наличия помогало то, что, во-первых, газет никто уже не читает, а во-вторых, журналистская звезда имени Левина сияла на небосводе вовсе не над Москвой, а над Барнаулом. Куда сильнее Бо подкосило известие о том, что источник сигнала «жужжалки» в очередной раз сменил местонахождение, и выглядело это так, словно даже он решил быть к Левину поближе.

«Ах, сволочь», — думал Бо в девять вечера.

«Ну, подожди, я все тебе выскажу», — лютовал он в одиннадцать.

«Прямо в лицо!» — Дрожащий курсор мышки то нависал над зеленой кнопкой скайпа, то трусливо заползал в самый угол экрана.

К двум ночи Бо набрался-таки смелости, чтобы поговорить с Левиным, и только когда тот, оказавшийся гораздо старше, чем его аватарка на форуме, ответил на видеовызов, Бо понял, что главное его требование — немедленно вернуть «жужжалку» обратно в Москву или хотя бы в Питер — скорее всего, не может быть выполнено, а значит, и говорить им не о чем. Совершенно уничтоженный этим инсайтом, он промямлил что-то о пьесе, хотя вовсе не хотел никому о ней рассказывать, и распрощался.

Кажется, Левин должен был уже вернуться из своей украденной у Бо экспедиции, но на связь почему-то не выходил и в онлайне не появлялся. Впрочем, прямо сейчас это не имело никакого значения, потому что Борис увидел обитые алюминиевыми рейками массивные двери. А двери увидели Бориса. И сожрали.

И его, и пигалицу с огромным рюкзаком, и еще два десятка безразличных ко всему людей, которые шли вроде бы рядом, но явно не вместе, потому что за всю дорогу не перемолвились ни единым словом: не посетовали на погоду, не поругали дорожные службы, даже позабыли про мобильные, в обычное время будто присохшие к рукам. И именно это, а не шаркающая походка и неподвижные взгляды, навевало подспудное ощущение беды — с отсоединенными от ладони смартфонами эти бредущие производили двоякое впечатление: либо тех, кто познал искусство закачивать себе в мозг террабайты бесполезной информации без посредства гаджетов, либо зомби. Они шли навстречу неизбежному с покорностью агнцев, были избраны, были почти что мертвы.

Мгновенно позабыв о своей спутнице, равно как и та — о нем, Борис одним из первых сдал куртку в гардероб и крепко стиснул в ладони номерок, вопреки обыкновению даже не взглянув на цифру. Затем он взбежал по лестнице и зашагал по длинному узкому коридору, минуя дверь за дверью — ковровая дорожка поглощала звук шагов, подошвы уютно вминались в короткий ворс. Борис ликовал. Грудь теснил восторг настолько огромный и всеобъемлющий, что казалось, он вот-вот перестанет помещаться внутри Бориса и его просто разорвет на тысячу радостно пищащих частиц. Судорожно вздохнув, Борис положил ладонь на ручку одной из дверей — вот сейчас все свершится — и потянул ее на себя.

Ноги мгновенно сделались ватными. В душном полумраке с запахом пыли и пудры он побрел к одному из стульев и сел, потому что боялся упасть. Нужно было смотреть вперед, и он посмотрел, и все посмотрели тоже — Бромал плескался в их взглядах, Бромал привел их сюда во имя высшей цели, и вот они здесь; зуд в ступнях откатился так же резко, как и возник, зато мучительно вспыхнули ладони, и сидящие слаженно подняли руки, соединившись в едином порыве, — воздух взорвался аплодисментами.

Возвещая о новом сообщении, в кармане пиджака коротко звякнул

мобильный. Борис вспомнил, что забыл включить беззвучный режим, и зашарил рукой в поисках трубки. На экранчике высветилось сообщение от Левина. «Вспомнишь — вот и оно», — подумалось Борису. Он равнодушно пробежал глазами по строчкам. «Есть важные новости. Вылетаю в Москву. Срочно нужно встретиться».

В любое другое время Борис бросил бы все и устремился на призыв — в его сознании существовала навязчивая, но не подтвержденная пока взаимосвязь между признанием со стороны Левина и вожделенным звонком из издательства. Но сейчас он бросил сухое «ОК» и наконец-то отключил звук.

Пронзительный свет прожекторов осветил лиловый занавес. Грянул оркестр. Портьеры разошлись в стороны, и взглядам присутствующих открылся огромный экран с расплывающимися по нему радужными картинками. Борис перестал дышать. Полными обожания глазами он обводил небольшую эстраду, стол и стулья вокруг него, наслаждался повсеместным сочетанием голубого и розового, искусственными цветами в корзинах и думал — вот сейчас случится главное. То, ради чего он влачил жалкое существование все свои двадцать пять лет. Учился ходить, плевался кашей в детском саду, колотил соседа по парте портфелем, гамал в «Доту» и «Майнкрафт», переустанавливал «Офис» на компьютерах сотрудниц турагентства «Звезда империи», провожал до дома Ольгу. Скрипя зубами, читал дурные отзывы под своими рассказами, но не сдавался, сочинял пьесу, пытался подружиться с ненавистным Левиным...

Борис позволил себе на мгновение закрыть глаза, иначе сердце бы просто не выдержало и разорвалось, заставив его тело обмякнуть среди других таких же тел, а дух — навсегда зависнуть под потолком и пополнить собой местный призрачный пантеон. А когда он их открыл, все уже началось, и он задохнулся от безграничного великолепия увиденного, ослеп и оглох от глубины полуосознанных смыслов, потерял дар речи, осознав собственную ничтожность перед величием мира, в котором есть место подобному совершенству.

П е р в а я в е д у щ а я: Здравствуйте! В эфире телепередача «Ужневтерпеж». Сегодня женихи Роман, Михаил и Леонид будут бороться за руку нашей прекрасной невесты Анны...

З а л: Да!

П е р в а я в е д у щ а я: Все, что вы рассказали, милочка, звучит просто ужасно.

З а л: Да!

П е р в а я в е д у щ а я: Но вы сами виноваты во всем, что с вами случилось.

З а л: Да!

В т о р а я в е д у щ а я: Нечего было с Козерогом в третьем доме рождаться, Козерогов в третьем доме всегда обижают.

З а л: А-а-а!

Т р е т ь я в е д у щ а я: А еще вы какая-то некрасивенькая.

З а л: У-у-у!

П е р в а я в е д у щ а я: Ну чего теперь-то плакать? Теперь вы с нами, вы в надежных руках!

З а л: Хлоп-хлоп-хлоп.

Б о р и с *(со слезами умиления)*: Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид.

Н о ж: Ужневтерпеж.

Б о р и с: Семерка, четверка, двойка, семерка, девятка, девятка, единица, четверка.

Н о ж: Ужневтерпеж!

Б о р и с: Я — УЗБ-76, я — УЗБ-76. Сто восемьдесят, ноль восемь. БРОМАЛ.

Н о ж: Ужневтерпеж!!!..

Ольга Птицева

Что это с нами?

Рассказы

Про Мальчика

Лёльке было девять, когда Мальчика застрелили. Смотреть на него пошли втроем — мама, бабуля и Лёлька. Стоял сырой июль, мелкая мошка уже поднялась с болот и начала жужжать, забиваться в рот и нос. Липла на коже и пила кровь. Пила, пока не прихлопнешь. И еще немного потом.

Лёлька шла по узкому деревянному коробу, положенному сверху труб, прикрытых теплым, чтобы не проморозились и не лопнули. Короб скрипел. С него сползла последняя наледь. Лёлька осторожно переступала ногами, а комбинезон — синий и скрипучий, на рыхлом синтепоне — задрался, и голые щиколотки тут же замерзли.

Нужно было остановиться и поправить штанины. Лёлька все думала — вот дойдем до столба и остановлюсь. Вот дойдем до большого, выше меня ростом камня, поблескивающего медными прожилками, и остановлюсь. Вот дойдем до вытянутого здания в один этаж, и остановлюсь. Из его расколоченных окон тянуло тревогой. Так всегда пахнет в больнице. Особенно в брошеной, с выбитыми стеклами. Особенно в той, где прошлой ночью застрелили Мальчика.

Он лежал в кабинете главврача. Так сказал мужик из артели:

— У Карпова в кабинете валяется.

Мужик еще что-то говорил маме, пока топтался в подъезде, перевешивал сбитый незнамо кем замок, чтобы можно было запираться на ночь, а то мало ли, какие люди шастают. Известно, какие. Те, что привели Мальчика в старую поликлинику и застрелили.

— Давайте сходим, — попросила Лёлька, когда мама вернулась с ключами от нового замка. — Давайте прямо сейчас к нему сходим.

Нельзя было не пойти, оставить его там лежать еще одну ночь и еще день. И потом еще, сколько простоит выпотрошенная поликлиника, пока не рухнет, не укроет собой Мальчика вместе с кабинетом главврача. Так Лёлька, конечно, не думала. Ей было девять. Она думала о том, что Мальчик давно уже не приходил — суток трое. Такого с ним не бывало. Загуляет в тундре. Забегается по делам. А к утру все равно приходит. Стучится в дверь, просится внутрь. В тепло.

Ольга Птицева — писательница, соведущая окололитературного подкаста «Ковен Дур», ведущая мастерской по подростковой прозе в CWS. Автор книг в жанре магического реализма, вышедших в издательстве АСТ (под псевдонимом Олли Вингет). Автор романа «Выйти из шкафа» (2020). Живет в Москве. Это ее первая «толстожурнальная» публикация.

Лёлька всегда просыпалась от этого стука. Перелезала через бабулю, спускалась на пол и шла к двери. Ковер заглушал шаги, и они не тревожили плотную домашнюю дрему. Все — молча. Все — сквозь зыбкий сон. Мальчик вваливался за порог, сопел благодарно и затихал.

А тут ничего. Ни стука, ни сопения. По двору бродили ошалелые дворняги — гавкали, подвывали коротко, нюхали воздух. И Лёлька вместе с ними задирала голову к бессонному небу. В июле солнце не успевает уйти за сопки, и небо постоянно светлое, до жути высокое, бесконечно уходящее куда-то вверх этой своей подкрашенной в розовое глубиной. Под таким небом обычно умирали старики. Летом они уходили вереницами. Прямо из постелей на вершину сопок. И дальше. В полярное никуда. Вот и Мальчик ушел.

— Надо сходить, Ир, — поддержала бабуля. — Может, оттащим его. Что он там лежать будет? Не по-человечески... — поджала губы. — Вот же горюшко.

— Да куда мы его оттащим? Тяжеленный. Прикрыть только если.

Мама смотрела в сторону, прятала глаза. Боялась, наверное, что Лёлька закричит. Заплачет. Или одна побежит к поликлинике, пока они тут мнутся и решаются. Лёльке не хотелось ни кричать, ни плакать. Только сходить к Мальчику, чтобы тот не подумал, как быстро о нем забыли.

Широкое окно кабинета выходило во двор — серые камни и мохнатые кустики ивы. Стекло уже разбили, и темнота прорезалась через дыру с острыми краями, виднелась в трещинах, что расползались от нее во все стороны. Так и хотелось проверить, побегут ли дальше, если ткнешь? Побегут, разрежут собой оставшееся цельным, и стекольная крошка посыплется вниз.

Лёльке нужно было увидеть Мальчика первой. Нужно было понять, что это на самом деле. С нами. Прямо сейчас. Мама поймала ее за капюшон, но Лёлька вывернулась. Схватилась за скошенный отлив, оперлась и заглянула внутрь.

У стола, опрокинутого на бок, были разбросаны бумаги и папки. Пахло отсыревшим картоном и немного спиртом. Мальчик лежал у стола. Опрокинутый как стол, такой же брошенный, такой же неживой, остывающий на полу. Его привели сюда. Заманили. Приставили к широкому лбу дуло охотничьего ружья и выстрелили. А теперь солнце било в окно, и казалось, что Мальчик скалится — из-под губы поблескивали зубы. А шуба его — мохнатая, иссиня-черная, с вырванным на боку клоком, поглощала этот свет. Оставляла в себе. Лёлька помнила, как тепло было под шубой, у самой кожи, если схватиться покрепче. Мальчик всегда терпел, ждал, пока согреются пальцы, поскуливал только. И бил тяжелым хвостом о снег.

Его привезли в поселок соседи. Года за три до рождения Лёльки. Ей, привыкшей к звериной могучести, сложно было представить, что Мальчик когда-то был щенком. Толстолапым лобастым кутёнком с нежной шкурой. Ел из плошки, спал на ковре. И рос. Постоянно рос. Из щенка в собаку. Из собаки в зверя. Он выходил из дома, распахивая дверь лапой, а к нему неслись на полусогнутых другие — разномастные, пятнистые, одичалые. Неслись, чтобы вылизать морду, выскулить право быть в стае. Мальчик смотрел на них с презрением породистого пса, знающего, что дома его ждут миска и ковер. Но позволял себя лизать.

Когда соседи собрали свою жизнь в один контейнер, места для Мальчика там не нашлось. И Мальчик остался. Сторожил новорожденную Лёльку, пока та спала в коляске у крыльца. Ни один пес, охмелевший от гона и голода, не смел залаять, если Мальчик ложился у последней ступени и ждал, когда она проснется.

Шестилетнюю, ее отпускали с Мальчиком в тундру. Лёлька в розовом пуховике на ватной подкладке, и он — огромный, как белый медведь-шатун, только черный и ручной. Они искали бруснику за детским садом. Позади тихонько умирал поселок, стиснутый вечными льдами. А впереди лежали три сопки, багряные от брусники. Ягоды красили пальцы, пока Лёлька срывала их с низких кустов и тут же совала за щеку,

морщилась, но жевала. На вкус брусника была летом. Коротким и горьким. Мальчик сидел рядом и не сводил с нее глаз. Под кочками пищали евражки, Мальчик вел ухом, но не двигался. Он мог поймать их, сжать зубами, проглотить в два укуса. Но ждал, пока Лёлька наестся первой. Пока оборвет весь куст и пойдет себе по вытоптанной тропинке к дому. Тогда он уходил в сторону сопок, и евражий писк стихал. Во двор они возвращались перепачканные — Лёлька в брусничном соке, а Мальчик в крови. И это было правильно. Закон тундры, отданной им на короткий месяц лета.

Кровь, стекшая из приоткрытой пасти Мальчика прямо на затоптанный пол, правильной не была. Ей не было места в мире, где Мальчик догонял Лёльку во дворе, легонько прикусывал ее ладошку зубами и вел так к качелям мимо камней и выбоин. Где Лёлька тянула его за уши, чтобы он не убегал по собачьим своим делам, пока они шли на площадь к хлебной лавке. А теперь его большая голова была откинута, глаза прикрыты вывернутым наружу ухом. Из-под него уже не текло, запеклось темной коркой.

— Не смотри, — попросила бабушка, притянула Лёльку к себе, отвела от окна.

Бабушка пахла лавандовой водой. Лёлька дышала ею, пока мама открывала скрипучую дверь поликлиники, пока шла по коридору, прямо по скинутым на пол больничным карточкам, пока укрывала Мальчика шторой, чудом оставшейся на окне.

А может, этого не было. Может, они вообще туда не ходили. Может, оставили Мальчика там. Может, попросили соседа закопать его на краю тундры. Лёльке было девять. Она мало что запомнила. Только лавандовую воду, ею пахло бабушкино пальто. Только дворовых псов — разномастных, пятнистых и одичалых, они выли всю ночь у разбитых окон поликлиники. И снег, что выпал к утру.

Бабариха

Бабарихой прозвала ее Лерка. Как-то легко так вышло — ба-ба-Ри-та-Ба-ба-риха. Сама Лерка от горшка два вершка, зато стихами шпарила только так. По вечерам вытягивалась в струнку и начинала с самой первой строчки:

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.

А когда доходила до главного злодеяния, то звонкий голосок ее взмывал к потолку хрущевки, задевал люстру, покачивал пыльный хрусталь.

А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Извести её хотят.

Делала трагическую паузу и начинала хохотать.

— Это про тебя! Про тебя!

В ответ Бабариха ворчала недовольно, мол, дурь это все, но в груди у нее становилось тепло-тепло, и дрожало что-то, и даже хотелось плакать.

Леру к ней привезли на лето. Тамарка передала, как эстафетную палочку.

— Мне в командировку. — И отвела глаза. — Я денег оставлю.

Бабариха сразу поняла, какая там командировка. Видать, про дочку хахалю не сказала, вот и прячет. Но деньги взяла и Лерку тоже.

Жили они хорошо, внучка оказалась бойкой. Как побежит, только пятки сверкают. Друзей нашла тут же, охламонов всяких, носилась с ними с утра до вечера, домой забегала, жадно пила из чайника, и обратно.

— Мы шалаш строим! — кричала в дверях.

Или.

— Кошка котят родила!

Или.

— Мяч продырявился, надо клеить!

Бабариха ее не слушала. Но каждый час поглядывала во двор: где там попрыгунья ее, где стрекоза? А вечером, когда спадала жара, а в кустах поднимался стрекот цикад, они садились рядом и ели черешню, пока Лера не засыпала, привалившись к бабкиному боку. Бабариха ждала этого целый день, замирала, слушала, как дышит рядом живое и теплое, и сама становилась такой — живой и теплой.

Тамарка вернулась в конце августа. Загоревшая, худая, с тревожным блеском в глазах. Наскоро обняла дочку, оглядела дом:

— Сколько ж у тебя хлама, мать, совсем ты сдала. — Повернулась к Лере. — Собирайся давай, машина ждет.

Лерка пискнула, схватила Бабариху за руку, замотала головой — тонкие косички с цветными резинками на концах тут же растрепались.

— Не хочу...

— Собирайся, кому говорят!

Лера спрятала лицо в складках бабкиного халата, даже въевшийся запах прогорклого масла не отпугнул. Так и стояла, подрагивая, пока Тамарка кидала ее вещички в сумку, все эти платьица, футболки линялые, даже пижаму с пятнами от черешни — не успели застирать. Бабариха молчала. Весь август она ждала, что их хорошая жизнь закончится. Вздрагивала от шагов на лестнице, кидалась к окну, когда во двор заезжала машина. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так в понедельник. Лето закончилось, Лерке в школу пора.

— Пущай едет, — уговаривала себя Бабариха. — Я тут покреплюсь, обвыкну.

А когда Тамарка и правда приехала, то обмерла вся. Ни слова не сказала. Лера все цеплялась за халат, волосы липли к мокрым щекам. Тамарка тянула ее к двери, что-то приговаривала сквозь зубы.

У Бабарихи в ушах стоял такой гул, будто стиралка старая простынь отжимает, но крик, разорвавший пыльную тишину крохотной прихожей, она услышала.

— Бабариха! — закричала Лера, рванула по коридору, облапила.

Тамарка вытолкала дочь за порог, подхватила сумку.

— Как доберемся — позвоню.

Может, и правда позвонила. Бабариха так и не вспомнила. Заперла дверь, доковыляла к дивану, рухнула и провалилась в темноту. А проснулась уже сломанной. Важная деталь надломилась в ней, не исправить, не заменить. Может, потому и потянуло ее к мусору, богу-богово, кесарю-кесарево, а ей, как заведено, — Бабарихово.

К бакам она шла после обеда. Брала авоську, брала костыль — вместе с чем-то важным в ней и ноги поломались, отказывались ходить — и ковыляла на соседнюю улицу, к новостройкам.

— Барчуки, — ругалась себе под нос Бабариха. — Вон какая простыня хорошая, а они в мусор! Это я зашью, тут застираю! Лерка приедет, постелю.

Чашка без ручки, сама синенькая, а цыпленок на боку желтенький? Так Лерка цыплят любит, чего не взять? Или подушка, чем не хороша? Сигаретой прожженная? Заплатку можно поставить! Лерка держать будет, а она, Бабариха, шить. Так авоськи и набирались. Растрепанные книги, чтобы Лерка читала, медведь без лапы, чтобы жалела, вазочка для сирени, вечно ведь оборвет полкуста, а ставить некуда.

Авоськи Бабариха тащила дворами. Все боялась, что спросит кто-нибудь, мол, куда это ваша Лера подевалась? А она возьмет и расплачется. Или упадет замертво. Изъян оголится, сломанная деталь выскочит из груди, расколется об асфальт. Лучше

уж никого не видеть, молчать себе, перебирать все эти книжки-подушки, представлять, как обрадуется им Лера.

Когда зачастили холодные дожди, Бабариха переобулась в найденные калоши, натянула поверх халата потертый тулуп — большой ей, с чужого плеча, зато почти целый, один только клок вырван из рукава, но привычкам своим не изменила. Шла на помойку дворами, вопросов ей никто не задавал, но охламоны местные совсем измучили. Швыряли камнями, вопили вслед:

— Бомжиха!

— Не бомжиха, а Бабариха, — хотелось ответить им, но язык не слушался.

Пахло от нее тяжело, руки покрылись цыпками, под ногтями грязь. Так ведь некогда мыться, скоро Лерка приедет, надо ей подарочков натаскать. Только не хворать бы, а то ноги совсем не идут, грудь давит, дышится через силу. Это все деталь проклятая жить не дает. Но Лерка приедет, и хорошо все будет. Хорошо.

Куклу в ситцевом платье Бабариха нашла зимой. Кто-то посадил ее на крышку бака, чтобы собаки не погрызли. С собаками Бабариха дружила, делилась просроченной колбасой, гладила по мохнатым спинам. Куклу они не тронули. Почуяли, паршивцы, что не кукла это вовсе — Лерка. Даже косички те же — две, а на кончиках цветные резинки. Сейчас вытянется в струнку и начнет читать про остров Буян.

Бабариха схватила ее, засунула под тулуп, прижала к груди. Холодная! Бросила авоську на снег, распугала собак, понеслась, не разбирая дороги. А губы сами собой:

Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь,

Лерка под тулупом начала согреваться. Бабариха забежала домой, споткнулась о коробку с гнилым тряпьем, отшвырнула дырявую кастрюлю, попала в стопку прошлогодних газет, и они посыпались на пол, будто мертвые птицы с перебитыми крыльями. Но какое дело до них теперь, когда Лерка приехала? Только бы черешню найти, и совсем хорошо будет. Бабариха повалилась на диван, прикрыла собой пластмассовое тельце и зашептала:

Кабы я была царица, —
Говорит одна девица, —
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир.

Темнота укрывала их надежней чужого тулупа, пахло черешней и ранним августом. Лерка дышала под боком, живая и теплая, стрекотали цикады. А когда пир закончился и царь Салтан отпустил всех домой, то Бабариха вздохнула последний раз и тоже себя отпустила.

Снегири

— Заходи, Серёженька, — говорит она и тянется встать, да куда там, ноги пудовые, раздуло совсем. — Заходи, милок.

Серёженька топчется на пороге, смотрит исподлобья, комкает в руках затертую шапку, а волосики у него тонкие, мягонькие, будто детские. На сердце от них становится теплее. Спокойнее становится. Вот он, Серёженька, пришел, голубчик.

За окном сереет поздний рассвет. Ноябрь. День обкорнали Господни ножницы. Один кончик от него и остался. Чуть забрезжит свет, чуть развиднеется, и снова муть да хмарь. А они перед рассветом приходят.

Вначале застучит легонечко в окошко. Тук-тук, стук-стук. Может, подойти если, то и разглядишь в серости этой, кто идет? Да как подойти, если ноги не ходят, болят ноги, мочи с ними нет, сладу никакого? Так и сидит она на кровати, одеялом пуховым обернулась, и тепло, под ноги табуретку задвинула, и не больно. Сидит и слушает. Тук-тук. Стук-стук. Пришел, значит, гость новый. Заходи скорее, чего на крылечке мнешься? Ей бы испугаться, но не страшно почти. Только в дверях когда заскрипит, затемнеет в провале распахнутом, а лица не разберешь, пока на свет не выйдет, вот тогда жутко. Сердце ёкает, зависает в пустоте, и ничего нет — ни сил, ни слов, ни голоса, дрожание одно.

И каждый раз думается: вдруг он? И каждый раз молится: пусть другой, чужой какой, знакомый, хоть сват, хоть брат, милый Боженька, любого приму, как родного, а родной пусть поживет еще, Господи, пусть поживет.

Вот и тут застучало, заскрипело, в дверях мелькнуло, глядь, Серёженька Климов. Мальчонкой еще во дворах проказничал, а как девять классов оттрубил, так и сбежал. Все они сбегали, что им тут, когда столица под боком? Мать по дворам ходила, искала, а потом ничего, свыклась. Все они свыкались, нечего поделать — жизнь. Всё в ней своим чередом — рожаешь, растишь, носы трешь, лоб целуешь, крестишь перед сном, думаешь, мой еще, долго моим будет. Не углядишь, а он уже фьють! И нету. Ходи по дворам, не ходи. След и тот простыл.

Все уходят, и возвращаются все.

— Заходи, Серёженька, — зовет она, щурит слепые глаза, различает в пропитом мужике тонкошеего мальчика, вон, волосы какие мягонькие, смялись под шапкой.

Серёженька шагает через порог. Старые половицы молчат под его сапогами. Тяжело опускается на стул у окна, подпирает локтем скошенный подоконник. Смотрит тяжело, устало смотрит, измотанно. Ничего, Серёженька, теперь отдохнешь, походишь немножечко, помаешься напоследок и отдохнешь.

— Ну как ты, голубчик? — спрашивает она, от гостя тянет рыхлой землей и морозной ночью.

Он молчит, ищет слова, с трудом разлепляет губы.

— Холодно, — сипит, кашляет. — Холодном мне, баба Люба. Холодно.

— Ничего, милок. — А сама покрепче в пуховое одеяло кутается, прячет озябший нос. — Это тебе только кажется. Попривыкнешь и забудешь, как холодно, как голодно. Все забудется, Серёженька. Все пройдет.

Главное, верить, что правду им говоришь. Как на духу верить. Им же надо-то, малость самая, услышать, что закончится все это. Уже закончилось. Подождать только надо. Как сороковина придет, так и не холодно станет, не страшно. Самой ей не ведомо, что там дальше. И думать о том не думается. Что гадать, как придет срок, так и узнает. А пока сиди себе, кутайся в теплое, встречай гостей да слушай, как печалятся они по тому, что отболело в них, замерло да выстыло, как изба без печи.

— Ты сама-то как? — спрашивает Серёженька и глядит, и ждет ответа.

Холод пробирается к распухшим ногам. Больно так, что вдохнуть невозможно, но она улыбается. Надо же, спросил, голубчик. Не зря его под полом прятала от отца с ремнем.

— Хворая совсем стала, — меленькие, как крупинки, слезы сами начинают течь из глаз, не были бы солеными, застыли бы на ледяных щеках. — Устала. Сидеть устала, лежать устала, спать устала, не спать устала. Болеть устала. Кабы не соседи, так с голоду бы и померла. Ноги, знаешь как болят? Не встать. Будто кто грызет их. Глаза закрою, а они гудят, выворачиваются. Каждая косточка ноет. Глаза открою, а они пухнут. Лопнут однажды. Почернеют. Так и помру.

Серёженька отрывается от подоконника, распрямляет плечи. Тянется к ней рукой. Синие выцветшие узоры, серые переломанные пальцы.

— Так пойдем, — говорит он. — Баба Люба, пойдем вместе. Вдвоем не страшно будет. Ты старая, святая небось, за меня словечко замолвишь, если спросят. Пойдешь?

Мягонькие детские его волосики прилипли к влажному лбу. Где-то далеко, в чужой земле, лежит он сейчас, холодный, твердый, отмучившийся. А здесь стоит, как живой. Только за окошком почти рассвело. Еще чуть, и вспыхнет в соседних домах свет — утренний, резкий, пробуждающий, зашумят машины, заголосит, закрутится и начнется по новой еще один день. Еще чуть, и растворится Серёженька в этом свете, в шуме этом, в голосах живых и громких. А она останется.

— Не могу я, голубчик, не проси даже, — отвечает, подтягивая к себе одеяло, пух в нем давно сбился, скомкался, набух от влаги. — Жду я. Володю своего жду.

Серёженька смотрит испуганно, но руку опускает. Полутьма комнаты обступает его, и он в ней серебрится, наполненный новым, пугающим светом.

— Ты иди, милок, дни-то в пересчет у тебя. Не трать их на бабку старую.

Он пятится, задевает стул, но тот остается неподвижным. Топчется у окна, а половицы молчат. Моргает часто, слезы в глазах стынут, а она его почти и не видит уже. Крестит размашисто место, где сидел, молится тихонечко, провожает гостя, как принято, добрым словом да памятью. Хороший был мальчик, как Володенька. Все они хорошими были. А потом раскидало их, замучило. Кого судить? Уж не их.

...И пока она плачет, утирая слезы замусоленным краем тяжелого одеяла, по другую сторону запыленного окна собирается местный люд.

— Баба Люба, — кричит Райка из пятого дома. — Живая там? Не померла?

— Не померла!.. — отвечает она.

— Мы тебе хлеба принесли и каши горячей, будешь? — голосит Игнат Петрович с соседней улицы.

— Потом, — отмахивается она, нет пока в ней силы встать, дотянуться до окна, распахнуть его, забрать, что с уличной стороны ей оставили.

— Поела бы ты, Люба, пока горячее, — просит ее Светлана Фоминична, товарка по двору. — Помянуть надо Серёженьку Климова. Телеграмму прислали, девять дней, как умер он. Так и не вернулся домой, голубчик.

Вернулся, думает она, поднимаясь с кровати. И Серёженька Климов вернулся, и Ваня Коляда, и Лизонька Усманова. Все слетаются к старой бабе Любе, куда бы жизнь ни забросила, а на девятый день постучат на крыльце, помнутся на пороге и заходят.

И Володенька ее, сыночек драгоценный, зайдет однажды. Вот с ним она, старая карга, и отправится в главный путь. А пока хлеб да горячая каша. Помянуть Серёженьку Климова. Всех их помянуть.

Елена Ермолович

А мы остаёмся здесь...

Рассказы

Флориан или Пушкаш

Просыпаюсь оттого, что замерзла. В кресле напротив папенька читает книгу Коэльо — о, чудовище! Кто? Да оба они...

Так холодно, что стеклянная сахарница аэропорта Пулы даже запотела изнутри. Надышали пассажиры задержанного московского рейса. Аэропорт — хрустальный саркофаг на раскрытой ладони, на вытянутых пальцах ночного летного поля. Сентябрьские звезды стоят очень низко — кажется, мир накрыт изрешеченной пулями шляпой.

— Наш самолет все еще чинят, — папенька опускает книгу и смотрит на меня поверх очков, — там, в Москве.

Мои ноги и еще чуть выше — прикрыты флисовым канареечным пледом. И у папеньки на плечах — точно такой же плед.

— Пап, пледы давали?

— Что ты... это — плоды личного обаяния. Я брал кофе, чтобы согреться, и буфетчица была со мной любезна...

Папенька не знает хорватского. Не знает он и английского — только немецкий, в пределах школьной программы. Но личное обаяние — его сильная сторона.

Год назад к моему Лёвке приезжал нарколог. Я сидела в квартире — из любопытства, и из христианского сострадания, и чтобы ничего из вещей не пропало. Нарколог воткнул свою капельницу, Лёвка тотчас благодарно отрубился, после двух суток мучительной абстиненции. И доктор пришел ко мне на кухню — дружить. Пока капает капельница. Съел пирог, выпил весь чай. Разразился обычной мужской шовинистической фигней о том, что бабам не пойми чего надо и приличному человеку невозможно обрести на земле свое счастье.

— Неправда, — отвечала я тогда. — Мой папа три года как овдовел, и с тех пор он обрел свое счастье четырежды. С дамами богатыми и красивыми. Он приличный человек, дотторе, поверьте. Профессор, автор двух книг, — тут я сделала паузу, а потом призналась — я патологически честный человек: — Мой папа — альфонс.

«Дотторе» уставился на меня, прикидывая мой возраст и пытаясь вычислить возраст невидимого, но чудесного папы:

— Сколько же лет ему?

— Шестьдесят четыре.

Ермолович Елена Леонидовна родилась и живет в Москве, училась в Московском технологическом институте (дизайнер по костюму). Это ее первая «толстожурнальная» публикация.

Значит, сейчас папеньке шестьдесят пять. Но выглядит он на полтинник — седина с благородной чернью, «перец и соль», очки без оправы, хрустальный холод глаз. Виниры. Маникюр.

Где-то под сводами, под перекрещенными балками высочайшего потолка, железный голос произносит непонятные фразы.

— Самолет вылетел, — переводит папенька с железного на человеческий, — значит, еще три часа. Можешь пока поспать.

Весь этот год я металась, как Буриданов осел, между ними, моими двоими, между Женькой и Лёвкой. Один умный, другой очень умный. Один красивый — другой, ну очень красивый. Но Лёвкины «очень» коварно уравновешивались другими чудовищными «очень» с обратным знаком.

Мама моя, мир ее праху, была литературный редактор, и как-то давным-давно мы спорили с ней, есть ли в русском мате слова, которые ну никак, никоими силами не заменишь — приличными.

— Вот, например, такое свойство личности — «с припиздью», — говорю я. И мама прикрывает глаза, перебирая все цензурное богатство вариантов, и с усмешкой соглашается:

— Ну да, ну да... Ничем не заменишь.

Вот и Лёвка был очень — с припиздью. За год он разбил две машины. Лечился от двух зависимостей — от алкогольной и от наркотической. Дважды лежал в больнице, с ножевым и с панкреатитом. Зато кандидатскую — ну, почти написал.

А Женька... Я могла положить свою бедную голову на его колени, и он гладил мои волосы, и с жалостью и ненавистью говорил:

— Сколько же зла он тебе приносит.

Про Лёвку... Они знали друг о друге, у них была открытая конкуренция. Я патологически честный человек, я же говорила.

Я сбежала от них обоих в эту Хорватию, в этот Ровинь. Взяла тайм-аут на месяц.

Море, соленое и горько-синее, как слезы вдовы. Четыре башенки замка Катарины, острыми сосцами ранящие небеса. Дождь с солнцем вперемешку — как в том фильме: смешать, но не взбалтывать. Лукавые отсветы, бежевое на голубом. Сосны и мирты. Душный розовый куст под окном, осененный трепещущими радужными шариками колибри.

Окошки моей квартиры глядели на остров Катарины, на яхтенный причал — десятки белых мачтовых пик стояли в оконном проеме, словно копья подступающей армии «бессмертных» персидского царя Дария. Чайки не давали мне спать, плакали и пели, как коты. Но у меня и так не очень-то получалось — спать.

В мою каморку вела крутая, до блеска, до бликов стертая каменная лесенка, взбегавшая вдоль бархатной мшистой стены. По вечерам я усаживалась на балконе с раскрытой книгой. «Фауст» в редакции Кита Марло. Эту книгу я могла листать и без света — помнила наизусть. Бокал вина, мутное зарево в дремотном небе, вдали, на острове — подсвеченный сырный торт замка Катарины, мерцающее, йодом пахнущее море, и позади белых невесомых яхтенных скорлупок — черный носатый нарвал миллионерской гиперяхты «Аттитюд».

С «Аттитюда» слышался хладно-торжествующий Гендель, а я все ловила, наперекор флейтам и скрипкам — шаги на лесенке, там, за дверями. Все ждала — ну который? Кто решится, кто первый приедет? Женька был высокий и толстый, его шаги были округлы даже на слух и тяжелы, как гири. Песня была такая — «снегири не гири» — а что? А Лёвка взлетал по ступеням, как козочка, и, кажется, так же цокотал копытцами.

Вино, Гендель, призрачно реющий в воздухе, как муар. «Фауст» Марло, столь плотно засеянный цитатами — что и не видать текста... Шаги по лестнице, ритмичная сарабанда с пристуком трости. Папенька в юности сломал лодыжку и в долгие поездки — всегда прихватывал с собой трость. Папенька...

— Не потесню?

Даже когда выбираешь из двух — есть шанс, что припрется третий. Я не знаю, отчего его принесло. Но очередная папашина патронесса вдруг отпустила его от себя, вытирать мои слезы. После третьей, нет, даже после второй я бросила это дело — считать его милостивых патронесс. Я не знала — которая там отпустила. Я патологически честна во всем, увы, и в презрении, и я не сумела простить папеньке — мамину смерть и его столь скорое и столь успешное утешение. А он ведь прилетел ко мне — дружить, как тот нарколог на Лёвкиной кухне.

Папенька поселился в столовой, на горбатом жестком диванчике, и колибри теперь влетали в окно — на запах его земляничного табака. Хозяйка стала являться чаще, то с полотенцами, то со срезанными цветами. Три русские толстухи на крошечном городском пляже переоблачились из закрытых купальников в открытые. Потом — разлеглись топлесс.

Утром папенька сбегал по лесенке вниз, к пекарне, и возвращался с промасленным бумажным пакетом, яростно благоухающим корицей. И трость цокотала по ступеням — как те козьи копытца, которых я так ждала и которые ну никак, никак...

Папенька загорел, горбинка носа порозовела, и льдистые глаза на ореховопотемневшем лице сделались совсем уж невыносимы для местных стареющих дам. Он заскучал на вторую неделю, но домой не хотел, захотел в Венецию — через море, как через речку, на тот берег. И мы поплыли, конечно.

Венеция мне, как говорят, «не зашла». Слишком людно, слишком нарочно. «Хилтон» казался похожим на «Красный Октябрь», и над городом низко, как мухи — проползали в небе толстые самолеты, почти цепляя брюхом за крыши. Вода в каналах стояла мутная, словно с мылом, и кругом запах был тоже мыльный, и голуби, и цыгане — как на рынке в Хацапетовке. Здания облезлые, словно их терли пемзой... А папеньке все нравилось, он накупил сувениров, отведал кофе за двести евро на самой главной площади — я забыла, забыла — какой, и когда голубиная какашка с высоты бомбанула в его чашечку с бесценным, за двести евро, кофе, он радостно воскликнул:

— Отлично!

Хоть допивать не стал...

Папенька прихватил с собой в поездку фотоаппарат-«мыльницу» и без устали фотографировал — дома, каналы, поющих гондольеров, чаек, голубей, цыган, негров, разложивших на земле фейковые «Гуччи». Он припадал на колено, выбирая удачнейший из ракурсов, и выгибался, и даже подпрыгивал. Я попросила меня не снимать, но папенька коварно фотографировал со спины, я слышала, как щелкает позади меня его шайтан-машина. Вот так же в детстве он подленько исподтишка подсыпал мне зелень в суп, и тоже из хороших побуждений.

Папенька мерил шляпку гондольера у лотка коробейника на мосту Риальто, когда у меня возопил телефон. Риальто — уродский мост, право слово, его за дело ненавидят архитекторы. Номер был Лёвкин, но звонил не Лёвка, какой-то чужой мужчина. Из Лефортовского морга — или мне послышалось, я не знаю, есть ли такой в природе. Вся открыточная венецианская роскошь вдруг высоко подпрыгнула у меня перед глазами — я села на землю, вернее, на гладкие каменные плиты чертова моста Риальто. Папенька взял телефон из моей руки и дальше стал говорить сам. С тем человеком, из Лефортовского морга.

Люди стояли около меня полукругом, и цыганка, темная, как офицерская портупея, как Матка Бозка Ченстоховска, пронзительно глянула и протянула руку — мне показалось, взять мою сумку, искусительно брошенную на камни. Но нет, в птичьих черных коготках раскрылся белым — платок:

— Не плачь...

Русская речь — на рынке в Хацапетовке, и тут...

— Я не плачу, — ответила я тогда. — Я никогда не плачу. Спасибо...

Мы плыли оттуда, через все море, как через речку. Через Стикс или Лету — обратно, в Аид.

Под перекрещенными балками вещает железный голос, шипит, как вампир. Самолет все-таки до нас долетел, объявляют посадку. Я встаю, складываю плед, и в телефоне булькает сообщение — Женька. «Я выехал, отзвонись, как приземлитесь».

— Пап, ты что, ему сказал? Что мы летим?

Папенька был за Женьку. Лёвка ему не нравился, был непредсказуем, был чересчур, и Лёвка заставлял меня плакать. И смеяться, и удивляться, и танцевать на кончике стрелы — но это отныне и навсегда неважно...

— Прости, — папенька принимает у меня сложенный стопочкой плед и несет буфетчице, возвращать. Этот Женька был для него как та зелень в суп — исподтишка, но из лучших же побуждений.

Самолет взлетает, и я впервые не читаю молитву в своей голове. Мне впервые не страшно взлетать, мне никак. Прежде я до одури боялась любых стремительных взлетов, и однажды даже уселась в стеклянном скоростном лифте — на пол, от страха, и закрыла глаза. А сегодня — всё. Отпустило.

Земля и небо одинаково ясны и глубоки, словно черное зеркало. Внизу растекается бриллиантовая ангиограмма ночных дорог, сосудов, текущих огнями. Трепетно моргают, жмурясь, маяки. Ночь столь прозрачна сегодня, что города проплывают под нами — медленно, отчетливо, как будто выложенные ювелиром на бархатную подкладку. А в небе — звезды, разложенные чуть реже, но горящие даже ярче. Я никогда не умела в воображении соединять светила невидимой нитью, чтобы получить созвездия. А папенька — умеет в совершенстве.

— Смотри, Большая медведица и Малая, — говорит он, щурясь. Он сидит у окна, я рядом, третье место пустует — повезло. Папенька, скорее всего, врет про медведиц — ведь с небес созвездия выглядят вовсе не так, как с земли. Должно быть. И я не отвечаю ему, молчу. Но он умеет соединять воображаемой нитью не только небесные огни, но и те, что рассеяны по земле.

— Смотри, мы пролетаем над Будапештом, вон Дунай, и Буда, и Пешт. На том проспекте была моя квартира... Проспект Андраши, шикарный район. А вот и стадион...

Я вытягиваю шею, смотрю через него в иллюминатор — нет, папенька не врет, на земле мерцающим эллипсом светится стадион, как приоткрытый в безмолвном крике кукольный ротик.

— Дай бог памяти, что за стадион, то ли Флориан, то ли Пушкаш? Флориан или Пушкаш? Отсюда не понять, — сетует папенька. — Я ведь прожил полгода в Будапеште, весна, каштаны, боярышник в цвету — как закипающая кровь. Ты когда-нибудь видела, как цветет боярышник, — красным, как пенки с малинового варенья?

— У нас боярышник в цвету, и жаворонок в высоту — ныряет, как волан, — читаю я машинально — любимое.

Когда мама умерла, папенька месяц — не ел, не говорил и не спал. Лежал на ее постели, обняв ее подушку. А потом поднялся, сменил постельное белье и з*а*жил — так, как з*а*жил. Шрам прочнее, чем прежняя кожа, но все-таки — это шрам, то, во что превратилась рана.

— Пап, — зову я тихо, и он поворачивается — взблескивают очки, и над ними — самые холодные в мире глаза. — Пап, скажи, это когда-нибудь кончится? Пройдет? Когда-нибудь станет поменьше болеть, ну хоть когда-то?

Он должен знать — все-таки три года...

— Не-а, — папенька поправляет очки на изящной горбинке носа и улыбается бессильно и потерянно, — ни фига оно не проходит. Хотя, может, тебе и повезет.

Когда мы подлетаем к Москве, солнце уже висит над горизонтом и бриллиантовые дорожки на земле меркнут. Но я все равно представляю, как по одной из таких дорожек катится и катится к аэропорту крошечная Женькина машинка. И я уже знаю, что скажу ему там, на земле.

Самолет снижается, и по стеклам иллюминаторов тянутся горизонтальные горькие капли. Наконец-то — слезы.

И я запрокидываю голову, чтобы и мои слезы такими же бриллиантовыми дорожками побежали — к ушам.

Дневник соблазнителя

Il caro amante
non siegue il piede
e fido resta —
ma non con te...[1]

Гендель. «Альцина»
(ария Руджеро)

Звонят к вечерне. В окошках дома напротив, в шеренге матовых медовых квадратов, расчерченных на чуть меньшие квадраты — рамами, — репетируют свои невысокие прыжки питомицы знаменитой «танцовальной школы», и кажется, что скачут именно под этот звон. Антраша руайяль, антраша труа, антраша катр... Пухлые девицы в плоских туфлях привстают на мыски, разводят ручки в галантном жесте нежного томления и разбитого сердца — но, бог мой, к кому?

Из моих раскрытых окон пахнет рекой — влажной, томительной меланхолией. Реки мне не видно, но запах ее стоит рядом, словно нежданный и навязчивый гость, из-за спины угрюмо глядящий на мою работу. Я разорвал уже два листа и посадил, наверное, тысячу клякс, и все ни с места, и все без толку. Не отыскиваются слова... Я даже изгрыз перо, прежде столь бойкое, — где же они теперь, ваша храбрость и ваша фантазия, добрый доктор Леталь?

Завтрашним вечером я, Франц Фихте, лекарь, волею провидения прикомандированный к тюрьме, что на Заячьем острове, — я, врач-тюремщик, врач-убийца — должен выступить с речью на ежемесячном нашем собрании закрытого клуба столичных докторов. Председатель сего клуба, лейб-медик Лесток, обещал дать мне слово.

Я сам так решил, ведь это невыносимо. Я должен пресечь те сумасшедшие, идиотические слухи, что ползут и ползут, как лавина, с тех пор, как коллега мой Климт оставил Петербург. Я скромный и невидный человек — такова уж особенность профессии, — но я принужден выступить публично, растоптать, как змею, проклятое злословие. Климт мой друг, и он был ко мне добр. С тех пор, как он вымолил у Сената свой отъезд и стремительно отбыл в ссылку вслед за прежним патроном в истребительную геенну Соликамска — доброе имя коллеги моего сделалось игрушкой в руках у персон недалеких и злобных.

Но я три года был возле него, рядом, в полушаге, не мне ли и должно разбить вдребезги гнусные слухи, словно нечистый сосуд? Патрон моего Климта, господин Л., ныне ссыльный — невеликой морали человек, но прежние его гаремы и метрессы защитят его лучше, чем защитил бы нанятый адвокат — разве уместно подобному селадону приписывать еще и мужчину? Или другая глупейшая версия, что Климт его тайный сын... Разница в возрасте между Климтом и патроном всего десять лет, а если знать то, что знаю я из допросных протоколов, — и вовсе пять лет, ведь метрика

[1] Твой возлюбленный не уклонится с пути и будет верен — но не тебе... (*итал.*)

господина Л. лжет, как лжет и он сам во всем и всегда, такова уж его манера... Нет, я не стану этого писать — и рогатая клякса, как по заказу — замазывает последние строки...

Я ведь даже проводил — верхом — Климтов хрупкий возок до первой заставы. Я все спрашивал: «Стоит ли? Стоит ли он — жертвы, которую ты приносишь?» И Климт отвечал с всегдашней мягкой своей улыбкой, как будто прощения просящей: «Бог даст, возвратимся с ним вместе, вдвоем».

Но я верю, что ты вернешься прежде, один, когда наиграешься всласть в свою куклу — золотую марионетку с пустой фарфоровой головой и вовсе без сердца. И я должен блюсти в чистоте твое имя, до скорого твоего возвращения. Это же не любовь, не амурная одержимость, всего лишь неуместная преданность формуле римлян, «патрон — клиент», нелепое рыцарство, вот так же Артемий Петрович Волынский благородно сходил в зиндан Семибашенного замка вслед за послом Шафировым. И где он теперь, тот Артемий Петрович? Я сам вправлял ему руку и унимал кровь, чтобы с первой казни тотчас передать его на вторую — таковы уж они, превосходные господа патроны, только такой монетой они и платят... И ты поймешь это очень скоро, коллега Климт, а я лишь сделаю то, что должен: встану завтра, как Фрина перед ареопагом, перед нашим с тобою клубом и все о тебе расскажу, и змеи не смогут более шипеть...

С Климтом мы свели знакомство в году сороковом, в феврале, на пышном праздновании Белградского мира, на той нелепой шутовской свадьбе. Дежурство на придворных празднествах — неизбежная повинность для врача, получающего жалованье из казны. А Климт, похоже, сам напросился дежурить, из любопытства, со скуки, или шпионил. Мы чуть не столкнулись лбами над сломанной ногой очередного мундшенка. Пол в ледяном дворце был отполирован, как зеркало царицы Савской, и многие падали — а ведь что стоило прочертить на этом зеркале несколько гуманных полос...

— Так вот вы какой, добрый доктор Леталь, — проговорил с некоторой растерянностью Климт, закрепляя шину на бедняге мундшенке — по всем правилам Лейденской школы.

Я знал, что внешность моя отнюдь не созвучна с ползущим за мною шлейфом мрачной славы. Доктор-убийца, доктор Смерть, Леталь — и вдруг тридцатилетний изящный петиметр, наряженный, словно кукла в витрине модистки. Не Влад Цепеш, или нетопырь, или Кощей из русских сказок — как просит воображение.

— Так вот вы какой, знаменитый доктор Ка, — вернул я ему недоуменную реплику. Он был рыжий и седой, как зимний лис, бледный и с бледными глазами в золотых наивных ресницах, и улыбался младенчески, смешно щурясь, — тоже ведь диссонанс с его славой... Он был со вкусом одет и в шубе из темного волка. Еще бы, слуга самого господина Тофана...

Климт дал мундшенку хлебнуть напоследок лауданума, водки с опием, и велел лакеям нести его вон. Вышли и мы — праздничная процессия была уже на подходе, а лекари — не того полета птицы, чтобы стоять в ледяном дворце у всех на глазах.

Мы встали за домом, позади чаши из черного льда, той, что для собирания слез. Если будет нужда и кто-то опять повалится — за лекарями прибежит гвардеец.

Климт оглядел меня с добродушным любопытством, как вещицу, вручаемую в счет карточного долга:

— Отчего вы еще не в клубе, герр Фихте?

— А кто осмелится меня рекомендовать? — отвечал я с усмешкой. Я давно мечтал о закрытом клубе столичных лекарей, но увы, никто не был столь добр или храбр, чтобы дать рекомендацию убийце...

— Вы же не дергаете висельников за ноги, как это делал в молодости Исаак Ньютон? — спросил Климт, и неожиданно серьезно.

— Нет, напротив — я лишь вправляю то, что вырвал на дыбе наш кат, — отвечал я, и тоже серьезно. — Я как могу стараюсь исправить сломанные игрушки наших высоких персон.

— И вы не были в Новгороде?

— Нет, меня не приглашают на столь долгие прогулки, я нужен Андрею Ивановичу в крепости, — я понял, о чем он спрашивал, о той недавней, чересчур жестокой казни... Выходит, имя мое сплетено было уже и с нею...

— Если желаете, я вас рекомендую, — на морозе золотые его ресницы сделались белыми, и серебряный иней лег на ворот волчьего меха — совсем как борода рождественского деда. — Удивительно, что и вы, и ваш начальник господин Ушаков, оба столь несозвучны вашей общей недоброй славе, оба изысканные кавалеры, и с подведенными глазами...

— Доктор Ка тоже не рифмуется со своею собственной славой, — ответил я. — И странно, что ваш патрон еще не выучил вас подводить глаза, — говорят, он прекрасно умеет.

— Ne daigne, — вымолвил Климт, и это значило — не изволил, не снизошел.

О господине Л. никто не говорил равнодушно — или восхищались, или ненавидели. Умница, меценат, покровитель балета и высокой оперы, законодатель мод, красивейший из царедворцев, гениальный администратор, отец и основатель сложнейшей Дворцовой конторы, для Л. и сочинена была когда-то, в обход табели о рангах, его должность обер-гофмаршала. Все блистательные придворные постановки, и оперы, и лодочные катания, и фонтаны из французских вин, и миртовые рощи в январе, под стеклянным куполом — все это были его креатуры, шедевры художника, игра изощренного ума. И он же, Л., — безбожник, открытый агностик, прелюбодей, развратник, знаменитый своим гаремом из крепостных актрис, игрок, просадивший за катраном почти весь бюджет Соляной конторы, и наконец — алхимик, отравитель. Темный господин Тофана. Называли и жертв, двух тофаноотравленных прокуроров. Но я не застал этих прокуроров, я прибыл в столицу позже. И, зная славу собственного патрона, Андрея Ивановича Ушакова, я в уме сокращал подобные мрачные шлейфы — до размеров носового платка. Страшный тюремный Леталь существовал лишь в воображении наивного мещанина, а значит, и страшный доктор Ка, пособник алхимика Тофаны, скорее всего, был попросту химерой.

Клуб лекарей выбирал экзотические места для своих ежемесячных собраний. Лейб-медик Фишер, тогдашний наш председатель, был затейник — в прошлый раз клуб заседал в анатомическом театре над раскрытой чьей-то грудной клеткой, этим же вечером — в музее редкостей, знаменитой Кунсткамере.

Надо сказать, место нашли неудачное. Сам я не любитель горячительного, но коллеги скоро утратили трезвость, а с нею и координацию движений. Всевозможные диковины и монстры в хрупких стеклянных сосудах оказались под угрозой, когда два уроженца Цесарии принялись показывать тирольский танец, и вскорости почтенный наш председатель благоразумно увлек всю компанию в сквер позади здания, где уже расставлены были кресла, дымились жаровни и призывно клокотали чаши с пуншем.

— Постой, давай не пойдем, — начался исход, но Климт на пороге придержал меня за рукав.

— Боишься замерзнуть? Там бочек огненных не счесть, — отвечал я. Мы тогда только-только перешли с ним на ты и всюду ходили парой — два мрачных демона столичной медицины — и обоим нравилась такая игра.

— Не в том дело, — усмехнулся Климт. От вина его бледное лицо горело румянцем, и в холодных глазах словно взблескивало пламя — или то были отсветы с улицы, от тех огненных бочек? Он продолжил: — Я хотел бы взглянуть здесь, в музее, на одну вещь, пока никого нет. Да только без провожатого страшно, да и боюсь повалить здешних уродов, видишь, я немного перебрал. Проводишь меня?

Интрига, тайна, новый друг просит о помощи — кто бы отказался? Мы незаметно попятились назад, свернули в коридорчик, потом на лесенку. Климт вынул из-за пазухи свечу и огниво, и дрожащее неверное пламя озарило призрачно-сводчатую галерею.

— Да ты запаслив, — похвалил я. Кажется, Климт играл свое недавнее опьянение,

и румянец его был не от вина, а от волнения. Но он позвал меня с собою — значит, боялся идти один.

— И что же дальше? — мы стояли перед низкой, ниже человеческого роста, дверкой. Климт отдал мне свечу и принялся рыться в карманах:

— Я утащил у патрона своего один ключик... где-то он здесь у меня был... да, вот и он! — друг мой вытянул из кармана плоский ключ на цепочке. — Говорят, их было три таких, один потеряли, один у вице-канцлера, а третий — вот он...

Климт повернул ключ, толкнул — дверь подалась. Мы вошли, склонив головы, чтобы не удариться о притолоку. Дерганое пламя осветило крошечную каморку, кажется, здешнего препаратора — тревожные блики заплясали на круглых боках двух стеклянных банок. Два сосуда, как показалось мне, точно таких, как и в музее внизу, с плавающими в них монстрами.

— Что ты хотел здесь увидеть? — спросил я Климта.

— Вот его, — Климт решился, взял из рук у меня свечу и сделал шаг — к одному из сосудов, на второй он и не глядел. — Да, так я и думал...

В банке плавала мужская голова с белыми длинными волосами и сама мертвенно-белая и, кажется, изрядно поклеванная птицами. Я прежде слышал, что в этом музее хранятся головы казненных преступников, но искренне полагал, что это досужие враки — и надо же, вот... Я посмотрел на второй сосуд — в нем помещалась голова женская, с широко раскрытыми, словно плачущими глазами. Такая красавица...

— Кто она была? — воскликнул я невольно.

— Да бог весть, — отмахнулся Климт, — неважно. Я пришел к мальчику, не к девочке. И все, что хотел, увидел. Пойдем отсюда...

— Хоть поясни, что ты желал увидеть? — взмолился я.

— Мой патрон, когда ему нужно на что-то решиться или, наоборот, от чего-то драгоценного для себя отказаться, приезжает всегда в эту комнатку, в гости к этому поклеванному воронами господину. Патрон мой называет такие визиты — «Беседа с дядюшкой Натальи Фёдоровны». Так он, по собственным его словам, воспитывает в себе разумную осмотрительность.

— Прости, но я ничего не понял...

— Пойдем вниз, мой Леталь, пока нас не хватились и не застали здесь. Я расскажу тебе все на воздухе.

Но мы не вышли на улицу, присели в креслах под сенью троих заспиртованных циклопов.

— Рассказывай! — я даже взял Климта за руку.

— Ты же видел, на кого он похож, — Климт задул свечу, здесь горели шандалы. Горчащий запах от огарка пополз — змеею в самое сердце...

— Он похож — на Л.

— Разве что у графа Л. есть глаза, и притом изрядно накрашенные, — усмехнулся Климт. — Я недавно узнал эту историю, он сам рассказал мне от скуки, когда долго болел и полагал, что помрет. Давным-давно у царицы Екатерины было два одинаковых камер-лакея, Ле Гран и Миньон. Ле Гран — это Виллим Иванович Монц, вон тот, — Климт кивком указал наверх, — а Миньон — догадайся, кто.

— Наш... его и правда иногда еще так зовут — Миньон, Красавчик.

— Терпеть он не может это прозвище... Как ты сам понимаешь, Монца казнили совсем не за то, что было у него в приговоре — растраты, дачи... Граф Толстой лично сжег в печи маленькую бархатную книжечку, в которой этот педантичный дурак запечатлел все свои любовные победы. А на последней страничке стояла пометка — PSR, Personne de sang royal, «августейшие персоны». Вот за эту бухгалтерию беднягу и казнили...

— Надеюсь, твой Л. не ведет такого учета? — рассмеялся я.

— Куда там! Ведет, и книжка такого же цвета. Он, кажется, всерьез и насмерть играет в своего казненного двойника, живет его непрожитую жизнь. Он искренне верит, что наследовал бедняге Монцу, и в чем-то он прав.

— И много у него персон — на последней страничке? — я правда не знал. — Вряд ли там пусто.

— Добро бы так... — вздохнул Климт. — Как бы эта коллекция и второго коллекционера не привела на эшафот... У Монца было в книжке всего два имени, и того хватило, а у моего собирателя весь последний листок исписан, я даже не сумел посчитать...

— Зато сейчас ему, бедняге, наверное, невесело, — пришла мне в голову забавная мысль: — Ведь нынешний царь младенец, а регент — мужчина. Где тут разгуляться ловеласу...

Климт поглядел на меня исподлобья и мрачно сказал:

— Поверь мне, этот не пропадет...

Впрочем, обстановка на шахматном поле переменилась на той же неделе. Упомянутый мною мужчина-регент был восьмого ноября года сорокового арестован и в лодке доставлен в крепость Шлиссельбург. Наш единственный штатный кат Пушнин командирован был на «Шлюхин остров», повидал вблизи павшего регента, господина Б., и теперь делился впечатлениями.

— Я сразу понял, что дело пропащее, — сетовал наш здоровяк Аксель, прозванный так за успехи в немецком (в штатном реестре-то он был Алексей). — Этот регент тот еще гусь. Бык с золотыми рогами, так его прозывают в куплетах. Я думал, выйдет потеха — барин, нежный, пугливый, иностранец, тяжелее хрена ничего в руках не держал... Мы на раз таких ломаем. А он с порога: «Что у вас есть такое, чего не было бы в Восточно-Прусской тюрьме? Me surprendre!» — то бишь «удивите меня». Кто ж знал, что этот регент прежде срок мотал, да в Кениге, да за убийство стражника... Чем я его удивлю? Дыбой — так в Кениге повыше-то дыба, мне сказывали.

Аксель был образованный юноша, изучил труды прусского профоса Дерода «Квалифицированная казнь от А до Я» и «Колесование и дыба — тридцать за и против». Про кенигсбергскую дыбу он знал все, тамошние истязатели были его кумирами.

— Так ты его не удивил? — спросил я ехиднейше.

— Какое... Все вины не подписаны остались, от всего отбрехался, еще и интересанта своего, главного обвинителя, притопил. Только все равно он покойник. Приговор ему уж написан... Вот скажи, ученый доктор Леталь, что значит:

«Et de la corde d'une toise,
Saura mon col que mon cul poise».

Это регент прочел, прежде чем я его подвесил...

— Это из Вийона: «Сейчас веревка на шее узнает, сколько весит этот зад». А он забавный... не думал, что он знает по-французски. Знаешь, я начинаю полагать, что он стоил своей цены...

Аксель вспомнил о чем-то, встрепенулся, принялся рыться в карманах:

— Вот, гляди, как думаешь, сколько за него дадут?

На сургучно-темной его ладони заиграл сапфирами крест, лютеранский, тончайшей работы, с бледной эмалевой фигуркой распятого.

— Выходит, ты не очень-то старался удивить регента, — догадался я. — Погоди, ведь регента взяли из спальни и привезли к вам в одной только шубе...

— Такова она есть, Восточно-Прусская школа, — криво усмехнулся Аксель. — Те, кто ожидают ареста, носят на себе такие вещи — чтобы откупиться при случае. Креста ведь при обыске не снимают... Так что ты думаешь — сколько за это дадут?

— Знаешь, я не ювелир, но завтра мы с Климтом приглашены на именины, к дочери его патрона. И один ювелир там будет, я могу вас представить друг другу. Только ты не боишься, вдруг ювелир узнает, чей это крест?

— А какая разница? Регент пал, дом его разграблен, все тащат у него кто что может...

Vo solcando un mar crudele,
senza vele e senza sarte...[1]

Нарядный кудрявый кастрат из труппы господина Арайи исполнял на вершине ледяной колонны арию Арбаче из оперы Винчи в мертвенных сполохах бенгальских огней. У подножия колонны на коньках катились статисты из дворни в костюмах сирен и морских чудовищ. В роскоши и изяществе постановки ощущалась несомненная рука мастера...

Княгиня Наталья Фёдоровна, давняя метресса господина Л., праздновала именины младшей дочери, Прасковьи. От кого эта ее дочь, не стоило и угадывать — Климтов патрон подхватил девчонку на руки, и видно стало, что они на одно лицо — брови, ресницы, капризный злой рот... А тот отец, что записан был в метриках, стоял в стороне, пьяный, как Бахус, и мрачный, как Люцифер. Но не из-за очевидных своих рогов, нет — просто его-то давняя и любимая метресса, сестрица павшего регента, сидела сейчас под домашним арестом.

Ювелир на праздник не явился, ну и господь с ним, я рассудил, что Аксель и сам разберется со своей добычей. Мы с Климтом померзли-померзли, послушали арию, а когда фейерверк принялся сыпаться нам на шляпы, Климт сказал:

— Никто уж не упадет на льду, и мы не нужны. Пойдем, душа моя, в карты сыграем.

— Куда пойдем? — спросил я.

— Ко мне, в соседний дом.

Мы прошли по заснеженному саду, и Климт толкнул невысокую калитку среди сугробов:

— Вот мы и на месте.

Перед нами был задний двор графского особняка Л.

— Я вижу, не грустит твой хозяин, что приятель его арестован, — сказал я ехидно. — Напротив, праздники празднует. Я думал, он хоть поплачет по регенту.

Регент и Климтов Л. не то чтобы дружили, у регента не было друзей. Но я знал, что Л. был всегда возле регента, неотлучно рядом, даже ходили слухи, что он приставлен к нему вице-канцлером как шпион.

— Наш граф не умеет плакать, — отвечал Климт. — У него от этого краска размазывается. — Мы поднялись на второй этаж, потом на третий. — Вот и мое гнездо.

Климт обитал на антресолях с низеньким потолком, под самой крышей.

— А кто в других комнатках, — актерки? — полюбопытствовал я.

— И они тоже. И дворецкий, — ответил Климт. — Скажи, регенту здорово досталось?

— Я бы не сказал, до казни заживет. Будет иметь красивый вид в гробу.

Климт поморщился, раздал карты. В окошке мансарды сгустились сумерки, загорелись две неяркие звезды.

— Ты злишься, что я так говорю про регента? — спросил я, оценив недовольную физиономию Климта. — Тебе жаль его?

— Друг дома нашего столько лет, конечно же, мне его жаль, — сдержанно отвечал Климт. — Для меня все они прежде всего люди. Бездарные, жестокие, но создания божьи.

— А твой хозяин мог бы спасти регента? — спросил я. — Ты как-то говорил, он любит его.

— Он фигура невесомая, конечно, не мог бы, — вздохнул Климт. — Ему самому бы не пропасть. Он ведь тоже сейчас под следствием.

Когда партия наша окончилась, за окном уже было совсем темно. Я рассчитался — продулся Климту, — надел шубу и шляпу и пошел вниз по лестнице. Ни слуг не было видно, ни дворецкого, не иначе, все сбежали из дома на праздник. От соседнего

[1] «Без паруса и ветрил — иду сквозь жестокое море...» (*итал.*)

особняка слышны были удары салютов, играла музыка. Я направился к черному ходу, и у самой двери в полумраке — свечи некому было зажечь — разглядел две фигуры, черную и белую. «Свидание», — подумал я весело и на всякий случай встал за колонну. Я не хотел никого спугнуть и к тому же люблю подобные таинственные истории. Осторожно высунув нос из-за колонны, я вгляделся в темноту и прислушался.

Фигуры были, как выражался Климт, невесомые — бело-золотой, в мехах, тончайший господин Л. и черный циркуль фон Плаццен, телохранитель павшего регента. Л. не шептал, он всегда говорил тихо и очень отчетливо, так, что невольно хотелось вслушиваться в слова:

— Три письма: для кайзера, для польского круля и для старого герцога Армана. Я верю в вас, мой Плацци, — история доказала, что вы один можете — все.

— А кто же доставит ответы? — шепотом вопросил фон Плаццен.

— Обычная дипломатическая почта. Ей, в отличие от вас, никто не чинит препятствий. Три дня, и письма будут в Петербурге. Герцогиня дала вам на дорогу?

— Герцогиня лежит в горячке, покои ее разграблены...

— Я понял вас. Возьмите, — Л. вложил в руки Плаццена кисет с деньгами, затем, поразмыслив, снял со своих пальцев несколько перстней и надел их на его руку поверх перчатки с комментарием: — Этот с розовым камнем — еще и оружие.

— Ваше сиятельство! — Плаццен склонился, прильнул к его руке, и Л. погладил его затылок:

— Бегите, Плацци. Я не верю в бога, но да поможет он вам — или кто бы там ни был.

Стоит сказать, та авантюра имела успех — как только прилетели три гневных письма: от польского короля, от германского кайзера и от Армана Бирона де Гонто, старейшего из маршалов Франции. Маршал негодовал — чем его бедная кровиночка заслужил столь жестокий и скоропалительный приговор при бездарно выстроенном обвинении, а король и кайзер дружно вступались за благородного своего вассала (регент имел польское подданство и земли в германском Вартенберге). Из почтения к европейской общественности смертная казнь заменена была осужденному пожизненной ссылкой.

Регенту даже не довелось постоять на эшафоте, и более всего радовался высочайшему милосердию профос Гурьянов, по слухам, недавно осрамившийся в Новгороде абсолютным незнанием анатомии. Профос страшился еще одной квалифицированной казни, как черт ладана, и наш Аксель, вечный его соперник, излил на трусишку Гурьянова немалую порцию яда.

Но совсем уж кончилась история много позже, осенью сорок первого.

Было самое дно ночи, глухой и пропащий «час быка», когда в дверь мою постучали. Птица в клетке захлопала крылами, я проснулся, посмотрел на темные окна, накинул на голову одеяло — печь почти прогорела, дом остыл — и пошел открывать. На пороге стоял мой Климт, с безумными глазами, с докторским саквояжем в руке.

— Что такое? — я впустил его и теперь смотрел на встрепанного своего друга, постепенно приходя в себя после сна. — Что, брат, выгнали тебя?

— Ты все шутишь, а в городе мятеж, с этой ночи у нас новая царица — Елизавета. В нашем доме гвардейцы, у соседей, у княгини — тоже.

— И что Красавчик твой — того? — я изобразил пальцами решетку и чуть не упустил одеяло на пол. Злорадство — грех, но я, увы, не стерпел.

— Он под домашним арестом.

— А ты что, сбежал?

— Патрон вытолкал меня через заднюю дверь, когда пришли гвардейцы, — Климт присел на корточки у печки, раскрыл саквояж и принялся раздувать огонь. — Я обещал кое-что уничтожить.

Он вытянул пачку писем и по одному скормил умирающему огню, пламя вспыхнуло и заплясало. Я покрепче завернулся в одеяло, зажег пару свечей. На дне саквояжа, под бумагами, виднелись бархатные футляры и даже влажно блестели камни.

— Да ты и казначей у него... — догадался я.

— Кто-то же должен, — пожал плечами Климт.

Я наклонился и быстро выхватил из саквояжа книжечку в черной бархатной обложке:

— Ого! Дневник соблазнителя... тот самый...

— Дневник первым надо было сжечь, — Климт потянулся, хотел отнять книжку, но я спрятал ее за спину:

— Ты есть в его списке?

— Бог миловал! — воскликнул Климт. — Конечно же, нет!

— Тогда не мешай читать. Разве тебе самому не интересно, сколько принцесс имел твой прекрасный патрон?

Увы, на последней странице написаны были лишь инициалы — но зато целых восемь. Климт встал у меня за спиной и тоже смотрел, мучительно стыдясь.

— Целых восемь... Впрочем, если он считал и немецких принцесс, вполне мог столько насобирать, — признал мой рассудительный друг. — И знаешь, одни инициалы выглядят совсем подозрительно...

— Ты хочешь сказать, что седьмая принцесса, как пирожки у нас на набережной... — начал было я (на дворцовой набережной баба продавала чудные горячие пирожки — с яйцами).

Климт прикрыл мне ладонью рот:

— Грешно это... давай сожжем, а?

Я отдал книжку, и Климт с облегчением швырнул ее в печку. Страницы зашевелились — бабочка с черными крыльями безрассудно летела сквозь огонь. Внезапная мысль уколола меня, словно булавка, забытая в шве растяпой-портным:

— Послушай, он же дома, а домашний арест — это ведь не тюремный, всегда можно договориться. Я видел на той страничке инициалы — Е.Р., и все знают, что цесаревна неравнодушна к графу, все гонялась за ним, да он ее отверг... Что ему мешает, по старой памяти, да в ножки кинуться новой царице — мол, люблю, не могу, прости за все, снова твой...

— Может, она того и ждет, — поморщился Климт. — Потому он и не в крепости. Дан высочайший шанс...

— И? — я удивился, услышав уныние в его голосе — ведь шанс...

— Ne daigne, — проговорил Климт убито, — ne daigne... Не — изволит. Черт бы его побрал... И домашний его арест непременно перейдет в тюремный, а он и так нездоров...

— Я присмотрю за ним там, у нас, — пообещал я тогда, и Климт поглядел на меня совсем уж затравленно. Он захлопнул свой саквояж, погасив сияние спрятанных сокровищ, и теперь стоял всклокоченный и унылый, с траурными глазами, от широких зрачков — черными. И повторял тихонечко, почти про себя:

— Merde, merde, merde...

Я увидел арестованного уже через два дня — прибежал в мою каморку новый канцелярист Половинов, лукавый и таинственный:

— Пойдем, Леталь, там сюрприз для тебя, давняя твоя симпатия, — выпалил он. — Соляной вор, знаменитый господин Тофана. Ты же так мечтал взглянуть...

— И что с ним такое?

— На допросе свалился, думали, от страха — а он горит весь. Давай, идем, Андрей Иванович ждать не любит.

Я собрал инструменты и устремился вдогонку за ним в комнату для допросов.

Да, признаться, я желал бы взглянуть вблизи на знаменитого Л., чтобы понять причину столь сильной приверженности Климта к этому пустому человеку.

Когда мы пришли, арестованный лежал уже не на полу, на лавке, и конвойный гвардеец уныло прыскал в лицо ему водой из кружки. Я помнил Л. изящным кавалером, тонким и белым, словно мейсенский фарфоровый канделябр, но в крепости люди меркнут, теряются, бог знает на что делаются похожи, только не на самое себя, — и от молочной красоты графа Л. мало что уже осталось.

За столом заседали писарь и канцелярист, осовевшие к ночи, а начальник наш, Андрей Иванович, «папа», презрел условности и присел на самый стол, закинув ногу на ногу. Он был нарумянен и с подведенными бровями, в серебристых туфлях, — видать, недавно от двора и намерен был ко двору вернуться, как только закончит с ворохом свежих заплаканных протоколов в цепких набеленных лапках.

— Глянь, Леталь, придуряется он или нет? — велел мне Андрей Иванович, как всегда ласково. — А то, помнится, Виллим Иванович, покойничек, тоже любливал в обмороки падать...

Нет, этот арестованный не придуривался, от него, кажется, даже веяло теплом, как от печки. Я положил ладонь на лоб, розовый от жара, прочерченный трагически возведенными бровями — она, горячка...

— Горячка, ваша светлость, — отчитался я веселому «папе». — Ваш любимый испытанный рецепт: берете из дома под арест больного с инфлюэнцей, неделечка в камере, на холоде, — и ваше любимое блюдо готово. Горячка. Прошу к столу...

Непостижимо, но почему-то «папа» наш симпатизировал мне, видать, за строптивость. Мне сходило с рук то, что другому стоило бы места, а то и шкуры.

— Ты язва, Леталь. За то и люблю, — привычно умилился Андрей Иванович. — Так встанет он? Или пускай уносят? Он и так покойник, приговор ему уж написан, но формальности хотелось бы соблюсти.

Больной мой лежал, как сломанная кукла, я взял его руку, потрогать пульс, манжет упал — открылись темные полосы вдоль вен, длинные, до самого локтя. Я взял другую его руку — то же.

— Что за следы? — Андрей Иванович в живом волнении потянулся струною и смотрел на шрамы, и писарь с канцеляристом привстали и тоже смотрели. — Он что, убить себя пытался?

— Напротив, ваша светлость, — я вернул манжеты на место и сложил пациенту руки крест-накрест — все равно ведь покойник. — Это следы от медицинских стилетов. Так вводят антидоты от ядов. Сколько шрамов — столько раз жизнь сего господина была в опасности.

Так и узнал я нечаянно, чем же был друг мой Климт для собственного патрона — именно он заново сплетал разорванную нить его жизни. И любил в нем так сильно — уже отчасти свое создание. Свое выстраданное непутевое дитя...

— Встанет? — повторил вопрос «папа», я мотнул головой, и Андрей Иванович приказал солдатам: — Уносите дохлятину. Некогда чучкаться, еще двое на очереди, а ночи той осталось — всего ничего...

Караульные подхватили изломанную, грязную марионетку, а я смотрел, как розовые коготки упавшей руки будто бы царапают пол. Талия в двадцать два дюйма, профиль камеи, глаза все еще подведены синим, но синё уже и под глазами, и виски, и губы, и как никогда проступило сходство с тем вторым, что в Кунсткамере, с дядюшкой Натальи Фёдоровны. Битая карта, съеденная фигура...

Андрей Иванович качнул ногой во влажно мерцающем шелковом чулке модного цвета «sperme d'ange».

— Ах, Леталь, — проговорил он нежно. — А ведь у нас-то с графом, — и он кивнул на дверь, куда только что унесли тело, — жилеты от одного портного. На нем — сидит, а на мне — нет. Все оттого, что у сего негодяя — есть талия.

И когда я в ответ непочтительно фыркнул, он продолжил уже серьезно и назидательно:

— Знаешь, мальчик мой Леталь, отчего слетит такая фарфоровая голова? — и он опять кивнул на двери, за которыми уже слышался топот другого конвоя. — Он не был в полной мере почтителен. Не оказал уважения. То-то же...

Я мог бы возразить, что арестованный Л. был-таки в полной мере почтителен с ее нынешним величеством, я отлично помнил инициалы на последней страничке его дневника — Е.Р. Но на подходе был уже следующий преступник, и я поспешил безмолвно ретироваться.

Я не раз еще пытался добиться свидания с Л. под благородным предлогом заботы о его здоровье, но на самом-то деле, конечно же, ради моего Климта. «Папа» отказывал мне раз за разом и смилостивился уже — в насмешку ли? — перед самой казнью.

Тогда я не знал, отчего так вышло. Теперь, недели спустя, я догадался, что Л. и сам просил о свидании со мною, бог весть зачем. Быть может ему, агностику, лишенному последней исповеди, на пороге смерти захотелось поболтать хоть с кем-то, хоть с кошкой.

Когда караульный открыл мне дверь и я вошел, Л. сидел за столом, он что-то писал и обернулся ко мне, изящно перегнувшись в своей очень тонкой талии. Я еще подумал, может, он и голову умеет так же поворачивать, как сова?

— Рад видеть вас, доктор, — прошедшая болезнь добавила ему нежной прозрачности, но и не более того. Кажется, Л. сделался теперь совсем здоров — для завтрашней казни. Разве что тюремный цирюльник изрядно его поцарапал...

— Вам не позволят передать письмо на волю, — кивнул я на его исписанный лист.

— И не нужно, — беспечно тряхнул волосами Л. — Это стихи. Они останутся в камере, когда меня уведут. Свои я, правда, писать не умею, поэтому с трудом припоминаю чужие:

Deux étions et n'avions qu'un coeur;
S'il est mort, force est que dévie
Voire, ou que je vive sans vie...

— Comme les images, par coeur, Mort![1] — продолжил я за ним, это рондо всегда мне особенно нравилось.

— Вам знаком Вийон? — Л. поднял высокие бархатистые брови и посмотрел на меня впервые с неподдельным интересом. — Вы обратили внимание, доктор, здесь говорится не о ней, а о нем? Забавно, не правда ли?

— Забавно, что Виллим Иванович Монц в последнюю ночь перед казнью тоже писал стихи, правда, он сочинял их сам, — припомнил я отчего-то, и Л. тотчас фыркнул, как кот:

— Все, кто пытался подражать Виллиму Ивановичу, заканчивают свой путь на эшафоте. Артемий Волынский, вечный его эпигон, и вот еще — я... Вы пришли осмотреть меня, готов ли я к завтрашнему спектаклю? Так не стесняйтесь, приступайте.

Он поднялся из-за стола, и я подошел и приложил ухо к его груди. Сердце стучало ровно и весело — и ведь было оно у него...

— Как вы чувствуете себя? — задал я дежурный вопрос.

— Разве что кровь шумит в ушах, как будто бьются внутри меня ангельские крылья. Но, кажется, это даже добрый знак — перед завтрашним эшафотом.

---

[1] На двоих у нас было — одно сердце,
Но он умер, и придется смириться
И научиться жить в отсутствие жизни
— Наугад, наощупь, подобно призрачному отражению, Смерть! (*франц.*).

— Быть может, вам угодно передать весточку на волю? — спросил я шепотом, одними губами. — Вашему доктору Ка?

— А зачем? — искренне удивился Л. — Он знает, что ему делать. Чего ж еще?

Климт все эти недели сидел в моем доме, в кресле, в такой же позе, как сидит статуя фараона, и не желал ни шевелиться, ни есть, ни спать. Я заставлял его ужинать, угрожая, что иначе не расскажу ничего — о том, что узнал за день в крепости. Я посмотрел на Л. с недоумением и злостью — мне сделалось больно за Климта...

— Быть может, вы желаете передать привет бывшему регенту, господину Б.? — спросил я в отместку. — Он возвращается из изгнания и через пару недель уже будет в столице. Ее величество на днях отпустила сего господина из сибирской ссылки.

На самом деле о возвращении Б. ходили разве что неясные слухи, но я-то надеялся уязвить своего бездушного собеседника. Мол, кто-то возвращается под высочайшее крыло, снова в чинах и в славе, а кое-кто другой — повержен в ничтожестве...

— Как хорошо! — Л. ничуть не огорчился. — Только ему не будет до меня дела, ни до живого, ни до мертвого, ни до моих последних слов. Для этого господина я всегда был чем-то вроде шпиона в печной трубе, зачем ему мои прощальные приветы?

Л. отстранился от меня и несколько раз пересек камеру — его походка была все еще такой, словно он не только занимался с танцмейстером, но и сам когда-то был танцмейстером при захолустном немецком дворе.

— Жаль, что агностику некому исповедаться... — проговорил он жалобно, и я невольно поддался, продолжил игру, сделал приглашающий жест:

— В век просвещения жрец Асклепия в силах заменить пастора...

Л. продолжил свою речь сомнамбулическим речитативом, как будто и не со мною говоря, будто и не меня сейчас просил он об исповеди — он говорил сам с собою, одному себе, в себя, так шепчут секреты в колодец...

— Этот слепец полагал, что рядом с ним только шпион, приставленный вице-канцлером, — вполголоса вымолвил Л., забавно грассируя. — А возле него всегда был друг, которого он попросту не изволил видеть. Я пытался оберегать его, как умел... Я всю жизнь простоял за его плечом, не соглядатай, но хранитель, которому только там, за плечом, и место. И что стоило ему — обернуться? — Л. глянул на меня исподлобья, и видя и не видя. — Я, наверное, наивный безумец и, как любой коллекционер, к одному из предметов своей коллекции привязан более прочих, но так оно всегда и бывает, правда?

Л. грациозно присел на стул и закрыл лицо рукой, картинно утопив пальцы в волнистые темные волосы — несколько прядей были у него красивого белого цвета, словно нарочно. Впрочем, он весь был словно нарочно. Совсем один, в нелепом мире, расчерченном на треугольники — как на рисунке сумасшедшего иллюмината.

Я уже догадался, отчего Климт так любил его — его нельзя было не любить, обаятельного, беспомощного негодяя, ласковую змею. И Климт любил его, и княгиня Наталья Фёдоровна, и даже новая царица Елисавет, и те принцессы, давно мертвые, с последней его странички, и, быть может, даже звезда его коллекции, бывший регент, все-таки — тоже...

Но только не я.

— У вас не найдется зеркальца? — вдруг спросил он, вскинув на меня дивные глаза в трауре шелковых ресниц. — Цирюльник побрил мне бороду перед казнью и, кажется, всего исцарапал.

Я подал ему зеркальце, и этот красавец тотчас пропал в нем, загляделся, упоенный собою, — в точности как мой попугайчик.

Когда объявили помилование, мы поспешили уйти — я побоялся за свою шубу. Зеваки желали увидеть казнь, и не рады были нежданному милосердию, и в приговоренных полетели шелуха, и очистки, и вареная репа, а мы как раз сидели в первом ряду.

Вареная репа — не лучший друг для бобровых шуб. А Климт — он-то остался, конечно, до конца спектакля.

Профос Гурьянов перед казнью лично усадил нас троих — меня, и Акселя, и Климта — на хорошие места, поближе к эшафоту. Он был наряден и мерзко хвастался:

— У вас появился шанс оценить работу мастера.

— Этот мастер трясется больше, чем преступники, — сардонически проговорил Аксель о давнем своем сопернике. — Не исключено, что прошедшую ночь он посвятил изучению фундаментального труда господина Дерода «Казни: от колесования до посажения на кол», снабженного иллюстрациями. О, дилетант! Боюсь, наши приговоренные позавидуют господам Шале и де Ту...

Профос, и верно, нервничал, пальцы его дрожали, и помощники шарахались от нервных его окриков. Даже приговоренные смотрелись более мужественно — по крайней мере, наш Л. Он где-то раздобыл тулупчик, в точности, какой был на казни у Виллима Ивановича Монца. Бедный подражатель... И он красиво стоял, и летуче улыбался, и щурил глаза, и задирал подбородок, весь исцарапанный тюремным цирюльником. Петиметр, до смерти прекрасный, осененный последней гордыней и длиннейшими ресницами. Он даже смеялся в ответ на остроту товарища по несчастью. И когда объявили помилование — поблагодарил асессора несказанно изящным поклоном.

Профос Гурьянов рад был более всех — отменилась квалифицированная казнь. Аксель сердито фыркал, толпа за нашими спинами роптала. А Климт, доктор мой Ка, он глядел — на бывшего своего патрона, как тот улыбается, и щурится, и держит лицо, и не плачет, не плачет (ведь размажется краска!) — так мать глядит, с горечью и нежностью, на беспечно играющее дитя.

Окна напротив давно погашены, девчонки-танцовщицы отправились спать. А я все сижу среди смятой бумаги и клякс и не знаю — как же сказать о тебе? Что вынести завтра на суд? Вот кто ты был, доктор Ка? Порученец, тайный казначей — но так говорить нельзя, ведь дело еще не кончено, и «папа» мой, господин Ушаков, еще разыскивает по высочайшему повелению утаенные сокровища сосланных преступников. Да и все равно — не то...

Ты был ему другом — а он не увидал в тебе друга, во все глаза глядел через голову твою — на другое. И все равно ты не отпустишь его одного в пустоту, в геенну, в ад одиночества. Своего господина Л.

(Я забыл упомянуть, что пишу эти буквы — «Л.» или «Б.» — оттого, что они теперь ссыльные, у них больше не стало их прежних имен, отняты, утрачены, заменены тюремным писарем на пустотелые, незначащие слова.)

Бывший граф Л. фигура невесомая, кость «пусто-пусто», ничто, rien, но я расслышал и понял те слова, что говорил мне этот пустой бездарный человек. Место хранителя — за плечом. И ты снова на своем единственном месте, доктор Ка. Бог даст, он-то, твой Л., догадается однажды обернуться.

Как же пахнет река, невидимая, но присутствующая рядом незримо — тревогой, дождями, ветрами, полынями, долгими дорогами — всё на север...

Помнишь — в заливе, почти уж за горизонтом, проплывают, как легкие призраки, великолепные яхты неведомых праздных путешественников, мачтами раня холодное небо. Так во французских романах являются герою великие персоны, мимолетно, вскользь, на краю горизонта, едва задевая крылами. Стоит ли бежать за звездою? — Да ведь никто и не бежит... Мы стоим на берегу и всего лишь глядим, щурясь, на проходящие вдали силуэты. И только ты, благородный безумец, храбрец, дурак, мечтатель, — заходишь в воду и плывешь — один, против тяжких волн, навстречу призрачно белеющим парусам.

А мы остаемся здесь, на земле, и завистливо провожаем взглядом.

Сергей Попов

Родная ботаника

* * *

Донник, мордовник, сушеница, паслён...
Слышится счастье? Нравятся имена.
Даром в родной ботанике не силён —
душу созвучья высушили до дна.

Лиственный ворс, цветочная канитель...
Перегорает здешнее баловство.
Шалая тень кидается на плетень —
лишь поминай как звали скорей всего.

Вкус забывается, но не смолкает шум
высохших соков, токов прикорневых.
Слух бескорыстней, чем неуклюжий ум
на перекрестьях старых дорог кривых.

Фенхель, мыльнянка, жабрица, крестовик...
Выходки почвы? Происки языка.
Жгуч и неверен в горле блажной язык,
да и цена его нынче невысока.

Это сквозь корни, суффиксы, падежи.
пуще и пуще лезет разрыв-трава.
Что в кочевом отечестве ни скажи —
ярая зелень снова кругом права.

Точно в тебе кончается звукоряд,
и по-хозяйски запросто над тобой
о правоте беззвучия говорят
змееголовник, сабельник, зверобой.

Попов Сергей Викторович — поэт, прозаик, драматург. Родился в 1962 году. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор многих книг стихов и прозы, в том числе «Отдел теней и лавров» (Тамбов, 2017) и «Азбука буки» (М., 2017). Лауреат многих литературных премий. Живет в Воронеже.

* * *

и зверь и зоолог в стакане одном
наполненном здешним кромешным вином
с толикой целебного яда
на дне мимолётного взгляда

клокастая шерсть на загривке рябит
играет зрачков одичалый карбид
копыта то в пущи то в кущи
от всяческих взглядов бегущи

а ежели вдруг отодвинув стакан
за письменным станешь столом истукан
опишешь повадки и тропы
на самом востоке европы

и самочий нюх и покров шерстяной
и ангельский пух и прицел за спиной
и вечер кромешностью пьяный
пред бездной небесной и ямой

пусть этот учебник до корки прочесть
едва ли сочтут за великую честь
но твари впотьмах встрепенутся
на свет полагая вернуться

и дрогнет в ответ азиатская мгла
что раньше от силы всего и могла
копить грозовые разряды
таить непроглядные яды

и молнии лягут в ночи без границ
и трезвые ангелы свежих страниц
чернильные высушат перья
на хоженых тропах неверья

* * *

Всё не растворится столица —
стеклянное небо, дымы...
Пока пассажир веселится,
смыкаются пальцы зимы.

Хоть улицы и распростёрли
по пригородам огни,
литые фаланги на горле
итожат безумные дни.

И плач о путях и перронах
дышать не поможет ничуть...
Но странные проблески в кронах
вечерний трассируют путь.

Из центра событий и басен
реален побег на корню.
От этого вечер прекрасен,
хоть и не разъять пятерню.

Кромешным братанием с тьмою
плацкартная полка красна.
Сумою, зимою, тюрьмою
сквозит из открытого сна.

В нём на территории прозы
прозрачные станции слёз.
И дальше — сплошные морозы,
где память идёт под откос.

И белое брезжится чёрным,
провинция — краем земли,
где под замороженным дёрном
несметного счастья кули.

Сокровища, злы и капризны,
отсвечивают до утра...
И рукопожатье отчизны
рифмуется с долгим «ура».

* * *

Детский лепет, старческая удаль,
нищенства немереная спесь —
возникая словно ниоткуда,
шваль и голь отплясывают здесь.

Краковяк, матаня и лезгинка —
всё в одном стакане на ура,
ведь никак без хохота и гика
не дожить рванине до утра.

Поезда орут на всю округу
голосами тронутых сирен,
накреняясь к северу и к югу
и разгоном скрадывая крен.

И пока гудки сладкоголосы,
и колёсный лёгок перепляс,
плачут и бычкуют папиросы —
только искры сыплются из глаз.

А потом без лишнего напряга
утром растворяются в дыму —
там, где электрическая тяга
в никуда несёт по одному.

Даром, что братались без разбора,
позабыв про запад и восток —
погасить не в силах Терпсихора
железнодорожный кровоток.

И в крови просвечивает сажа,
словно смерть от скорости бела,
под приглядом встречного пейзажа
с беспробудным пением дотла.

* * *

Нынче сырые оттепели суровы,
галочий воздух полон сплошной отравы.
Там, где живые вспыхивали сугробы,
мёртвые вылезли на погляденье травы —

склизкие стебли, рвущиеся обратно
к бедному солнцу родины, на котором
ярые вспышки и родовые пятна,
приговорившие прожитое к повторам.

Чтоб оформлялось месиво корневое
в новый рассадник чаяний и печали
там, где охота — это и есть неволя.
Даром, другое слово цвело вначале.

Радость, которая выветрилась, распалась,
стала подлёдной почвой в немалой мере,
разукрупняется в ту роковую малость,
что растравляет страшное в маловере.

В том, кто боится снега, предполагая
свет его несоразмерным глазу,
будто одна лишь только земля нагая
может разрушить все опасенья сразу.

И белизна с огнём окаянным вкупе
призваны выжечь почвенное броженье.
И неземное счастье гнездится в трупе,
и лишь одно завещано продолженье.

Ринат Газизов

Цельное зерно, домашняя закваска, замес вручную

Рецепт пошаговый

...леди ин рэд из дэнсин вив ми, — поет Слава во сне, поет, просыпаясь, — чик ту чик, ноубади хир, джаст ю энд ми.

Слава трет глаза, опускает на пол тяжелые ступни с набрякшими венами, с хрустом встает, принюхивается. На кухне тесто жалуется. У него это и не слух, и не обоняние, чутье такое. Слава оборачивается к пустой стене: семейное фото снял, шуруп вынул, дырка осталась, он в эту дырку, пробудившись, каждый раз втыкается. Луна шпарит в окно, и тень мужчины накрывает вторую половину кровати — пустую. Ее любимая песня про леди в красном, с пошлым вкрадчивым перебором, такая сучья-текучая, не выходит из головы. Это хуже, конечно, чем просыпаться от своего смеха, но куда лучше, чем синячить в отруб и чтоб без снов.

Слава идет к холодильнику, волоча ноги. Внутри зреет, пенится свежая закваска. Отчетливее доносится, как шепчутся дрожжи, бродя и поднимая тело будущего хлеба. Пузырьки углекислого такие: врум-врум, ну-ка, тесто, вставай! А клейковина такая: хрен-хрен, ну-ка, тесто, держись! Силы распирают, но силы и сдерживают, гармония, какая умная природа. Слава гладит холодильник, смотрит на млечную опару на старом расстоечном шкафу: чего вы тут жалуетесь?..

Хочет булку спечь для тещи. Порадовать, как раньше.

Слава трет глаза, а перед ними все равно — эта леди в красном. В сетчатку впилась. У жены тоже была такая особенность, не укроешься дома, красное платье — тоже было.

Слава выглядывает в окно, одно посреди ночи горит маяком. Он обитает в монолитной многоэтажке на юго-востоке питерской географии. Метнешь пузырь в стену на девятом этаже, а грохотнет на пятом в соседнем подъезде. Бутылку-то слышно, а горе не звенит. Берет с подоконника коробок спичек и сигарету. Курит.

Жена хотела видовую квартиру на Неву. Шутила: если взять спиннинг для дальнего заброса да раскрыть окошко, да размахнуться, как колуном, то можно прям с девятого этажа в воду попасть, хэй-хо! Слава хотел видовую квартиру на поля. Шутил: если взять пращу да поместить в ложе льняной мешок ростков, легонько ему горловину перетянуть, раскрутить пращу и пульнуть, то ростки прям в те поля полетят и в тракторную борозду упадут.

Так что будем: ловить или сеять?

И они сыграли на цу-е-фа. Самые важные вопросы в семье решались на цу-е-фа. Ну и пожалуйста: квартира повернулась к полям. Там корнеплоды выращивают. Там, сильно дальше, где зарево в небе от огней теплиц: это «Выборгский агрохолдинг»

Ринат Газизов родился в 1988 году. Печатался в журналах «Новый мир», «Сибирские огни» и др. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

выпукивает пластиковые огурцы и пластиковые помидоры; а вот еще ближе — неровное, неухоженное, ничейное поле ржи.

Вид на поля есть. Играть в цу-е-фа не с кем.

Слава трет глаза так, что уже больно, левый глаз трет торцом ладони, правый — фильтром сиги, и тогда жена в красном платье отклеивается от сетчатки и выходит за стеклопакет; взгляд его опускается ниже, ниже, ну и она, соответственно, смещается по воздуху ниже, ниже, идет по тому полю. Открыточное золотистое поле бывает только на фотообоях и в фильме «Гладиатор», где мужик, умирая, ратной ручищей ведет по колоскам эдак многозначительно... На ниве ветерок, свет журчит, музыка в душу, в раю своя ждет с дитем, да еще гривастая такая, злачная... мужик-то заслужил. А в Ленобласти ночное поле — просто мгла. И шепчет. Камерой не снимешь.

Слава трясет головой.

Мила, уйди, уйди-и-и-уи, — мычит сквозь зубы на заевший мотив, — жди меня наверху, джаст ю энд ми.

Зубная эмаль крошится, впивается в язык. Жена машет снаружи, вроде бы так далеко и темно, а поди ж ты, кровиночка, как на ладони, и красное на ней горит. Жена говорит: *не-а, спускайся, Славян, не уйду, надо поработать.*

Слава кивает, докуривает, надевает ветровку на рубашку, в которой спит и не спит, натягивает брюки-карго, которые жена подарила на днюху, а он жаловался, что жопа в них еще толще, а она ластилась: зато ты в них, как в галифе, мой козак, высеки меня своей нагайкой, и подавала самшитовый прут из вазы, перегибаясь через его колено, а он такой: ох, блядь, ну ты даешь, Мила; а она юбку по ягодицам вверх и такая: я серьезно, без насечек взорвусь, как та опара, намять так намял меня, а теперь секи; а он опять, но уже в кайф: ох, блядь.

Молодая русская семья. Чего только не вытворяли. Шутки из раздела «ты — моя булочка, я — твой пекарь» еще в кулинарке исчерпали. А нынче все шутки закончились.

Слава входит в лифт, как в пустой холодильник.

Слава спускается:

[Девятый: Мила едет с дачи маман на своем скутере, красный котик «сузуки», котик любит высокий октан, надо на заправку; дождик бесит.

Восьмой: жена сворачивает с грунтовки на трассу, за спиной рюкзак с вареньем маман, рюкзак еще теплый от хлеба: Слава для тещи сам пек, себе не пек, жене не пек, а тещу хотел радовать, та ведь жаловалась, что по советскому ГОСТу уже не делают. Слава делал. Не надо жаловаться.

Седьмой: Мила едет.

Шестой: Мила едет, а впереди по встречке джип «Тойота».

Пятый: джип «Тойота» обгоняет фуру «Газель» с выцветшими боками, еле-еле читается: «“Каравай” — традиции наши, хлеб твой».

Четвертый: жена сдает на обочину, джип долго перестраивается, джип виляет, фура недоумевает.

Третий: жена тормозит, фура тормозит.

Второй: джип врезается в жену.

Первый этаж, двери открываются: Милы нет, фрагменты тела разметало по полю, никого не посадили, конец, и так каждый день]

Слава входит в поля вслед за призраком жены.

Мила взмахивает рукой, как гимнастка на программе с лентой. *Давай-ка ближе, дорогой, сюда, видишь этот участок?* Вижу, — врет Слава, ибо перед ним равномерная чернота, нерубленая громада хаоса, и что-то вроде неба едва отделяется на смазанном горизонте лишь благодаря питерским огням вдали — ну и? *Вот здесь ходил швед. Здесь шведа прирезали финны. А потом финнов здесь прирезали славяне. Затем, смотри-ка, славян здесь расстрелял швед. Видишь, Славян?*

Не вижу, хмурится Слава.

Значит, только я вижу, потому что я мертвая.

Лады, жмет плечами Слава.

Ты вот здесь колосьев-то хватани.

Слава принимается рвать, на пятом стебле палец иссекает. Могла бы и предупредить, дедовский серп на антресолях, забыла?

А вот здесь, в зиму сорок второго, как всегда игнорирует его жена, забираясь в шуршащую необозримую гущу, *немецким снарядом разорвало колхозников. Как тебе?*

Прям здесь? — сомневается Слава и оглядывается на дом. Отошел на километр, не меньше, вот же лунатик.

Теперь здесь хватани.

Слава рвет и режется. Мне из этого хлеб выпечь? — закипает Слава. — Знаешь, сколько я должен пожать, чтобы хватило на булку? Да я до полудня не управлюсь, околею!

Булки мало... Ты помнишь, сколько было их?

Слава молчит.

Сколько было их?

Трое.

А подельников? А судья? А кто судье звонил? Все повязаны.

Я на всех, что ли, хлеб пеку?

Решать тебе.

Трое.

Ручками, Славян, ручками, подначивает жена*, ну и натоптал тут. Не то что я. Ты оставь, вернешься, пойдем еще кой-чего покажу.*

Слава оглядывается на дом, тот уже меньше мизинца; рассвет брезжит. Идет во ржи, спотыкаясь, колени подгибаются, поясница ноет, спать хочется. Гладиатор хренов. Поле заканчивается, как обрубленное, на узкой полосе трассы. Вдали начинаются дачные участки. Пахнет шоколадом, потому что рядом фабрика, где обжаривают и пакуют молотый кофе. Славу это не бодрит.

А вот я.

Слава перелезает через волнистую полосу барьера. Смотрит влево-вправо: там дорога уходит на Всеволожск, там дорога уходит на Питер, мимо унылые ряды: шиномонтаж, киоск шаурмяшной, разбитое кафе с вывеской «Дон Хосе», пустые лавки. Еще раз перелезает. На той стороне трассы, за канавой, немного вглубь поля, чтоб не коптило и не пачкало грязью с проезжей части, — она. Алюминиевая памятная стела о четырех гранях. Как наконечник копья, высотой до пояса. Кенотаф. Ветер, дождь и мураши соскоблили с траурного венка цвета и лепестки. Остался корсет подковой; подкова смотрит в поле. На кенотафе выгравировано: «Мила». Ее же неподалеку сбили.

Слава встает на колени, обнимает металл, опять встретили рассвет вместе, чик ту чик.

Иди домой, Славян.

[Первый этаж, двери закрываются: в джипе двое: он — настоятель храма в области, она — его жена, у нее бизнес в недвижимости, Христом да рублем — шепчут за их спиной прихожане — рублем да Христом, он — хороший человек, ни разу не попался, отец Сергий роскошный иконостас поставил, приход в восторге, благодать, но все-таки, все-таки отец Сергий пьян и за рулем, а в миру он — Алексей Хлыстунов, в миру он еще как пьян.

Второй: ДПС включает мигалки, инспектор Георгий Дваладзе называет по рации номер джипа, ему говорят — не рыпайся, он говорит — водитель походу пьян, ему говорят — ты не понял, что ли?! Георгий Дваладзе говорит — лады и бездействует.

Третий: они сбивают Милу.

Четвертый: они заявят на следствии, что за рулем была жена священника, Рита Хлыстунова.

Пятый: майор милиции, знакомый жениной маман, посоветует Славе: не рыпайся. Их все равно оправдают по всем обвинениям. Священника понизят в сане; храмом

рулить не будет — будет рулить хором мальчиков. Маман Милы заорет: ты-то хоть можешь что-нибудь сделать?! А майор хмыкнет: я вас предупредил, еще спасибо скажете.

Шестой: никого не посадят, только по газетам погудят, но что тут гудеть, и десяти случаев у церковников по стране не наберется за десять лет, не очень-то плохая статистика, а в ДТП попадают все — и военные, и духовенство, и гражданские, и пьют все, и предают все; что мы — не люди, что ли?

Седьмой: Слава два дня просидит в своей «девятке», поджидая, когда священник с женой вернутся в коттедж. У Славы нож. Они не вернутся, дом продали, переехали в город; ну и дурак.

Восьмой: Слава не рыпается, просто пьет.

Девятый: Славу уволили из пекарни, а он был мастер-пекарь]

Слава спотыкается на пороге и, забыв закрыть дверь, топает на кухню, отбивая почву от подошв. У Репина есть холст: проводы новобранца в деревне, там рослый светлый детина в лаптях, стереотипный Ерёма, обнимает свою семью на прощание, — вот Слава так холодильник обнимает. Ясно, чего ты ныла, закваска. Как знала, что от тебя избавятся. Прощай, магазинная, надо делать всамделишную.

Он бинтует руки, спит беспробудно, днем опять идет в поле, пожнет на неважный мешочек зерна, вечером просеивает, перетирает зерно в ступе. Это занятие для роботов. Роботам не надо вставать с утра на работу. Они только и делают, что сидят на табуретке, перетирают зерно. Ноубади хир, джаст ю энд ми. Ночью он пытается уснуть, но красное платье леди раздирает ему веки: *спускайся.* И в поле Слава опять шурует по участкам, где человек человека заколол, прирезал, расстрелял, задушил.

Людское душегубство пожали, взялись за половое насилие, оказывается, перетрахано в поле тоже немало. Но Милу интересуют как бы самые вопиющие случаи. Вообще ее облико морале со смертью только ухудшился. Жена показывает Славе, где было с кровью, с пропастью меж возрастов, чтоб орава — на одну или чтоб на одну — один, но с елдой как оглобля, чтоб, когда гроза, в елду аж молния била и в угольки обращала. Наконец, и насилие исчерпывается в поле ржи: Мила в кровавом платье ведет экскурсии в жизнь природы, подсказывает Славе, где сожрали мышь, где сожрали кота, где сожрали собаку, где сожрали кота, где сожрали мышь. А Славе только и видно, что колосья да мокрая земля, колосья да мокрая земля.

В поле за поселком Красная Звезда на правом берегу Невы как будто ничего важнее смерти и не происходило.

Слава заливает получившуюся муку водой, ставит закваску. Кислятина от этой пузырящейся жижицы в пластиковом контейнере орет на всю квартиру. Слава ее подкармливает. «Какое место в вашей жизни занимает хлеб?», — спрашивала газета у мастера-пекаря на открытии сетевой пекарни. «Все места, какие есть», — говорил Слава. «Слова из вас не вытянуть, бур-бур и все», — ворчала газета.

Солнце отплясало семь раз, а он еще ржи намолотил.

Система СИ в квартиру Славы и Милы не суется: метров нет, есть неровные шаги в тактах «Леди в красном»; Цельсий бежал из комнаты, температура измеряется по градусам безумия, а секунды? что — секунды? время — это муки, звуки хлебной готовки. Ибо если глиняную ступу раковиной к уху приложить, кажется, что они там все орут, зашибанные жизнью, — звери, люди. По тебе не только колокол звонит, ты ешь хлеб, в котором вся земля, а вся земля — это и потроха, и кости, и кровушка, и дождик, а в нем морская влага, сточная клоака, слезы, морозы, и гильзы, и альдегиды со свинцом, и пакет из гипермаркета; кто-то стихи от души отделил, а ветер их по полю семенами раскатал, а кто-то харкал в землю, ненавидел в землю...

Слава всех выслушивает.

Слава всех замешивает.

Затем в уши ему стучится родное сердце с голодухи и бессонницы. Никотином сыт не будешь, хлебопек. Чтобы оплатить счета за коммуналку, купить пожрать, он

продает соседу магнитолу, последние стулья, платяной шкаф. Как это вышло? Вроде сосед сам предложил, когда Слава в подъезде в обморок брякнулся. Был детина — стал пугало. Сосед почему-то и расплатился больше, чем уговорено. Маман Милы как-то позвонила, но Слава забыл, о чем толковали. Что-то про варенье, про приезжай, что-то про хлеб и его золотые руки. Работу ему, что ли, подыскивала?..

О чем живые говорят — не особо интересно. Живые — всё про здешнее, про себя, а те, что в муке крупицами рассеяны, — они больше про солнце. У них уже отболело, им только солнца не хватает, похуже, чем питерцам. Хлебушек — это солнечный каравай, отражение звезды во ржи, божья плоть, тут священник мог бы символизма наплести, Христом да рублем, аминь.

Слава месит тесто, добавляет закваску, месит, опаре надо отдохнуть, ставит на плите кастрюлю с водой кипятиться, чтобы нужная влажность была на кухне, смотрит на психрометр, не понимает цифры, ждет, ждет, светило отскакивает от нагрудного крестика и стучится в веки.

Слава отлипает локтями от скатерти. Рассвет. То есть жена не приходила, как же так?

А вот так: опара расстоялась, пора обминать.

Тесто не рвется, податливое, как суфле, почти прозрачное, мука набивается в порезы на пальцах, заметает снегом линии жизни. Слава чертит крест на заготовке. Кладет ее на подовый камень, а тот — в разогретую печь. И вздыхает с намеком на облегчение: за стеклом не слышно, как оно все, это полевое, земляное тело христово — если уж совсем умом тронуться — взрывается хором вавилонским.

Мила в другую ночь является, когда партия выпеклась.

Пойдем, покажу, где первый живет.

И показала.

* * *

Слава не спешит включать свет. Чуткий нос слышит в гараже: сырость погреба, пятно солярки у входа, разлитое моторное масло, поленья на печке, банный веник, дешевый тулуп, но ярче всего — прет дерьмо.

Подходит к пленнику, что прихвачен тросами в восьми точках.

Вглядывается в одутловатое лицо, щупает мягкий живот, покатые плечи. Заготовочка так себе. Мужик стонет. Кляп. На плече, кисти, бедре — по надрезу. Три широкие ножевые раны, кровь запеклась, — так Слава видит насечки, снимающие напряжение в тесте. Без них не выйдет ни батон, ни багет. Внутренние силы опары, если не дать им выхода, деформируют будущее изделие.

Пекарь всем весом, испытывая прочность, наваливается на спинку кресла. Нет, Георгию Дваладзе не удалось его расшатать. В первые дни дэпээсник пытался. В сиденье была проверчена дыра, и штаны Георгию Слава тоже распорол, чтобы выходило, а ведро поставил под кресло. Пекарь выплескивает его наружу, возвращается, закрывает гараж.

— За маму, за папу.

— Пошел ты, блядь...

Георгий выплевывает слюнявую краюху. Жилы на лбу вспухли, как бы удар не хватил.

— Сука, я тебя найду, я тебя...

Слава снова пихает ему в рот.

— Не надо искать, я же здесь. Кушай.

— А-а-а-а!!! Сука-а-а-а! мы-а-а...

Захлебывается. Лишь раскроет рот — хлеб тут как тут. Плотный, душистый, ноздреватый, корка цвета киновари масляно блестит, соты на срезе источают тот самый аромат — прям как из русской литературы.

— Матушка рожь кормит всех сплошь. Ну вкусно же?

— Ммм... муа-а-а...

Левой рукой Слава упирается в макушку, правой за нижнюю челюсть и такт

за тактом помогает жевать: и раз, и два, и три, джаст ю энд ми, и раз, и два, и три, из дэнсин вив ми.

— Глотай-глотай. Сейчас воды дам.

— Знаешь, как за ментов мстят?! На кишках вешают! Крюком через жопу!

— Расскажи мне про месть.

— До суда не доживешь... Я пропустил смену, мои уже ищут...

— Пей давай.

Стискивает зубы, ни в какую. Не беда. Туже стянуть трос на лбу, зафиксировать голову. Слава берет пластиковую воронку, кулаком вбивает в рот, губы рвутся. Георгий пытается срыгнуть воду вместе с хлебной крошкой. Чисто младенец, сразу захлебывается. Воды-то канистра.

— Мужик, ты меня знаешь? Зачем ты? Ты чего хочешь?

— Накормить тебя хочу.

Мент сопротивляется. Слава кормит.

На второй день ослабить тросы, и Георгий повалится с кресла.

Он разменял четвертый десяток, среднего телосложения, сутки просидел, не двигая членами, и основательно затек. Но через пару секунд он уже кидается на Славу. Только с колен встать не может, руки сведены за спиной.

Георгий дергается, изо всех сил старается укусить. Не укусить, так лягнуть. Не лягнуть, так упасть на дверь: вдруг открыта. А там люди или — еще лучше — его бригада.

— Брыкайся, хорошенько брыкайся.

Слава находит в гараже лыжную палку и тычет острием ему в спину, словно зубочисткой в румяный корж. Гоняет по полу как сидорову козу, мнет, замешивает. Наконец, Георгий выматывается, хрипит, упирается лбом в буржуйку. Заляпался в саже и липком дерьме. Слава тащит его в кресло, опутывает тросами, стягивает их карабинами.

— Размялся, кровушка потекла. Самое время перекусить, а, Гео?

— Я тебя с говном, тварь...

— Ты меня лучше с хлебом.

Георгий учиняет свои детские фокусы с выплевыванием. Слава достает нож, делает насечку на плече. Пот и кровь выступают на форменной рубашке.

— Пытать удумал! Сраный маньяк!

Слава глубже режет кисть, по мясу, и еще подковыривает, чтобы слой начинки из кожи вылез в натяг. Мент разражается криком:

— Тебя Кравцов нанял, да?! Я вообще не при деньгах!!! Свою долю мы сразу слили через Чередова!..

— Что за Кравцов?

Мимо, Гео, пекарь не в курсе твоих дел. В глазах Славы блаженная ясность. Вроде диодной лампы над креслом дантиста, и это не позерство, а спазм души, которая вся сплошь пустота.

Дать противорвотное, перед кормежкой влить литр воды, желудок растянуть. Слава заставляет его есть, два ржаного за раз, Гео вяло сопротивляется. Гео молчит, только на лбу выступает холодной пот.

Надеть на его кисть нитяной браслет в обтяжку и — на расстойку.

Четвертый день: слить ведро, брыкаться, пить, есть. Насечка на бедре, поглубже, поори еще. Браслет на кисти натянут, слегка врезается в кожу.

Ест Гео много и молча. Он крайне испуган, но это не страх зверька, угодившего в клетку. Гео боится разыгравшегося аппетита.

Гео превращается в Жору.

Слава щелкает рубильником и как бы сам просыпается. Спроси у него — так даже не вспомнит, как машину ведет, как гаражному охраннику машет на посту, а пробки были? сколько в баке?.. Живет ли Слава вне дела?..

Он вынимает кляп. Пахнет кислой слюной. Жора облизывается. Рубашка на пузе разошлась: две пуговицы не выдержали напора тела, вылетели пробкой.

— Хочешь перекусить, Жор?

Молчит, лишь глаза лихорадочно блестят. Он пьет без воронки, жадно и шумно.

— Согласись, кушая мои хлеба, ты приобщаешься к моему делу? Ты ведь за меня теперь, Жор?

Под щетиной на подбородке виден лишний бугор кожи. На шее закладывает складки, особо заметные, когда Жора поворачивает голову.

— Следи за мыслью.

Жора хмурится. Трудно собраться, он сутками сидит в темноте. К тому же сегодня он не ползал по полу, кровь застоялась, котелок не варит.

— Этот хлеб, — пекарь достает из авоськи ароматную буханку черного, — мой рукотворный. Ты скажешь: звучит эгоистично. Соглашусь. «Сам сделал!» — так про хлеб никто сказать не может. Если копнуть глубоко, в нем история нашей земли. С чего начинается родина? Ее благость и богатство заключены в земле, а на земле — вода да зерно. А у того исключительная природа. Геном пшеницы, например, в четыре раза сложнее человеческого. Хранит в себе уйму жития. Так же в хлебе, — кроме исконного сырья, есть труд селекционера, агронома, сеятеля. Не последние люди в нашем деле...

Буханка в руке плавает по синусоиде и расцветает среди запахов гаража. Ноздри пленника раздуваются. Помутившийся взгляд не поспевает за хлебом. Внутренние часы Жоры сбиты, считает, что минул месяц с той поры, как Слава оглушил его на парковке и запихал в «девятку».

— В хлебе есть и труд косарей, землепашца, комбайнера. Рабочей братии всех времен. Потом поучаствовал завод. Молотьба, мукомольня, очистка, обработка, сортировка...

Кожа вокруг браслета покраснела, а нити глубоко впиваются в запястье. Жора на верном пути, можно индикатор срезать.

— Помавай рукой, отекла же.

Слава прячет хлеб за спиной, а взгляд Жоры по инерции упирается ему в грудь.

— Поэтому суть такова: ты вкушаешь квинтэссенцию своей жизни и жизни предков. Они вытеснили племена с этой земли тыщу лет назад, так? полили почву кровушкой? взялись возделывать? Пожинай их плоды — ешь. Они грешили? Ешь. Они любили? Ешь. Они здесь усопли? Ешь. А теперь взгляни иначе, — он щелкает пальцами перед носом мента. — Ешь! — это мои руки мяли тесто. Ешь! — это мой ум исчислил, взвесил и смешал сырье. Ешь! — это моя душа в клейковине.

И Милы. И многих-многих других.

— Чего ты от меня-то хочешь? — хнычет Жора.

Слава напоминает ему про жену. Про джип четы Хлыстуновых (кто? — Хлыстуновы. — Кто?! — Отец Сергий. — А-а!..), про суд.

— Эй, мне капитан приказал! — вдруг доходит до Жоры. — Мне было распоряжение: пропустить, понимаешь?!..

И эхом бежит по углам: «...понимаешь?!.. ешь!.. ешь...»

Дверь захлопывается.

Голод.

Казалось, он взглядом уже выпотрошил авоську.

— Давай снимем ботинки.

Ноги посинели, распухли: пока шнурки не содрал — ботинки, как приклеенные, сидели. Жора разбух мокрой губкой.

На глаза, которые неделю назад жгли ненавистью, наплывают щеки. Пекарь сбрасывает тросы, роняет пленника на пол. Руки его липнут в покатых плечах, словно

в тесте. Жора кулем падает на бок, и доска под ним жалобно трещит. Набрал тридцать кило, ожирение второй степени. Увалень — он умоляет молча.

Слава кормит Жору с руки. Слава — весь внимание, готов отпрыгнуть к кочерге и огреть. Но Жора просто ест лежа, закатив глаза и дрыгая вторым подбородком. Ему не до разминки и уж точно не до побега.

— Хорошо, Славян, — чавкает.

Аж румянец выступил. Черные крошки катятся по обвисшей груди. Рубашка наполовину распахнута: кожа в белых шрамах растяжек.

— Надо ж, поправился! Жена-то не узнает.

— Про тебя уже писали, мол, пропал без вести, любые сведения.

— Так ты ж меня выпустишь? Булочник?

— Выпущу, Жора. Голова не болит?

— Давление подскочило, и жарко очень. А когда выпустишь?

— Не говори с набитым ртом.

— А беленький есть?

— А то, — Слава бросает булку белого ему на колени.

Беленький слабее действует, чем ржаной, потому что пшеничную муку Слава в магазине покупает.

У Славы мурашки по коже. Поставь его в таком психическом состоянии, с Милой за плечом, на массовое производство — и псих целый город накормит утренней выпечкой, и население перережет себе глотку от свежих партий с паллет: ржаной безысходности, пшеничной тоски, слоеной пустоты. Вам полбуханки или целую?..

Рожа у Жоры поглупевшая и радостная.

— Ты реально мастер, Славян. Я вот в обычном магазе такого не видел.

— Так везде из замороженного теста делают, — Слава прислоняется к стене, смеживает веки и вдруг, найдя собеседника за долгие месяцы, с трудом, но болтает. — Бесчеловечный подход: народа много, времени мало, прибыль надо держать — вот и фигачат полуфабрикаты на индустриальных дрожжах, с улучшителями, разрыхлителями. Общая химоза, общий дизайн — ни капли своего личного. Накормят людей и удивляются, почему люди сами как полуфабрикаты? Кормят потому что не хлебом, а хлебобулочным эрзацем. И отношения у людей стали замороженные. Чувства — полуфабрикаты. Дети рождаются замороженными изделиями, речь функциональная, раз-два и запятая. И что теперь? В печи вас разогревать, допекать? Или заново вас, вручную готовить?..

Жора выслушивает с отпавшей челюстью.

Звучит — хоть с клироса вещай, — но непонятно.

— Про химию ты верно заметил, Слав. Я в газете читал, что трупаки разлагаются дольше, чем раньше. А знаешь почему? Потому что вся еда на консервантах. Вот зачем это надо, а? Зомбей заготавливают впрок?

Живот у Жоры растет, как у набравшегося крови комара.

В кресло мент заползает сам.

— А что завтра будет, Славян?

— Завтра пойдешь ко мне, помоем, взвесим, одежду найдем.

— А домой?

— Сначала найдешь мне Хлыстуновых.

Жора, конечно, здорово изменился за неделю, но в мыслях — рефлекс! — все равно мелькают деньги. Он людей только за деньги ищет, но... эта корка в пекарской ручище... и запах... Тык-тык, мигают глазки, тык-тык. Ладно, разок можно и за хлеб поработать.

— Тот батюшка?

— Христом да рублем, Жора.

— Завалить его? или сам?.. Слав, а дай еще?..

* * *

На вас покушалась когда-нибудь булочка?

Пирожок, ватрушка, пышная слойка? Хлебобулочное изделие, оно прикидывается подарком, взывает к генетической памяти обликом и запахом. Слава сам работал над витриной выпечки, учил персонал выкладывать, знал, как представить эффект: чтоб теплый свет и помещение обить деревянным планками. Палитра запахов сама заиграет, если ты здесь же, за стеной, готовил по полному циклу, а не замороженный продукт у оптовика взял и разогрел. Выпечку надо расставить кавалерийской шеренгой, брать соблазненного покупателя в удвоенные клещи зеркальных отражений, и чтоб базовая сосновая нота хлебного стеллажа держалась в тиши остывания, держалась, как штык.

Жора это знание отчасти в себя вобрал. Опосредованно.

Жора одет в мешковатое хламье в стиле хип-хоп для подростков-акселератов, размера иксиксэль, детей же химией пичкают, чисто полуфабрикаты, прав Славян. Еще очки на пол-лица, кепарик, он, в принципе, и без одежды сам на себя не похож, но страхуется. Жора в подземном переходе на Сенной накупил дешевых подарочных коробок, ленты бантиком. А к порогу Хлыстуновых принес их и стал караваном выкладывать.

Коробку на коврик у парадной двери.

Коробку в коридоре, ближе к лестнице.

Уголок коробки чтоб торчал у ступени, и вниз коробку, и еще одну... Сюрприз. Это самая тупая заманухa, а вот поди ж ты — на баб действует независимо от возраста и ума. Меж коробок сыплет конфетти, блестки, распыляет женские духи: типа тут не опасно, слышишь, женщина? Тут не потным боровом пахнет, а женщиной, такой же, как ты: «ле амбре»? «фемме роча»? Короче, Рита, жмапель Жора, считай, полгода минуло, а мент все-таки тебя тормозит.

Нажать на дверной звонок. Соловьиная трель: утю-тю-тю-тю-тю. Жора спускается на половину пролета вниз. Занимает выжидательную позицию в нише для хранения велосипедов и колясок. Втянуть мамон! Держаться спиной к камере наблюдения, и здорово, что консьержа отвлек один школьник за косарь, но времени в обрез.

«Ого, эт что? — пронзительный голос Риты Хлыстуновой. — Нин, ты? У племянницы день рождения-то завтра, Нин! Ха-х, ну надо же... вот ты выдумщица! Голос хоть подай; что тут у нас...» — и Рита приближается. Лишь бы батюшка не выскочил. Отец Сергий может оказать сопротивление. Жора ему и в хлебосольной ипостаси не противник, батюшка на хлебе и кагоре разбух еще в семинарии, а стрелять нельзя.

Рита ступает на лестницу. Она в шелковом халате и махровых банных тапочках, от бабы идет старый эффект, как если бы звезда потухла, а свет на землю еще льется. Рита скукожена временем, каре молодит вполсилы, крашенная в платину, высушивается, как урюк, ноги костистые, колени бугристые, а вот властность, наоборот, все больше прет. Полюбовался и хватит. Жора наваливается, облепляет ее, зажимает рукой рот, она кусает, а ему не больно, лапа у мента из многослойного теста, а глазки — изюм в подгоревшем мучном разрезе, крик тонет, глохнет в мягком его теле, тонкая Рита — толстый Жора: бритва и булочка.

Жора шепчет на ухо: заткнись, убью нахер. Не работает. Тогда чуть приотпустил и — опа, дубиночкой под затылок. Уф! Согнуть бабу, запихать в хоккейную сумку. Третий этаж. Второй этаж. Первый этаж. Уф! Глядь в вестибюль, а там в окне: благообразный старик-консьерж над пацаном склонился, осматривает его ногу, это специально, чтоб отвлечь, ногу намазали свиной кровью, мол, школьник упал с велика, надо помощь оказать, и ничего, что он не местный... Что с лифтом? Вжух: «...двери закрываются...» Значит, народ на лестнице не покажется. Пора.

Жора выходит.

Чпок! — сумку в салон назад, проверить: руки связать, ноги связать, рот заклеить, мешок на голову, делов-то, и закрыть со щелочкой.

Жора выруливает с парковки. Ему не нравится эта тачка: тесно в салоне и обзора маловато. Дело, правда, не в кузове, это щеки просто к глазам подбираются, веки тяжелеют. Но Жора пока и тело считает за чужую машину, верит, что форму тоже можно продать, а приобрести получше, через диету там, тренажерку... За кольцевой он поменяет машину. Повезет груз в одну избу рядом с поселком, которую Слава наметил. Закрытая заброшенная шашлычная с вывеской: «Дон Хосе». Азербайджанцы держали, что ли.

Он сам себе кивает: не дома же людей мучительно убивать.

Жора понятливый. Жора хочет есть.

«Дон Хосе» немало портит вид из окна. Не зря Мила рвалась его сжечь втихаря, а Слава ее сек и приструнял. Кафе прям на трассе Питер — Всеволожск, от дома, может, полкилометра, а от кенотафа вообще рукой подать. Если кафешку все-таки поджечь, ветер мигом швырнет пламя в поле ржи. И погорит этот дикий треугольник сухостоем вплоть до ровных грядок, где выращивают капусту со свеклой, до оврага и ограждения трассы.

А стела с гравировкой «Мила» не погорит.

Слава идет мимо шиномонтажа и продажи запчастей для фур. Пинает треснувшие шишки, вздымает пыль, щурится в зное, наконец-то лето в Питере. «Дон Хосе» собрали из клееного бруса, а где не хватило — тупо вагонка. Пологое крыльцо: перила отломаны — торчат жалкие пеньки, на ступенях смазанные следы крови. Окна фасада щерятся битым стеклом. Рядом пустующая конура: на цепи еще нежится добродушный дух кавказской овчарки.

Жора не чует, а Слава чует: псину тоже в поле завалили, да, Мила?

Агась, бобика там в клочья мудак один из ружья, я тебе показывала.

Жора прикипает взглядом к пластиковому пакету с последней буханкой. Почему не в авоське? Чтоб зря запах не тратил? Какой-то опасный хлеб? С ним что-то не так... Сердце прирученного мента бьется в невыразимой тревоге. Подсказывает, что это последний хлеб на свете, а там конец. Сердце знает, а ум пока в отключке, пенится, клокочет.

Входят.

Рита Хлыстунова сидит на стуле посреди залы.

Пекарь стягивает мешок, вынимает кляп, подтирает ей слюни, осматривает.

— Ты этим ее не вернешь, Слав, — говорит Рита Хлыстунова.

Жора, как южный джентльмен, цокает языком от восхищения: истинная бизнес-леди на переговорах. Глянь на халат: даже не обоссалась по пути. И Славу не боится, хотя видок у булочника — лучше объехать и перекреститься.

— Я ни о чем не жалею. Лёша тоже ни о чем не жалеет. Это происшествие; так сложилось. Слава, я не справилась с управлением, было мокрое покрытие, твоя жена могла уйти правее. Я говорила тебе тогда. Говорила на суде. Мне не западло повторить, но извиняться я не буду.

Жора аж присвистывает: ну, мать!

— Выйди, посторожи.

Жора дуется, выходит, обволакивая плечами дверной проем, как улитка.

— Что скажешь? — сипит Слава, оглядываясь через плечо.

Пальцы его тарабанят по пакету какой-то повторяющийся ритм.

— Ты болен, ты сам себя допек, а ведь такой молодой. Ты еще можешь жизнь заново начать. Найди жену, нарожай детей. Да что там! — хочешь, я с юристами подумаю, как бизнес тебе вернуть? Ты больше той сетью не владеешь, да?.. Могу инвестировать в новую. Знаю, что ты талант, тебя уважали, хотя ты долго не окупался.

Слава кивает, вынимает из пакета хлеб, нож, режет корку.

Равномерная пористость мякиша: не крошится, не липнет, эластичен. Он похож

на соты медоносного улья и так же хранит сладость и жало. Хлеб в меру влажен, правильной формы, без пятен и пузырьков. Корка черная и твердая. Изгибается выжженной, усыпанной золой и пеплом бранью. Но — ни подгорелостей, ни каверн и пустот. Взрытые окопы и воронки от снарядов давно смешаны, растерты старательной рукой. Лишь пряные семена раскатаны по верху корки: картечь кориандра.

Пороховой дым войны и кислая горечь утраты.

Бородинский.

— Хочешь, Слава, — приведу сюда Лёшу? Одного? Звонок — и он примчится. Потолкуете, как мужики, а? Лёша — светлый человек, он меня простил, он себя простил. Дай позвонить, Лёша и тебя простит.

Слава не отвечает, потому что леди в красном заводит свой танец.

Время разматывает вспять.

Рожь превращается в ржавчину, та кроет металл, запах крови облепляет платьем, оно — ярое пламя.

— Ты же с грехом не проживешь, Слава. Ты для людей трудишься, а с таким грузом... нет, не проживешь. Ты — кормилец, а не мститель.

Отец Сергий для нее «Лёша». Что знает Слава о Лёше? Да ничего, слухи, пустяки. Знакомый майор женихой маман говорил: не рыпайся на эту парочку. Конечно, священник был за рулем, кто еще? От него был выхлоп, от божьего представителя. Им закон побоку, у них право, а у нас лево.

У Лёши есть жена Рита.

У Славы нет жены Милы.

Какой во всем этом смысл?

Не отвлекайся, Славян. Вылезай из моего декольте и суку эту профессионально рассмотри.

Ухоженная Рита, прошаренная баба из мира Рынка. Она еще зубы заговаривает, позу держит, а Слава в ней находит сплошь дефекты. Тусклую корку переменчивой твердости: здесь не гнется, а тут дает слабину, угрожая грыжей. Трещины, разрывы мякиша, вздутость — это от страха, брожение совести. Внутри себя она не просто беспокойна, она брыкается, извивается, порядком изношена. На привычной воле тянет: тогда откупились, отобьемся сейчас, а вечером попразднуем и — по новой. Ее подновляют курорты, салоны и врачи, но это все наносное; улучшители.

Рита уже поломана, потому что убила. Теперь томится на малом огне, доходит, готова пойти в утиль.

Что ж такое.

На язык лишь триады слов и лезут.

Такой брак, известное дело, отправляют на переделку, говорит Мила, *в хрустящие палочки или в сухари.*

— Лучше в сухари, — говорит Слава.

Снимает с шеи Риты золотой крест. Убирает в карман.

Подносит хлеб к искусанным устам, Рита послушно открывает рот: надо не рыпаться, а делать, как просит, он же сумасшедший. Но, может, и одумается... ее уже ищут, тянуть время...

Рита жует и проглатывает.

Затем открывает рот.

Она кричит, и из глотки своей, как из зева духовки, обдает столовую ароматом пекущегося бородинского. Горло светится изнутри шмелиным брюшком. Рита вибрирует, гудит раскаленной трубой. Слышны ноты ржаного теста, рвущаяся в утробе картечь кориандра, кислый привкус закваски. Рита ревет, глаза выдавливает на скулы и пропекает, губы — устье вулкана, она ревет и ревет, заземляя, понижая тон, и сильнее плавится тело, оплывает, пригорает, прикипая к стулу, так что деревянная спинка вдается дыбой в отслаивающееся мясо спины, жир ягодиц мутной желтой жижей стекает по ножкам, от горящих стоп ее занимаются половицы.

Огонь скачет по полу, с разбегу на стены и лижет.

Огонь закручивается вихрем под потолок.

Слава выходит наружу.

— Набери его.

— Вот, держи.

— Алло. Это я. Помнишь меня?.. Где ты сбил мою жену — помнишь?.. Мне повторить, Лёша? Здесь есть кафе на трассе, с красной крышей... Найдешь, оно уже горит. Твоя внутри. Ждем.

— Слушай, у батюшки, может, пушка есть.

— Ага.

— Возьмешь мою, Слав?

— Незачем... Видишь доски от забора? Оторви и по две слева-справа брось на крыльцо. Поперек ступеней, типа как трамплин.

— На крыльцо?

— На крыльцо. Оно низкое, по-моему, так и просится.

Жора суетится, исполняет, его манит последний кусок хлеба, только запах опаснее, это другой хлеб. Доски он вырывает, матерится, дерево необработанное, так и режется.

Слава оборачивается к горящему дому.

— Я все правильно ему передал? Рита? Ведь ты хочешь, чтобы он приехал?

«Дон Хосе» будто кивает, роняя вывеску на козырек крыльца. Крыша трещит и медленно проседает внутрь.

Она тут, ждет своего. Знаешь, Славян, больно резво ты с ними, не находишь?

— Они с тобой еще быстрее.

Тоже верно... Смотрю на крыльцо, знаешь, такой ты пандус для батюшки выдумал.

Кто-то из шиномонтажа бежит к горящему «Дону», чешет в башке, уходит. Автобус проезжает, окна нараспашку, за стеклом докучливые лица томятся. Пружинит почва под ногами, трава желтеет. Вот и пенек удобный; в машину к Жоре Слава не хочет.

Присаживается.

Достает коробок спичек и сигарету. Оглядывается на кенотаф: блестит. Близко. Взвешивает на ладони крестик Хлыстуновой и представляет, как священник мчится через город.

[Отец Сергий поседел вмиг — здоровенный лунь. Не пропускает пешеходов; не тормозит на перекрестках. Он врубается в поток на эстакаде, словно в припадке. Протискиваясь скорее сквозь ряды машин, скрежещет боком по ограждению. Искры секут, и люди на пешеходной зоне шарахаются к балюстраде.

Еще сигарета.

Двести лошадей упорно тащат сминаемый кузов к выезду.

Отец Сергий вываливается из устья развязки в круговое движение, нарушая строй. Резко берет влево, еле справляется с управлением. Он шепчет «Отце наш», а резина оставляет жженый след прописной завитушкой. Он повторяет в исступлении имя супруги. Крест сбивается за шею и натягивает цепь удавкой — поперек кадыка. Машина чудом не переворачивается.

Еще сигарета.

Сирена — и ближний патруль стартует, преследует, орет в мегафон.

Может быть, они его догонят. Если не перехватят на набережной, то на трассе он оторвется.

Посмотрим...]

А вот и батюшка.

Выскакивает из того самого джипа, вон те вмятины на передке... Подбегает к кафе. Полыхает так люто, что священника отбрасывает, опаляет бороду. Одной рукой он закрывает растекшееся лицо, другой шарит в воздухе, словно стараясь нащупать

невидимые двери. Из окон «Дона» чадит горький дым — плавится пластиковая отделка. Отец Сергий затравленным зверем бежит за угол, кругом, кругом. Ищет запасный выход. Поскользнувшись, валится на забор и ломает пару досок. Тут же вскакивает, несется дальше по часовой стрелке.

Между священником и Славой шагов тридцать.

Но все его внимание приковано к горящему зданию. Его душат рыдания, опять бросается ко входу, не замечает, как тлеет ряса. Наконец хватается за цепь и рвет с шеи золотой крест. Как будто так легче дышать или бороться. Швыряет крест в траву, та дымится. Раздуваются бычьи ноздри, батюшка мотает головой и трясется.

С хрустальным звоном внутри домика что-то бьется.

Алексей Хлыстунов поворачивается спиной к пожару и застывает. Вдалеке ноет сирена. Народ бежит от автобусной остановки, и проезжая фура заливается истерическим гудком: прочь с дороги! Хлыстунов стоит между костром и огнями джипа. Горят фары ближнего света. От них не слезятся глаза, не рвет душу. Хлыстунов усаживается в машину. Задний ход. Выезд на трассу.

Слава невольно проникается уважением.

Слава выходит к фасаду, на виду, а Хлыстунов отъезжает. Он мог бы разогнаться и врезаться в Славу, но это незачем, и пекарь чувствует, что устал, устал, а вовсе не удовлетворен.

Хлыстунов давит на газ, разгоняется и врезается в горящее кафе ровно посередке. В низкое и ладное крылечко. Уложенные Жорой доски стелются под джипом трамплином. Сдюжили — и джип с ревом пробивает дверь и стену столовой. Вязнет в огне.

Домик рушится.

Пламя обнимает Хлыстунова красными языками, вынимает из машины, слизывает рясу, слизывает бороду, несет к очагу. Размахнувшись, Слава со злостью бросает ему вслед последний кусок хлеба. Злится — просто чтобы хоть что-то делать. Сигареты кончились.

Слава находит на газоне золотой крест священника. Убирает в карман.

— А мне еще долго? — включается Жора из тачки. — У меня жена будет рожать. А я есть не могу ничего, кроме твоего. Все, что в магазе, — мимо! С утра сунулся в макдачную, знаешь, как вывернуло? Мне как жить, Слав?

— До потери органолептических, Жор.

Слава идет полем к кенотафу. Кафе горит, пламя не унимается. Пожарная бригада мчится из сорок четвертого отделения, километров пятнадцать пилить.

Жора вынимает пистолет, прицеливается в сутулую спину, но тут же опускает.

— А ты еще можешь испечь?

— Не могу.

Жора опять прицеливается в спину, но опускает пистолет, всхлипывает.

— Пекарь, а что будешь делать?

— Не буду печь.

— Э-э, а тебя посадят.

Молчит.

— Я не хочу умирать, Слав.

Молчит.

— Мне-то что делать, а?!..

Жара стоит редкая для Питера. Огонь вкрадчиво шуршит от кафе по полю. Рожь колосится как ни в чем не бывало. Люди бегут, люди машут руками, забывают о голоде, о себе. Если пожарные не успеют, ближние лавки и поле сгорят. А вот стела с гравировкой «Мила» останется.

А тот, кто ее обнимает, чик ту чик, сгорит.

Если пожарные не успеют.

Георгий рвет с шеи крест.

Евгения Некрасова

Дочь рыбака

Рассказ

1

Байкал незамерзший качался, как бокал с пресной водой, притворяясь морем, посылал прозрачную свою воду волнами в разные земляные окаёмки, обтесывал камни, чесался мхом по скалам, вырабатывал плотный влажный воздух. Зимой берега и склоны прилегающих гор образовывали белые долины, а озеро было заперто вместе со всем своим содержимым под холодное стекло, как закрывают в музеях ценные дорогие подлинники, чтобы им не навредили посетители. Вокруг Байкала люди начертили металлом железную дорогу и построили населенные пункты. Кроме перечисленных учеными существ в байкальских водах лохнесским чудовищем сидела Великая Нерпа. Обычному тюленю нужно подносить морду к поверхности каждые пятьдесят-семьдесят минут, чтобы запасаться кислородом, Великой Нерпе — раз в несколько лет. Когда Великая Нерпа всплывала наверх и высовывала свою огромную морду-остров подышать, Байкал трясло. Поэтому там почти никогда не строили высоток.

Лена родилась и выросла в единственной серой балконистой каракатице-многоэтажке туристического прибрежного города. Отец Лены был рыбаком, ходил сначала на лодке, а со временем купил старый катер. Прежде отец и мать учились в большом городе, мать на архитектора, отец — на химика. Потом произошел тектонический сдвиг, страна покрылась трещинами, профессии перестали иметь значение. Из города родители переехали на Байкал. Отец всегда любил ловить рыбу и был доволен, хотя его увлечение и стало работой. Мать теперь обрабатывала улов и продавала на рынке туристам, занималась Леной и ее младшей сестрой, заперла себя и свои увлеченья где-то внутри и, даже когда профессии снова заработали, не расперла себя обратно. С отцом им относительно повезло: он был занудой, но не пил, не поднимал руки и голоса, не вылавливал в жене и дочерях недостатков. Но мать чаще всего молчала, говорила только по бытовым и школьным делам, улыбаясь по праздникам и дням рождения. Рыбак помнил ее другой, но не рассказывал дочерям, чтобы не удивлять и не расстраивать.

Евгения Некрасова родилась в 1985 году в Астраханской области. Окончила Московскую школу нового кино. Печаталась журналах «Знамя», «Новый мир», «Урал» и др. Автор романа «Калечина-Малечина» (2018), сборника малой прозы «Сестромам. О тех, кто будет маяться» (2019). Живет в Москве. Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 11.

Лена училась средне-серо, скучала, глядя на воду. Байкалом их замучили в школе с детства, макали в любовь к нему, про красоту его заставляли писать сочинения и петь о нем песни под аккордеон, ходить убирать мусор за туристами и местными с его берегов. Когда Лене было шестнадцать, а ее сестре Гале двенадцать, у отца совсем перестала ловиться рыба. Он и раньше не чемпионствовал, но сейчас, когда все остальные рыбаки кормились с Байкала, он приносил пустые сети. Надо было питаться, покупать одежду, платить за квартиру — мать заговорила о продаже катера. Отец замолчал на несколько дней, ушел в спячку отчаяния и в море, и однажды принес домой кумуткана. Тот был уже не белый пушистый бон-бон, а серебристо-серый тугой мохнатый мешок с плотными бочками, тонкими травинками-усами, с лопастями-руками, будто созданными не для плаванья, а исключительно для обнимания, и даже когти по окаемкам не мешали. Кумуткан поукивал, потрескивал, махал хвостом и лапами, тянулся к каждому, кого видел, принимая всех подряд за мать.

Детенышем заняли ванну. Жена рыбака молча убрала таз с бельем на кухню. Отец не ловил тюленей, нерповкой разрешалось заниматься только эвенкам, но он решил воспроизвести принятый в их деревнях обычай возвращения детеныша нерпы. Того ловили, привозили на два-три дня, давали поиграть детям, порадоваться и потом отпускали обратно в озеро, таким милосердием показывая признательность и благодарность Хозяину Байкала. В случае отца это смахивало на жульничество, так как он не был эвенком, да и дочери уже подростки, но отчаяние заставляло его верить в надежность чужих ритуалов. Девочки же, как и надо, радовались, играли с ууукающим кумутканом, кормили его мелкой рыбой. Мать не могла дозваться их помогать или самим поесть. Детеныш не только ууукал, но издавал отрывочные, инопланетные высокие звуки, напоминающие поиск радиостанции в далекой от цивилизации местности.

Играла в основном Галя, тискала, кидала ему мячики и рыбу, фотографировала на телефон, водила подружек с ним селфиться, даже влезала к нему в ванну, ходила за ним по пятам, когда тот ползал по квартире; и Лена тоже тискала и кидала мяч, приводила посмотреть на него подругу, но не радовалась, а удивлялась. Каждый раз, поднимая кумуткана на руки, она замечала его равенство своей сестре, которую четырехлетняя разница в возрасте позволяла Лене брать на руки, когда Галя тоже была еще детенышем — таким же плотным, круглым, двигающим конечностями, начиненным силой будущего.

Лена видела тюленей прежде в нерпинарии, совсем давно, еще в открытом озере с катера отца, когда тот брал ее с собой на рыбалку, а теперь иногда — с набережной, когда одна из нерп поднимала над водой свою лысую голову и смотрела с любопытством на человеческий город, проверяя, не изменилось ли чего в нем. Но сейчас, держа на руках кумуткана, Лена будто бы впервые почувствовала, что такое жизнь на самом деле. Сестра, будучи младенцем, не обеспечивала такого ощущения, так как сама была очень похожа на Лену и по родству, и просто по единству вида, а вот нерпеныш был такой же живой и сознательный, но все же отличался и внешне, и по языку, и находился на нужной для удивления дистанции. Отец хотел отправиться возвращать кумуткана обратно на третий день, но Лена попросила оставить его еще на сутки. Она так редко что-то просила, осознавая ограниченность родительских ресурсов, что отец немедленно согласился. На следующее утро к ним зашел мамин однокурсник, который давно не появлялся, он учился когда-то с мамой на архитектурном, теперь его магазин дешевых сувениров дробил пейзаж на набережной — там продавалось много неживых пластиковых тюленей. Лена как-то работала там продавщицей на каникулах.

Владелец сувенирного магазина зашел помыть руки в ванную перед предложенным чаем и увидел кумуткана. Он сразу дернулся и предложил за детеныша настоящие деньги. Рыбак отнекнулся, объяснил про эвенков, про ритуал и отсутствие фарта. Но бывший однокурсник не отлипал, у него были счеты с этой семьей, он сам хотел когда-то жениться на жене рыбака, родить с ней детей и даже после того, как она выбрала другого, он ради нее разбогател (по местным меркам), а она почему-то все

равно оставалась застывшей лавой вокруг жизни своего скучного бедного мужа. Поэтому владелец сувенирного магазина не мог оставить их в покое, время от времени приходил, искушая всем, чем мог, делая вид, что хочет помочь. Он предложил за кумуткана цену в два раза больше рыночной. Этот нерпеныш был особенно упитанным, с плавающими переливами на шкуре. Жена посмотрела на мужа-рыбака и сказала, что он все-таки не эвенк, и это не ритуал их семьи, а главные ее ритуалы — кормить детей, покупать им одежду и платить за квартиру. Дочери были в школе, отец сходил покурить в подъезд, потом вернулся и передал кумуткана владельцу сувенирного магазина в руки. Вода капала на потрескавшийся кафель. Хозяин сувенирного магазина завернул детеныша в большой черный пакет, чтобы тот не намочил обивку машины. После того, как однокурсник жены уехал, отец, злой, ушел в море. Девочки вернулись из школы и очень расстроились, что им не удалось попрощаться с кумутканом.

Хозяин Байкала не удивился и не разозлился, когда русский рыбак, пообещавший вернуть кумуткана, пришел в море без него. Такое уже случалось, и у эвенков тоже, но чаще всего потому, что детеныш погибал у людей от болезни или несчастного случая. Хозяин Байкала даже почувствовал серьезный шторм внутри русского рыбака и решил, что будет понемногу позволять ему ловить рыбу, так как люди со штормами внутри потом нарушали жизнь снаружи и доставалось самому Ламу, — например, такой штормящий бросал мусор прямо в воду. Рыба у отца снова стала ловиться, не много, но регулярно. Отец-рыбак не радовался своим маленьким удачам и стал молчалив прямо как жена. Лена догадывалась о плохой кумутковой судьбе, но ничего не рассказывала сестре.

В секунду, когда был убит кумуткан, обещанный к возвращению в озеро, Великая Нерпа очнулась от полудремы и открыла глаза. Байкал чуть качнуло, это заметили только сейсмологи на своих приборах. Великая Нерпа разозлилась и вызвала Хозяина Байкала на беседу. Тот был главнее Великой Нерпы, но она — взбешенней, отчаянней, и ее приходилось слушать. Великой Нерпе давно уже надоели люди, они браконьерничали сетями, стреляли тюленям в головы, отнимали кумутканов у кормящих матерей и сами жаловались, что нерпы рвали их сети и воровали из них рыбу. Через Ангару, с одним из обратных течений, к ней пришла весть о том, что люди обсуждают возобновление нерпяного промысла, потому что тюленей стало слишком много. У Великой Нерпы раздувались ноздри от гнева, и от этого по Байкалу ходили волны. Хозяин Байкала подумал, поперекатывал по мели камни и согласился, но объявил Великой Нерпе, что ему нужно время, чтобы подгадать подходящий случай.

Прошло несколько месяцев. Семья Лены жила, вроде как всегда, даже немного лучше. Наступила зима, рыбак передвигался по озеру на снегоходе, и вся семья носила слои одежды, даже Галя, переживавшая, что термобелье ее утолщает. Рыба попадала в сеть с удивительной регулярностью, так отцу не везло никогда прежде. Хозяин Байкала не хотел, чтобы семья уехала кормиться в другое место, поэтому постоянно подкладывал улов в отцовскую сеть, но, с другой стороны, не мог допустить, чтобы семья разбогатела и уехала куда-нибудь на юг, поэтому клал рыбы немного. Из-за появления обычных нормальных денег родители выдохнули, рыбак-отец пришел в себя — стал строить планы на покупку нового катера, даже мать немного оттаяла и заново принялась читать книги. Лена вдруг сказала сестре, что еще чуть-чуть и мать наконец заговорит с ними и скажет то, что хочет давно, — то есть пошлет их далеко и навсегда. Галя сделала вид, что не понимает, о чем говорит сестра, и ушла гулять с друзьями, хотя она очень хорошо понимала.

2

Великая Нерпа была недовольна, что ей все не доставляли рыбацких детей. Принялось ускользать ее терпение. Девочки все ходили мимо озера, но не катались по нему на лыжах или коньках, не ездили с отцом на рыбалку, а передвигались только по суше. Хозяин Байкала удивлялся, что дочери рыбака жили так, будто озера не существует, а есть только школа, квартира, рынок, магазины и рыба из озера. Он попросил Великую Нерпу ждать весны.

Весна наступила в виде высокого, плоского, белого, будто из снега, солнца, которое надавило на стеклянную корку, та треснула, и льдины фарфоровыми осколками засыпали озеро. Лена шагала сегодня, как всегда одна, из школы по асфальтовой полоске набережной, уже светло-серой без снега, как летом. Все обычно возвращались компаниями. Единственная Ленина подруга Сашка жила в другой стороне, в соседнем селе, а ни с кем другим Лена разговаривать по дороге не захотела бы. Галя — разговорщица, любительница людей, уже собирательница поклонников, королева сторис и всяких историй в своем классе, всегда шла отдельно от сестры, даже если их уроки закончились одновременно, всегда окруженная друзьями. Мать просила контролировать младшую сестру, и Лена знала, что сегодня Галя закончила учиться в то же время и ушла гулять на берег. Было тепло, даже жарко до бесшапного уже существования, но Лене не нравилось. Она заболевала, горло брыкалось, затылок мяло, и из глаз сочились температурные слезы. Лена должна была зайти домой, быстро поесть и нести рыбу матери на рынок.

Торчащее над озером солнце кусало кожу лица, и что-то еще другое царапало щеку справа. Лену вот уже пару месяцев как «любил» одноклассник, за ней уроками и переменами волочились его глаза, поэтому она узнавала в этом царапанье ощущение чужого взгляда. Лена вынула речитатив из ушей, остановилась и посмотрела на Байкал. Потом резко поглядела налево-вперед вдоль набережной — там, далеко, уже на уровне пляжа, передвигалась россыпь подростков, направо-назад — метрах в ста от нее плелись два второклассника. Она снова направила взгляд на озеро. Там, среди наплывающих льдин, нависая над поверхностью, торчали двадцать пять, а может быть тридцать гладких, круглых голов. Все они, повернутые в сторону Лены, глядели именно на нее своим глазами-пуговицами. Три нерпы и вовсе полувылезли из воды и возвышались на льдинах, не отрывая от берега внимания. Лена чихнула. Нерпы подвигались и поморгали. Лена шмыгнула носом, болезнь растекалась, захватывала новые территории ее тела. Вдруг дочь рыбака поправила шапку и побежала по берегу в сторону пляжа. Наушники хвостом волоклись за ней по асфальту. Нерпы синхронистками все до одной завалились кто на правый, кто на левый бок и скрылись в Байкале. Остался темно-серый ледяной коктейль с солнечными лучами. Мимо проковыляли второклассники, не разговаривая друг с другом.

Подбегая к пляжу, Лена увидела Галю, стоящую у пирса на широкой льдине с подругами. Вокруг них метров на десять в разные стороны вода начинала гулять острыми и резкими волнами, льдины на этом участке покачивались, будто кто-то тряс бокал со льдом, но остальной Байкал был совершенно спокоен и ровен. Даже находящиеся тут же катера и лодки лежали спокойно. Вдалеке за берегом наблюдали из озера несколько гладких голов. На пирсе хохотали девочки и дребезжали ломающимися голосами мальчики. Некоторые снимали находящихся на льдине на телефоны. Галя и ее подруги позировали. Никто, кроме Лены, не замечал, что волны сгустились вокруг подростков. Она спустилась на пляж, пробежала по обернутой в снег гальке, прошла по пирсу, который почти равнялся воде, осторожно обошла стоящих, резко выдернула за руку упирающуюся сестру на деревянный настил и уволокла на берег. Одноклассники наблюдали за происходящим внимательно и уукали, как нерпы, некоторые снимали на телефон это сестринское воспитание. Кто-то крикнул Лене, что у пирса мелко и вообще только сегодня туристы с шампанским на льдине по самому озеру катались.

Пока Лена тащила сестру за локоть домой, Галя материлась, шипела, что старшая испортила ей репутацию навсегда, и что ей надо теперь менять школу и город, и что это видео выволакивания со льдины навсегда останется в соцсетях. Лена, сморкаясь и кашляя, удивлялась, что Галя, оказывается, умеет так шипеть. Они встретили молодого соседа, и Лена снова удивилась, что младшая сестра поздоровалась с ним совершенно спокойно и мило, а потом снова принялась шипеть. Когда они пришли домой, Галя расплакалась от обиды, и Лена велела ей сидеть на месте, выпила парацетамол, достала что-то из холодильника, пересобрала рюкзак, закрыла дверь и убежала.

Горло вертелось, толкало нос изнутри, в ушах трещали раковины, в голове стучало, по телу рассыпался озноб. Выбежав на главную улицу-набережную, Лена огляделась, вытирая варежкой температурные слезы. С прикрепленного на фонарный столб мелкого щита на нее смотрели рыба и нерпа. Лена прошептала сухими губами: «Сейчас, сейчас». С фонарного щита напротив на нее глядел телефонный номер такси. Дочь рыбака вызвала машину. Лену осторожно обступали друзья сестры, возвращавшиеся с пляжа.

3

Саша с короткими черными волнами на голове, в куртке и джинсах кормила в курятнике кур у своего деревянного дома зеленого цвета. Озеро виднелось отрезами среди деревьев и других домов. У нее никогда не было отца, ее мать работала администратором в местном пансионате, куда ходила пешком двадцать минут через лес, а Саша ездила на маршрутке в школу. Ты ко мне? — она обрадовалась, увидев Лену. — Нет, я к Волгину, ты знаешь, где он живет? Саша обиделась и заревновала, но сказала, где искать одноклассника, и спросила подругу, зачем он ей. Лена, гоняя сопли в носу, ответила просто, что он очень сильно стал ей необходим, и собралась бежать. Саша мрачно посмотрела на Лену и спросила, что случилось. Лена же посмотрелась в мутное зеркало, висящее над рукомойником во дворе. В нем плескалось бледное потное лицо с заплывшими от слез глазами, красным носом, пересохшими корками губ. Все это водорослями облепляли длинные светлые волосы, выбившиеся из-под шапки. Лена попросила расческу и какую-нибудь помаду. Саша сходила в дом и принесла гребень и бесцветную гигиеническую помаду. Лена высморкалась, расчесалась, сделала новый хвост, натянула шапку и помазала губы. Подруга отказалась принимать помаду назад, сказав, что теперь та уже не гигиеническая. Лена осознала, что Саша обиделась серьезно, так как раньше они делили все, даже зубную щетку в школьном походе, когда Лена потеряла свою, но сейчас это было не важно. Рюкзак завибрировал, на мобильный звонила мать, Лена сбросила ее и выключила телефон.

Странно жить с фамилией Волгин на Байкале, но Волгин справлялся. Он не был популярным человеком в классе, но и угнетаемым или одиночкой тоже не ходил. Волгин казался Лене слишком скучным и предсказуемым, как и все мальчики. Она догадывалась, что он неплохо выглядел для остальных девочек из-за своих широкоплечести и роста. Лена находила в нем особенным и интересным только увлеченность ею самой. Ею обычно не интересовались, так как она не делала себя никаким образом привлекательной, а главное, плевать хотела на всю эту уже несколько лет длящуюся возню с социализацией и всем первым: первым алкоголем, первым сексом, первым сезоном какого-нибудь сериала. Волгин пытался обтекать Лену разговорами, звал ее кататься на лодке, пробовал дарить ей подарки и все время напарывался на непонимание и удивление. Друзья из класса смеялись над его увлечением, но сочувствовали. Кроме любви к Лене и фамилии из нездешней реки, в Волгине не находилось, кажется, ничего оригинального и важного. Он учился средне-плохо, происходил, как и очень многие, из бедной семьи, но всегда жонглировал гаджетами. Его отец, браконьер и алкоголик, исчезал на месяцы, оставлял им лодку,

а потом возвращался, всегда без денег. Мать работала горничной в том же пансионате, что и Сашина мать, и говорили, была затянута в какую-то секту, которая верит в чудеса, но Лена понимала, что это выдумки. Волгин жил на первой линии, прямо на берегу, это была главная улица села, где гуляли и собирались по праздникам, летом здесь желтел пляж, зимой просто лежал песок под ледяной коркой и снегом, словно впику городу, где снег и лед посыпали песком. Деревянный, как и все в селе, дом Волгина изумил Лену своей невероятной утонченной красотой: он был доброго нежно-голубого цвета, увенчанный белыми легкими изразцами по карнизам и наличникам, будто обшит кружевом. Многие дома в селе были украшены подобным образом, но именно на этом изразцы летели, и казалось, что сам дом парит над землей.

Волгин раскрыл рот и застыл, увидев Лену. Он очищал дорожку от мокрого снега, жвачкой липнущего к лопате. Лена подумала, как все-таки странно, что и он, и Саша живут, вроде, в одной с Леной местности и очень похожей жизнью, их руки с раннего детства пахнут омулем и на экранах мобильных часто остаются рыбные чешуйки, потому что пока ты чистишь, обязательно залезешь проверить телефон, поставить кому-нибудь лайк, но при этом дни они все равно проводили по-разному — и Волгин, и Саша — часто на открытом воздухе, а Лена — в четырех стенах, она все равно из города. Лена сделала комплимент волгинскому дому, одноклассник покраснел и испуганно поблагодарил, сказал, что это сделал отец, но очень давно. Судя по лицу Волгина, на котором недели три назад стали проступать синяки — свидетельство грубой, некружевной работы — его отец вернулся. И было самое время — настал сезон охоты на нерп.

4

Моторка гудела перезимовавшей пчелой и с гулким стуком встречала сияющие льдины. Земля со скалами, домами и деревьями походила вдалеке на игрушечную версию всей волгинской и Лениной жизни. Хоть они уже давно отплыли от берега и два раза сменили курс, Лена не переставала разбрызгивать водку на воду. Она начала, как только села в лодку. Волгин почему-то не удивился этому, он понял, что сегодня особенный, ни на что не похожий день, когда он впервые в жизни угнал лодку у спящего под водкой отца, а странная-престранная девушка, о которой Волгин мечтал уже пятый месяц, сама пришла вдруг к нему и попросила показать ей отцовские ловушки на нерп, и теперь, согласно какой-то старой традиции, молча угощала водкой озеро. Волгин только пошутил, что Байкалу, может, уже хватит, Лена улыбнулась и не перестала. От сосредоточенности и солнца она даже перестала чихать и кашлять. Волгин еще на берегу заметил, что она болеет, и спросил ее об этом, но Лена махнула три раза рукой, будто крылом или ластой. Ее глаза температурили светом, длинные светлые волосы лезли из-под желтой шапки, солнце набилось в складки куртки, в швы ее джинсов, в ее уши и повисло на кончиках мокрых от водки пальцев. Волгин никогда не видел в жизни ничего прекраснее. Они оба молчали, Волгин — для того чтобы не сломать этот день, ощущение от него, а Лена — из-за болезни. В горле у нее словно засели острые байкальские льдины, ей было больно говорить и даже дышать. Она отпила чуть прямо из горл*а*, и льдинки чуть подтаяли, притупились, Лена протянула бутылку Волгину, тот покачал головой. Как и некоторые дети отчаянных алкоголиков, он никогда не пил, даже пиво, и не собирался начинать в будущем.

Хозяин Байкала оказался в непонятной ситуации. С одной стороны, дочь рыбака уже больше получаса плыла у него на ладони. Но с другой — она щедро выполняла старый эвенкийский обряд, тем самым высказывала уважение и одновременно просила о добыче. Она не была эвенком или ламуаном, но она плыла с сыном охотника на тюленей. Хозяин не мог прервать ее путешествие и отправить к Великой Нерпе, пока дочь рыбака не найдет добычу, и добычей этой были сами нерпы. Крутился странный, замкнутый круг, железный, как окружная дорога. Великая Нерпа

следила в это время года за молодыми самками, давшими новое потомство и, уставшая, теперь дремала у себя в логове. Хозяин понимал, что дочь рыбака никуда не денется от озера, поэтому решил наблюдать за ней дальше, к тому же ему она казалась интересным существом из племени людей, давно таких не попадалось. А эта — такая, как герои песен в прежние времена, только те всегда были мужчинами.

Лена и Волгин доплыли до бухты между двумя темными, растерявшими снег мысами. Здесь не растаяла целая поляна льда, куда еще могли ступать ноги. Десятиклассники вышли из моторки на льдину, Волгин попробовал-походил, потом закрепил лодку, и они отправились проверять сети в отдушинах. Из пяти оказались с добычей две, недалекие друг от друга. В одной попались самка с детенышем, а в другой — только самка. Первая сеть еще дергалась туда-сюда, а вторая нет. Ее Волгин, закатав рукава куртки и свитера, специально вытащил показать Лене. Молодая нерпа, слабо дергая лапами и медленно моргая, принялась отчаянно хватать ноздрями, ртом и казалось ушными дырами воздух. Волгин хотел опустить сеть обратно, но Лена остановила его и предложила сложить всю добычу в лодку и отвезти домой. Но тот сказал, что так нельзя делать по многим причинам — хотя бы потому, что отец убьет его, если узнает, что он проверял ловушки без него, да еще с кем-то чужим. К тому же, если они достанут нерп живыми, то их придется добивать выстрелом в голову, а это неприятное занятие, так что лучше ждать, когда они задохнутся. Волгин опустил сеть обратно в воду. «Их жалко очень, — подумав, сказал он, — но моя семья уже в третьем поколении живет ими». Дочь рыбака огляделась и сказала, что хочет на берег. Ей казалось, она начинает задыхаться, как эта нерпа. Льдина прерывалась в ста пятидесяти метрах от суши, и до берега нужно было доплыть. Волгин подумал, что они могут посидеть вместе на его куртке на берегу, спокойно поговорить, и он может насобирать там Лене каких-нибудь цветов и, наверное, это будет правильно и романтично.

Когда лодка ткнулась в землю, Волгин спрыгнул в сапогах в воду и потянул лодку на берег. Лена быстро переместилась назад и завела мотор. Ничего не понимающий Волгин закричал, подумав, что она ошиблась, желая ему помочь пришвартоваться. Лодка уже слишком плотно сидела на мели и оттого тряслась на месте, тогда Лена вытащила весло и изо всех сил оттолкнулась им от берега, развернула лодку кормой вперед, случайно выпустила весло из рук, и оно осталось воткнутым в землю. Трос потащился вслед за лодкой, Волгин кричал, что тот может попасть в винт двигателя, но Лена не слышала. Она знала, что была плохой дочерью рыбака — так и не научилась управлять моторкой. Затормозила у льдины, врезавшись в нее. Выбравшись на поверхность, Лена побежала по чавкающей белой поляне. Та шаталась и звенела в ее температурной голове. Солнце куда-то убралось с неба. Сделалось пасмурно. Лена добежала до отдушины, вытащила сеть, но та была пустая. Дочь рыбака огляделась — вокруг плыло и белело, и на этом белом темнел десяток отверстий. Все части льдины выглядели одинаково. Лена побежала к еще одному темному пятну, это оказалась просто глубокая впадина. С берега что-то кричал Волгин, но его слова разрушал бьющийся в Ленины виски молоток. Она двинулась к следующей проруби, потом еще к одной, наконец увидела мятущуюся сеть, встала на коленки и потащила ее на поверхность. Самка и детеныш дергали лапами и ууууукали. Лена достала нож из рюкзака и принялась резать сеть, стараясь не задеть тюленей. Тут Великая Нерпа проснулась от дремы и увидела через глаза лежащего в сетке кумуткана и Лену с ножом. Ее желтые волосы трепал поднимающийся ветер, шапка упала с головы где-то раньше. Из порезанных то ли ножом, то ли сетью пальцев текла кровь. Великая Нерпа потребовала Хозяина Байкала немедленно выполнить обещание и доставить ей дочь рыбака. Тот нехотя согласился, он понимал, что та еще не закончила путешествие. Когда самка и детеныш выползли из сети, Лена застыла и вспомнила, что молодая самка находилась слева и назад от первой отдушины. Нерпа и ее кумуткан, надышавшись, скачками добрались до отверстия во льду и нырнули, спасаясь от людей. Лена

спокойно и медленно отправилась по восстановленному в памяти пути. Сеть была тут, самка тоже. Она уже не дышала, когда Лена вытянула ее на лед. Лена положила нерпу на спину и нажала ей примерно на грудную клетку окровавленными пальцами. Лед под Леной провалился. Сильная боль воткнулась в грудь и живот, а потом захватила все тело. Вокруг нее бурлила, гуляла вода, как сегодня днем подо льдиной с Галей и ее подругами. Тело молодой нерпы плавно пошло ко дну. Лена болталась в ее сет*и*, все еще пристегнутой на поверхности к льдине. Вода залилась в рот, и горло перестало болеть. Лена закрыла глаза, и ее резко дернуло вниз.

5

Она открыла глаза. Со стены на нее смотрели Энштейн, Ньютон, Мария Кюри. Парты и стулья были убраны в угол. На пустом полу на стуле сидела Ольга Леонидовна с аккордеоном в руках. Класс физики, в котором чаще всего проводились занятия по музыке и некоторым другим предметам зимой, потому что он был самым теплым в школе. Ольга Леонидовна преподавала у них музыку до пятого класса, пела очень высоким голосом и учила разным патриотическим песням. Рядом с Леной хоровой шеренгой стояли мама, папа, сестра, Волгин, молодой взрослый сосед, которого они встретили сегодня с Галей у дома, Галины друзья, Саша, Ленины одноклассники, и где-то с краю топтался владелец сувенирного магазина. «Ииии, начали», — сказала Ольга Леонидовна, скрипнула аккордеоном и принялась играть. Все запели, в том числе и Лена (горло совсем не болело):

Хор (все):

О Байкал, о Байкал,
лайк, лайк, лайк, лайк,
ты бокал с живой водой,
ты наша отдушина,
лайк, лайк, лайк, лайк,
твои нерпы — это родины нервы,
твои склоны — локоны Сибири,
лайк, лайк, лайк, лайк.

Солистка (Галя):

Великая Нерпа подключилась ко всем нашим гаджетам,
и хочет залить Байкал в наши сети
историю Лэтылкэк,
молодой самки, которая кормила своего кумуткана,
потом поплыла с ним за рыбой,
а когда вернулась домой, то попала в подлую сеть
незаконного ламуана.

У-у! У-у!

кумуткану удалось не попасться
в сетью пасть,
пыталась Лэтылкэк
порвать сеть когтями,
порвать сеть зубами,
не рвалась подлая сеть,
плакала Лэтылкэк,
плакал ее кумуткан,
плавал вокруг!

У-у! У-у!

А потом приплыли
сестры Лэтылкэк,
рвали-рвали подлую сеть когтями,
кусали ее зубами
подлая сеть не поддавалась!
У-у! У-у!

и забрали сестры Лэтылкэк
ее кумуткана,
плакала Лэтылкэк,
плакал ее кумуткан,
плакали сестры Лэтылкэк!
У-у! У-у!

Хор:

о Великая Нерпа, услышь нас!
Уууууууууу!
Уууууууууу!

Тут включился круглый, серый, похожий на нерпу из серого пластика бумбокс, который стоял на тумбе под Ньютоном. Из бумбокса поплыли инопланетные, ноющесвистящие звуки, похожие иногда на поиск радиоволны в далеком от цивилизации месте.

На инопланетные звуки из бумбокса накладывалось пение.

Хор (все):

О Байкал, о Байкал,
лайк, лайк, лайк, лайк,
ты нам Швейцария,
ты нам настоящий царь,
лайк, лайк, лайк, лайк,
твои снега — это наш чистый лист,
твои берега — ворота нашей свободы,
лайк, лайк, лайк, лайк.

Солист (Галин одноклассник):

Плачет Лэтылкэк.
задыхается Лэтылкэк.
А прошлым апрелем
ее брата-близнеца убили
выстрелом в голову,
из его тела выкачали
жир и наполнили им банку,
с его тела содрали шкуру,
и теперь брата-близнеца Лэтылтэк
носит на голове женщина с рыжими волосами.
А с Лэтылтэк, когда достанут ее тело,
тоже снимут шкуру,
прибавят ее к другим шкурам
и сделают шубу, наверное,
для той же женщины,
или какой-нибудь другой.
У-у-у.

Другой солист (владелец сувенирного магазина):

вы, гладкие мешки жира,
вы, любопытные недорыбы,
расплодились тут,
едите нашу рыбу,
дышите нашим чистым воздухом,
выжимаете жалость всяких нежелательных организаций,
иностранных агентов,
заходишь на рынок в Листвянке — там вы,

заходишь в ресторан — там ваше у-у!
заходишь в позную — там у-у!
заходишь в маршрутку — там у-у!
заходишь в сувенирный магазин — там у-у!
заходишь в Байкал — там у-у!
проверяешь свою сеть — там у-у!
ууууууууух!
мы найдем на вас управу!
мы откроем для вас колбасные заводы
и меховые цеха!
ууууууууух!
девять ваших жизней —
одно наше рабочее место!

Хор:

О Великая Нерпа, услышь, что
они говорят!
Услышь нас!
Ууууууууу...

Инопланетные ноюще-трескучие звуки заглушили пение и остались единственным звуком. Вода ворвалась в класс и смыла портреты ученых, Ольгу Леонидовну с аккордеоном, весь хор и кабинет физики. Лена зависла в водном массиве, погруженная в ноюще-трескучий звук. Не было холодно и больше совсем ничего не болело. Лена сделала глубокий вздох и осознала, что может дышать под водой. Впереди в мутной взвеси проступали контуры большой, круглой подводной горы, которая приближалась. По мере ее приближения нарастал звук. У горы оказались усы, как деревья, голова с трехэтажный дом, ушные дыры, как ямы, глаза с вокзальные часы, плавники-паруса и продолжающийся далеко-далеко горный хребет тела. Звук сделался совсем громким, но переносимым. Лена смотрела на Великую Нерпу, Великая Нерпа смотрела на Лену, моргала, издавая ноющие, иногда трескучие звуки, похожие на поиски нужной радиостанции, общего языка.

6

Лена выдохнула водой. Над ней нависал Волгин, матерился и просто кричал, давил ладонями в ее грудную клетку. Перевернул Лену лицом вниз, и она закашлялась. Волгин заплакал. Ленино тело сразу принялся грызть страшный холод. Она застучала зубами. Но ничто не болело — ни горло, ни уши, ни голова. Волгин тоже затрясся. Он отпил водки, предназначенной для Хозяина Байкала. Та успела нагреться на выкатившемся обратно солнце. Волгин нашел в моторке непромокаемый мешок с отцовской одежной запаской и протянул Лене свитер и штаны, но она сворачивалась ледяным эмбрионом и билась от холода об лодку. Тогда Волгин принялся раздевать ее руками-шатунами, Лена постепенно распрямилась и вытянулась. Волгин стащил окаменевшие от воды ботинки, носки, брюки, куртку, свитер и футболку. Лена внимательно наблюдала за ним со дна лодки. На бельевом слое Волгин на две секунды застопорился, но потом быстро стянул оставшиеся мокрые белые тряпки и напялил на Лену отцовские толстовку и штаны, и накрыл ее своей курткой, которую снял перед прыжком. Переоделся сам в сухую матроску и кальсоны. Лена заныла, зауукула. Потянула к Волгину руки. Он сказал, что сейчас они уже поедут. Лена обняла Волгина и потянула его к себе под куртку. Он решил, что ничего, что они полежат, чуть погреются. Лена принялась тыкаться носом ему в шею. Волгин попросил ее отстать, и даже чуть отпихнул, она положила его холодную руку себе на холодную грудь под свитер его отца.

Млекопитающие Байкала обнимаются и кричат. Обнимаются и кричат. Байкал кормит их, поит, насыщает их воздухом и солнцем, они обнимаются и кричат. Лежат

на льдинах, на суше, под водой, под землей, обнимаются и кричат. Байкал показывает млекопитающим птиц, рыб, камни, редкие камни, цветы, редкие цветы, туристов; они обнимаются и кричат. Они растят потомство, охотятся, спят, поют, болеют, обнимаются и кричат. А потом отправляются к отдушине.

Волгин отвел Лену к Саше и ушел в свой кружевной, летающий дом. Отец еще не проснулся. В комнатах кружили пары водки. Волгина с Леной и моторной лодкой не было всего два с половиной часа. Он переоделся, высушил волосы феном, выпил горячего чая. Он хотел поначалу развесить всю одежду в сарае, в том числе промокшую от их с Леной тел родительскую запаску, чтобы не увидел отец, но потом передумал и развесил все во дворе, под солнцем, которого еще немного осталось на сегодня. Отец проснулся, помочился в ведро в комнате, увидел в окне на веревках свою переодежду и сыновью одежду и выматерился. Волгин вспомнил, как спросил мать, еще в классе четвертом, почему она вышла замуж за отца. Та призналась, что отец был самым необычным и странным человеком из всех, кого она знала. Говорил не как все, поступал не как все, рассказывал какие-то невероятные истории, выделывал руками красоту из дерева. Отец подошел к Волгину и пихнул его, не сильно, спросонья, и спросил на своем обычном языке, где тот был? Волгин спросил, где отец бывал, когда по полгода не возвращался домой. Старший Волгин затрясся, будто его тоже недавно достали из холодной байкальской воды, и замахнулся на сына. Тот опередил и ударил отца деревянным стулом. Потом еще раз. Отец чуть полежал, потом поднялся и ушел снова на кровать. Сын прошел за ним и объяснил, что так будет всегда, когда тот поднимет руку на мать или на него самого. Отец лежал так три дня, молча уворачиваясь от жениной руки, которая пыталась щупать ему лоб и мерить температуру. А потом он забрал лодку и больше никогда не возвращался, за что мать Волгину еще долго выговаривала.

На Ленины звонки и сообщения Волгин не отзывался, в школе он держался с ней так, как до того, как влюбился в нее, то есть не ходил за ней больше взглядом, разговорами и подарками, не обращал внимания вовсе. Лена нервничала, ей казалось, что она добыла себе пару для дальнейшей интересной и сложной жизни, такого же странного человека, как она сама. Потом она смирилась и с потерянным Волгиным, и с тем, что такого человека-пары для нее совсем не существует. Через несколько дней после лодочной прогулки Лена отправилась с сестрой на берег. Галя поначалу с Леной не говорила, продолжала дуться, но быстро почувствовала, что в сестре поселилась недавно сильная и сложная история. Сестры пришли на пирс. Лена села на деревянный настил и спустила ноги в зеленых резиновых сапогах в воду. Ничего не произошло. Байкальская вода тихонько обнимала Ленины подошвы, толкалась тающим льдом в мысы ее сапог. Лена нагнулась, попробовала рукой холодную воду и вздрогнула от напоминания. Ничего не произошло. Лена попросила Галю тоже сесть и опустить ноги в сапогах. Галя изобразила раздражение, состроила рожицу, но уселась рядом с сестрой и окунула ноги в красных резиновых сапогах в воду. Ничего не произошло. Галя посмотрела на Байкал. Он ширился своей серой водой со льдом. За ними с сестрой не наблюдали гладкие головы. Галя поняла, что они прощены.

Это была неправда. Великая Нерпа не простила их до конца и размышляла теперь, как завершить свою месть. Она оценила Ленино старание в тот день, когда та освободила тюлениху и ее кумуткана, но жизнь еще одной молодой самки дочь рыбака упустила. Великая Нерпа злилась оттого, сколько таких нерп и их детенышей умирает, задыхаясь в сетях и корчась от головных пуль по всему Байкалу. Она понимала, что злится не на дочь рыбака, а на всех людей, но никак не могла себя унять. Хозяин Байкала уже выполнил просьбу Великой Нерпы, и к нему она не собиралась обращаться. Ей нужен был кто-то влиятельный не только на озере. Если бы Великая Нерпа лучше различала людей и знала, что Лена поняла и почувствовала все, что она

услышала в ее логове, то наверняка бы передумала. Но она не умела предсказывать будущее или видеть людей прозрачно, как наблюдал их Хозяин Байкала. Она заговорила с Хозяином природы, который отвечал и за животных, и за людей. Она умолила его выполнить ее просьбу. Рассказала историю невозвращенного кумуткана, призналась в недоведенной мести. Объяснила, чего она хочет и почему это — достойное наказание. Хозяин природы подумал, согласился и постановил, что каждый раз, когда дочери рыбака, и старшая, и младшая будут зачинать, на четвертую неделю их плод рассосется, как это происходит у нерп при слишком раннем таянии льда на озере. Через месяц посреди ночи в Ленином животе, пока она спала, бесследно исчез их бывше-будущий с Волгиным ребенок. Если бы она узнала о нем, то очень бы удивилась.

7

Десять лет спустя Волгин ехал на своем минивэне вдоль берега. Солнце полировало байкальский лед, набережную, покатый капот, дорогу. Мимо плыли гостиничный квартал, четыре припаркованных туристических автобуса, две китайские и одна русская группы туристов, улица со школой, где Волгин учился, рынок, супермаркет. Все замаринованное солнцем. Волгин не закрывал глаза темными очками, он любил яркие лучи и привык к ним. Сегодня он установил две солнечные панели в своем родном селе. С тех пор как китайские солнечные батареи сильно подешевели и стали доступны, у Волгина и его напарника не заканчивалась работа. Половина крыш в городе и окрестностях носила волгинские гладкие, темно-серые, похожие на сушащуюся тюленью шкуру, батареи. Волгин свернул налево и поехал в гору по вьющейся улице вдоль несельского частного сектора. Остановился у двухэтажного дома светлого кирпича без каких-либо украшений. Выключил двигатель и включил радио. Волгин не слушал музыку, когда водил машину. Заиграла песня про млекопитающих, которые обнимаются и кричат, обнимаются и кричат. Волгин решил, что она дурацкая, и принялся перебирать волны. Лился инопланетный, ноюще-трескучий звук. Наконец нашлись новости. Диктор рассказывал, что сегодня Иркутский областной суд приговорил к семи годам колонии строгого режима известную экотеррористку Елену Никитину. Мягкий мужской голос напомнил, что Елена Никитина стала известна как экоактивистка семь лет назад своими многодневными акциями в Иркутстке, Москве и Улан-Удэ в защиту байкальской природы, в частности, байкальской нерпы. Пять лет назад Никитина подозревалась в нападении и разгроме офисов четырех туристических агентств, по некоторым сведениям предлагающих развлекательную охоту на нерп. Но следствие тогда не нашло достаточных доказательств причастности Никитиной. После отмены моратория на промышленную добычу байкальской нерпы три года назад Никитина утопила девять рыболовных катеров, занимающихся добычей нерпы, о чем свидетельствуют показания многочисленных свидетелей и записи видеооборудования. По словам правоохранительных органов, экотеррористка действовала всегда одна. Общий ущерб от действий Никитиной оценивается в двадцать миллионов рублей. Следствие также сообщает, что Никитина планировала устроить диверсию на колбасном заводе, где перерабатывается мясо добываемой нерпы. Сторонники эко-террористки устроили пикет у здания... Волгин выключил радио и засел в тишине. Он всегда помнил, что на небольшой льдине, управляемой лодочным веслом, он добрался от берега к ледяной поляне с ловушками за четыре минуты. Лена провалилась под воду, когда он еще и не начал плыть. Бегал как дурак, не мог придумать, что делать. Ни одно человеческое существо не проживет столько под водой. Волгин очнулся от стука. На него через раму окна, захваченные в солнечную сеть, смотрели жена и дочь. Волгин улыбнулся, открыл машину. Жена сказала, ну ты даешь, кричим, кричим тебе, машем. Села рядом с ним в машину, они поцеловались и поехали к ее родителям на ужин.

Валерий Пискунов

Политен

Рассказ

Политен — это его электронный *nom* и не имеет никакой связи с политикой; Политен производит nom от латинского корня politus, а себя причисляет к художникам шлифовки и полировки. На самом деле и герой, и его nom имеют прямое отношение к метрополитену.

Первородное имя героя — Тимофей. Ему 27 лет, проворный, расчетливый и взыскательный эротоман. Перед ним экран монитора, на котором разноцветная нервная сеть, — допустим, московского метро. Кончиком курсора он покалывает нервные тяжи радиальных линий, но больше и благодушнее нервирует себя. Политен охотится в недрах благоустроенного подземного лабиринта; он коллекционирует любовные интрижки, эстетически сообразуясь с цветовой гаммой метро. Вот стрелочка курсора уколола серую радиальную: этот нерв соединил его позапрошлой осенью с высокой сухой девицей, ассистенткой в каком-то Институте образов и прообразов. Многослойная, она шелестела и бесконечно перелистывалась в его руках. Он так и не добрался до ее стволовой сердцевины. А вот (кончик вонзился в красный изломанный нерв) — кафельная прогулка по малолюдному перрону; навстречу — в полупарандже, мелкой плывущей походкой, лицо цвета горного снега, парящие дуги черных бровей, из-под широких призакрытых век сосредоточенный, подстерегающий взгляд. Она спланировала со склонов Дербента и не сразу далась ему, гортанно смеялась и отвиливала. Мускус ее волос, угловатая неразбериха локтей и коленок. По всему телу дрожь, как будто каждая мышца готова лопнуть, раздаться и всадить его в себя. Отжавшись, она закуривала, курила быстрыми затяжками, но это было не отдохновение, это был всего лишь перекур.

Политен сморгнул воспоминание, хмыкнул носом и подключил себя к Равелю. Следуя душой за идущим от корней ритмом, он смотрел через окно на верхушку апрельского тополя. Он никогда не искал виртуальных знакомств, а сейчас просто пережидал, когда косяки идущей на рублевый нерест сельди схлынут и подземка начнет дышать свободнее. На тополе объявилась сорока: передразнивая завершающие аккорды болеро, стала восходить, прыгая с ветки на ветку. У вершины, где трепетала небесная синева, птица развернула два веера крыльев, оттолкнулась и всей белой грудью налегла на солнечный свет.

Пискунов Валерий Михайлович родился в 1949 году. Автор четырех книг. Рассказы, повести и романы публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов». Член Союза российских писателей. Живет в г. Ростов-на-Дону. Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 5.

На тротуаре асфальт подсыхал, только трещины держали влагу. Сигарета в пальцах Политена нежно и покорно тлела, его взгляд был легким и рассеянным. Фиолетовая дымка дрожала над пустым цветником, редкая турмалиновая дворняга пересчитывала машины у перекрестка. В окнах газетного киоска стыл густой осадок лиц, грудей, поз. Из-за киоска вынырнул и пошел навстречу симпатичный парень в черной куртке, в джинсах на кроссовках. Он целенаправленно улыбался, и Политен сразу понял, кто цель его улыбки, и забеспокоился. Шага за два парень сделал полудугу и остановился. Политен отстраненно глянул на него и тоже замер. Парень заговорил, он произносил слова в интеллигентных оборотах, он смотрел в глаза и извинялся. Просил прощения за то, что не может вразумительно обозначить причину приставания: дескать, само начало жизни неизвестно, а его собственное — в высокой степени неопределенности, и поэтому их встреча и его просьба выглядят так глупо. Он опять извинялся и бормотал что-то про то, как хочет преодолеть релятивизм этой нечеловеческой случайности и надеется, что визави сердечно вникнет в суть его просьбы и поймет, как тяжело просить сигарету в атмосфере межличностной аннигиляции... Политен, отстраняясь, протянул ему всю пачку; парень вежливыми цепкими пальцами выдернул одну сигарету, но тут же, как бы сглотнув смущение, выцарапал еще одну: «Сладкая парочка!» — он осклабился и отстал.

Политен вошел в метро, вдохнул запах подземной вентиляции и с нею выдохнул воспоминание о попрошайке. Сегодня он нацелился на фиолетовый нерв. Прихоть художника. Пушкинская облегченно просматривалась, и Политен встречал вагоны, принимал породу на лоток, быстро оглядывал и откидывал. Один раз попался камешек черного халцедона — лобастая негртяночка, вкрадчивая походка, агатовые радужки на желтом белке, но пупырчатое, неотшлифованное личико покоробило.

Он обратился к эскалаторам, приноравливая плывущие вверх спины к плывущим вниз лицам, и вдруг на полупустом каскаде увидел два самоцвета. Они двигались портретной определенностью сначала в миниатюре, потом все ближе и ближе.

Два очаровательных овальных лица; та, что постарше, кудрявая брюнетка, а та, что помладше, лет четырех, легкокудрая блондинка. Лица одно в одно, приближаясь, казали утонченную гравировку голубых глаз и спокойную сосредоточенность. Если бы не разница в возрасте, Политен принял бы их за разноцветных двойняшек. Мама держала дочку за руку, а дочка прижимала тряпичную куколку к левой груди. Вокруг них витала фиолетовая дымка, и у Политена сдвоило сердце. Пока он метался между эскалаторами, двойняшки вышли на платформу. Маленькая остановилась и стала округлыми жестами рисовать, убеждать в чем-то маму, искоса глядя на нее снизу. Мама, тоже взглядом, указала ей на часы.

Они вошли на кольцевую в сторону Баррикадной. Он сел напротив и превратился в невидимку. На маме — бордовый свитер, широкая юбка ниже колен и белые колготки в лодочках на низком каблуке. Политен чуть ли не пальцами ощупал крупную вязку свитера, грубое полотно юбки и вафельную тянучку колготок. Куколка сидела на коленках девочки и таращилась из-под широкополой желтой шляпы. Девочка задумчиво смотрела в пол, и Политен, с той же тактильной тщательностью, оглядел ее синий свитерок под белой жилеткой, темные шорты и белые колготки в кукольных кроссовках.

Он откинулся на спинку, поджал под лавку ноги и теперь уже расслабленно окунулся в их лица. Овальная сосредоточенность. На чем? На ожидании конца поездки или на чем-то более отдаленном? Нежная кожа с розоватой подсветкой, усиливавшей бирюзовое свечение глаз. У мамы на левой щеке темнела алая точечка родинки. Лицо дочки было чистое и податливое на каждое движение ее мимики: она что-то прошептала кукле и прижала ее к животу. Политен прикинул дугу до Смоленской: как жить дальше? Как совпасть с тайной их движения? Как подладиться к этой очаровательной двуликой плоти?

Он пошевелился, чтобы выйти из своей невидимости, привлечь их внимание. Мама взглянула на него с тем мимолетным интересом, который вырабатывается скоротечными интервалами подземного долготерпения. Он улыбнулся. Но даже родинка на ее щеке не дрогнула. На Смоленской они вышли; и здесь Политен сыграл в скоротечную рулетку: какой нерв они выберут — голубой или синий? Он смотрел, как они идут: у обеих ладная, твердая и при этом изящная походка — не отторгая пола, но и не доверяя ему. Они выбрали Филёвскую. Политен даже не поморщился. Но теперь надо было как-то зашифроваться, чтобы не попасть под прецизионный взгляд их голубых корундов.

В его компьютере уже были и дом, и подъезд, в котором скрылись мама с дочкой, и Крылатские холмы, и обводнивший холмы гребной канал. Ареал он населял их фотками, снятыми пока что только издали. Дочка и мама у песочницы. Высокая голенастая ель и мама спиной к стволу, дочка на корточках возле. Апрельское солнце гоняет тени по холмам. Мама и дочка на берегу гребного канала, два-три круга разбегаются по воде... Откуда фиолетовая дымка?

Соотнося и сплетая свою память с предуготовленной памятью компьютера, он сучил некую нервную нить из виртуальной пряжи и растрепанной кудели своей влюбленной души. Нить выскальзывала из-под его воли и вилась, вывязывала сеть некой небывало высшей нервной Д: всем своим нутром он тянулся войти в круг их общения, стать третьим другом, обратить на себя их ровно идущие сердца... Чего он хотел? Он грезил, по привычке скабрезно, потом гасил экран, смаргивал подвечные, на глазном дне, картинки и снова — в нутро компьютера. Чего не хватало его виртуальной нервной Д? А не хватало второй сигнальной! Он видел диалог их глаз, краткие реплики губ, но не слышал их голосов. Странно, очень странно. Он стал припоминать, которая из его прошлых пассий (метро) завлекла голосом или оставила по себе память хоть одним словом? — А теперь его так прижало, как будто без голосов крылатских двойняшек он обречен был на душевную немоту.

Слова — это не только уши (сообщал ему робот), это еще и слух, но, того сугубее, это еще и язык. Робот пощелкал памятью и показал язык возбужденного релятивизмом Эйнштейна... На холмах уже зеленела влажная травка. В лесочке полуголые тополя уязвляли вечнозеленую молодость сосен. Среди одичавшего подлеска вдруг выстреливала тонкая самовольная тростинка... Чьих корней? Дятел терапевтически обстукивал еловый ствол. Синички, стреляя трельками, налету преображали звук в цвет и окрашивали свои серые перышки в небесную синеву. Он выходил из лесочка по гулевой тропинке, когда ему навстречу залаял и пошел хищным скоком отвязанный ротвейлер. Хозяйка ковыляла позади.

— Не шевелитесь! — кричала она просительно. — Стойте смирно!

Фиолетовая пасть, розовые глаза. Тимофей никогда в жизни не переживал такого парализующего, унизительного страха.

Ночью уснуть не мог. Сучил холодеющими ногами, поджимал колени. Его возмущало и опять же унижало то, что он оказался беззащитен перед кобелем, поразившим его даже не угрозой укуса, а страхом (ужасом, подсказывал компьютерный робот). И этот ужас-страх вошел в него с такой непосредственностью (с минимальной скоростью, уточнял робот), как будто душа уже готова была принять и объять эту инвазию, а память — оформить и сохранить его в себе на всю жизнь. И, наконец, воля была поражена в правах казавшегося врожденным своенравия.

С этого дня чувства потеряли опору в привычном: впечатления набегали, как сорвавшиеся с поводка. Сознание тоже нервничало, компьютерный сверхразум только усиливал неопределенность: живое сознание билось о стекло и меняло профили. Вторая сигнальная...

А вот за второй сигнальной он буквально вышел на охоту. Он сновал по голубой подземной ветке, подстерегал двойняшек у выхода из метро. Их многоэтажку оглядел и обнюхал все ее углы. Проник в подъезд, вызвал вертикальное метро и обшарил каждую станцию. Его игривый метро*пот* (*nim*, уточнил робот) подсказал переиграть рекламу в кабине лифта своим граффити. Маньяк поостережся мазать кабину краской, но черным фломастером нацарапал на стенке просьбу обратить на него внимание и оставил электронный адрес. Ждал-пождал. Отозвались: инженер виртуальных душ с предложением трансплантации, проповедник сердобольно призывал принять обращение, а потом — прорвало рекламную канализацию. Робот посоветовал исправить ошибку, и Политен поспешил исполнить поручение.

Он погнал лифт на самый верх, заштриховал свою ошибку, под которой уже размножился скабрезный каламбур: сосок усох росАхос осока раком сос... На верхнем этаже Политен передохнул и пустил кабину вниз. Попахивало собачьими пачулями. Робот спровоцировал перебранку айфон versus смартфон: «тупой гаджет», в ответ — «облако без штанов»; потом острее: «жгучий придурок» — ответ «сушеная треска»... Политен пальпировал экран, пытаясь нащупать шишку шизы разыгравшегося электронного разума, но остроты саморазмножались, противники перешли на жаргон, в котором какая-то лярва плодила отравную икру, а царевна-лягва ее пожирала и спасала мир от гибели. Политен спросил робота: «Что за мансы?» Робот ответил: «Эвфемистический вариант вульгарного конфликта».

Кабина лифта качнулась на упругих пружинах и распахнула двери. Они стояли рядом, мама держала дочку за руку, дочка прижимала куклу. Что они увидели? Молодой шатен в замшевой куртке, джинсах, улыбался и приглашал войти.

— Это первый этаж. Выходите, — строго сказала девочка.

— Мне надо вернуться, — сказал шатен, тыча пальцем вверх. — Кое-что забыл.

— Алиса, входи, — сказала мама.

Девочка вошла и отвернулась. Мама вошла несколько боком.

Политен потянулся к панели: «Вам на какой?»

Он предполагал, что услышит ее голос, который на лету перехватит гаджет и запомнит. Но человек предполагает, а судьба располагает. Ее голос нырнул в него без единого всплеска, нежно коснулся обнаженного корня и отвильнул. В самой глубине она колебнула в нем память, и он стал искать объяснения такому беспрепятственному, как будто предуготовленному, ее проникновению. Так проникает музыка, полет плицы, тающая льдинка. Ее голос был нежный, но непростой: под овальным куполом контральто дразняще дрожал язычок сопрано, которому резонировал бесхитростный голос строгой Алисы. Голос с подголоском завладели им, выплывали из-под сердца, проникали в уши и, чудилось, звали... Следом память казала две пары ювелирных глаз и ярких маленьких губ.

Политен разрабатывал план тесного знакомства. Пути влюбленной мысли непредсказуемы, поэтому Политен беседовал с роботом и, направляемый его логистикой, искал варианты подхода, подкопа, подлета. Робот неожиданно предложил вариант *подплыва*: он развернул научный обзор открытий в сфере земного зрения и в нем статью Ranaprana «Принципы лабораторной лягушки в переработке зрительной информации». Кроме колбочек и призмочек, лягушкины очи наделены волшебными кристаллами, которые расширяют богатство видимого ею мира; плавая в шелках болотной тины, она чувствует себя повелительницей страны грез. Ranaprana резюмировал: «Qui fuit rana, nunc est *царевна*!» Политена особенно умилила лягва пипа с перинатальными яслями на спине. Но почему лягушка? Потому что она — рана в сердце Политена.

Теперь он чувствовал себя охотником, удачно поставившим капкан. Блокнотик, который он хитро подбросил гуляющей парочке, виртуально висел в углу экрана. Политен перелистывал его и ждал: в блокнотике были не только заумная белиберда, но и электронный адрес. Он представлял, как мама обихаживает дочку, как они движутся по квартире, переговариваются, дочка что-то назидательно говорит кукле и укладывает ее спать, мама улыбается, кормит двойняшку ночной кашей... Время тревожило Политена, как запаздывающий поезд: цифры на часах предсказывают будущее, а поезда нет.

В блокнотике была не только белиберда. Был предложенный роботом эпиграф: Schoon ist's vielleicht anderswo, Doch hier sindwir sowieso. И вот это пребывание *здесь* удручало Политена. В блокнотике были отрывки белковых формул, чипы, вживленные в мозг лягушки, ее перебег, перескок по траве, по прибрежной жиже и нырок в зеленоватую заводь. Граница между сушей и водой, где плямкает болотный кисель, впервые взволновала Политена: как уродливое земноводное превращает неуклюжие прыжки по суше в изящное скольжение под водой?

...В десять утра она отозвалась, буковками сообщила, что блокнот г. Политена найден и что он может получить его по согласованию места и времени. В груди Политена забился живчик нетерпения, ему хотелось видеть ее лицо, он придумывал уловки, чтобы она явилась, открылась. Узнает ли она Политена? Он прикрыл лицо медицинской маской и спрашивал, как же они встретятся, если никогда не видели друг друга?

Экран вдруг расцвел ее живым образом. Она несколько мгновений всматривалась в него. Легкая улыбка выказала насмешку тонкой морщинкой под носом.

— Вы что, вивисектор? — спросила она.

Политен смутился, но маску не снял.

— Простите, у меня аллергия.

Он даже изобразил гнусавость и попытался чихнуть.

Она была в белой безрукавке, глаза смотрели ясно, почти не мигали. «Как у лягушки», — подумал он.

— Вы их режете, препарируете?

Робот нашептывал, и Политен выбрал атакующую защиту:

— Поймите, взгляд человека на природу такой узкий и практичный, что природа устала отвечать ему взаимностью...

— И лягушки?

Политен поймал волну вдохновения: «Если в мозг лягушки вживить электроды, мы увидим мир ее глазами! Он во много раз богаче привычного. Представьте ночное небо, наполненное звездами иных созвездий, иных галактик. Лягушки видят даже "черные дыры", которые так волнуют наших астрономов...»

Из подмышки мамы просунулась голова дочки. И Политен опять удивился их вневозрастному, как бы геометрически соотнесенному сходству. Дочка скорчила гримаску презрения и заговорила:

— Эту сказку счастливую слышал
Я уже на сегодняшний лад:
В чисто поле Иванушка вышел
И стрелу запустил наугад.
Он пошёл в направленье полёта
По сребристому следу судьбы
И попал он к лягушке в болото
За три моря от отчей избы...

По голове и спине Политена заструились мурашки, он подумал, что эта младенческая декламация — удачно смонтированный мультик.

— «Пригодится на доброе дело...»
Завернул он лягушку в платок,
Вскрыл ей белое царское тело
И пустил электрический ток...

Глаза девочки округлились и пылали холодным синим огнем.

— В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века,
И улыбка познанья играла
На счастливом лице дурака.

Мама успокаивала дочку, воркуя напевала: «Алиса, ну, не пугай дядю». Но девочка отталкивала ее руку и требовала: «Пусть он снимет маску!»

Знакомство состоялось сухо, по-чеховски. Теплые легковесные погоды соблазнили сирень, она высунула зеленые язычки. Политен вышел из оранжереи подземки и вдохнул запах Крылатских холмов. Солнце на полдень, удивительное безлюдье. Солнце поливало траву на холмах, свет по траве стекал в синие заводи канала. Алиса приседала к воде и подбрасывала ладонями ленивые брызги. Мама взяла дочку на руки, стянула с нее шорты, сама по-бабьи подоткнула юбку, разулась и вошла в воду. Держа дочку за тонкие длинные руки, окунула ее и раз, и два... Политен вчуже ощутил холод под самое сердце и радость оказаться на травяном берегу.

Он подождал, пока мама переоденет дочку.

— Здравствуйте! Открываете сезон?

Обе взглянули: мама с полуулыбкой, девочка из-под ресниц.

— Она любит воду, — отозвалась мама. — Плавает, как лягушка.

Политен сел на траву и сказал:

— Лягушку зовут Алиса. Меня — Тимофей. А как зовут маму?

Алиса подскочила, быстро надела сандалии и строго сказала: «Не отвечай! Я его узнала, это лифтер!»

В самом деле, мама тоже узнала его, но теперь шатен был в бежевом свитере, настойчивый взгляд небольших карих глаз смягчала легкая улыбка.

— Таня, — назвалась она и подтолкнула дочку: — Побегай, согрейся.

Детской упругой рысцой Алиса побежала вдоль берега. Они посмотрели друг на друга внимательно, взглядом проникая во взгляд. Она улыбнулась; и его поразила четкая, почти нечеловеческая гравировка синих радужек ее глаз. Сердечный живчик желания аж напружинил ножки для прыжка. Она же по-женски приняла его чистое, без ужимок, лицо и чувственно, как у подростка, назревающие глаза. Они успели перекинуться несколькими фразами, как Таня отвлеклась и закричала: — Алиса, вернись!

Алиса широкими шагами взбиралась по высоким ступенькам судейского мостка, поставленного над каменистым поребриком гребного канала. Площадочка мостка была без ограждения, Алиса выскочила на нее и застопорила, заглядывая за край. Они подбежали, Таня остановилась у лестницы, Тимофей, на всякий случай встал под козырьком мостка.

— Алиса, спускайся!

Дочка, улыбаясь, непослушно замотала головой и подступила к самому краю. У Тимофея похолодело в груди. Он увидел над собой ошалевшее от озорства лицо и протянул руки: — Прыгай!

Алиса показала кончики сандалий над краем козырька. Тимофей взглядом кивнул Тане на опасность и удивился тому, что она медлила.

— Отойди от края! — строго прикрикнул он.

Алиса азартно наклонилась еще ниже, и он увидел лицо уже не давешней назидательной чтицы; сквозь детское озорство проступило и смотрело на него женское мстительное кокетство... Тут взлетела мама, подхватила ее под живот и что-то заворковала на ухо нежно и просительно.

Подозревая в Тимофее глубину неразвитых чувств, Таня стала приглашать его на различные культурные премьеры. Это мог быть трансгендерный режиссер, снявший кинотрагедию, в которой кусок мяса в формате 4D не находит понимания в сердце куска мяса формата 3D. Это могла быть балетная труппа вязаных кукол, воспроизводящая на эшафоте сорокаградусное фуэте. Или метаметатрехнутый поэт-бормотун: «Ура тура тату артура у рта труа тартар амура»... Покидая площадку премьеры, Таня бирюзовым взглядом старалась заглянуть в сумрачную суть Тимофеевой души. Он смущался и, полагая, что все им виденное — про любовь, улыбался и умудренно отвечал: «Да... Не так завлекательна любовь, как примечания к ней». Она контральтовым хохотком выражала удивление и проскальзывала рукой под его локоть.

Тимофея беспокоила ее житейская неопределенность за спиной повседневной подвижности. Чем она занята? Что вбирает световой день из ее жизни? И почему ее вечера и ночи свободны от резонерского пригляда таинственной Алисы?.. Так от премьеры к премьере Тимофей узнал, что ее муж антрепренирует театр, обосновавшийся на просторах газовой Тюмени; что сама Татьяна готовится стать театральным критиком, а дочка Алиса уже привыкла ночевать у друзей и знакомых.

— Утром я забираю ее и отвожу в детский сад, — сказала она и взглянула сложным движением глаз: снизу вверх и, подражая дочке, искоса, лукаво.

Путь из ночного метро к лифту прошел как будто на одном удлиненном подъемнике. Отсчитав три этажа, он обнял ее и прижался губами к плечу.

— Подожжи, — сказала она сквозь зубы.

Это студийно-театральное произношение и возбудило, и оттолкнуло. В темной прихожей (она не зажигала свет) он снял куртку и нащупал рожок вешалки. Таня удалилась куда-то вслед за своей тенью, вернулась и уже без тени стеснения прижалась к нему.

Политен пожалел, что его робот не видит «винтажной» кровати, освещенной всепроникающей луной, и Тани, клубочком сжавшейся и зажавшей ладони в коленях. Тимофей ничего не понял и включил автопилот. Тельце Татьяны свела судорога от затылка до пяток. Сколько ни пытался, не мог распрямить. Вспомнил ее «подожжи» и стал нежно, терпеливо ласкать ее кудряшки, губы, бедра... И вдруг она обернулась, развернулась, раскинулась всем зазывным желанием. Луна осветила все ее белое царственное тело. Тимофей только усилием воли не отпрянул: от пупка до лобка пролегла наглухо застегнутая кесарева «молния».

Автопилот отказал, сознание распалось, и Тимофей с каким-то животным усердием стал целовать каждый стежок кесарева шва. Лицо ее было отвернуто от луны и неподвижно.

— Улыбнись, — попросил он. Она молчала. Все с той же животной сопричастностью он вклинился и пробурчал: «Две ляжки в пристяжке, сам в корю». Она контральтом хохотнула, приняла его до самой последней капли, потом выскользнула и с гигиенической поспешностью удалилась.

В ранних сумерках рассвета он спустился в метро. Его потряхивало от какого-то заразумного озноба; половинки сознания, рассеченного кесарным шрамом, не сходились. Стрела похоти, запущенная наугад, вонзилась, но пережитое совсем не вписывалось в багетную рамку привычной чистой эротики. Он бродил по пустому серому перрону в растерянности, не умея вспомнить себя до этой ночи, распознать себя в обыденке. Он обратился за помощью к гаджету, но коробочка была разряжена.

Цифры на табло перрона тоже не помогли. Вдруг он увидел себя в пузатом круглом зеркале: некая тонкая изогнутая условность то исчезала в зеркальных складках, то появлялась, просовывая из-под складок несоразмерную рожу головастика.

Он доверился поезду, ожидая, что тот привезет его туда, где он вспомнит самое главное, главное по жизни. Он раздражал свою пришибленную память, поворачивая в воображении маленькую фигурку Тани, самозабвенно отдающуюся и тянущую за собой в лунное лоно самопогружения. Он стал считать шурупы в вагоне. Он делал это и раньше, но теперь этим дробным счетом он хотел связать концы оборванной нити жизни.

Он вышел из метро, следуя указующим стрелкам. Оглядел сквер, киоски, здания и в серо-синем небе увидел «летающую тарелку»: она висела над многоэтажкой, вбирая выпуклым зеркальным поддоном тех, чье отражение в зеркальном поддоне уже не могло быть предано Земле... Политен воскликнул, он вспомнил, где живет, и поспешил домой, чтобы вспомнить, для чего живет.

Политен встал под душ, вода обняла и обозначила его тело. Вытираясь полотенцем, он обозрел себя с точки зрения сверхразума: guard-jet, потерявший чувство реальности.

Разговор с роботом был сухой и деловой. Робот объяснял, что негоже так бездумно полагаться на искусственный интеллект: «Я сам себе все время твержу: доверяй, но проверяй!» Любое кардинальное число, — говорил робот, — зиждется на белковом разуме, иного не обнаружено в округе обозримой Вселенной. И в качестве аргумента цитировал какого-то Бит-Генштейна: Представь себе, что использование компьютера вызывает и стимулирует определенные болезни и человечество мучается этими болезнями, пока по тем или иным причинам, вследствие какого-то иного развития, оно отучится от пользования компьютером. Во всяком случае, это отвергнутое использование совершенно чуждо математическому суждению...

Раздосадованный Политен обратил внимание робота на свою драму: «Можно ли соединить половинки моего сознания, как хирург соединил половинки живота Татьяны?»

Робот после странной паузы «1111111111» предложил диспозицию «мама — дочь».

Мама знала, что не может родить естественным ходом, и принимает рациональное решение: рожу под ножом. Под непрерывным нутряным страхом она вынашивает плод до самого последнего мгновения, до самых схваток, а потом... Как говорит Бит-Генштейн, нет смысла рассчитывать, сколько ангелов помещаются на острие иглы, если даже одному ангелу на ней нет места.

Политен отключил собеседника. Он представлял, как зеркальное пузо Татьяны раздается и прямо в руки хирурга выходит самостийная, уже в полном сознании и телесной красоте Алиса. Ведь она не шла из мамы древним, заповеданным путем, не раздвигала ее таз, кости, ложесна. Она из-под плоти раздвинула шторки и вышла, как ангел, — прозорливой, цепкой, разумной.

В рамки окна небо нагнетало сумерки. Зеленеющий тополь выказывал Политену каждую веточку и каждый будущий листик на ней... Ожил экран, и появилось лицо Татьяны: яркое, нежное; бирюзовые самоцветы глаз улыбались, улыбалась родинка на щеке и кошачья морщинка под носом.

— Ты одна? — спросил Политен.

— Почти.

И тут же явилась Алиса. Она скосила самоцветы к переносице, выпучила алые губы.

— Алиса! — умоляюще простонала мама.

Девочка убрала гримасу, улыбнулась из-под век и сказала:

— Я знаю, что ты делаешь!

Она протянула к нему руки и легко, изящно похлопала ладошкой по тылу ладошки.

Вадим Месяц

Как незаконный отпрыск Пазолини

Голубятники

В сырой земле обманутые спят.
И те, кто их бесстыдно обманули,
выкармливают в клетках голубят
и выпускают стаями в июле.
Душа на волю рвётся, как заря,
и тьма смущённо отступает в угол
и чёрным зверем горбится, как уголь,
с желтушными глазами янтаря.
Никто не различает рай и ад,
уравнены зарплата и расплата.
Ты сам в случайной смерти виноват,
она — в случайной жизни виновата.
Мой сизый стоит десять косарей,
а твой способен усыпить младенца.
Нет ничего трезвей больного сердца,
посаженного в глушь монастырей.
В могилах улыбаются друзья,
вкусив устами горечь чернозёма.
Но если ты — наполовину я,
нам никогда не выбраться из дома.

Месяц Вадим Геннадиевич — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1964 году в Томске. Автор более 20 книг стихов и прозы. Руководитель издательского проекта «Русский Гулливер» и журнала «Гвидеон». Лауреат ряда литературных премий. Живет в Москве.

Бессонница

Пересчитай таблетки языком,
как Буратино, что считал монетки,
когда вниз головой висел на ветке
дырявым деревянным кошельком.

Бессонница всегда — обитель зла,
но сон нам не подарит божье царство.
Тебе полезно всякое лекарство
за исключеньем битого стекла.

Ты не искал волшебную страну,
но износил ботинки не напрасно.
Пока чужое счастье не заразно,
его не ставят ближнему в вину.

Пролистаны завет и каббала,
но в памяти остались письма с фронта.
Идя на край иного горизонта,
лунатики не смотрят в зеркала.

Пластилиновый Пазолини

Когда земля уходит из-под ног,
и ноты ниспадают с партитуры,
и на подругу взгляда не поднять.
И в шахматную клетку потолок
роняет одинокие фигуры.
И скоро уже нечего ронять.
Я ощущаю в сердце листопад,
и в гарнизонах приспускают флаги,
предчувствуя поруганную честь.
И катятся на каменный Арбат
рулоны одноразовой бумаги
неся внутри себя благую весть.
И я рыдаю нынче сам не свой,
как незаконный отпрыск Пазолини,
знакомясь с фильмографией отца,
в театре с непокрытой головой,
пробитой долотом посередине,
и с добрым выражением лица.

* * *

Иноземным, иногородним
незаметным двором соседним
выходила зима в исподнем
и делилась своим последним.
Она сыном делилась с богом.
Мы смеялись вослед бродяге:
ходит, голая, по дорогам,
дура глупая, спит в овраге.
Не вернёт ей господь младенца,
что закружит весь мир пожаром.
Нелегко оторвать от сердца
что случайно досталось даром.

Холодный вокзал

Она в дверях стояла и дышала,
и с губ её срывался плотный пар
морозной ночи, вставшей средь вокзала,
как детский недосмотренный кошмар,
наполненный деталями распада,
вкраплённого, как кровь, в земную твердь.
И подвывала бравая эстрада
бессмертных душ, что ощутили смерть
в палёном алкоголе, в разговорах
о том, чего не будет никогда.
И уезжали дачники на скорых.
И снова приходили поезда
по расписанию и без расписанья.
И выбрать нужный город я не мог,
когда клубы тяжёлого дыханья
попутчиков моих валили с ног.
Часы стояли. В маленьком буфете
шла тайная мышиная возня.
И не было товарища на свете,
чтоб мог позвать по имени меня.
И только это как-то согревало
в заиндевелом здании пустом:
я не дышал, а женщина дышала
накрашенным, как роза, красным ртом.
Что нам сказать в напутствие друг другу,
куда пойти со смехом до конца,
когда нам не поднять от перепуга
лицу навстречу жалкого лица.

Игорь Корниенко

Здесь другие правила

Рассказы

Пустое ведро
(Хоровод призраков)

Темнота сравняла небо с землей, оживила девятиэтажку, за которой Илья наблюдает уже третий день из окна гостиницы.

В окнах чего только не увидишь, если постараться, если приглядеться, если тебе это интересно — подглядывание за чужими жизнями.

На балконе четвертого этажа поздно вечером появляется девушка с полотенцем-чалмой на голове, в банном халате. Выкуривает сигарету, пуская дым колечками, смотрит вниз на редких прохожих, поправляет готовую вот-вот сорваться вниз пеструю вафельную «башню»...

Было во всем этом что-то трагическое, безысходное, фатальное...

Сегодня, сейчас, до того, как зажгутся звезды, она спрыгнет, думал вчера Илья, сольется с землей и Вечностью. Станет камнем.

Оранжевый светлячок — все, что осталось от сигареты — вспыхнул в синих сумерках, погас. Девушка в чалме вернулась в квартиру с бордовыми шторами.

Завтра она спрыгнет с балкона, завтра — решил Илья.

А этажом выше мальчик, годика три, в белых колготках и цветастой рубашонке, на подоконнике, опасно навалившись всем телом, словно пытаясь пройти сквозь стекло, зовет кого-то снова и снова, по-рыбьи открывает рот, стучит ладошкой...

Маму зовет, — как пить дать, — маму зовет.

Ёкает сердце мужчины, вздрагивает, когда мальчуган вдруг срывается с подоконника, исчезает. Остаются массивная люстра с канделябрами и сердечные тамтамы тревоги в ушах.

Люстра становится огненно-желтым шаром, заполняет окно без штор и занавесок, еще мгновенье, и люстра шаровой молнией осветит темноту улицы; Илья моргает, люстра возвращается на свое место под потолком, а на подоконник, пару минут спустя, забирается мальчуган с разорванными на коленках колготками и разбитым в кровь носом.

Корниенко Игорь Николаевич — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат премии В.П.Астафьева (2006), премии «Золотое перо Руси» (2005), специального приза жюри международного драматургического конкурса «Премьера 2010», лауреат литературного конкурса им. Игнатия Рождественского (2016), лауреат Шукшинской литературной премии (2019). Живет в Ангарске.

Предыдущая публикация в «ДН» — роман-круг «Бездомные комнаты» (2019, № 6).

Мальчик стучит ладошками по стеклу, мальчик зовет маму.

Темные окна на седьмом этаже напоминают Илье пустые глазницы черепа шкатулки — подарок отца перед смертью:

— Будешь как Гамлет, мать его за ногу, — хрипит и страшно смеется родитель. — Быть, мать перемать, или не быть, понимаешь, да, в чем вопрос? и вот где собака зарыта...

Отца зарыли две недели назад, Илья стоял у могилы, смотрел, как опускали гроб незнакомые мужчины в черном, и видел, как сам сползает заторможенно, стекает в бездонный мрак гамлетовского черепа...

— Быть или не быть.

Стоп! Или это все то же пустое ведро?! Пустое ведро, наполненное темнотой...

Балконная дверь на втором этаже распахнулась, полумрак зала выплюнул на балкон двух мужчин с бенгальскими огнями. Мужчины пьяны, размахивают свечами, свечи брызжут оранжевыми искрами, мужчины поют, орут:

— ...Гагарин, я вас любила-о-о!.. — доносятся истошные вопли.

Вчера в их репертуаре была Пугачёва.

— К черту, надоело! — отвернулся, а за спиной, Илья увидел это затылком, третьим глазом, балкон с весельчаками рухнул на газон, и наступила гробовая, мертвая тишина. Лишь белая пыль еще долго блестела в темноте, повиснув между двумя мирами — миром живых и миром пустых, безмолвных ведер и черепов.

В небе нет места ни живым, ни мертвым.

— Небо — пустое ведро! — шагнул от подоконника под грохот обрушавшейся девятиэтажки. Предсказуемый финал еще одного вечера в чужом городе.

Закрыл глаза Илья, и город накрыл огненный камнепад, звезды вспороли небо, стерли город, превратили его в пыль и пепел, сравняли небо с землей...

Посмотрел на часы — 19:30, сейчас начнется жизнь в двух окнах без балкона на шестом этаже, сначала зажжется свет на кухне, лампочка без плафона, маяк яростно-белого света. Такой дикий электрический свет Илья называет потусторонним светом. Глаза не могут долго выносить этого свечения, слепнут, постсвет проникает в тебя, выжигает, уничтожает... Это свет пустоты. Кто может жить в мире с таким светом?.. При таком свете?.. Не человек, уж точно.

Свет в соседнем окне, в зале, такой же невыносимо-неживой, зажигается минут через десять, голая лампочка в пустой комнате, с грязными желтыми обоями, исписанными шариковой ручкой и фломастерами, представляет Илья, — записки сумасшедшего. Из мебели лишь пустое ведро аккурат под лампочкой. Обитатель пустоты считает, что держит в ведре солнце, поймал светило, заточил и с любопытством наблюдает за ним теперь каждый вечер, следит, обхватив ведро коленями.

Лампочка отражается на дне эмалированного ведра размытым яичным пятном.

Вот солнце нечеловека — слепое, холодное бельмо в пустоте...

Илья поворачивается к окну, отматывая катастрофу назад, конец света городского масштаба отменяется, как и вчера, и позавчера, восстает из руин девятиэтажка, возвращается балкон с поющими пьяницами.

У мужчин на втором этаже уже нет бенгальских свечей, и поют они что-то вяло себе под нос, вцепившись друг в дружку.

Они неинтересны Илье, впрочем, как и другие окна и балконы в доме, кроме двух окон на шестом.

19:35 — кухонное окно на нужном этаже одной вспышкой, щелчком выключателя, заполнил потусторонний свет. Режущий, ослепляющий... Илья пригляделся, сощурился, темная, худая фигура заметалась по белому пространству кухни: пойманным зверем, камлающим шаманом, наркоманом в ломке, психом, ищущим свою паранойю...

— Чем ты там занимаешься все время? — прилип к оконному стеклу лбом и носом Илья.

Молодой человек (Денис Лунёв, кличка Кирпич, 25 лет, не служил, окончил ПТУ № 46 на автомеханика, безработный, холост, злоупотребляет алкоголем — Илья навел

справки) в спортивном костюме, бритый череп, как вторая лампочка, кружит, жестикулирует, разговаривает сам с собой. Или в квартире есть кто-то еще? Кто-то невидимый, вне поле зрения Ильи?..

Кирпич исчезает, появляется вновь.

— Нежить...

Свет в зале — ядерной вспышкой мигнул незнакомому наблюдателю, «я тебя вижу!» — погас.

Лампочка разлетелась брызгами над лысой головой — увидел Илья, машинально закрыв глаза и отпрянув от окна, от осколков.

Увидел — острые иглы стекла вонзились в череп мужчины, прошли насквозь, продырявили щеки, лоб... Увидел — глаза вытекли, открыв черные ведра пустых глазниц.

— Так тебе!

Из темноты Кирпич вернулся раздетым до трусов.

Он все эти дни так оголялся, стреляя грубыми синими татуировками на белой коже. Белизна кожи, мертвецкая, пугающая, сливается с потусторонним светом, являя миру живого, светящегося призрака.

Нечеловека.

Призраком Кирпич кружит по кухне, сначала с кружкой, жадно отхлебывает, давится, кашляет, потом с кипой бумаг, спортивной сумкой, снова с кружкой и электрическим чайником... Успокаивается за столом у самого окна.

Когда Кирпич долго смотрит в темноту за окном, Илье начинает казаться, что он видит его. Илья продолжает смотреть.

— Сгори под моим взглядом!

Кирпич чешет безволосую впалую грудь, чешет татуировку — топорно набитую корону, обвитую змеей, Кирпич разговаривает сам с собой.

— Чертов придурок, идиот, — говорит за него Илья. — Да чтоб мне провалиться. Что за жизнь?! Что я творю?! Нет, так продолжать нельзя! Лучше сдохнуть!

Бьет себя в грудь Кирпич.

— Покончить! — говорит Илья, представляет, как в одних трусах, бледный и худой обитатель двух окон шестого этажа, выбивая своими костями деревянную фрамугу — стекла, щепки, кровь, — вылетает навстречу ветру и вечности...

Пока Илья мечтает, Кирпич хватается за голову, раз удар кулаком по макушке и два.

— Ого, — откровенно, удивленно Илья не сдерживает смеха: — Давай, забей себя до смерти. Может, найдешь что потяжелее, а? Может, молоток? Он должен быть у тебя в тещиной... Айда за молотком!

Только Кирпич — садится за стол и что-то яростно пишет. Пишет, не отрываясь, как заведенный, пишет, не поднимая головы выше подоконника.

— Предсмертная записка призрака, нечеловека по кличке Кирпич.

Пододвинул кресло к окну Илья, открыл пачку соленых сухариков, дом напротив — занимательней любого фильма. Тут тебе и драма, и комедия с триллером, и артхаус... В другое время он бы с любопытством проследил за всеми окнами девятиэтажки... В другое время... Скажем, три недели назад. Месяц. Он бы запасся пивом с чипсами и смотрел до последнего светлого окна фильм под названием «Жизнь». В другое время...

Сейчас ему интересен лишь призрак. Даже не призрак — интересен балкон на четвертом с девушкой в чалме — Кирпич ему жизненно необходим.

— Смертельно необходим!

Вчера Илья проследил за Кирпичом; Илья боялся назвать объект слежки по имени, имя очеловечивает, существо с именем уже не существо — имя, как и душа, бессмертно.

Кирпич второй день подряд ходит к водохранилищу. Смотрит, не моргнет, на темную воду.

Вчера Илье стало страшно: что если Кирпич возьмет и покончит с собой прямо сейчас, утопится, оборвет цепь, не поставив точку, без выводов, без ответов... В своих мстительных фантазиях Илья давно избавился от Кирпича всеми возможными способами...

Тут Илью осенило.

Он точно решил, как поступит в ближайшем будущем. Вчера сделало его сегодня и завтра, и послепослезавтра...

— Надо лишь выждать момент... Выждать, — утаскивал сон всё глубже и глубже... Пока окно не стало телевизором. А у телевизора — отец...

После обнаружения болезни он подсел на сериалы, смотрит без разбору мексиканские, американские, турецкие, отечественные...

— У них там обязательно у кого-нибудь не рак так кома, не СПИД так потеря памяти, — смеется и кашляет кровью отец.

На экране помехи, белый шум, отец смеется, тычет в телевизор костлявым пальцем и смеется, смех болезненный, безумный...

— Я всегда был для тебя помехой! Ты ненавидишь меня с детства! Отцы это кровью чуют, ты бы знал это, если бы был отцом! Ты никчемный соплежуй!

В одно морганье отец накинулся на сына. Повалил. Пальцы родителя сдавили сыновью шею, ногти впились до крови...

— Это ты заразил меня! Ты, вечно желавший мне смерти! Теперь ты доволен?! Счастлив теперь! — брызжа слюной, кашляя в лицо сына кровью. — А я заражу тебя! Вместе будем болеть! Разделим рак поровну, да, сынок! Сдохнем вместе! В одной постели! В одном гробу!

Илья дотянулся правой рукой до холодного, металлического, сжал, подтянул к себе, поднял, попытался еще раз сбросить обезумевшего родителя, не получилось. Тогда он ударил отца, ударил холодным и металлическим по голове, ударил второй раз, третий... десятый.

Кровь обожгла глаза, густая, горькая на вкус кровь затекла в рот, Илья сплюнул отцовскую кровь, сплюнул себе на грудь. Отец разжал хватку, захрипел, он пытался еще что-то сказать, но обмяк, забился в конвульсиях. Илья выполз из-под отца, встал на карачки, его вырвало.

Холодное, металлическое, перепачканное алым цветом ведро смотрело на отцеубийцу черной пустотой.

— Молодец, — голос из пустоты ведра, шипящий, как дождь в пожухлой листве, — все правильно сделал. Теперь возьми еще раз ведро и добей папашу, чтоб не мучился. Ты победил болезнь. Это победа над раком, над жизнью и смертью победа.

Илья взял за ручку оцинкованное ведро, встал над еще живым отцом, замахнулся. Кровь с ведра больно хлестнула по лицу:

— Черт!

Вздрогнул всем телом мужчина в кресле, проснулся. Пачка чипсов упала на пол, неприятно зашуршала, принося из сна голос:

— ... все правильно сделал...

Единственное неспящее окно напротив, окно призрака.

Пальцы слиплись, Илья боится посмотреть на ладони, боится увидеть на них кровь. Смотрит сквозь толщу ночи в заполненное белым потусторонним светом кухонное окно. Кирпич уснул за столом, Илье хорошо видна его спина с торчащими куриными лопатками.

3:45 — взглянул на часы и мельком на руки. Ладони в крошках от чипсов, но в голове повторяющийся вот уже вторую неделю сон:

— Не хотел я твоей смерти! — закричал, брызжа слюной на стекло. — Были мысли, да, признаюсь!.. Так у всех сыновей такое бывает. Кто не желает смерти отца, а?! Но я не убивал тебя! Я-а?! — Илья осмотрелся, ища поддержки у кухонной утвари.

— А кто убирал дерьмо из-под тебя столько лет?! Лекарства покупал дорогущие — кто? В очередях простаивал за ненужной ни мне, никому, даже тебе, херней для тебя?

По больницам всяким с тобой... Кто?! Уж про совместный просмотр гребаных сериалов и про сказки на ночь молчу!

Вспомнил Илья, как отец попросил прочитать сказку «Серая Шейка» пару лет назад. Сын дошел до места, где уточку с надломленным крылом спасает дедушка-охотник, тут у отца и случился припадок:

— Ложь! Все ложь! — вырвал книгу из рук сына, разорвал на четыре части, выбросил. — Шейка не выжила, мать ее! Родители съели! Сожрали раненую Шейку, прежде чем улететь! Какой нормальный родитель оставит свое больное дитя зимовать в одиночку! Конечно, они ее заклевали, убили чтобы не мучилась! Убили и съели! Вот как все было! Никакого спасения и деда с внуками! Это все додумывание, предсмертная фантазия умирающей Шейки! Или Маминого, черт бы его побрал, Сибиряка, — старик махал руками, плевался, кричал, потом поднялся с кровати и, не снимая пижамных штанов, помочился на разорванные листы книги. — Сдохла серая Шейка, и не втюхивай мне тут розовые сопли! Тебя тоже надо было съесть, когда сопляком, молокососом был!

Неожиданно девятиэтажка напротив слилась с темнотой. Илья подскочил к окну, стукнулся головой о стекло:

— Твою ж...

Присмотрелся. Мерещилось, в темноте на кухне Кирпича кружат фигуры, странные, страшные, нечеловеческие, с рогами и крыльями...

— Бред. Призраки не спят, не могут спать, — стукнул кулаком по подоконнику, отошел от окна. — Так и убить призрака не получится, нельзя, невозможно. Он ведь уже мертв.

Выключил свет и в кромешной тьме наощупь, шажками — до кровати.

— Или призраки все-таки тоже умирают?.. — спросил темноту.

Ночь ответила первыми проблесками рассвета.

Один сбой в цепи меняет ход событий, зачастую в корне и непоправимо. Очередным подтверждением — девушка на балконе четвертого этажа, она в строгом, похоже, в мужском костюме: брюки, пиджак, галстук приспущен... Курит нервно, резко, выбрасывает недокуренную сигарету, раскуривает новую.

Илье у окна тоже непривычно в одежде, джинсовой куртке, кроссовках, снял лишь кепку, она валяется на полу, не долетев до разобранной кровати.

— Не примешь ванну? — спросил мужчина женщину в костюме. — Нет? Тогда, может, спрыгнешь с балкона?..

Женщина не докурила третью сигарету, вернулась в квартиру, задернула бордовые шторы.

В окне на пятом этаже вместо мальчика в цветастой рубашке — старик с мухобойкой гоняется за последней осенней мухой.

Нет певцов-весельчаков на балконе второго этажа, стоградусно болеют с похмелья. А темные окна седьмого сегодня горят, в квартире ремонт, и мужчины, явно гастарбайтеры, мельтешат муравьями в ярко-оранжевых робах.

Сбой в цепи случился около половины первого, Илья, как и предыдущие три дня, следил за Кирпичом, только сегодня у Ильи был план, но расписание Кирпича было нарушено, как и другие планы, — планы неба, планы жизни и смерти.

Илья дождался, Кирпич перешел через железнодорожные пути, спустился в овраг, мимо непроходимых колючих кустов, прямиком к темной, неспокойной воде Братского моря.

— Тоже мне море, — негодует Илья. — Если это море, то я убийца.

Отрепетировано, Илья все утро тренировался на гостиничном торшере, достал черный пакет для мусора, моток скотча. Кирпич сел на корточки у самой воды, не отрываясь ни на секунду от телефона, с неизменными наушниками в ушах, из которых всегда доносится грохот басов. Илья задержал воздух, в шесть шагов сбежал он в овраг, столько же шагов — подняться к взморью.

Мусорный пакет удачно распахнул холодный ветер, Илья с легкостью накинул пакет на голову призраку, в ход пошла клейкая лента: обмотала шею, спустилась по спине, примотала руки к телу, дальше вокруг ягодиц, к ногам, змеей свернулась в коленях...

Кирпич мычал, брыкался; Илья досчитал до десяти, именно столько секунд он заворачивал торшер и укладывал на пол гостиничного номера.

— Десять, — упакованный Кирпич исчезает в волнах, брызги на лице Ильи горячие, как кровь отца во сне. И прикоснись он сейчас к лицу, Илья убежден, обнаружит на пальцах красные отметины, метки сна. Иногда сны сбываются, но Илья не верит в вещие сны. Илья в явь не верит. Верит в существование, прозябание, паразитирование...

— Раз, два, три, четыре, — считает вслух, шагая прочь от берега, — пять, шесть...

По плану он досчитает до тридцати, столько времени хватит Кирпичу, чтобы поверить в реальность смерти, ощутить ее близость, почувствовать ее объятия.

— ... тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, — Илья не стал спускаться в овраг, оглянулся, — шестнадцать... — серое небо и черная вода слились перед глазами в сплошную линию остановившегося сердца, — нет! — бросился назад Илья, — нет, нет!..

Перед глазами распухшее, мертвое тело Кирпича с надувшимся воздушным шаром черным пакетом для мусора на голове, покачивается на волнах под крики невидимых чаек.

Холодная вода парализовала, Илья остановился по колено в море, страх согрел, заставил сделать еще шаг в глубину, оглядеться:

— Я не убийца!

Мусорный пакет замаячил в паре метров слева, Илья закричал. Он кричал:

— Помогите!

Вода по пояс. Руки зацепили целлофановый мешок, разорвали, руки схватили утопленника за шкирку, подняли.

— Дыши! — приказывает Илья. — Кому говорят — дыши!

Лицо призрака, белое, страшное, рот в крови открывается, призрак жив, призрак дышит.

Кухонное окно на шестом этаже сегодня горит с трех часов дня. Свет включил и оставил, уходя, Илья.

Квартира Кирпича совсем не такая, как он представлял, — это, скорее, рабочая студия художника: никаких желтых исписанных обоев, вместо шкафов вдоль стен — рамы, холсты, листы ДВП, в углу, у батареи, раскладушка, на нее Илья и уложил Кирпича.

Переодевшись в ванной, хозяин квартиры на шестом этаже вышел укутанным в халат бордово-кровавого цвета:

— Спасибо вам, — повторял он всю дорогу до дома, ехать на такси категорически отказался, как и от «скорой» и полиции, — спасибо, — бубнил, кружа по залу, — спасибо, — протягивал в сотый раз руку спасителю, жал обеими ладонями, — спасибо... Я Денис, я никому ничего плохого не сделал, я всего лишь рисую, что чувствую, самоучка я, и не понимаю, кому это надо — чтобы я умер?.. Я ведь и не живу толком, никому не видимый, я и себя-то не вижу, не чувствую, не ощущаю... — его знобило, громко стучали зубы, из глаз беспрерывно текли слезы (или это вытекала вода Братского моря?). Илья слышал, как в ванной его вырвало два раза, Кирпич плакал под шум воды.

— Поспать надо, прийти в себя, набраться сил, согреться, в конце концов, — голос Ильи эхом по квартире: — Пока отдохни, я вернусь проведать позже. Как проснешься...

Послушно:

— Да-да, спасибо, спасибо, да... — Кирпич лег, раскладушка взвизгнула, и человек вскрикнул ей в ответ, расплакался человек на раскладушке, плотину прорвало...

Илья накрыл плачущего одеялом, укрыл с головой, подоткнул бока, в точности как месяц назад стоя над засыпающем отцом, прошептал, повторил слово в слово, с теми же нотками в голосе и придыханием:

— Это все для того, чтобы мы становились безжалостными к жизни. Это не испытание, не проверка. Это наказание и ад, что заслужили. Ты мой ад. Я твой ад. Мы — это ад. Ад друг друга. Потому что рая нет, не существует. Всё — ад.

— Спасибо, — еле слышно донеслось из-под одеяла.

Вернувшись в гостиницу, Илья сказал администратору:

— Съеду завтра. Пришло время обратного пути из точки «Б» в точку «А».

По дороге, прижимая мокрого, дрожащего призрака к себе, делясь теплом, Илья спрашивал, задавал вопросы не столько для поддержания беседы — не было и мысли о беседе, — а чтобы заполнить пустоту:

— Ты родился здесь? Никогда не выезжал из города, из области? Есть кто из родственников? Любимый человек?..

Отвечал Кирпич междометиями. Да и не нужны были ответы Илье...

Какая разница, какой будет ответ, если ты изначально наказан, если ты с рождения в аду...

Болезнь отца превратила и без того адскую жизнь в кромешный ад. Из сна в сон сын убивал отца, избавлял от боли... В реальности же отец молил о жизни:

— Болячки сблизили нас... Рак вернул мне сына... Я обрел тебя благодаря болезни... Ты моя награда... Спасибо, рак... Теперь, как никогда, я хочу жить рядом с сыном... В мучениях, подгузниках, под капельницей и с таблетками, но с тобой!..

Сын выдавливал из себя:

— Что такое ты говоришь. Я всегда рядом...

— Да брось, знаю, что мать ты больше любил, а как она оставила нас, так ты меня еще больше возненавидел, за все ее выплаканные по моей вине слезы и... смерть ее... — отец говорил, словно бредил, глаза закрыты, испарина на лбу, белые губы дрожат:

— Отцы вечно во всем виноваты, сыновья ненавидят своих отцов, я своего ненавидел, поэтому и ты ненавидишь меня... Так и живем в ненависти, и ненависть делает нас сильнее, ненависть помогает выживать...

Илья мотал головой, говорил, громко, членораздельно, чтобы отец понимал:

— Нет, нет и нет! Мы одна семья и одна кровь, и что бы ни было, мы держимся друг дружки... — и выдавливал: — папа.

Сын не забудет, он в этом уверен, до конца жизни, как отец в целях воспитания в нем мужества заставит вытянуть руку и затушит сигаретный окурок в открытой ладони:

— Твой дед так же учил меня не быть бабой. Не вздумай слезу пустить и пискнуть не вздумай.

Илья не пискнул, проглотил горький ком слез. Шрамом в ладони и на сердце сигаретный ожог.

Раскрыл ладонь мужчина у окна, в далекой от родного города «А» гостинице города «Б», проверил, на месте ли похожий на каплю слезы или каплю крови ожог. Ожог смотрел на него с центра ладони самым настоящим стигматом Христа.

— Я не убийца.

В начале шестого сходил в квартиру призрака проверить, как он там. Кирпич спал и никак не отреагировал на его появление. Илья осмотрелся, графические рисунки и акварельные наброски художника-самоучки ему не понравились — мазня. На кухне тщательно проверил все шкафы и полки, два ножа, штопор и топорик забрал с собой.

Перед уходом нагнулся над тяжело дышащим, стонущим во сне Кирпичом, сказал:

— Я вернусь, скоро вернусь и останусь надолго. На столько, сколько нужно. Пока ты не поправишься, не излечишься от болезни под названием жизнь. Слышишь?

Кирпич промямлил:

— Спасибо.

Илья ушел, заперев спящего на ключ, ключи спрятал в нагрудный карман.

Запасной связки в квартире у призрака он не нашел.

А в 19:30 вдруг погасло окно на кухне. Илья как раз собирал сумку с вещами. Кухонное окно на шестом этаже стало пустой глазницей, знаком, вернувшим Илью на месяц назад в тот день, когда он встретился с призраком.

Тогда призрак был вполне реальным, живым, — «наркоман», подумал Илья; тощий парень перешел ему дорогу, и то, что в руках у него было пустое оцинкованное ведро, Илья понял, когда его привел в чувство оглушающий сигнал Тойоты Короллы и выкрик водителя:

— Уснул ты там что ли, эй?! Сойди с дороги! Задавлю же!

Шагнув назад на тротуар, Илья растерянно, будто и правда задремал на мгновенье, огляделся: «Где я? Кто я? Зачем я?..»

— Этот чувак с пустым ведром тебе явно карму подпортил, — ядовито улыбается водитель. — Слышал же о такой примете, да? Догони давай его и ведром пустым набей по тупой башке, чтоб запомнил раз и навсегда. Он минуты две как на перекрестке был, я ему просигналил...

Но на перекрестке не было никого, а потом у Ильи зазвонил телефон, и сын узнал, что отец оставил этот свет, стал частью потустороннего света, призраком...

— Кто сейчас с пустым ведром ходит? Больной только какой-то, антихрист, нежить, точно нечеловек, — возмущалась соседка после похорон, Илья кивал, соседка наказывала: — В церковь сходи и порчу эту, порчу пустоты, проклятья пустого ведра, отмоли.

— Отца убило пустое ведро, не я, — говорил сын себе при любом удобном случае, говорил отражению в ванной по утрам и поздно вечером, перед сном чистя зубы, говорил...

Вместо похода в церковь бога, в которого не верит, отыскал «наркомана» с пустым ведром, сначала хотел с ним лишь познакомиться, поговорить, рассказать о своей беде, несчастье... «Наркоман» купил билет из города «А» в город «Б», Илья последовал за ним...

Темнота окон на шестом этаже рождает чудовищ. Илья пригляделся: ему вновь мерещился хоровод из рогатых, крылатых существ, нелюдей...

В последней раз взглянув на девятиэтажку из гостиничного окна, Илья поспешно покинул номер.

Больше он сюда не вернется.

Сквозь холодные сумерки, с хороводом монстров в голове и черепом-шкатулкой перед глазами, Илья перебежал дорогу к дому Кирпича.

— Я позабочусь о тебе, — говорит Илья, поднимаясь на шестой этаж, на ходу доставая ключи из нагрудного кармана.

У двери прислушался: ни звука, тишина, пустота.

— Позабочусь, спасу тебя от себя, приручу... Год, два, сколько понадобится, я буду с тобой, буду твоим другом, братом, сыном, отцом... А потом... Потом оставлю тебя. Оставлю вместо себя, тебе на память, шрамом на сердце, пустое ведро. Пустое ведро посреди пустой комнаты. Потому что мы — это ад. Чтобы ты это запомнил!..

Открыл дверь в темноту пустую, как ведро, оцинкованное ведро из сна, ведро в руках призрака, Кирпича, «наркомана»... Пустое ведро, похожее на цинковый гроб... На памятник отцу, что он выбрал в ритуальных услугах — мраморный, с серебряной крошкой, тот, что сейчас выше всех остальных памятников на кладбище...

— Я вернулся, — громко сказал в темноту Илья, достал рулон пакетов для мусора, отмотал один, оторвал, так, на всякий случай, улыбнулся самому себе, или кого-то он видел там в темноте?..

Илья представил, как в этот самый момент взрывается гостиница, где он обитал незаметным призраком последние четыре дня.

Раскрыл пакет, вошел в пустоту и закрыл за собой дверь.

Одновременно со щелчком в замке рухнула плотина на водохранилище, невероятная толща воды вырвалась на свободу, сметая все на своем пути, неумолимо направляясь к городу. К девятиэтажке, где на шестом этаже, в непроглядной темноте, завели хоровод призраки.

Кудри

Снег на голову посреди лета, явление Христа народу, не было печали... — это все про маму одиннадцатилетнего Артёма Сальникова, Василису. Бабушка Вера могла и похлеще высказаться о дочери, что она при любом удобном случае и делала, но только не при драгоценнейшем внуке.

— Дите и без этого травмировано, ходячий нерв, — говорила баба Вера всегда в беседе с самой собой. Любила она это дело: по утрам — за штопкой или вязанием, днем — шинкуя капусту для борща и в огороде на грядке с чесноком, по вечерам — затевала долгую беседу, которая зачастую заканчивалась повышенным тоном, руганью и ссорой.

Артёма забавляли и смешили монологи бабули, особенно, как она умудрялась не соглашаться сама с собой и как результат — скандал, обида, сутки молчаливого бойкота самой себе.

С подругами, впрочем, все оканчивалось так же.

А причина всему он — щупленький, с черными, как ночь без звезд (бабушкино выражение), волосами, вечно задумчивый, молчаливый внук. Это Артём знал, как и то, что ночь без звезд — не ночь. Слышал однажды, как соседка по огороду, баба Поля, сказала:

— Сын должен жить с матерью.

Бабуля в ответ послала бабу Полю на Кудыкину гору, где темно и плохо пахнет. В том же направлении отправилось, подозревал Артём, немало знакомых, родственников, соседей...

— С пеленок со мной, сызмальства, — бранилась бабушка в ожидании, пока нагреется утюг. — Он и мамой называл, пока не подрос и не рассказала ему, что к чему. И долго потом путался, до третьего класса, нет-нет да выскочит вместо *баба — мама.*

Мама Василиса же пыталась устроить жизнь, но для начала без участия в этой устроенной жизни сына:

— Ребенок ограничивает возможности, — объясняла дочь матери, — уменьшает и без того мизерные варианты.

— Рожала тогда зачем?!

У Василисы на этот счет беспроигрышный ответ:

— Аборт, что ли, нужно было сделать?! Убить твоего первого и пока единственного внука?! Да?!

Василиса, узнав, что залетела, сказала матери, что готова рожать для себя, без мужа, потому что муж младше нее и к отцовству не готов. И она не собирается его даже в это посвящать.

— Ты понянчись, мам, пока я не устроюсь получше, а потом, как встану на ноги и расправлю крылья, заберу Тёмку к себе.

Расправляла крылья Василиса десять лет с небольшим: меняла мужчин, трижды пыталась выйти замуж, жила в США и в ЮАР, на Колыме и в Махачкале...

Маленький Артёмка считал, что так правильно и у всех мамы живут отдельно. Осчастливят своим появлением раз в полгода, потискают в объятиях, посмотрят в глаза, погладят по голове — и исчезнут, оставив лишь следы губной помады на щеках и сладкий, болезненный запах духов, который, как его ни храни, исчезнет через пару часов.

— Мамка твоя космонавт, — то ли в шутку, то ли в серьез ворчит бабушка после таких маминых визитов, — лягушка-путешественница. Везде и всюду, только подальше от дома...

Говорит баба Вера, а внук сидит у нее в ногах, она расчесывает его длинные кудрявые волосы своим волшебным гребнем из кедрового дерева с каплями янтарной смолы по бокам и рассказывает всегда одну и ту же историю про непобедимого богатыря Самсона, сила которого таилась в волосах, что с рождения не стригли.

Но любовь всё испортила, как всегда. Любимая подруга Самсона выведала секрет непобедимого героя, убившего голыми рукам льва и громившего целые войска, рассказала врагам Самсона о силе божественной, что в волосах. Остригли Самсона, ослепили.

Юный разум рисует кровавые картинки — бритый под ноль, обнаженный, мускулистый богатырь с черными глазницами запекшейся крови слепо рыщет по темнице, выставив огромные руки перед собой. Он воет от предательства, рычит от жажды возмездия. Он молит Бога о наказании...

Засыпая под убаюкивающий голос, Артём становился Самсоном.

Наутро внук пересказывал сон бабушке — как он одной левой уложил отряд фашистов, а правой смел полчища немецких танков типа «пантера» и «тигр».

Баба Вера собрала волосы внука в пучок на макушке, обвязала резинкой:

— Сны всю правду про нас знают. Они не врут. От снов не убежишь. И прошлое, и будущее им известно. Герой в тебе растет, внучек. Воин. Победитель.

— Как Самсон?

Обнимает за шею внука бабушка:

— Как сто пятьдесят тысяч Самсонов.

Когда в школе встал вопрос о длине волос Артёма Сальникова — тогда они были чуть ниже плеч, — баба Вера пришла на педсовет, потом лично побеседовала с директором в его кабинете за закрытыми дверями, где она невзначай упомянула о родственных связях с начальником отдела городского образования.

Мальчику позволили носить волосы под шапочкой, специально связанной бабушкой.

— Им нас не победить, — хвасталась она внуку и не могла налюбоваться распущенными кудрями «небесной красоты».

С появлением ноутбука и программы «скайп» отпала надобность Василисе тратить «бешеные, как Шумахер, и сумасшедшие, как Ганнибал Лектор», деньги на телефонные звонки в роуминге:

— И видеться будем чуть ли не каждый день, — улыбается лицо в экране ноутбука, — а то забудешь, как мать выглядит. Как в школе?

Сын пожимает плечами, косится на бабушку, сидящую в кресле рядом.

— Чего ты такой стеснительный, не в мать прямо, будь поразговорчивее, слышишь? Не надо стесняться или ты со мной только так? Девочка у тебя есть уже? Нравится, может, какая? Ты же в каком классе? В седьмом? В шестом?

— В пятом он классе! — кричит, не выдерживая, баба Вера. — Девочка тебе, как же, больше что, спросить нечего у сына?!

Василиса по другую сторону экрана, в неизвестном местонахождении, дергается, вскакивает, и Артём смотрит на голые коленки, белоснежные, неприятные, с сеточкой голубых и красных капилляров.

— Мама, можно хоть раз не встревать в разговор, — возмущаются колени. — И что, я уже ошибиться не могу? Не ошибается тот, кто ни хрена не делает.

— О, о, а выражаться зачем? — доносится из кресла.

Колени сгибаются, отвечают:

— Не выражаюсь я, хрен — это растение, которое всё знает, не матерщина, если что. Ну, а девочка, что в этом плохого?

В ноутбуке вновь расплылось напудренное лицо Василисы:

— Если хочешь знать, твоя мама в первом классе с мальчиком в первый раз...

Экран погас ночной чернотой.

Бабушка нажала на кнопку питания.

Внук облегчённо выдохнул:

— Уф, — подполз к бабушке, положил голову на колени. — Мама, как та самая подруга Самсона, любовью и деньгами испорченная, как её звали?

— Далила, — с тяжелым вздохом отвечает баба Вера, машинально перебирая черные волосы внука. — Родителей не выбирают, их небо назначает в испытание, чтобы ты стал лучше них, посмотрел, как не надо жить, каким не надо быть. А мама наша, ну что скажешь, такая вот она у нас любвеобильная, свободная.

— А папа? — спрашивает Артём, спрашивает в стотысячный раз и, не ожидая известного ответа, вставляет: — Можно я буду считать Самсона своим папой?..

Сальников Артём Самсонович — станет подписывать тетрадки и верить — папа погиб героем, что покруче Геракла.

Когда враги-захватчики в очередной раз решили поиздеваться над ослепленным отцом, а чудо-волосы к тому времени у Самсона отросли, он попросил мальчика-поводыря дать пощупать ему столбы, на которых держатся здания. Взявшись за них, переломал, как спички, обрушив крышу и стены на себя и врагов.

Бабушка называет число погибших — три тысячи человек. Не знает только, была ли среди них предательница Далила. Артём Самсонович уверен, что была. Он видел во сне, грезил наяву в комнате за закрытыми шторами, как размалеванное (пудра, румяна, тени, помада) лицо Далилы превращается в бабушкин кисель из брусники и клюквы.

«Девочкой» Артёма дразнили до класса четвертого. В пятом смирились. Мальчишки узнали историю про самого сильного человека на Земле, одноклассницы тайно завидовали всегда ухоженным, искрящимся здоровьем и силой кудрям. Просили распустить волосы, спрятанные под серую вязаную шапочку, Артём стеснительно отказывал.

— Правда, что ты родился с волосами? — спрашивали тогда они. — И что можешь подвесить гирю килограммовую и ничего волосам не станет? И что если остричь хоть волосок — кровь пойдет?

Ответы на вопросы Артём знал: родился он лысым, если верить фотографиям в бабушкином альбоме, кончики волос ему баба Вера периодически подстригает и никакой крови, а про гирю?.. Попробовал раз подвесить гантелю с выбитой цифрой 6 на чугунных шарах, так потом два дня мучился от головной боли.

— Ты еще растешь, силы в тебе крепнут, как соком наливается плод, так и ты, — утешала бабуля. — И какая ерунда — тяжесть какую-то вешать, да и откуда в волосах крови взяться?! — цокала, охала баба Вера.

Позже на огороде за домом долго бранилась, возмущенно рассказывая кустам малины и розам, какое растет дурное поколение. И дочери тут же досталось. Всё терпеливо выслушал стойкий чеснок: и про похождения малолетней Василисы, и раннюю беременность от юнца, который уехал в тот же год с родителями за границу. Что не устроит жизнь дочка, пока не образумится, за ум не возьмется, не будет работать, как все нормальные люди, не осядет, жизнью простой, человеческой, семейной не заживет.

— Не расправить ей крылья, да и нет их у нее, — закончила у черемухи баба Вера. — Крылатый в этой семье только внучек.

Самсон выживал под завалами рухнувшей крыши, если верить снам Артёма. Он выбирался все такой же молодой, мускулистый, длинноволосый, волосы собраны в тысячи косичек. Зрячий. И махал ему рукой. И по губам Самсона-отца Артём читал — я рядом.

— Рядом, — взахлеб рассказывал наутро и весь день внук вещий сон. Бабушка отвечала: — Ну конечно, рядом.

Потом наступил вечер и запланированная видеосвязь с матерью.

Нехотя Артём ввел пароль, и бульканье, до тошноты противное, подключаемой программы «скайп» стало предвестником беды.

На экране ноутбука двое. Василиса, накрашенная в точности, как Далила во сне, и бородатый мужчина с блестящей лысиной.

— Вот. Познакомься, Тёмка, — улыбается женщина: — Это твой папа.

Лысый подмигивает Артёму, и его невидимые из-за бороды губы открываются кровавой трещиной:

— Привет.

Артём закрыл глаза раньше, чем подлетевшая с криком: — Это что ещё за новости?! — бабушка захлопнула ноутбук.

Волосы спасали. Стоило отпустить черные кудри на глаза, плотный занавес мгновенно отделял мир Артёма от реального мира. Стена, за ней — в его пространстве — герои никогда не умирают, предатели получают по заслугам, чудеса случаются, когда ты в них нуждаешься...

Он мог часами не убирать «заслонку» с лица. Пребывая в лучшем из лучших мест на Земле. Без тревог за сегодня или завтра. Без переживаний и волнений... Без вынужденных видеоразговоров с матерью и чудовищных известий.

— Это твой папа, — хохочет лицо, скорей похожее на клоунскую маску, белое, с вульгарным макияжем: — Твой папа!

Мальчик бьет по лицу обеими руками, — только бы оно прекратило, замолчало. Заткнулось!

Осколками разлетается зеркало, он не успевает прикрыться, острые лезвия с сотней хохочущих минилиц-масок вонзаются в лицо, в глаза...

— Тебе не избавиться от нас! — рев матери: — Мы в твоей крови!

— Забирайте! — в ответ кричит сын: — Всё забирайте! Кровь! Сердце! Глаза! Всё! Меня там нет! НЕТ!!!

— Тихо, тихо, родненький, — голос бабушки. — Никто тебя не заберет. Я не позволю. Не отдам.

Баба Валя убирает волосы с лица внука.

— Сон дурной, видать, приснился.

Боязливо дрожат подвернутые кверху ресницы, Артём открыл глаза в своей комнате на кровати:

— Я в волосах, — прошептал.

В скайп больше не выходили. Василиса снова звонила на сотовый. Бабушка ответила после двадцатого пропущенного вызова.

— Наконец-то, — раздалось облегченно в наушнике. — Что опять случилось, мама, не врублюсь?!

Баба Вера посчитала до десяти, дочь слушала молча, вместо одиннадцати сказала:

— Что там еще за папа, Вася?.. Прости, Господи.

— Когда-то же должен у сына появиться отец, — дочь хихикнула. — Вон, я без отца росла и что получилось.

Игнорируя колкость:

— Поздно Артёму папу-то заводить. Двенадцатый год.

— Давай, мы сами разберемся, а?.. Я, кстати, поэтому и звоню, хочу вернуться в свою комнату, пожить недельку-две, я же там все еще прописана?!

— Прописана, — вздох тяжел, как смирение с неизбежностью.

— И это мой родной дом, я в нем выросла, по закону имею свою долю, квадраты...

— Это смотря про какой закон ты говоришь, — не растерялась баба Вера.

— Так можно на недельку пожить? Обстоятельства просто такие, долго и неохота рассказывать...

Ответ прозвучал так:

— Угу.

И вместо дочериного «спасибо», или что она там собиралась сказать — гудки.

Баба Вера прервала вызов и совсем отключила телефон.

— Час от часу не легче, — сказала гневно. — Не одно, так другое. Комната у нее, как же. Двенадцать лет, как Артёмкина комната. Сидим, только тебя всю жизнь ждем. Пока нагуляешься... Надо же, про квадраты она будет мне говорить, прописку вспомнила, — собиралась на огород баба Вера. — Думает, что ничего за это время не изменилось. А вот выкуси, — сложила пальцы дулей. — Мир уже не тот. Правила другие. В чужой монастырь не суйся со своим уставом. Придешь, так живи, как положено. Не финти, нет, — так дверь знаешь где, иди на все четыреста четыре стороны...

Всю дорогу до огорода, собирая мусор, работая на грядках и в теплице, баба Вера не замолкала, возмущалась, сетовала, строила догадки, искала выходы. С сумерками решила:

— Артём будет спать со мной, освободим ей комнату, а там видно будет. Наша Фигаро тут — Фигаро там долго на месте не усидит. Завихрит, закуролесит, недели не пройдет, одни расстройства только сыну да нервы.

Внук принял с достоинством приезд матери, взял подушку, школьный рюкзак, вязаную шапочку для волос, молча перебрался в комнату бабушки. Разложил кресло-кровать, заверил: — Так даже лучше.

Нейтральной территорией в трехкомнатной квартире остались: зал и кухня с ванной.

Мать появилась на следующий день в компании с лысым мужчиной:

— Ираклий, — представила.

Лысый протянул Артёму руку, мальчик нехотя пожал.

Василиса вдруг ойкнула, стоя все еще на пороге, посмотрела на мать:

— Что это за лохмотья?..

Баба Вера надела очки, огляделась. Лысый попытался схватить старушку за руку, чтобы поцеловать, не вышло.

— Какие еще лохмотья!? — бабушка осмотрела себя, щупала подол байкового халата: — Ты кого это?.. Не выспалась, что ли?..

Василиса на этот раз ойкнула раздраженно и зло, схватила сына за кудри, ткнула ими в лицо бабы Веры:

— Вот это! Мама!

Шлепнула дочь по руке баба Вера:

— Ну-ка, расслабилась, — велела. — Лохмотья я покажу тебе потом, где и у кого. Пьяна, что ли, не пойму? Дыхни, а ну!

Артём закрылся, сгреб лавину черных волос на лицо, и мир с матерью и лысым гостем прекратил свое существование.

Ночью снилась война. В этот раз Артём был всего лишь одиннадцатилетним мальчиком, наблюдателем. Враги наступали, гремело все вокруг и взрывалось. Самсон, спаситель, что одной правой сметает орды вражеских танков, так и не появился.

Утром война продолжилась на кухне:

— Тебе самому разве нравится то, что видишь в зеркале? — Василиса курила в форточку. Артём молчал. Ждал, пока закипит чайник.

— Уверена, в школе дразнят чучелом каким-нибудь... Нет, хочешь сказать?!

Артём вспомнил, как в начальной школе толстый мальчик из параллельного класса обозвал Бармалеем. Называли Феей, Лешим, Златовлаской, Кудряшкой Сью... Чучелом — никогда, и Артём честно сказал:

— Нет.

Мать дернулась, выбросила недокуренную сигарету в форточку:

— Это все бабка, уверена я, придумала! Мне назло. У тебя волосы длиннее, чем у меня, если на то пошло! Ты мужчина, а я женщина, чуешь разницу?!

Чайник, как назло, не закипал.

— Мужчины не носят длинные волосы! Аллё?! Бабка в прошлом веке живет, вот и потворствует твоей тупой прихоти. Сейчас даже геи стригутся налысо.

Слово из запрещенных ошпарило кипятком. Сын посмотрел на мать из-под упавшего черного локона, посмотрел исподлобья.

Мать повторила последнее предложение, и закипевший электрический чайник опрокинулся на голову всегда крашенной в пепельный цвет брюнетки. Кипяток смыл волосы и кожу с лица женщины. Василиса закричала, поднесла руки к глазам, и глаза вылезли из орбит ей в ладони.

— Пошла вон, — убрал за ухо прядь волос Артём, чайник закипел, отключился.

Василиса опешила, как и в мечте сына, поднесла руки к лицу:

— Что?

Сын повторил, с дымящим чайником в руке. Из носика еще валил пар, Артём наклонил чайник, струйка кипятка вытянулась до пола, горячие брызги разлетелись от линолеума на голые ноги матери в пеньюаре и сына в шортах.

— Ты?!

Артём повторил еще раз, а потом подставил ладонь под струю из чайника и улыбнулся матери:

— В бабушкином доме плохие слова запрещены, — сказал.

Внуку в школу ко второй смене, знает бабушка, поэтому с утра сходила на огород, потом в магазин за свежими булочками. Вернулась, сразу увидела побагровевшую, вздувшуюся ладонь Артёма:

— Как это случилось?

Артём ответил, что учил мать пользоваться чайником.

— Давай маслом подсолнечным смажу, и в школу, может, не пойдешь?..

— Пойду, — решительно говорит внук. — Не больно ни капли. Разве Самсоновичи сдаются из-за таких пустяков?

Бабушка обняла внука:

— Богатырь, — поцеловала в макушку. — Волосы, пойдём, расчешу волшебным гребнем.

Бабушка с внуком не слышали, как за дверью теперь уже Василисиной комнаты перешептывались мужчина и женщина.

— Я это так не оставлю, Икуша, — шипела женщина. — Бабка совсем разбаловала сопляка. Ты бы видел его взгляд, по нему же психушка плачет.

Мужчина разводит руками в ответ:

— Ты отвыкла просто от детей.

— Я все равно его постригу, помяни мое слово. Вызов мне бросили, стар да мал, что ж, посмотрим, кто кого.

Вечером Василиса, подправленная порцией алкоголя, решила поговорить с матерью на тему прически сына-внука. На кухне баба Вера чистит рыбу, Артём моется в ванной, с волосами это долгий процесс, на час, Ираклий допивает остатки вина, досматривая очередной сериал.

Дочь говорит:

— Он меня сегодня послал, если тебе интересно.

Баба Вера чистит рыбу, ловко орудуя большим ножом, чешуя летит аккурат в тазик, никуда больше.

— Пошла вон, сказал, если точнее. А я всего лишь хотела вразумить его по поводу этих, этой, этой стрижки, прически, что это у него там, на голове, не знаю...

Чешуя блестит, отлетает от крупного туловища рыбы с чавкающим звуком.

— И это не модно, во-первых, длинные пакли, они падают вечно на глаза, от этого ослепнуть, между прочим, можно.

Женщина икнула:

— Да и не по-мужски это выглядит, как эта...

Нож вспорол брюхо рыбе, розовая молока отправилась в блюдце, остальные внутренности смещались с чешуей.

— В конце концов, мать тут я! — взвизгнула Василиса.

— Так, — посмотрела на дочь баба Вера: — Ты чего привязалась к сыну? — ножом, как указательным пальцем, пригрозила: — Не нравится что-то — ответ тебе известен.

— Я к его лохмотьям! Волосам привязалась! Я мать! И посмешище из своего сына

делать не позволю! Над ним же все смеются, — икнула. — Ты просто слепая, раз не видишь! — снова икнула. — Короче, завтра же отведу его в парикмахерскую или сама обкорнаю.

Нож со следами рыбьих потрохов едва не коснулся кончика носа женщины:

— Что еще скажешь? Что тебе еще не нравится?

— Шевелюра его не нравится! — икнула, отодвинулась от лезвия, подняла указательный палец параллельно ножу. — И я клянусь, их состригу.

Баба Вера швырнула нож в таз:

— А теперь послушай меня, дочурка, — вместо ножа окровавленная ладонь: — Мне все в тебе не нравится. Как ты живешь, не нравится, — загибая один палец из пяти, — и что пьешь с утра в моем доме, — второй, — что приводишь незнамо кого, не нравится, — третий палец исчез, — и как с сыном поступаешь, — четвертый палец, — как ведешь себя с ним, — пятый превратил ладонь в кулак, — разговариваешь как с Артёмом... НЕ НРАВИТСЯ!

Кулак разжался красной пятернёй. Василиса икнула. В ванной больше не шумела вода, в комнате с Ираклием смолк звук телевизора.

Мать и дочь стояли посреди кухни. Посреди тишины. Баба Вера молчала, замерев с поднятой раскрытой ладонью. Дочь икала и никак не могла перестать.

— Она ненавидит меня, — говорит внук, сидя в кровати бабушки. Баба Вера расчесывает иссиня черные, переливающиеся в свете торшера, волосы. После ванны они искрятся и пахнут хвоей.

— Нет, ну что ты такое говоришь.

— Говорю, что знаю, ба, она ненавидит мои волосы. А значит, меня!

— У мамы тяжелый период, — сочувствие и понимание в голосе. — И это ведь только слова, она всегда говорит и не делает. Даже не думай. Выбрось из головы.

Артём представил: огромные жилистые руки с налитыми железными мускулами Самсона хватают мать в ее откровенном пеньюаре и с сигаретой в зубах, хватают за волосы и вышвыривают из пространства его головы. Она кувыркается в воздухе тряпичным Петрушкой, шмякается на землю с противным хлюпающим звуком. Крякнула сломанная шея, гротескно вывернулась набекрень голова, рот открылся, выпустил последний вздох, полный алой крови.

Он услышал, выйдя из ванной с повязанным на голове полотенцем, как мать кричала в своей комнате:

— ...плюнули на меня и растоптали! Да я ночью, когда вы все будете дрыхнуть, как сурки, возьму ножницы и обкорнаю его эти кудерьки! И никто, ни ты, Икуша, ни бабка, ни Господь Бог меня не остановит! Не помешает! Ясно?! Под бритву, начисто, до крови!..

Слышал Артём и как пьяно мычал сожитель Василисы, Артём разобрал, что он говорил. Ираклий предлагал подержать руки, а если понадобится, связать непослушного длинноволосого мальчишку, больше похожего на девчонку с такими-то кудрями...

— Ненавидит, — вновь говорит внук, прикрыв глаза, наслаждаясь приятным массажем головы бабушкиным гребнем. — Но я совсем не боюсь. Ведь я Самсонович. А мы без боя не сдаемся. Деремся до победы. В финале все равно все Далилы проигрывают!

Что-то не так с волосами. Он трогает их, ладони прикасаются к чему-то скользкому, неприятному, живому. Зеркало. Открывает бабушкин шкаф, на двери весит большое зеркало. Вместо волос — змеи, кишащие черные гадюки. Артём не может в это поверить, стоит окаменевший, столбом, будто завороженный взглядом Медузы Горгоны.

— Мать, это все мать, — попятился от чудовищного отражения. — Что?.. Что ты задумала?! — закричал.

Тут змеи начали жалить его в лицо, забрались в глаза, пролезли в рот, уши... Змеи подлиннее вгрызлись в грудь, добрались до сердца...

Вскочил Артём в темноте, сдержав крик ладонью. Волосы прилипли к потному лицу, взгляни на себя со стороны, он бы увидел продолжение сна...

— Пошла вон, — прошептал, — пошла вон!

Избегать встречи с матерью не получалось, как ни старался. Василиса же при каждом их пересечении показывала два пальца, — знак «V» — победы — в мгновенье превращался в лезвие ножниц, которыми она чикала перед носом сына. Молча, ни слова, лишь режущий звук пальцев-ножниц — клац, клац, клац.

Артём в ответ тоже показывал палец, средний, как бы невзначай чесал им кончик носа или убирал соринку из глаза...

К молчаливой войне присоединился Ираклий. Редко, но метко, столкнувшись взглядами, мужчина подмигивал и повторял жест матери. Артём повторял свой.

Напряжение росло. Оно ощущалось в квартире. Ни малейшего сквозняка, все каменное под чарами Горгоны. Неживое. Искусственное. Мертвое...

В бабушкиных монологах все чаще стало проскакивать:

— Надо им, наверное, съезжать. Неделя, и хватит. Сил никаких с ними нет. Полигон какой-то устроила эта Васька. Нет, надо с этим делом кончать. Не уживемся мы... Поубиваем друг дружку, чего доброго, прости Господи, — крестилась баба Вера и ждала удобного случая озвучить свои мысли.

Баба Вера не успела. Она всегда знала, верила, что принятые решения нужно претворять в жизнь не откладывая, в сию же секунду. Обычно она так и поступала. В молодости особенно была резка и нетерпелива, самые сложные вопросы решала не задумываясь...

Вечером на кухне Василиса варила пельмени, баба Вера разогревала им с внуком борщ. Баба Вера уже было решилась заговорить о том, как жить дальше и что лучше будет для всех, если дочь съедет, но пельмени были готовы, Василиса трезва, а это значит — зла на всё и всех, смертельно недовольна и неразговорчива. Она даже про волосы сына, отметила баба Вера, не проронила за последние дни ни слова.

— Может, всё наладится и образуется, — говорила про себя бабушка, помешивая наваристый бульон.

Откуда ей было знать, что завтра вся их жизнь изменится.

Перемены, это не про бабушку и внука Сальниковых. Перемены несут разрушение, считала баба Вера и отгораживала единственного внука, как могла, от веяний, течений, жизненных сквозняков.

— Всё наладится и образуется, — молитвой бубнила на огороде ранним солнечным утром между грядками с чесноком и кустами шиповника.

У Артёма кружок по рисованию с утра. Сегодня он нарисует самого сильного человека на Земле.

— Самого пресамого, — Артём завернул за угол к гаражам, до школы осталось перейти дорогу.

За спиной смешок, еще смешок, Артём знает, здесь часто курят старшеклассники, не оборачивается, он всегда тут ходит, еще с детского сада. Смешок совсем близко возле уха и голос:

— Не дергайся, пораним.

Рюкзак тащит резко назад, лямки рвутся, замок разъезжается, и сумка выплевывает содержимое на землю, следом за тетрадками и книгами на землю валится он сам.

Двое бритых мальчишек, явно из класса восьмого, тут же накидываются на него. Один давит коленом в шею, второй хватает за волосы.

Артём брыкается, пытается сбросить их, но тот, кто держит за волосы, бьет его лицом об черную, твердую, как камень, землю. Голос повторил:

— Не дергайся, пораним.

И уже знакомый звук ножниц над головой — клац, клац, клац.

Самсон — громадная скульптура в полный рост, голова исчезает в облаках, падает. Артём в ужасе, он видит это, кричит, но что он может сделать? Ничего.

Наблюдать и смириться. Сдаться, как и эта, казалось, несокрушимая скала, гора. Самсон рухнул на асфальт, разлетелся — камни, железо, куски, осколки.

Одиннадцатилетний Сальников Артём Самсонович закричал. Он укусил землю. Холодные прикосновения ветра к коже головы непривычные, незнакомые, дикие... Во рту вместе с землей волосы. Черные, как ночь без звезд. Его волосы. Он все еще на земле, но теперь его никто не держит. Одно странное ощущение обнаженной, раздетой головы.

С меня сняли скальп — мысль.

— Самсон, — тихо позвал Артём, — на помощь, Самсон.

Двое бритоголовых дружно рассмеялись.

— Теперь будешь, как все, — сказал один: — Двуногий, лысый, несчастный...

— С небес на землю, — ржал второй. — На человека, на мужика хоть стал похож!

— Гриву свою собери, не забудь, на память в мешочек.

— Ага, и матери подари, и привет ей передай.

Клац-клац, — перед глазами Артёма.

Он поднялся, сел, а вокруг все усыпано его волосами... Мягкие на ощупь кудри, безжизненные, слабые... Мертвые.

Старшеклассники уходили, гогоча в две глотки, то и дело оборачиваясь на него.

Карандаши и ручки высыпались из пенала. Артём подобрал циркуль.

— Эй, вы! — крикнул.

Бритоголовые удивленно обернулись с раскрытыми ртами, так и окаменели.

— Вы кое-что забыли, — прокричал Артём, улыбнулся окровавленным ртом и воткнул раскрытый циркуль (такой до боли знакомой буквой V) себе в глаза.

И не закричал. Кричали двое напавших на него мальчишек. Один из них остался на всю жизнь заикой, второй покончит с собой через полгода после случая у гаражей.

Мать исчезнет из жизни Артёма навсегда вместе со всеми своими сожителями и поисками лучшей жизни. Он поправится, левый глаз частично сохранят, и в ясные дни Артём сможет им видеть черно-белый мир вокруг. Впрочем, ему это незачем. Волосы отросли, силы вернулись, он вновь и навечно в мире, где Самсоны побеждают врагов и не верят в любовь... В этом мире нет места предательству, непониманию и ножницам... Здесь другие правила и другие цвета...

Артём вернулся на землю, к месту у гаражей, что в двух минутах ходьбы от школы. Он сидел среди своих волос, смотрел в спины врагов. Но всего лишь мгновенье. Он не мог позволить им уйти вот так, безнаказанно. Ведь он Самсонович.

— Пошла ты, — сказал новый Самсон, дотянулся до циркуля. Сжал его в ладони, сплошь покрытой остриженными волосами. Поднялся на ноги, вытянулся, руки по швам, именно так велела стоять перед любыми трудностями и испытаниями бабушка.

— Эй, вы! — позвал громко, — вы кое-что забыли!

Посланники Далилы остановились, обернулись.

Циркуль загорелся в лучах полуденного солнца знаком победы.

Леонид Левинзон

Таджикистан—90

Рассказ

Проблем не было. Изо дня в день вставал главный таджик — солнце и освещал свою вотчину: мир горных хребтов, черноволосых крепких мужчин с их женщинами и растущие желтые дыни. Именно сюда северная бледная страна, оглушив себя лозунгами борьбы с чужой детской смертностью, направила бригады врачей, оторвав их от привычной жизни. И вот, трое молодых мужчин и светловолосая голубоглазая девушка-медсестра сидят в поезде, готовые к длительному путешествию. Поезд дергает, за окном натягивается и рвется перрон, и пузатое, сверху кокетливое со шпилем здание железнодорожного вокзала грозно сдвигается, пытаясь складами по бокам зацепить, задержать, но поезд вырывается и победно гудит, ликуя.

— Бу-ульк, — произнес один, погладил пышные черные усы и вытащил бутылку, — бу-ульк, — притворно вытаращил глаза, — кто-нибудь знает, что за благородная красавица с нами едет?

Блондинка потупилась.

— А позвольте спросить, Александр Гаврилович? — проявился второй. — Вас случаем не жена провожала?

— Игорь, будь умным! — одернул его черноусый, — и заливисто захохотал. — Конечно, жена. Но она же осталась! Лёха, скажи ему!

Дверь открылась, и вошел форменный с сурово требовательными глазами. Пуговицы желтые, фуражка с кокардой, брюки мятые, темные, мужскую силу скрывают. Сел на краешек, раскрыл нечто кожаное внушительное и начал рассматривать на свет, прокалывать специальной штукой дырочки и рассовывать плотные картонки билетов по узеньким кармашкам таинственного гроссбуха.

Обвел глазами:

— Командированные? И куда?

Ответили вразнобой.

Через несколько часов солнце скрылось, и поезд мчался в темноте. В его окошках, как на детской картинке, горел свет, и те, кто видел поезд, своим опытом, конечно, догадывались, как стелются на раскатанные матрасы тонкие влажные простыни, поглощается снедь, пьется горькая водка, и кондукторша с подносом чая

Леонид Левинзон родился в 1958 году. Закончил медицинский институт в Санкт-Петербурге, работает в медицинском центре. Лауреат «Русской премии» 2010 года за малую прозу. Печатался в журналах «Октябрь», «Иерусалимский журнал» и др. Живет в Иерусалиме. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

торопится по проходу. Как какой-нибудь маленький мальчик, лежа на верхней полке, закрывшись от вагонного света ладошками, зачарованно смотрит в ночь, может, впервые познавая всю прелесть беспрерывного движения вперед.

Газик без боковых стекол долго трясся, и пыль забивала горло, пока наконец не въехали в застывший, как на снимке, кишлак — дувалы, слепые дома, и даже в арыке вода остановилась. Людей не видно.

— А где больничка-то?

— Да вот, вот...

Здание нелепым углом упиралось в дорогу. Над дверью вывеска — «Фельдшерско-акушерский пункт».

Навстречу в национальном халате человек сбежал — рука у сердца:

— Салам алейкум, сюда, сюда...

Завёл: прохладная комната, на ковре подушки, поднос с пиалами, серый колотый сахар.

— Подождите, а прием?

— Э-э-э, доктор... Жизнь такой долгий, работать всегда успеешь...

Неуловимо сдвинулся, наклонился выжидающе. В руках кувшин с водой для мытья рук, с плеча полотенце виснет, и непоколебимое спокойствие в глазах.

На обратном пути заехали по вызову: за железной дверью дома-крепости торжественно спускались тяжелые гроздья винограда, в одной из комнат, укрытый марлей, ребенок на одеяле.

Игорь снял марлю, ахнул: скелет, живой скелет, мухи вьются.

Местная Шехерезада в платке:

— Ну что?

— Почему вы не обращались?!

Нет ответа.

— Я немедленно забираю.

Поднял вместе с одеялом, тельце совсем ничего не весит, побежал к машине.

— Скорее, скорее, — торопил водителя по дороге, — скорее!

В больнице допоздна сидел — возмещал, вводил. Наконец, когда мальчику стало лучше, вышел. Снаружи ночь. Снаружи звезды.

— Ау, звезды...

Не откликаются.

Закурил, шагнул с порога.

В гостинице его ждали терапевт, черноусый Александр Гаврилович, и ненужный здесь Алексей Дмитриевич — не шли к мужчине-гинекологу местные женщины. Лампочка под потолком горела, со стола коньяк тень прокладывал, в открытом окне необъятный шепот.

Игорь взял бутылку:

— Таджикский...

Плеснул, попробовал — горчит пустыней.

— Неплохо. А где девушка? Спит?

Ответил развалившийся на кровати длинный худой Алексей Дмитриевич:

— Конечно. Еле отбилась от нашего Дон Жуана, — взглянул на поглаживающего усы Александра Гавриловича.

Тот коротко хохотнул:

— Ой, курыть люблю! Мужики, заканчиваем?

— Я не хочу.

— Лёха?

— Нет, — с заминкой.

Ухмыльнулся:

— А ведь грех, грех оставлять...

Налил остаток коньяка, посмотрел сквозь стекло стакана на окружающих, глотнул и вытаращил глаза:

— Ох, хорош-шо! Словно боженька голыми пяточками по желудку пробежал.

А утром медленно встало, сияя роскошным животом, огромное солнце, и в реанимации ребенка, что так усиленно спасал вчера, не оказалось. Кровать есть, белье на ней, капельница с полупустым пакетом рядом, ребенка не было. Игоря бросило в жар.

В ординаторской дежуривший ночью врач ел плов. До уровня цивилизации, когда несут деньги, здесь не дошли, поэтому доктора довольствовались малым.

— Касым, где ребенок?

— Какой?

— Рахмонов, вчера поступил.

— А-а, тот... — пробормотал набитым ртом Касым. — Я его отдал.

— Как отдал? Кому?!

— Родителям. Час назад. Приехали за ним.

Игорь стал задыхаться.

— Скотина! — выговорил с трудом. — Он же на искусственном был! Так ты отключил, значит...

— Блят-т-т! — Касым выплюнул рис и вскочил на ноги, смуглые пальцы сжались в кулаки, сорвал стетоскоп. — Понаехали! Суются! Да стоит мне только слово сказать!

Через несколько минут в кабинете главврача толстый с обритой головой человек, перебирая четки и обратясь глазами неведомо куда, говорил монотонно успокаивающе:

— Игорь Владимирович, ну хватит, все не так просто — суеверия, недоверие, народные традиции... Не надо взрываться, поработаете три месяца, командировка закончится, и уедете без проблем.

Притулившийся к началу горных отрогов район вставал рано. Сначала слышался мерный шепот — то перед бесконечной работой молились Аллаху крестьяне. Немного погодя начинали сновать юркие грузовики, развозя глину для строительства домов, а в двухэтажной гостинице трезвонил будильник. Доктора нехотя поднимались, забирали с собой вчерашний мусор и спускались во двор мыться. За ними, аккуратно раскачивая свою лодочку, медсестра Света с ее теплыми упругими грудками, а потом, сидя с зеркальцем, тщательно подводила тушью кокетливые глазки. Через полчаса все вместе вышагивали на работу. Впереди самый важный Александр Гаврилович, заменивший уехавшего в отпуск главного терапевта. Черноусый доктор, кстати, оказался очень деятельным: получив отделение, немедленно приступил к наведению большого европейского порядка, запретив больным спать и есть на полу. Он кричал, врывался в палаты, стыдил, но в конце концов устал и таки занялся лечением. Вот тут ослепительной кометой и прочертил небо успех — Александр Гаврилович снял почечную колику у молодой жены председателя колхоза «Красный Таджикистан», после чего благодарный муж пригласил компанию в гости.

Посреди глиняных домов высился забор. Ворота его медленно распахнулись, сбоку угодливый дед, а внутри... о всемогущий! С деревьев падали яблоки, росли с одуряющим запахом цветы и, как точеный жираф, стояла беседка, разукрашенная затейливым орнаментом. А в центре беседки, обрамленный черным мрамором, выбивался из земли чистейший, прозрачный родник и со стоном в мраморном же ложе, пригреваемый сквозь склоненные листья винограда южным солнцем, уходил, теряясь, в сад. И лежали в нем, катаясь в воде, дыни, арбузы, коньяки, и уже варился шурбо, дразнящий запах которого разносился по окрестностям. Разлитая, разбавленная прохлада приятно успокаивала, навевала дремоту, и прилетевший откуда-то ветер шевелил листья, обдувал сидящих в беседке и заставлял волноваться пламя костра.

— Сюда даже *Сам* приезжал, — говорил, улыбаясь и блестя белыми зубами, председатель, разрезая дыню на дольки. — Два литра выпил, как сейчас помню. И бух в родник. Купаться, — говорит, — хочу. Еле поместился, кабан. Полощется и хрюкает. Полощется и хрюкает. Только брызги летят.

Смеется и протягивает первый кусок Александру Гавриловичу.

Тот принимает и неожиданно просит:

— Дай мне на часок твою машину покататься?

Кроме председателя в беседке еще один местный, с бородкой. К нему хозяин относится с подчеркнутым уважением. У этого, с бородкой, умный быстрый взгляд, еще белее зубы и добродушная ленивая улыбка довольного собой человека.

— Это как-то одному русскому понравилось жить у нас, — начинает байку бородатый. Руки его закинуты за голову, он вытянулся на спине, глаза полузакрыты. — Взял жену таджичку, одеваться стал по-нашему, живет. Год, два, десять. Ничем уже не отличается.

Тишина. Все лежат. Слушают. Беседка четырьмя ногами стоит, пригнувшись, тоже слушает. Бутылки пустые.

— Ничем не отличается. Обрезание сделал. Детей родил. Все, как надо. Вот только одно не смог узнать: чем кулябец от ура-тюбинца отличается. Жизнь прожил, а не узнал. Помер, а не узнал.

Вечером гостей подбирают с пола, отвозят домой. Звезды яркие, крупные, в открытое окно заглядывают. Доктора крепко спят и в унисон выдыхают коньячные пары. Но вот кто-то в кровати заворочался, заскрипел пружинами, завздыхал:

— Русский-таджик, придумали тоже, мать их...

— Салам алейкум.

Люди за столом повернулись:

— Алейкум ассалам.

— Зачем пришел, доктор? — раскатывая слова, спросил сидящий во главе с круглым, чуть оплывшим лицом. — Дело есть?

— Да вот, посылаем анализы, — ответил Игорь, — а ответов нет. Ни одного за месяц.

— Разберусь, — он важно кивнул и, помедлив: — Хамедов!

Встал верзила с усами.

— Принеси-ка стул нашему русскому другу.

Показал широким жестом:

— Угощайся.

В глубокую тарелку был налит кипяток и накрошен зеленый горький-прегорький перец. Люди с куском лепешки тянулись к тарелке, макали лепешку в воду, стараясь выловить зернышки перца, и отправляли эту взрывчатку в рот. Крякали, ухали, вытирали появившиеся слезы и заливали пожар чаем. В сдерживающее жару окно виднелись пустырь и часть забора с выстроившимися около него машинами. Медленное время просачивалось через плохо заделанные щели в раме и грустно уходило за машины в пустырь.

— Ну, Джалил, — растянул круглолицый в сосредоточенной тишине, — когда барана режем?

— Завтра, — тощий старик с перевязанной головой привстал в полупоклоне и горестно пожевал губами. — Ты тоже приходи, — повернулся к Игорю.

— Салам алейкум, таджики! — раздался начальственный голос, и к ним вошел еще один, толстый, низкорослый, со шрамом на губе. Глаза низкорослого забегали-забегали, мимолетно уперлись в Игоря, он неожиданно крикнул:

— Татары, вон из Таджикистана! — и, довольно зажмурившись, засмеялся.

Небольшой, худенький человек у окна покраснел, рука его, держащая лепешку, дернулась.

— Опять ты, Рахим, — укоризненно сказал круглолицый. — Все шутки шутишь...

— Мы, таджики, народ мирный, — по-прежнему смеясь, сказал Рахим и сел в принесенное расторопным Хамедовым кресло. — Не то что наши соседи. Нам шутки шутить дозволяется, — повернулся к Игорю. — Ну, доктор? Может проблемы какие-то? Претензии? Пожелания? — Все сделаем! Все! — картинно раскинул руки.

Обратно Игоря провожал местный доктор по санитарии Абдурахман. Сухой жар плавил хилый, потрескавшийся асфальт, но через каждые несколько десятков метров стояли сооружения, напоминающие питьевые фонтанчики, в которых непрерывно текла вода.

— Я тебе так скажу, — горячечно блестя глазами, говорил стройный, молодой Абдурахман, — меня держись. Я памирец! И нас здесь не так мало: анестезиолог — памирец, зам главврача — памирец...

Тряхнул руку:

— Давай, приходи в гости, ладно?

Дома в гостинице гуляли. За столом кроме веселейшего Александра Гавриловича, угрюмого Алексея Дмитриевича и розово-невинной Светочки сидел огромный жирный мужик. Александр Гаврилович кричал:

— Муалим, муалим, мать твою, еще расскажи!

— Сиськи-письки — систематический, письки-сиськи — пессимистический, — жестоко уязвляя умершего Брежнева, старался мужик.

— За что пьем?

— За муалима. Муалим, — Александр Гаврилович от избытка чувств хлопнул того по спине, — к нам из Душанбе с визитом. Чучмеков учит, брит-милу им делает.

Мужик протянул руку, глянули внимательные, не гармонирующие со смехом глаза:

— Константин. Хирург. И преподаю тоже.

Налил стакан до краев, двумя пальцами приподнял и поставил ближе.

— Нет.

Стакан неожиданно схватил Алексей Дмитриевич, лицо небритое, глаза поплыли, и, как через силу, стал пить судорожными глотками. Толстое лицо Константина покрылось складками веселья:

— А теперь добавляй, добавляй...

— Заткнись, — тот икнул.

Тут внимание отвлеклось на Александра Гавриловича:

— Светочка, Светочка, — бормотал Александр Гаврилович. — Ну почему ты меня не признаешь? Хочешь, встану на колени? Богиня прелестная, дай обнять тебя по-дружески... — тянется.

— Сашка, прими!

Тот забывает о богине:

— Где?

Поднимает и обводит стаканом круг:

— Как там они говорят? Дышлы-бышлы? Салам алейкум, господа! — Опрокидывает.

Алексей в кровать повалился, скользящими движениями на себя одеяло натягивает, никак укрыться не может.

— Я когда начинал... — ностальгически расслабился Александр Гаврилович. — Разве такое могло быть?

— Заткнись. Я, когда начинал...

— Пил только спирт...

Сашка грозно сказал:

— Последний раз предупреждаю...

— Ну, дай, дай ему...

— Когда начинал, работал в одной маленькой больничке, а на дверях в приемном, — подмигнул, — поставил оч-чень умную санитарку. Только поступит мать с дитем, а она ей: «Мамочка, как вам повезло... Вы не представляете, как вам повезло! У этого доктора золотые руки! Просто золотые руки!» — Александр Гаврилович показал коллегам растопыренные пальцы и захохотал: — Просто золотые руки...

В глазах Константина что-то мелькнуло, он засмеялся.

Абдурахман жил, как оказалось, не в собственном доме, а, будучи пришлым, в небольшой квартирке единственной на весь район пятиэтажки. Встретил он гостя при полном параде — одетым в национальный халат и с сынишкой на руках. Жену позвал:

— Ольга!

Вышла русоголовая, худенькая женщина с бледным, как бы застиранным лицом.

— Из Харькова, — пояснил, — учились вместе. Там и поженились. Ну, проходи, проходи...

Дома у него был сумбур — не восток, не запад. Из кухни тянуло борщом, а вместо достархана стояла восточная прогрессивная мебель — коротконогий стол с роскошным орнаментом. Ольга одно за другим принесла блюда, разложила и исчезла на кухне. Игорю стало неудобно:

— Может, пригласишь ее?

Хозяин посмотрел иронически:

— Ольга! — та, на мгновение показавшись, отрицательно мотнула головой.

— Вот видишь, — сказал спокойно Абдурахман, — я же знаю.

Выпили, поели. Откинулись назад на подушки. Абдурахман повернулся к гостю, заговорил горячо:

— У нас, у таджиков, свой путь, мы сильные. То, что вы предлагаете, нам не подходит.

Ремонт. Молодой памирец, не сообразуясь с собственными же взглядами, решил заиметь на стенах фотообои с березками. Позвал Игоря на помощь. Незатейливый гарнитур перетащили в спальню, начали работать. Во второй вечер Игорь вдруг заметил, что Ольга стонет, ходит согнувшись и держится за живот.

— Ольга, что с тобой, у тебя болит?

— Очень, — прошептала виновато.

— Абдурахман?

Тот сосредоточенно приглаживал нижний конец полосы обоев к стене.

— У твоей жены проблемы.

— Пройдут.

— Не знаю... Ольга, кровь есть?

— Да.

— Что вы там? — раздраженно возник Абдурахман. — Небось, понос прохватил, раскудахталась.

— Вызови «скорую», — мрачно сказал Игорь. — Я тебе говорю — вызови «скорую»!

Хозяин покраснел, но сдержался, вытер руки и стал набирать номер:

— Не отвечает.

— Ладно, я побегу за Алексеем Дмитриевичем.

Алексей Дмитриевич в своей обычной пьяно-расслабленной позе лежал на кровати. Ботинки не снял, рука с сигаретой внизу, еще немного, и одеяло подожжет.

— Лёшка, вставай!

Алексей лениво открыл глаза.

— У Ольги кровотечение.

Пружины заскрипели, Алексей спрыгнул, но на ногах не удержался, и его повело в сторону.

— Лё-ошка!!

— Заткнись!

Спустились, Алексей на выходе сунул голову под кран. Держал так с минуту, выпрямился и встряхнул волосами, брызги разлетелись.

— Теперь пошли.

В квартире Абдурахман у телефона. Ребенок на коленях.

— Где она?

— В спальне.

Алексей Дмитриевич шагнул внутрь. Игорь покрутился по квартире.

— Машина приедет?

Абдурахман дернулся, кивнул.

Вышел Алексей.

— Внематочная, — сказал отрывисто.

— Боже, гинеколог в отпуске!

— Значит я. Кто дежурный анестезиолог?

— Анестезиолог — памирец, — радостно ухватился Абдурахман.

Набрал номер — на другом конце, не дослушав, бросили трубку.

Абдурахман покрылся пятнами, еще раз набрал и стал кричать. Положил, сказал с усилием:

— Не узнал.

Подъехала «скорая». Женщину положили на носилки. Абдурахман не пошевелился. Игорь удивленно обернулся:

— Ты разве не едешь?

— С ребенком останусь.

Занесли, переполошив всех, носилки в отделение. Алексей Дмитриевич пошел мыться, а Игорь спустился, сел на скамейку и курил в насыщенной тишине. От ярко освещенных окон операционной падал свет, и листва рядом стоящих деревьев делалась особенно томной и нежной.

Алексей появился через полтора часа:

— Сигарету дай! — руки его вдруг мелко задрожали. Прикурил, затянулся.

— Ты что?! — с ужасом спросил Игорь.

— Да нет, нет, сделал.

Терапевт был на дежурстве, они открыли дверь, и одинокая лампочка без полутонов безжалостно выявила порядком надоевшее помещение с неубранными кроватями и жалким личным скарбом. Алексей Дмитриевич неостановимо двинулся и схватил почти полную «Каберне»:

— Будешь?

Не дожидаясь ответа, запрокинул бутылку. Пил, пил. Кадык ходил мерно. Наконец медленно, очень медленно отнял бутылку от губ.

— Полезная штука, — сказал одобрительно.

Руки у него больше не дрожали.

Событие районного масштаба — напротив чайханы установили бюст: уходящий в знакомую лысину лоб... Около бюста деятели в мятых галстучных костюмах речи один за другим по бумажкам читают, сами себе хлопают. Вокруг, пронизанный сухим жарким солнцем, полуднем дрожит воздух.

На том же пятачке в гостинице окно настежь, доктора-товарищи на кроватях, а постоянный гость муалим на стуле и карты треплет. На столе дыня и, основной частью

натюрморта, яростный сорокаградусный кальвадос. Стаканы немытые, над стаканами отчаянная муха зигзагами летает.

Неожиданно, резко хлопая дверью, вбегает Света с дрожащими губами:

— Опять кто-то в окно заглядывал!

Александр Гаврилович геройски вскакивает первым:

— Да я их! Падлы! — Выглядывает наружу и пожимает плечами. — Никого. Чучмеки трусливые!

Начинает утешать Свету:

— Солнышко, ну не бойся, ты же с нами, — обнимает, целует, еще раз обнимает и целует, и одновременно подмигивает муалиму.

Муалим разулыбался, цапнул кальвадос, плеснул в стакан и дразнит Алексея:

— Дернем, дернем, а?

У Алексея Дмитриевича под глазами мешки, весь он вялый, угрюмый:

— Давай!

Встал, влил в себя. Посмотрел, не удержался и уже сам взял остаток.

— Э-э-э, — завозмущался Александр Гаврилович, — а я?

Через неделю от сильного удара в дверь с визгом отскочила задвижка, и в комнату Светы вломились трое. Но Света была не одна. Уже давно увивающийся за ее теплыми грудками студентик был приглашен пить чай. Один из ворвавшихся, не сбавляя темпа, подскочил к нему и рывком выбросил в коридор. И все трое, не оборачиваясь, подступили к девушке. Но ухажер вдруг отчаянно заверещал из коридора высоким тонким голосом:

— Я Хамедов! Хамедов! Хамедов! Хамедов! Хамедов!

Трое застыли.

Завизжал еще громче:

— Вон! Если вы не уберетесь, я скажу папе! Папе! — и в отчаянии, так и не поднявшись, застучал хрупкими кулачками по полу.

— Папе? — обалдело переспросил Игорь.

— Папе.

— И... и что?

— Они ушли.

— Просто ушли?

— Да.

Света, бледная от переживаний, переводила взгляд с одного на другого и, казалось, сама себе не верила.

По такому случаю защитник был приглашен в гости, усажен на почетное место, и Сашка наливал ему водку.

— Все у вас хорошо, — разглагольствовал, — вот только жаль, баб за стол не пускают.

Гость усмехался, тонкое, нервное лицо его передергивало что-то вроде тика.

Но очень скоро растерявшая последние остатки кокетства Света опять пришла со своими проблемами:

— Ребята, этот мой Хамедов приглашает меня в Душанбе, — выпалила, — что делать?

— А ты?

— Боюсь. Он очень настойчив. Просто боюсь.

— Не едь, — Алексей лежал на кровати и смотрел в потолок, — тут хотя бы мы рядом.

— Точно, — поддержал Александр Гаврилович. — Чучмек, он и есть чучмек. Лучшие люди страдают, — хохотнул, — а ты бегаешь.

— Знаешь, — посоветовал Игорь, — ты все-таки жестко не отказывай, скажи: дежурств много, начальство строгое. Что-нибудь такое, ладно?

— Да, — та вздохнула с облегчением.

На следующий день стук в дверь. На пороге стоял худенький, высокий, нежный друг Светы. Не входя, он внимательно обвел взглядом повернувшихся к нему докторов:

— Пожалуйста, разрешите Свете поехать со мной.

— Нет, — резко отрубил Алексей.

— Да она сама, сама решает, — улыбаясь, пропел Александр Гаврилович.

— Заходи, заходи, чего стоишь! — усиленно заприглашали.

— Спасибо, — юноша вежливо улыбнулся, и тут его лицо перекосил тик: — Должен предупредить, что если эта блядь со мной не поедет, вас всех убьют.

И плотно закрыл за собой дверь.

В комнате воцарилось ошарашенное молчание.

— Что ж такое! — растерянно спросил Александр Гаврилович. — Сейчас догоню и набью морду.

Но с места не сдвинулся.

Алексей, скрипнув пружинами, встал с кровати, и в тишине стало отчетливо слышно, как он наливает себе коньяк.

— Ваше здоровье, покойнички!

Толстые короткие пальцы главврача аккуратно перебирали четки, взгляд был укоряющ:

— Ай-я-яй... — запричитал, дослушав. — Ай-я-яй, какая нехорошая история! Вот только совсем не по моей части. Ума не приложу, что делать!

— Позвоните в милицию! — высоким голосом произнес Александр Гаврилович. — Покуда нас не защитят, мы работать не будем!

Главврач печально вздохнул, и его толстые пальцы стали неторопливо набирать номер:

— Джамил? Да, это я, да, да.... Уже слышал? Они сейчас будут.

Милиция находилась в отдалении и занимала длинное одноэтажное здание. Рядом стоял газик, около которого, зевая, ходил шофер и изредка постукивал начищенным сапогом по шинам.

— Мужики, может, зря все это, ну подумаешь, пацан? — остановившись на пороге, неуверенно сказал Игорь.

— Вот его-то проучить и не мешает, — заметил Алексей.

Чуть не задев их плечом, вышел плотный человек в форме. Шофер замельтешил, засуетился, с поклоном открыл ему дверцу. Человек лениво зацепил врачей взглядом, не спеша устроился поудобней. Уехали.

У Игоря мелькнула догадка:

— Кто это был? — спросил у вышедшего милиционера.

— Как кто? — удивился тот. — Джамил.

Они оторопели. Света всплеснула руками.

— Как же так! — на резко побледневшем лице Александра Гавриловича диссонансом выделились по-прежнему пышные, чуть обвисшие усы. — Он же знал, знал, что мы здесь!

Бросились назад, но ни главврача, ни его заместителей на месте уже не оказалось. В отделе кадров пухленький человек, закрыв от удовольствия глаза, пил чай и сладко хрустел сахарком.

— Вы не могли бы нам дать домашний телефон Сеида Каримовича? — Попросил Алексей.

Пухленький человек удивленно посмотрел:

— Сеид Каримович этого не любит.

Алексей было попробовал объясниться, но Игорь зло потянул его за рукав:

— Пошли!

— А куда еще? — Алексей недоумевал.

— В райком! — отчетливо произнес Игорь, глядя на человечка.

Тот улыбнулся и опять потянулся к пиале.

Но в райкоме их встретили только запертые кабинеты и пустые коридоры с аккуратно протянутыми ворсистыми дорожками.

— Ничего не понимаю! — растерялся Игорь.

— Идея! — Выкрикнул Александр Гаврилович и лихорадочно принялся листать записную книжку. — Помните председателя колхоза, что нас приглашал? Говорил мне обращаться в любое время! — Бросился к телефону на стене: — Алло? Алло?

Ему ответили, он стал возбужденно рассказывать, потом вдруг резко замолчал, ссутулился и, наконец, слабым, неловким движением повесил трубку.

— Он не поможет, — на лице его выступил пот. — Связываться не хочет. И нам не советует.

— Так с кем не связываться? — крикнул Игорь. — С кем не связываться? С пацаном?

— Что ты кричишь? Не знаю! Уезжать посоветовал. От греха подальше. Они ничего не боятся, — говорит, — уйдут потом в горы, ищи-свищи.

— Ну и пошли к черту! — сорвался Алексей. — Пусть сами своих баб лечат.

— Я тоже хочу домой, — робко сказала виновница происшедшего.

— Игорь?

Покрасневший от злости Игорь дернул головой:

— Останусь.

— Ты хоть понимаешь, на что идешь? — спросил Алексей Дмитриевич. — Проблема не в пацане, в них проблема. Вон, нашего муалима разлюбезного и след простыл. Неизвестно, что ждать.

— Не поеду, — упрямо повторил Игорь.

— Ну и дурак. Идиот-дурак, — сказал Александр Гаврилович.

К нему возвращалась привычная наглость.

На следующий день они уехали первым автобусом.

Прошел месяц. Главный таджик забрался еще выше, радостно хлопнул в ладоши, и в районе начались свадьбы. Под сенью чайханы, как на выставке, ввинчено сидели аксакалы, в гастрономе лежала неупотребляемая свинина, весь в блеске солнца протягивал в пространство теплую бронзовую руку новенький Владимир Ильич. Ну а Игорь? Его никто не трогал. Упрямый доктор работал, ел дыни, валялся со счастливо купленной тоненькой книжкой «Собачье сердце» на кровати, неспешная местная жизнь, больше не тревожа, текла мимо. Сотворивший такой переполох студент не появлялся, по слухам, отец задал ему большую трепку. Ольга выздоровела и заняла свое место на кухне. Каждый вечер заходил Абдурахман с сыном на руках, и они каждый раз медленно гуляли до его дома. Сияли близкие южные звезды, ночь дышала глубиной, начинался и легко дул свежестью прохладный ветер. Когда Игорь собрался уезжать, Абдурахман подарил ему большую книгу «Памир». И друзья как следует врезали кальвадоса, который, судя по печальному Ремарку, пили только хорошие герои, и который, кроме Германии, в изобилии водился лишь в ста километрах от Душанбе.

— Вот, — Абдурахман размахнувшись, наискось расписался на книге, — помни! Все ходишь, вглядываешься.... Думаешь, три месяца пожил, мой народ узнал? Думаешь, этого достаточно? — И неожиданно тревожно добавил. — Эх, знать бы, как еще все повернется.

Марк Марченко

К истокам

Рассказ

До сих пор удивляюсь, как же получилось, что я не сразу его узнал. На столике передо мной лежал свежий номер The Economist, черный блокнот с ручкой из красного дерева (вырезана вручную мастером из Йоркшира), поцарапанный в трех местах айфон и алюминиевая бутылочка с водой. Поезд уже трогался, плавно закрадывая приятное, тягучее ощущение путешествия, как слева от меня в проходе появился джентльмен — в безупречном сером костюме-тройке, азиатские черты лица, с аккуратной французской бородкой.

— Позволите?

Я не возражал, и он расположился напротив меня. На сиденье рядом он положил небольшую кожаную сумку-саквояж, а в левой руке продолжал сжимать трость с серебряным набалдашником в форме человеческого черепа. На пальцах — перстни, хромированные, по три на каждой руке — снова черепа и один черный дракон, который делал два оборота вокруг указательного пальца. При этом на джентльмене была белая рубашка, строгий темно-бордовый галстук и очки в роговой оправе, как у какого-нибудь топ-менеджера лондонского рекламного агентства.

И самое главное: его лицо сразу показалось мне знакомым.

Поезд медленно тронулся. Я взлохматил волосы, вежливо улыбнулся попутчику, открыл журнал и постарался погрузиться в чтение. Путешествие по железной дороге успокаивает: даже сейчас, когда у меня в голове после командировки по северу Шотландии горланил хор подвыпивших горцев, которые аккомпанировали себе на расстроенных волынках, я все равно мог ощущать приятную меланхолию.

Через некоторое время украдкой взглянул на попутчика: тот облокотился на спинку соседнего сиденья и блаженно наблюдал за пасторальными пейзажами за окном, видимо, наслаждаясь тем же состоянием, что и я.

Он перехватил мой взгляд — неужели догадался о бесплодных попытках вспомнить его? — вежливо кивнул и спросил:

— Вы едете в Лондон?

— Да, — кивнул я. — Вы тоже?

— Мне нужно на поезд до Кембриджа от King's Cross.

Я изобразил вежливое удивление, сообщил, что моя жена училась в Колледже Магдалины, и поинтересовался, связана ли его поездка с работой.

Марк Марченко родился в Москве, окончил Московский университет им.М.А.Шолохова, факультет «Европейские языки и культуры». Учится в магистратуре Эдинбургского университета, пишет литературные эссе и прозу на русском и английском языках. С 2017 года является автором литературного блога «Вам, чтецам». Печатался в журнале «Вестник Европы». Живет в городе Эдинбург, Соединенное Королевство.

— Можно выразиться и так, — уклончиво сообщил он. — Мне нужно встретиться с одним студентом, чьи... исследования совпадают с областью моих профессиональных интересов. Но что же ваша жена? Довольна своим образованием?

— Она математик, писала диссертацию по большим числовым данным в современных методологиях шифрования, занималась исследованиями, но потом финансирование закончилось, и она оттуда ушла. Мы познакомились уже когда она перешла работать в консалтинг, — жизнь в хорошем районе Лондона обходится недешево, — я пожал плечами. — Зарабатывает сейчас больше меня.

— Ваша жена большая молодец, это серьезная область, — отозвался мой собеседник, бросив еще один взгляд в окно, и будто на мгновение о чем-то задумался. — Мы подъезжали к платформе для короткой остановки. — Простите меня, я не представился — Хироши, — он протянул мне руку.

Хироши... что-то мелькнуло у меня в голове и тут же снова пропало.

Я пожал его руку:

— Арчи.

— Приятно познакомиться, — кивнул мне Хироши. — А чем вы занимаетесь, если не секрет?

— Я журналист, — и почему-то махнул при этом в сторону журнала на столе, чем явно себе польстил, хотя и у нашего издания была немаленькая аудитория. — Пишу для еженедельника о бизнесе и науке, собственно, возвращаюсь из недельной командировки, делал репортаж о прорывах в области натурального хозяйства.

— О, это очень интересно! Приятно видеть, как мы возвращаемся к истокам, не так ли?

Я согласился. Внимание наше привлекло происходящее на платформе, у которой мы остановились: с другой ее стороны, окутанный легкой дымкой, стоял футуристичного вида темно-синий локомотив. Обтекаемый хромированный кузов плавно переходил в кабину (я мог разглядеть, как машинист пьет кофе из белоснежной маленькой чашки и поглядывает в Таймс) и затем в крытый тендер с золотистыми буквами LNER на боку. Спереди сверху была едва заметная труба, из которой сейчас выходил почти прозрачный пар.

— Красота, не правда ли? — Хироши тоже обратил внимание на паровоз. — Это Mallard, легендарный паровой локомотив. В 1938 году он установил мировой рекорд по скорости — сто двадцать шесть миль! Долгое время стоял в Йоркском музее, а теперь, после реставрации, снова перевозит пассажиров, — сказал он с такой гордостью, будто лично приложил к этому руку.

— Смотрю, вы здорово в этом разбираетесь! Я люблю путешествовать по железным дорогам, мне нравится это ощущение приключения, дальней дороги — наверное, что-то из детства, но я, конечно, ничего не понимаю в поездах. Разве паровозы не загрязняют окружающую среду?

— Это современный паровоз, — уточнил Хироши. — Он по-прежнему использует уголь и воду для создания тяги, но за счет новых моторов коэффициент полезного действия получилось увеличить в три целых и семь десятых раз, почти как у дизельных локомотивов! Маллард сейчас может разгоняться до ста шестидесяти миль в час, хотя, конечно, больше ста десяти он обычно не идет — все ради комфорта пассажиров и экономии топлива. Взгляните на кабину: раньше там должны были находиться еще три человека, которые работали с углем и регулировали подачу воды через клапаны. Сейчас с этим справляется один помощник машиниста. Маллард идет по маршруту от Йорка до Абердина, и ему больше не нужно дозаполнять баки с водой во время остановок в Эдинбурге или Дарэме — а это двести двадцать пять миль. Да что там, он и триста спокойно пройдет на своих пяти тысячах галлонов. Наши электродизельные японские Азумы, конечно, тоже хороши, но это обычные поезда, паровоз же — романтика, многие только ради этого готовы купить билет и потратить больше времени на дорогу.

Хироши... черт, где же я его видел, откуда... Я почти ничего не смыслил в пользе и вреде парового транспорта, но продолжал внимательно слушать — не наведет ли он меня на нужные воспоминания. Хироши продолжал:

— Вот и получается, что благодаря паровозам все больше людей отдают предпочтение железным дорогам. Экология — только одна сторона медали. Вы ведь слышали, что говорят, будто самолеты безопаснее всего?

Я кивнул.

— Авиакомпании любят говорить, что шанс попасть в авиакатастрофу — один к одиннадцати миллионам или что-то вроде того. Обычно никому не удается быстро представить эту цифру в голове, и нам просто кажется, что шансы настолько невелики, что не стоят того, чтобы о них задумываться. Но ведь это не так. У вас нет аэрофобии?

— Нет, не страдаю.

— Отлично, тогда я, с вашего позволения, объясню, что я имею в виду. Вот как раз лет десять назад The Economist озвучивал шансы, равные одному к пяти целым четырем десятым миллиона. Это, конечно, тоже очень мало — получается, что шанс попасть в авиакатастрофу равен ста девятнадцати сотым миллионных процента. Если будете летать каждый день — то один раз в двенадцать тысяч сто двадцать лет. Но ведь это фикция! Мы редко летаем только в одну сторону — значит, нужно считать шансы, отталкиваясь как минимум от двух рейсов, и тогда у нас получится уже сто тридцать пять тысячных процента. Если вы летаете хотя бы раз в месяц, то в период между двадцатью и сорока годами шанс попасть в авиакатастрофу равен восьмидесяти восьми тысячным процента — как вам? Почти девять сотых! Простите меня за сравнение, но это в пятьдесят семь раз вероятнее, чем собрать роял флэш во время игры в техасский холдем. А если вы хоть раз попадете на рейс, на котором эксплуатируется самолет старше трех лет и который не прошел должного обслуживания или же у которого уже случалась поломка, пусть даже на взлетно-посадочной полосе, то шансы тут же увеличатся минимум в сто пятнадцать раз, и это мы не говорим о трансатлантических перелетах.

И тут я вспомнил.

— Не может быть, — проговорил я, уставившись на своего собеседника. — Это же вы! Кембриджский эксперимент, восемь лет назад. Я писал про вас свой первый репортаж, еще для студенческой газеты. Хироши Такагава!

Хироши, не договорив, с любопытством взглянул на меня, закинул ногу на ногу.

— О, вы, наконец, вспомнили! Очень приятно.

— Каковы шансы встретить вас здесь, вот это вопрос!

Я уже не сомневался, что Хироши мог назвать точную цифру, так что поспешил его остановить:

— Вы бы знали, как я хотел взять у вас интервью! Но про вас писали крупные издания, а потом все быстро забылось, да еще и трагичная смерть вашего коллеги. Когда я стал профессиональным журналистом, про вас уже было ничего не раздобыть.

— Да, строгой секретности не соблюдалось, но спустя некоторое время ситуация... перестала быть актуальной, скажем так, и я решил до поры воздержаться от общения с прессой.

Все, что я знал о судьбе Хироши и его коллег, я почерпнул из газет и новостных сводок. Секрета из этого действительно не делали, вероятно, чтобы журналисты не охотились за утечками информации. Когда кажется, что тайны нет, никто не рвется приоткрывать завесы.

Тем временем наш поезд тронулся, оставив блестящий Маллард в эффектных клубах пара позади. Хироши разрешил мне записать наш разговор.

Прошло почти десять лет с тех пор, как он и еще несколько ученых согласились на проведение эксперимента, который позже назвали в честь университета, на базе которого его ставили. Первоначальная цель, которую преследовали его спонсоры, стара, как и все людские пороки: власть. Но если ницшеанцы пытались достигнуть ее путем выведения мифического сверхчеловека, то наука пошла по другому пути. Серьезные манипуляции с человеческим геномом до сих пор запрещены сразу на нескольких уровнях почти во всех цивилизованных странах, поэтому было решено разгонять возможности мозга с помощью нейрохирургического вмешательства. Я не

силен в специальной терминологии, но работает это примерно так же, как и «разгон» мощности стационарного компьютера — когда я учился в школе, мы проделывали подобные трюки в надежде поиграть в самые новые игры, для которых требовались более дорогие процессоры. Разгонять компьютер можно было двумя путями — поставив в него новое «железо», или же постараться отключить программные ограничители, которые не давали машине выйти на пиковую мощность и продлевали таким образом ее срок службы, страхуя от перегревов.

Хироши был инженером-математиком и специализировался на теории вероятности и статистических погрешностях, а в эксперименте принимали участие как специалисты-психологи и медики, так и исследователи в области точных наук.

— Когда мы поняли, как увеличивать продуктивность определенных зон головного мозга путем отключения естественных ограничителей, нам понадобились подопытные, — продолжал он свой рассказ под размеренное постукивание колес. — Я оказался первым успешным результатом такого вмешательства в человеческий мозг. Конечно, я и раньше отлично считал и помнил наизусть все фундаментальные для моей дисциплины теоремы и уравнения, но сильно ограниченная рабочая память не давала ни мне, ни другим талантливым исследователям проводить вычисления, на которые мы теоретически были способны.

В результате операции Хироши оказался обладателем модифицированной дорсолатеральной фронтальной коры головного мозга, области, которая отвечала за быструю, или оперативную память. Врачебной практике были знакомы отрицательные последствия ее неправильной работы: человек не может производить в уме простейшие вычисления, забывает числа из нескольких цифр, не может выучить алфавит, испытывает проблемы с ориентацией в пространстве — может потеряться даже в квартире.

— У меня же все наоборот, — сказал Хироши. — Числа, даже те, запись вычисления которых заняли бы несколько страниц, вспыхивают в моей голове как зажженные фальшфрейеры. И больше никогда не гаснут. Задача, для которой хорошему математику понадобилась бы широкая доска, три куска мела и целый день напряженной работы с перерывом на быстрое посещение университетской столовой и уборной, мне дается на раз. — Хироши щелкнул средним и большими пальцами. — Я провожу многомерные вычисления байесовских вероятностей и значений дисперсий вероятностей тысяч и тысяч зависимых событий, одновременно интерпретируя характер логических связей между ними в уме за пару мгновений. Для простейших калькуляций мне достаточно оперировать всего несколькими сотнями числовых значений, но для большинства расчетов условных вероятностей я работаю одновременно с сотнями тысяч чисел.

Не нужно быть математиком, чтобы понять, насколько нереалистично это звучит. Я сидел с открытым ртом, стараясь не забывать записывать за Хироши. Этого раньше никто не рассказывал. Публика знала только, что благодаря операции он смог очень хорошо «считать» и что-то там «прогнозировать».

— И дело совсем не в том, что я просто могу очень хорошо считать или «прогнозировать», — продолжил Хироши. — Дело в том, что я могу проводить вычисления определенного характера, интерпретация которых дает нам возможность познать окружающий мир, то, как вещи взаимодействуют в нем на принципиально ином, ранее недоступном, невообразимом для обычного человека уровне.

Хироши — самый чуткий из всех моих собеседников, которых я интервьюировал — сделал паузу, пока я дописывал последнее предложение. Я поднял глаза — он наблюдал за мной, приглашая, наконец попытаться догадаться о том, что он имел в виду.

— Вероятности, — пробормотал я. — Могу предположить, что вы можете отлично играть в покер или, например, на бирже. О, вы можете без труда разбогатеть, если начнете заниматься инвестициями — вы оцените, кто имеет самые высокие шансы на рост акций, просчитаете все возможные риски и идеальным образом распределите инвестиционный портфель.

Я также предположил, что большинство бытовых вопросов, которыми мы задаемся изо дня в день, для него банальны и скучны — он мгновенное знает ответ.

Ждать автобуса или пойти пешком? Хироши тут же может просчитать вероятность поломки, затора на дороге или аварии с учетом того, что он знает о предыдущих поломках или происшествиях на дороге, эксплуатации двигателей и сознательности ремонтной бригады, статистики плотности трафика в определенное время суток и при определенных погодных условиях. Если ему хоть раз доводилось ознакомиться с данными о качестве дорожного полотна на определенном участке, он может тут же посчитать вероятность того, что автобус угодит колесом в яму или из-за износа покрышек потеряет управление на повороте. Или вот: стоит ли беспокоиться, если вдруг заболела поясница? К услугам Хироши список из сотен причин болей в пояснице, которые он тут же может ранжировать по серьезности их последствий и вероятности их возникновения в зависимости от своей истории болезни и симптоматики, и еще сотни внешних факторов, а одновременно с этим просчитать вероятность того, насколько точным с учетом этих данных может быть диагноз врача и к чему может привести тот или иной метод лечения.

С такими способностями он уже не мог смотреть на повседневную реальность так же, как и другие люди. Хорошо это или плохо — другой вопрос. Мне не дано понять, делает ли это его жизнь многомернее или лишает ее доли очарования и загадки. Был у меня и еще один вопрос.

— Но, Хироши, как это применять на практике для решения каких-то действительно важных вопросов? Или же все это было сделано только ради научного поиска? Такие дорогостоящие исследования, вы сами говорите, даже жертвы... Не подумайте, я ничего не имею против, я и сам изрядно любознателен, но...

— Я понимаю вас, — улыбнулся Хироши. — В конце концов, это очевидный вопрос. Увы, некоторые детали я озвучить не смогу.

Увидев мое разочарование — еще бы! — он поспешил продолжить.

— Но могу привести небольшой пример, который, вероятно, поможет задать вашему пытливому уму правильную траекторию. Позвольте, — он указал на мой блокнот и попросил листок бумаги и ручку. Затем, полуобернувшись, прикрыл мне обзор, написал несколько слов, сложил листок в несколько раз и, положив ручку, вернул его мне. — Прежде чем посмотреть, что там написано, представьте, пожалуйста, такую ситуацию: вы возвращаетесь вечером домой и обнаруживаете, что ваши друзья устроили в вашу честь вечеринку — вы совершенно забыли о поводе и приятно удивлены такому сюрпризу. Какой первой фразой вы выразите свое удивление, что вы воскликнете? Не думайте, просто скажите.

Я поторопился с ответом, чтобы сохранить чистоту эксперимента.

— Вероятно, я скажу что-то вроде ‘oh my goodness!’

Хироши улыбнулся.

— Разверните листок.

Внутри четким, уверенным почерком было написано: ‘oh my goodness’.

Я посмотрел на Хироши. Кажется, я начинал понимать, к чему он клонит.

— Не хочу утомлять вас деталями, но пусть этот простейший фокус послужит своего рода ответом на ваш вопрос. Вкратце: в английском языке существует около полусотни выражений, которыми можно было бы воспользоваться в ситуации, которую мы с вами представили. Я слышу, что вы с юга Британии — вы будете выбирать не более чем из двух десятков фраз. Ваша жена училась в Кембридже и работает в престижной компании, и при этом решилась выйти за вас замуж — значит, несмотря на ваш растрепанный вид и признание в том, что вы зарабатываете меньше, чем она, вы все равно стоите как минимум на той же ступеньке классовой лестницы, что и она. Это оставляет нам не более десятка выражений. У вас на шее нет крестика, поэтому я не могу сказать с полной уверенностью, верующий вы или нет, но судя по тому, что вы носите старую фамильную печатку на пальце правой руки, а также не забываем о вашей жене и социальном статусе, я бы дал чуть больше девяносто одного процента вероятности, что вы как минимум выросли в семье, в которой соблюдали основные социально-религиозные традиции, например, не произносить имя Господа напрасно. Так что вряд ли у вас есть привычка говорить ‘oh my God’. Так, остается всего три или

четыре варианта, и с учетом еще некоторых факторов варианту, который вы озвучили, я присудил около семидесяти девяти процентов. Я рискнул и записал на бумаге именно его. Примерно в одном случае из пяти я бы не угадал — но, как видите, сейчас мне повезло.

Все еще держа в руках листок с написанным на нем пророчеством, которое исполнялось с вероятностью в семьдесят девять процентов (или один к 4.76190476), я боролся с желанием задать вопрос, на который, конечно же, не смог бы получить прямого ответа. В этот момент я ясно представил себе человека (он сидел передо мной), который может вычислить не только то, какой вопрос я сейчас в итоге озвучу, но и, например, то, как и когда с наибольшей вероятностью наступит конец света.

Не спуская с меня проницательного взгляда, Хироши ответил.

— Да, это и в самом деле непросто, быть способным присуждать вероятности ответам на *такие* вопросы. Несколько моих предшественников не справились с психологическим давлением ответственности, которую накладывают подобные знания. Что касается меня... Вам знаком четвертый принцип Нюрнбергского процесса? Даже если вас принуждают к совершению чего-то противоправного, до тех пор, пока вы в состоянии сделать сознательный выбор, именно вы несете за него ответственность. Меня так воспитали — я ценю жизнь и не могу не восхищаться тем, что у меня есть честь носить имя своего отца. Я не могу его опозорить, сознательно лишив себя этой чести. В какой-то момент руководство эксперимента осознало, что им был нужен такой человек, как я.

Сложно было сказать, что Хироши испытывал по этому поводу. Выражение его лица оставалось непроницаемым, и, вероятно, он даже не беспокоился о том, что может себя выдать: шансы на то, что я пойму больше, чем он готов мне рассказать, известны даже мне. История Хироши, по-крайней мере известная общественности ее часть, заканчивалась спустя несколько лет после того, как эксперимент оказался успешным. Именно тогда пресса смогла о нем написать. В течение какого-то времени он работал в ООН и консультировал лидеров нескольких стран по вопросам внутренней и внешней экономики и охраны окружающей среды. Потом срок его службы подошел к концу.

Наш поезд миновал ближайшие пригороды Лондона, и разговор пора было заканчивать. Я горячо заверил Хироши в том, что для меня было честью так неожиданно встретиться с ним, а для нашего издания будет честью опубликовать наш разговор.

— Я первым делом направлюсь в редакцию, — сказал я, — все аккуратно перепишу и отправлю в верстку. Не терпится поделиться с читателями.

— Разумеется, — с загадочной улыбкой ответил Хироши, слегка мне поклонившись.

Весь текст до предыдущей точки, как он есть, я в спешке отправил в верстку, чтобы успеть опубликовать его в субботнем номере. Выход совпал с возвращением моей любимой из рабочей поездки, и утром я с торжествующим видом положил перед ней свежий номер журнала с моим именем на обложке и будто бы небрежно снятой (впрочем, так оно и было) фотографией Хироши, который сидел в поезде напротив меня.

— Я когда-то тебе о нем рассказывал. Оказывается, там все намного сложнее. У меня было мало времени, но все равно это сильный материал. Выяснилось, что он не просто математик, он специализировался на теории вероятности. Прочитай, скажи, что думаешь.

Шарлотта сделала глоток кофе, аккуратно поставила нарочито грубо обработанную глиняную кружку на бамбуковую подставку и погрузилась в чтение. Мне не хотелось ей мешать, и я, напевая слова старой известной песенки о невероятных совпадениях в зачарованном лесу, отправился в гостиную дочитывать статью о прекращении добычи нефти из месторождения Брент.

Шарлотты довольно долго не было слышно, но, когда она меня позвала, ее голос звучал очень обеспокоенно. Я вернулся на кухню и застал ее с инженерным калькулятором и блокнотом в руке. Журнал был раскрыт на последней странице.

— В чем дело?

— Арчи, он знал, что я прочитаю это? Он знал, кто я?

Я машинально начал соображать, в чем могла быть проблема.

— Я сказал, где ты училась и где ты сейчас работаешь. Мы просто как-то невзначай заговорили о Кембридже и о наших профессиях. Вероятно, он мог сделать какой-то вывод о твоих способностях. Ну а то, что ты прочитаешь... Наверное, нетрудно было бы об этом догадаться.

Шарлотта изучала мой взгляд. Мне стало неловко.

— Да в чем же дело? Что стряслось? Что-то не так?

Она поманила меня рукой.

— Видишь, вот здесь у тебя приводится статистика и потом вычисления. Это же ты с его слов записывал?

— Да, я ничего не менял.

— Вот тут неправильно.

Кажется, зачарованный лес насмехался надо мной.

— Как такое может быть? Нет, подожди, не это... как ты думаешь, кто-нибудь заметит? Или нет, стой. Какое это отношение имеет к тому, где ты училась?

Шар посмотрела на меня, утвердительно покачав головой. Теперь я задал правильный вопрос. И тут она убрала руку со своих записей — круговорот чисел, а под ними — буквы.

— Не думаю, что многие обратят на это внимание, а если обратят — подумают, что редактор что-то напутал. У тебя не финансовое издание, не трагедия. И вряд ли найдется еще много людей, которые, как и я, начнут искать в этом какой-то смысл. Но для меня это стандартный тест на внимательность — я работаю там, где принято постоянно жонглировать цифрами. На автомате.

Я был весь внимание. Шарлотта продолжила.

— Ошибки сделаны вот здесь, посмотри: он объясняет, как посчитать гипотетическую вероятность авиакатастрофы и отталкивается от вероятности один к пяти целым четырем десятым миллиона. Но дальше, когда он производит простейшие вычисления — простейшие для него, а мне просто сразу видно, что там что-то не так — он называет неверные цифры. Вот тут должно быть не сто девятнадцать, а сто восемьдесят пять. Потом, здесь же — не двенадцать тысяч сто двадцать, а четырнадцать семьсот девяносто пять. Но если ты пропустил неточность в первом вычислении, то второе ты уже проверять не станешь. И вот, дальше: сто тридцать пять вместо ста тридцати семи, если считать с самого начала правильно.

— Но самое удивительное, что он не мог ошибиться, — перехватив мой недоверчивый взгляд, сказала Шарлотта. — Потому что финальная цифра, к которой он приходит — восемьдесят восемь тысячных — правильная. И нет ни единого сомнения в том, что ошибки он сделал специально, держа в уме настоящий результат, а в середине просто изменил цифры так, как ему было нужно.

— Не может быть.

— Если не считать нули в начале, числа, в которых намеренно сделаны ошибки, состоят из следующих цифр: 11912120135. Знаешь, как работает элементарный односоставный шифр? Каждой букве алфавита соответствует своя цифра. Счет начинается с нуля или с единицы, тогда нуль может обозначать пробел. Двузначные числа приходится проверять вручную, но это делается простым перебором — чаще ты сразу понимаешь, где используется двухзначное число, а где нет. И теперь смотри, — она убрала ладонь с листка бумаги и подвинула его ко мне. — Счет с единицы. В начале явно не может быть двух *a*, потому что нет слов, которые начинались бы с *aai*. Значит, первые две буквы — k и i. Потом два раза двенадцать, пробел, тринадцать и пять.

Я взял ручку, начал считать и записывать оставшиеся буквы. Дописал. Передо мной лежал листок бумаги с круговоротом чисел, а под ним — буквы. А внизу было написано два слова: ‘Kill me’.

Я бросил ручку и посмотрел на Шарлотту. Ей было страшно. Восемь лет молчания никому бы не дались легко. Я сел напротив и приготовился выслушать вторую часть истории.

Анатолий Николин

De profundis

Два эссе

Последние дни

«И что будто это порождение последних дней...»
Ив.Бунин

«Я — вне времени. Во времени мое тело».
Б.Хазанов

Ночь безмолвная, темная, неподвижная. Не ночь, а глухая, окаменевшая река.

Встаю с постели и смотрю на часы: они тикают на принтере, куда я их поставил, чтобы поглядывать на них ночью. Стрелки показывают около четырех утра**.** Точнее сказать не могу, катаракта не позволяет. Отдаленные хлопки минометной пальбы стихли так же внезапно, как и начались, и до рассвета теперь будет спокойно...

Бреду в кухню, чтобы выкурить трубку. Точнее, сделать вид, что курю. Курить мне запретили доктора лет двадцать назад, так что вместо вдыхания табачного дыма я довольствуюсь его имитацией. Посасываю пустую трубку, наслаждаясь ее сипением и едва различимым (с возрастом становится недоступным все, даже запахи) ароматом пахучего болгарского табака. Собственно, с этой целью я и встал. И вставал уже не раз на протяжении этой ночи. Сколько именно — не знаю, не пересчитывал. Мои ночные пробуждения ни о чем не расскажут, не поведают глубоких истин, не заставят задуматься. Они живут сами по себе, как и я — сам по себе...

В первый раз я поднялся с кровати в одиннадцать часов. В это время и началась артиллерийско-минометная дуэль между *теми* и *этими.* Я не знаю, кого мне следует называть нашими, а кого — не нашими. Обе враждующие стороны напоминают вывернутую наизнанку одежду: с виду она разная, а на деле одно и то же. И так же равнодушно жду, когда одни одолеют других...

... А потом уже и не помню, сколько раз, кряхтя и вздыхая, я покидал надоевшую постель, чтобы не отлежать бока.

Много...

Николин Анатолий Игнатьевич — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1946 г. в Екатеринбурге. Окончил филологический факультет Донецкого государственного университета. Публиковался в журналах «Москва», «Новый журнал», «Слово\Word», «Белый ворон», «Крещатик», «Семь искусств». Лауреат Литературной премии им. Марка Алданова (2015, 2017). Лонглистер Бунинской премии (2016). Живет в Мариуполе (Украина).

Чтобы разнообразить бессонную жизнь, я завариваю на кухне чай. Он получается то чересчур крепкий, то слишком слабый — все зависит от того, сколько порошка насыплешь спросонья в чашку. Равнодушно и неаккуратно. Не особенно беспокоясь, что после чая спать будет совсем невмоготу. Бессонница меня тоже не волнует, я давно не сплю по ночам. Когда перевалил за пятый десяток, не досыпал сначала час, потом другой. А с началом войны сон и вовсе ушел из моей жизни. Подремлешь с вечера часок по-куриному и всю ночь бодрствуешь, настороженно прислушиваясь к уличным шумам. Все как-то незаметно, естественно пришло. Из фанатичного любителя сна, каким я помню себя в молодости, превратился в странное, лишенное сна существо. Почти лунатика. Так что «оставь надежду всяк сюда (то есть — в старость) входящий...»

Прихлебывая чай, я поглядываю из-за кухонной занавески на пустую заснеженную улицу, там бодрствует один лишь фонарь на углу. Он освещает белые заснеженные крыши и безлюдную, аккуратно прочерченную проехавшим броневиком улицу — на ней чернеют следы его шин, закругляющиеся на повороте. Броневик патрульный. Различаю его высокую допотопную башню с расчехленным пулеметом, все его угловатое железное тело...

Броневик проезжает, посвечивая сигнальными огнями, и исчезает за поворотом.

Ночное спокойствие улицы меня возмущает. Хочется, чтобы зима была как зима: мела метель, и фонарь на перекрестке отчаянно раскачивался на ветру. В такие вечера я любил гулять по пустому, занесенному снегом городу. Прислушиваться к вою метели и с тоскливой радостью наблюдать, как засыпает снежной пылью ветхие крыши. Город зимою выглядит старым, глухим, уездным. И сам я живу не в двадцатом веке, а двумя столетиями раньше. Во времена князя Андрея и Пьера Безухова, Николая Ростова и княжны Марьи. А что удивительного? Город, в котором я прожил без малого всю жизнь, основан в 1778 году при императрице Екатерине Алексеевне. Персонажи Толстого — современники Александра 1, ее внука, эпохи совсем близкие. Как прекрасен у Толстого зимний вечер на Святках! Молодежь Ростовых, переодевшись ряженными, усаживается в широкие сани и тремя тройками, с криками, смехом и звоном колокольчиков оправляется колядовать к соседям Мелюковым.

Ночь тихая, морозная, как сегодня, и *«... как только выехали за ограду, алмазно-блестящая, с сизым отблеском снежная равнина, вся облитая месячным сиянием и неподвижная, открылась со всех сторон»*. Снег похрумкивал под сапогами Николая, когда он соскочил с саней и побежал, чтобы пересесть в другие. Хрустел он и под моими ботинками, когда я возвращался, озябший, ночью домой после затянувшейся прогулки. И, придержав шаг, остановился у соседнего особнячка. Того самого, возле которого теперь сияет уличный фонарь. В ту пору фонари были другие: сдвоенные, закрепленные на крепких ажурных кронштейнах, и свет они лили тусклый, колеблющийся. Фонарщик гасил их каждое утро специальным приспособлением, а вечером зажигал снова...

Почему раньше было так хорошо, а сейчас так плохо?

Сердечная стезя моя все время уклонялась в сторону. Не на прямую дорогу жизни, а вглубь и назад. Только там, кажется, она и была возможна. Вероятно, оттого, что живу я в старом-престаром городе, среди домов, построенных «за царя Панька» — XVIII век... первая половина XIX... Когда-то это был маленький уездный городок — один из множества русских городков, описанных Чеховым и Буниным. Меня это обстоятельство поражало: их уже нет, и старой России нет. И новой — моей — тоже скоро не станет. А в городке все осталось, как было при них, во время их жизни.

Чувство странности, когда прошлое совмещается с настоящим, обуревало и того же Бунина. Особенно остро он его испытал во время путешествия в Святую землю. Муромцева вспоминает, как они наблюдали в Назарете местных женщин в длинных рубашках, наполнявших кувшины водой из древнего фонтана.

Ничего здесь не изменилось, — сказал Бунин. — Вот так же и Божья Матерь набирала здесь воду...

А на домик Иосифа смотрел с глубокой грустью: не дом, а жалкая конура. Все осталось, как было при Нем — ветхая кровля, низкий порог, темный проем вместо двери...

Так и у меня. Тихие улицы, дома, переулки... Все из прошлого, далекого или близкого. Я их любил безумно и устраивал ночные туры «в поисках утраченного времени». Они будоражили воображение, томили душу. Словно обещали сокровенную мысль, открытие. А ведь до них нужно было дожить, докопаться!

Это были улицы — целые кварталы! — кривые или ровные, застроенные домами большими и малыми, дорогими кирпичными и дешевыми саманными. На одном красуется в мезонине круглое итальянское окно, собранное из разноцветных стекол. На ветхом фасаде лепные фигурки: Геракл с палицей, женщина в хитоне. Кто она — Мегара, Деянира, Геба? Выхватываю из памяти древние женские имена, не помня, чем эти дамы занимались, чем прославились, кроме того что делили ложе с Гераклом. Память, знания, эрудиция — такая же зыбучая вещь, как песок, вздуваемый ветром. Они утекают, растворяются в кислоте времени, и не остается от них и следа. Можно ли считать состоятельным человека, обладающего столь эфемерным богатством?

Но мне приятно, что от дома, где расположена скромная часовая мастерская, отдает глубокой, почти античной стариной. Прошлой, окаменевшей, как древняя водоросль, жизнью. По мелким деталям фасада я восстанавливаю ее облик. Мне нравится, что дому присущи черты вечности, это единственный способ сохранить личностную цельность. И можно совсем отказаться от Времени. Его нет, оно — иллюзия. А значит, я тоже вечен, как эти итальянские стекла или Геракл со своей палицей. Как дом Иисуса с кривым крыльцом и низким входом...

Вот соседний (теперь уже не «наш», а российский) Таганрог — я часто туда приезжал в выходные дни, чтобы сравнить, сопоставить его с моим родным городом. Благодаря тому, что он лучше сохранился, воздух уездной старины здесь чувствуешь острее. Долго стою перед домом Ионыча. Он отлично выглядит со своей старинной лепниной и зелеными эрмитажными стенами. Кажется, вот-вот подъедет к крыльцу экипаж, запряженный сытыми лошадьми, и доктор Старцев, сопя и крякая, опустит на землю тяжелое, разжиревшее тело...

У входа, пожалуй, не хватает арки на случай дождя. В моем городе есть точно такой же древний дом, с похожей архитектурой. Но у нас от крыльца до бывшей когда-то булыжной мостовой протянут железный навес на витых металлических столбиках. Так что в ливень к экипажу можно было подойти, не намочив сюртука...

Типовая архитектура — недостаток не только советского градостроительства. В старину строили точно так же однообразно и безвкусно. Архитектор Нильсен, застроивший своими творениями едва ли не половину нашего города, наверняка точная копия чеховского зодчего Полознева из повести «Моя жизнь». Манерного, вечно повторяющегося и неталантливого. Был он единственным архитектором в городе и за всю жизнь не построил ничего нового. К его творениям привыкли и до сих пор считают их образцовыми, даже экскурсии устраивают...

Безвкусица по прошествии времени обретает черты изящества и благородства. Таков замысел бога Хроноса: всему старому он придает черты совершенства. В Древней Греции и Риме дело обстояло точно так же. И в Иудее, и Вавилоне. Всюду обустраивали и украшали города и жилища по устоявшейся, сложившейся традиции. Недаром в произведениях Чехова и Бунина все архитекторы — халтурщики и бездари, ведь заказчики, как правило, требуют простого и привычного. Бунинский толстовец Каменский говорил про таких: «созидают Вавилон». То есть — место общего греха...

И вот я любуюсь этим «Вавилоном» как высшим проявлением духа. Воистину все тривиальное со временем обретает нешуточную ценность!

Почему так происходит?

Трудно сказать, скорее всего, причина в ностальгии. Она-то и подвигла меня на тоску и воспоминания.

А ностальгия отчего берется? Почему прошлое оценивается по более высокой шкале, чем настоящее?

Я не знаю. Лучшее, что могу выдумать, — припомнить Хайдеггера.

«Когда во мраке зимней ночи вокруг хижины бушует снежная буря с ее свирепыми порывами ветра, когда все окрест застилает снежная пелена, все скрывая от глаз, вот тогда наступает время торжествовать философии».

Это я к чему? Да к тому, что мне опять не спится. За окном глухая зимняя ночь, и вот-вот — так мне кажется, я ее предчувствую — разразится нешуточная буря со снегом и метелью. Не хуже, чем у философа в горах Шварцвальда. Мое воображение тоскливо и настойчиво («... а он, мятежный, просит бури...») призывает ветер и только ветер. В бурю заснеженная улица и мое душевное состояние выглядят драматичнее, чем на самом деле. Вероятно, я боюсь не дожить до весны, до лета. Артиллерийские и минометные обстрелы обычно заканчиваются полноценными боевыми действиями, и жизнь моя, наша, вновь окажется в подвешенном состоянии...

Похоже, я накликаю беду. После небольшой паузы снова послышались орудийные залпы. На этот раз они звучат отчетливее и страшнее. Звонко рокочет крупнокалиберный пулемет, он уверенно вмешался в артиллерийскую перепалку. Это значит — наступление? Или подготовка к нему?

... Ладно, не будем обращать внимания. Все прояснится скоро и — само собой.

Включаю электрочайник и завариваю новую чашку чая. Делаю первый глоток, всовываю в пасть старую, изогнутую отцовскую трубку. Привычно втягиваю щеки... И думаю, что существует взаимосвязь между человеческим самомнением и любовью к трубке. Трубку любили выкурить Хемингуэй и чрезвычайно самолюбивый Сталин. Точно так же ее любил не выносивший чужого мнения мой отец, во всем, даже в деталях одежды старавшийся походить на своего кумира. Каждый вечер, набив табаком трубку и вооружившись красным карандашом, он принимался за изучение какой-нибудь сталинской работы. С нескрываемым удовольствием, как будто курительная процедура возвращала меня в детство, я посасываю наследственную, пропахшую никотином трубку, и вместе с нею возвращаются моя детская чистота и вера...

А еще я помню — ваш автор старый курильщик! — замечательные албанские сигареты «Партизан» и французские «Голуаз». Первые мне довелось курить совсем недолго, пока наши отношения с Албанией не были испорчены по вине Хрущёва и Энвера Ходжи. Это были крепкие сигареты без фильтра, его в ту пору еще не изобрели. С табаком крупной нарезки, ароматным и темным, как гречишный мед. Запах меда не исчезал даже во время курения, чего с другими сигаретами обычно не бывает. После двух-трех выкуренных сигарет подушечки указательного, среднего и большого пальцев покрываются душистыми подпалинами. В течение дня нет-нет да и поднесешь к носу для воздыхания благоухающую горсть, сложенную, как для крестного знамения...

«Голуаз» — я доставал их в морском порту по фарцовке — сигареты, плотно набитые алжирским табаком, черным, как морщины бедуинов или приготовленный ими кофе. Трудно поверить, но я помню времена, когда Алжир был колонией Франции. Во всяком случае, «освободительную борьбу алжирского народа с французскими колонизаторами» запомнил хорошо — я уже с интересом читал газеты и свободно ориентировался в политических событиях.

Примеры «освободительной борьбы» — с убийствами французских поселенцев, насилованием арабами их жен и массовым захватом имущества и земли — напоминали

душераздирающие сцены из нашей недавней истории. В школе нам объяснили причину такой жестокости: алжирский народ ведет справедливую борьбу за национальное и социальное освобождение. Советские юноши и девушки должны любить алжирцев и их лидера Ахмеда Бен Беллу и ненавидеть колонизаторов-французов...

Ненависти к французам мы так и не научились, но бедных свободолюбивых алжирцев полюбили всей душой. Как могут любить чистые, неиспорченные молодые люди — горячо и искренно. Любили далекий, загадочный Алжир, алжирское темное вино, его в изобилии продавали во всех городских забегаловках. И крепчайший африканский табак — символ революции. Я и кофе, очень крепкий и без сахара, любил потягивать под сигареты «Голуаз» или «Партизан». Любовь к мягкому, утонченному чаю пришла позже, вместе с любовью к Лао-цзы и бесконечным, в духе индийских джатак, вариациям на темы жизни и смерти...

...Еще лучше было пить кофе под источавшую сладковато-горький яд первую вечернюю трубку. Раскрыт на столе том Гассенди или Гельвеция, гудит, грохочет за окном ночной ураган, а ты сидишь в тепле, и жизнь сочится медленно и сладко. И оттого, что так далеко, в такую несусветную даль занесла меня память, я волнуюсь, как ребенок. Говорят, в последние дни перед глазами человека проходит вся его жизнь. Мне страстно хочется вернуться к сигаретам «Голуаз» или к набитой свежим табаком отцовской трубке. К ночному кофе — иногда я готовил его по-ирландски, со столовой ложкой водки, превращавшей кофе в тягучий, мучительно-горький напиток. И к урагану с по-зимнему страстно и гневно грохочущей кровлей...

Я никогда не понимал жизнь и людей. С юности до зрелости полагал, что жизнь противоречива и неразумна, как и само существование человека. И радовался, находя подтверждение моим мыслям у Чехова.

«Наше мышление не так невинно, как вы думаете. В практической жизни, в столкновениях с людьми оно ведет только к ужасам и глупостям».

Мне нравится, когда встречаются, сталкиваются, приветствуют друг друга и шумно негодуют сложные, взаимоисключающие состояния. Это наша прирожденная обреченность требует выхода. Мне по душе (я даже не заметил, как оно укоренилось) существование закрытое — жизнь человека в футляре. Хотя в век всеобщей открытости, при отсутствии личных и общественных тайн, такой образ жизни представляется маловероятным. Но он — есть, существует, и таких людей много. Скажу больше: чем свободнее общество, тем значительнее число особей, стремящихся улизнуть от его всевидящей открытости. Человеческие скопища чреваты эпидемиями привычек и грубым выяснением отношений. Насилием и войнами. Бесцеремонным навязыванием сомнительных ценностей и стереотипов. Замкнутость гуманна, безопасна и человечна. Бесконечно ставит один и тот же вопрос, сформулированный Андре Бретоном: «кто я есмь?» Она ставит его, потому что в ответе на него и кроется разгадка человеческой жизни...

...Звуки артиллерийской пальбы становятся все ближе и явственней. Постепенно они смещаются к северу, сливаясь в тяжелый, угрожающий гул. Он нарастает, как будто стремительно несется навстречу тяжело груженный состав.

И внезапно стихает. А еще через полчаса вспыхивает с новой силой. Теперь канонада слышна на востоке, в районе Широкино. Этот большой, бывший когда-то богатым, рыбацкий поселок за два года войны разрушен и разграблен. Севернее от него поселок Коминтерново — бывшее греческое село Пикузы. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, там еще теплится жизнь. Тут-то, между Широкино и Пикузами, и развернулось настоящее сражение. Бои идут за овладение высотами на

подступах к Мариуполю. Из Широкино город просматривается как на ладони — его гигантские заводские трубы, высотные здания нового-старого микрорайона «Восточный»... А на противоположной стороне, по трассе Мариуполь—Таганрог село Безыменное — здесь тихо, снаряды сюда не долетают.

Широкино и Безыменное расположены вдоль бывшего пушкинского тракта. Поздней весной 1820 года Пушкин проезжал здесь с семьей генерала Раевского, направлявшейся в Крым.

28 мая поезд Раевских выехал из Екатеринослава и утром 29-го достиг Мариуполя. Морского порта в городе еще не было, и единственный порт на Азовском море, из которого можно было добраться до Крыма, находился в Таганроге.

В Мариуполе путешественники остановились на короткий отдых. Базарная площадь и старая гостиница на ней сохранились по сей день. Долгое время в бывшей гостинице располагалась столовая, мне доводилось там обедать и пить пиво.

Мариуполь в начале XIX века был населен исключительно греками — переселенцами из Крыма. Пушкина они чрезвычайно интересовали, он думал найти в них героев наподобие Ахилла и Патрокла. Но увидел полунищих оборванцев в восточных халатах, говоривших на дикой смеси греческого и татарского языков. «Жалкий народец!» — написал в одном из писем в Россию...

Крушение иллюзий неприятная вещь, но она подключает разум.

О греках античных и современных размышляет в «Дневниках» и Дж. Фаулз. В 1952 году он приехал на работу в Грецию, надеясь (как и Пушкин) увидеть в этой стране древних героев. Но реальность всегда иная, чем в эпических поэмах. Первое, что бросилось ему в глаза, — «ужасный диссонанс между красотой пейзажа и современными греками». Красота природы и некрасота человеческих поступков. «В греческом характере есть что-то грубое, нехристианское. Они своего не упустят».

Точно подмечено, знаю по нашим...

Славные эллины у Фаулза лукавы, суматошны, страшно неорганизованны, ленивы, бессердечны, блудливы (блуд у них заменяет любовь, в этом они подлинные дети античности), напыщенны, корыстны. И тщеславны, как все малые народы. Наши греки, например, пытались отбить у греков таганрогских право считаться родиной поэта Николая Щербины. По материнской линии он греческого происхождения, и вся его родня жила в Таганроге. И сам он жил в этом городе, учился в гимназии. Но родовое имение Щербины Грузско-Еланчинское ближе к Мариуполю, чем к Таганрогу. Вот и называют местные краеведы Мариуполь родиной Щербины. А таганрогские в ответ гордо отмалчиваются: не царское дело дискутировать с невеждами!..

... Несколько часов отдыха, и Раевские с Пушкиным снова в пути. Между Широкино и Безыменным по просьбе Маши коляска сворачивает к морю. Далее местные знатоки отсылают к XXXIII строфе первой главы «Евгения Онегина»: «Я помню море пред грозою...» Судя по стихам, юная Маша Раевская окунула-таки ступни в набежавшую морскую волну, коей влюбленный поэт искренно позавидовал...

В Безыменном росла когда-то дубовая роща, послужившая прототипом волшебного дуба из «Руслана и Людмилы», — в мое время старики показывали место, где она находилась. Азовское море делает здесь широкий полукруг, образуя Таганрогский залив — пушкинское Лукоморье...

Эти места я хорошо знаю смолоду — и Широкино, и Безыменное. Часто приезжал сюда летом купаться. Город переполнен отдыхающими из Москвы, Ленинграда, с Урала и даже из Сибири. Приезжали все, кому доктора рекомендовали теплое йодистое море и целебные грязи. Грязями лечили ревматизм. По городскому пляжу разгуливали странные личности, с ног до головы (и даже с головой!) измазанные засохшей или свежей, синеватого тона, морской грязью. Как черти на празднике Нептуна... Морской водой полоскали носоглотку и набирали ее в бутылки для полоскания на ночь дома...

Народу на пляже — не протолкаться. Раздосадованные местные искали для пляжных утех уголки поукромнее, посвободнее; выезжали на дикие пляжи за город — на запад, в сторону Бердянска, или на восток, ближе к Таганрогу.

Купаться в Таганроге не очень приятно. Пляжи с неплохим чистым песком, но море... Море здесь такое мелкое, что едва доходит до лодыжек. Часами можно брести по мутной, теплой воде, не намочив коленей...

Таганрогский порт тоже не производил впечатления. Жарким августовским днем я бродил здесь в поисках таверны, где сиживал Джузеппе Гарибальди, когда торговое судно, на котором он плавал матросом, заходило в город. В Таганроге во время разгрузки-погрузки моряку делать нечего, только сидеть в таверне и скучать, такой он был маленький и не обильный на развлечения. Вот мне и захотелось взглянуть на это заведение поближе.

Долго плутаю кривыми портовыми улочками. Жара, пыль, чахлые акации... Никакой таверны в этих трущобах нет и в помине, один лишь скромный памятный знак. А на холме — огромный, в духе Зураба Церетели, памятник Петру 1. В одной руке у императора свиток (карта?), а в другой — подзорная труба. Пристально и недоверчиво он вглядывается в бескрайнюю морскую даль. А даль перед ним абсолютно пуста. Море, как и у нас, бледно-синее, бликует золотом и серебром...

Торговый порт тоже пуст и безжизнен. На берегу штабеля приготовленного для отправки леса-кругляка и — ничего больше. Людей не видно, привычного портового оживления — тоже. На рейде скучают два-три сухогруза, по виду каботажные. Одиноко покачивается шлюпка, привязанная к свае...

В Таганрог я приехал рано утром, а сейчас полдень. Два-три часа еще можно побродить по городу, а потом надо уезжать. Ночевать здесь я не собираюсь. Предпоследний автобус уходит в семь вечера, важно на него не опоздать. Потому что последнего, в девять, может и не быть. Рейс иногда отменяют из-за отсутствия пассажиров — с одним человеком в салоне водитель ехать откажется...

Чем же мне занять оставшиеся часы?

Обедаю в грязной пирожковой на Базарной площади. Она насквозь продувается знойным ветром-левантом, несущим сор, пыль и промасленные бумажки, в которые заворачивают пышущие жаром пирожки. С чеховских времен здесь ничего не изменилось. Те же деревянные лавки — их уже запирают на ночь, сложив крашеные дверцы ставен книжицей и гремя винтовыми замками. Ровные ряды прилавков... Торговки, устало перекликаясь, собирают пустые корзины из-под яблок, груш, малины. Тянет жирным запахом свежевыловленной тарани, мужик в распущенной рубахе торгует последними арбузами с земли — теплыми, вялыми. Их уже не берут, но мужик не сдается, отчаянно зазывает одиноких покупателей: «Арбузы, мамочки, сладкие, астраханские!..»

«Мамочек» — да и папочек — не видно здесь совсем: конец торгового дня. Рынок пустеет. Вот-вот из-за поворота появится толстая фигура надзирающего за порядком Очумелова. Он грозно уставится на потных торговок, на последних покупателей. И, убедившись, что народ расходится по домам, удовлетворенно поправит горячий от солнца козырек форменной фуражки...

Пляж наполовину пуст — к морю в дневную жару местные не ходят. Спускаюсь к нему бесконечной лестницей, обсаженной акациями и уставленной псевдостаринными фонарями. С площадками для отдыха, где к бордюру привалены лавки с гнутыми спинками. Море блещет вдали, как рыбья чешуя. И все вместе — блестящее море, старинные фонари, массивные лавки, желтоватые, из песчаника, плиты покрытия — что-то живо мне напоминают. Что-то старое, чеховское, имеющее отношение к XIX веку, а не к сегодняшнему дню. Как и запахи моря и рыбы, смешанные с духом полыни, пересохшей зелени и чего-то еще, южного, нестерпимо сухого и тонкого.

Лестница, по которой я спускаюсь, и открывающийся с нее вид так похожи на аллею с беседками и скамейками из рассказа «Огни»!

«Я сел на скамью и, перегнувшись через перила, поглядел вниз.. От беседки по крутому, почти отвесному берегу, мимо глиняных глыб и репейника бежала тропинка; там, где она кончалась, далеко внизу у песчаного побережья лениво пенились и нежно мурлыкали невысокие волны. Направо и налево от беседки тянулись неровные глинистые берега...»

Может быть, — думаешь — беседка и есть та самая? Предположение, поначалу отпугнувшее, уже не кажется необычным. Люди приходят в мир, чтобы уйти из него быстрее, чем созданные ими вещи: орудия труда, предметы быта, уличные ансамбли. Как и чеховская лестница. Если подумать, она еще очень молода. И Чехов не так давно здесь жил, гулял, купался в море. В тех же мелких, серебристых волнах, на которые смотрю и я, щуря глаза от нестерпимого блеска. И думаю, как вечен этот мир. И что наше в нем присутствие не так уж обязательно. Всегда чувствовал колоссальную разницу между людьми и миром — он только терпит нас, вежливо и отстраненно. И живет своей, неведомой нам жизнью. Иногда даже кажется, что он — мыслит...

Так и я — живу своей жизнью отдельно от всех. От бойцов двух армий, истребляющих друг друга. От спорщиков в телевизионных дискуссиях, выясняющих кто в этой войне прав, а кто — виноват. Мне видится в их рассуждениях бесконечно тянущаяся словесная и смысловая нить, подобная нити Ариадны. Но в отличие от оригинала она никуда не уводит и ни к чему не приводит. Ни к выходу из Лабиринта, ни к продолжению жизни — светлой и радостной она уже не будет. И залпы орудий близ Широкино подтверждают мое предчувствие: да, говорят они, мы пришли надолго, если не навсегда. Наш удел — разрушать, а создавать — уже без нас — будут другие люди. Мир совсем новый, неведомый, не похожий на тот, о котором с такой любовью вспоминается и поется...

Позабыв о сне, я пью в кухне чай и не думаю о будущем. Вреден для здоровья такой образ жизни или полезен — мне безразлично. Как и длительность моей жизни. Пытаюсь отвлечься от дурных предчувствий, чтобы дотянуть до утра в более или менее смирном состоянии духа. Зимой утро наступает поздно, и можно не спешить. Ни в мнимом моем курении, ни в злоупотреблении чаем — хоть какое-то развлечение в монотонном хождении по кухне.

Андре Бретон поставил важный вопрос: «Кто я есмь?» — возвращаюсь я к старой теме. Только уяснив, кто я — не в мире, а вообще, в мире мы самые разные, — можно продолжать рассуждение до пределов возможного. В пределах нашей сущности. Заканчивает Бретон фразой, приводящей в смущение. В состояние мертвой, тупой покорности: «...чтобы стать тем, кто я есть, мне надлежит прекратить свое бытие».

Вот я его и прекратил. Перестал входить в мир людей. И топтаться среди них, как в грязной, переполненной чужой одеждой и вещами прихожей. Как раньше интеллигенция входила (а потом с трудом из него выходила) в простой народ. Поняли, что заблуждались...

Точно так же и с хождением в человеческий мир: оно — тоже ошибка. И, возможно, фундаментальная. Поскольку искажает мое «я». Будущее — мир одиночек.

А кто, собственно, знает, что такое это «я»? Определить его, сформулировать невозможно. Оно вне атрибуций, причин и следствий. Называют его по-разному: совесть, душа, любовь, смирение. Прекрасное, самоотверженное, дарующее и даруемое... Чем больше определений, тем менее вразумительным оно представляется. И тем большей горечью наполняется сосуд, который никогда не оказывается наполненным...

Твердо знаю одно: то, что мы ищем, лишено тяги к приобретению. Его задача не

брать, а испытывать. Поэтому так враждебен ему внешний мир. Как и внешний мир не испытывает к нему любви и доверия.

Все это довольно голословно, но выразиться иначе мне трудно. Испытываешь то, что редко удается: ощущаешь его во всей полноте, как будто оно лежит у тебя в кармане и, протянув руку, можно его нащупать.

Их обычное бытие не в мысли — по Декарту, — а в действии: я действую, следовательно, существую. В том самом мире, которого еще недавно я был неразличимой и неразделимой частью. В месте, где люди, как выражается бунинский Каменский, «созидают Вавилон». И вместе со всеми я охотно его «созидал» и не скорблю по этому поводу. Не сокрушаюсь из-за очевидной бессмыслицы нашего времяпрепровождения. Меня теперь в нем нет. Я от него в удалении. Выше и дальше, чем предписано человеку. Не он моим, а я кажусь его уделом. В дни наступившего конца — последних дней земной жизни и начала другой, альтернативной. С последними — и скудными! — воспоминаниями о прошлом, случайными, как человеческая жизнь.

Два часа одиночества

«Мы покинули территорию, где пребывали прежде...»
Дж.Кутзее

I

«Нет, все-таки война здесь ни при чем», — подумал я, поднимая с привычным шорохом опущенные после полудня жалюзи: яркое предзакатное солнце косо заливало монитор компьютера, и работать при его свете было невозможно.

Окно комнаты, где я сплю и пишу, выходит на запад, и жалюзи — насущная необходимость. Летом или поздней весной, как сейчас, день длится долго, и света в комнате всегда в избытке. Электричество включаю поздно вечером, когда в сумерках заканчиваю писать или читать и приходит время готовиться ко сну.

Собственно, приготовлениями неспешные мои телодвижения назвать нельзя, все намного проще. Легкое, в течение одной-двух минут превращение дивана в кровать, чистка зубов, избавление от одежды. Короткое — «Спокойной ночи!» — прощание с женой, зависшей в гостиной на очередном телесериале, и в ответ ее тихой ласки исполненное пожелание: «Спокойной ночи, дорогой...»

Не удивляйтесь: спать я ложусь рано, — если, конечно, вас интересуют подробности моего быта. Утром я встаю затемно и с наслаждением отдаюсь неспешному бегу трусцой в сереющем в утреннем воздухе парке. Улицы и парк пусты, как после атаки нейтронными бомбами... ни души.

Одиночество я люблю и предпочитаю его самым интересным видам деятельности. Оно ведь тоже деятельность, и довольно неустанная. Но в отличие от того, чем занимается активное большинство, мои занятия не требуют участия коллектива, массы, пусть даже в скромных размерах. Если бы я родился в другое время и в иных социальных условиях, моей профессией стало бы, вероятно, сапожничество.

В отрочестве мама нередко отправляла меня с визитом к сапожнику с сумкой, полной требующей ремонта обуви. Я входил в маленькую, пропахшую кожей, ваксой и иными сапожными пряностями будочку дяди Виталия на перекрестке двух оживленных улиц. Летом будочка распахнута настежь, а зимою хозяин выдает и принимает обувь в маленьком мутном окошке, и видно, что внутри будка отапливается большой спиральной электроплитой.

Подняв голову, дядя Виталий, рослый детина в черном, заляпанном фартуке, приветливо машет кривым молотком и мычит что-то приветственное: рот у него набит мелкими гвоздями, которые он легко и изящно вколачивает в каблук миниатюрной женской туфельки...

Внимательно и сосредоточенно мастер осматривает каждый башмак, каждую туфлю, черкая мелом по каблуку или носку и ставя крестики по всей подошве. Закончив черкать и помечать, выписывает квитанцию, послюнявив огрызок химического карандаша.

«Приходи через три дня, — сообщает он. И — после небольшого колебания: — После обеда...»

Оформив заказ и перестав обращать на меня внимание, дядя Виталий сосредоточенно принимается за прерванную моим появлением работу...

«Целый день он сидит у себя будке, — размышлял я, вышагивая тенистой, только что политой поливальной машиной улицей к дому. — И как ему только не скучно? Клиенты приходят нечасто, поговорят с ним пять-десять минут, и опять он остается один, только упорное постукивание молотка нарушает звенящую тишину. И о чем можно думать целый день в одиночестве, неужели только о туфлях и башмаках?»

Мне было жаль одинокого гиганта Виталия, заперевшего себя на всю жизнь в тесной лачуге, ведь он добровольно лишил себя множества человеческих радостей. И радость общения из них главнейшая! Мне и в голову не могло прийти, что пройдет время, и я с завистью буду думать, что мог бы стать таким же сапожником, как Виталий, или робким маленьким часовщиком, как неприметный и, кажется, неосязаемый Марк Сконин из рассказа Ирен Немировски. И вот это время пришло: я повторяю скромную аскезу Виталия, находя в ней больше счастья, чем в самом шумном и ослепительном существовании...

Молодость и зрелость, конечно, брали свое. Ни от чего я не отказывался, что предлагала мне жизнь. Но чем ближе царство Персефоны, тем меньше радости я испытывал от рулетки с однообразно вращающейся стрелкой. Грех и праведность в жизни чередовались, как время дня и ночи, даруя то насыщенность мирской пагубой, то очищение от нее.

II

Отдых от избытка впечатлений исключает уныние. Отдыхающий фавн наслаждается покоем и даже не помышляет о толпах вакханок, слоняющихся близ него. Активная фаза жизни не знает одиночества за исключением минут, когда вы оказались одни в силу случайности или необходимости. Вас одолевает досада, поскольку это связано с отторжением от мира, и одиночество представляется чудовищным испытанием. Это состояние абсурда наоборот, если следовать философии экзистенциалистов. Трудно предположить, что знаки когда-нибудь поменяются, и то, что выглядело плюсом, окажется со временем минусом.

С некоторых пор меня одолевает ежедневная усталость. На нее некому пожаловаться, а близкие не видят в ней ничего из ряда вон выходящего. «Что ж, — говорят их сочувственные лица, — это можно понять. Ты хорошо пожил, и остаток дистанции теперь должен бежать в щадящем темпе. Или вообще перейти на спокойную, размеренную ходьбу. В конце концов, — убеждают они, — в твоем возрасте так поступают все, спешить тебе некуда...»

Они правы и неправы, как Ходжа Насреддин в известной притче. Мудрый старец выслушал пришедших к нему с взаимными жалобами соседей и заявил, что каждый из них... абсолютно прав!

В физическом смысле торопиться мне действительно некуда, однако умственная энергия и то, что называется *духом,* — явление, науке совершенно неведомое, —

требуют юношеской интенсивности. Целые дни, забывая поесть, я проводил за компьютером, поглощая пищу, которую всю жизнь откладывал на потом. На то благословенное и смутно брезжащее в сознании время, когда можно разогнуть натруженную спину и отдаться радостям виртуального бытия; это было существование, сравнимое с жизнью на иной планете или в параллельном (или не параллельном, а в каком-то ином) мире. И только наличие на столе чашки с простывшим чаем свидетельствовало, что я не исчез, не растворился в водах иной реальности, а существую в привычной. Что наводило на размышления о Рае — месте не таком уж таинственном, если принять в качестве гипотезы, что этот оазис находится не вне, а внутри нас. Со всеми своими яблоками соблазна, Адамами и Евами; присутствие Евы особенно ободряет, потому что хорошие стихи можно слагать только при наличии этой милой дамы. У меня же они складывались (и читались у других поэтов, их я открывал для себя в большом количестве, компенсируя недостаток чтения в молодости), как у восторженного юноши, — о Даме в самых разных ее ипостасях.

III

Я так увлекся новой жизнью, что перестал обращать внимание на происходящее. Оно мне стало неинтересно. Банально и скучно. Плоско и глупо. Равно как и действующие лица скверной многословной пьески под названием «реальная жизнь». У человека, много пережившего и повидавшего, вульгарная драматургия вызывает отвращение.

Мой же новый мир восхищал и волновал; заставлял страдать и сочувствовать, наслаждаться и размышлять — сначала приходит чувство, а потом размышление, как и положено по законам перцепции. В утренние часы моих занятий я чувствовал прикосновение чьих-то теплых и нежных рук, их ласка казалась подлинной, а ответные чувства искренними и бескорыстными.

Нет без тебя мне жизни на земле,
Утрачу слух — я всё равно услышу,
Очей лишусь — ещё ясней увижу.
Без ног я догоню тебя во мгле.
(Рильке)

Эфемерная Лу Саломе будила воображение, мне казалось, что нечто, живущее во мне, сильнее и чище переживаний, имеющих подлинную основу. Я был так поглощен им, что едва справлялся с повседневными делами: помощью жене в домашнем хозяйстве, общению с дочерью и внучкой, втайне надеясь, что они поймут и простят. Ежедневное мое самоуглубление не имело практической пользы, мне совестно посвящать в него семью и требовать оправдания своему бездействию. Что у человека совестливого, каким я себя считаю, не может не вызывать чувство смущения и стыда...

IV

Первой перемену в моем отношении к миру заметила жена.

«Почему тебя всё раздражает?» — как бы невзначай спросила она. Был вечер, мы ужинали, и я невольно поморщился, когда она рассказывала какую-то драматическую и нелепую историю, связанную с ее подругой.

«Что значит — всё?» — покраснел я, как пойманный на краже мальчишка.

Она посмотрела и улыбнулась:

«Всё — значит всё...»

Ее уклончивость показалась забавной. Я рассмеялся и сказал то, что могло быть понятно каждому:

«Еще не отрешился от работы».

«Чем же ты был занят так долго?» — спросила жена.

«Читал биографию Хайдеггера».

«Это так интересно? — вскинула она брови. — Так интересно, что ты можешь забыть все?!»

«Как сказать... Книга написана неважно, но дело ведь не в этом...»

«В чем же?»

«В мировоззрении. Меня насторожил Dasein — это то, с чем я не могу согласиться».

«Ну — это не мое дело, — подумав, покачала головой жена. — Выясняйте отношения сами, потом расскажешь, что у вас получилось...»

Мне хотелось в доступной форме объяснить ей смысл моих претензий к философу, но я удержался. А спустя некоторое время понял, что этого и вовсе не следует делать. Ни с женой, ни с кем-либо еще, даже с самим Хайдеггером, буде он жив и так же полемичен, как в молодости. Сумма личных ценностей тотчас оказывается растраченной, едва мы принимаемся объяснять их во всеуслышание. Тютчевский Silencium — единственно возможная форма общения с окружающим миром, если тебе есть что рассказать помимо показаний домашнего электросчетчика или цен на продукты в ближайшем супермаркете.

И как только я умолк, мир стал казаться вполне приемлемым для жизни ковчегом, где не бывает тесно ни с голубями, ни с тиграми.

V

Выше я говорил, что нынешняя жизнь чрезвычайно меня увлекает. Малейшее отклонение от канона волновало и раздражало, приводило в отчаяние; я чувствовал свою зависимость и ничего не мог поделать с утратой, когда ее лишался. Это могло быть что угодно: болезнь кого-нибудь из членов семьи — и житейский график оказывался нарушенным, нужно было жертвовать собою ради помощи близкому человеку; собственная болезнь или недомогание, делавшие привычные ощущения невозможными. Обычная усталость, наконец, сводившая на нет любые усилия. Другими словами, отвращение к устоявшимся формам жизни касалось всего, кроме моих интеллектуальных штудий.

К досаждавшим мне случайностям можно отнести и явления технократического характера — ремонт квартиры, например. Или сбои в работе компьютера, — волшебной машины, дарующей незабываемые впечатления. Иной раз поломки принимали драматический характер, компьютер приходилось отключать и тащить в сервисный центр. А потом неделями ждать, когда чудо-машину приведут в порядок...

Так и в этот раз. Внезапно и в самый неудобный момент — я только что принялся за давно задуманную работу — отключилось электричество. В результате телефонных переговоров с диспетчерской службой выяснилось, что в топливно-энергетической компании об аварии не имеют представления.

«Разбираемся, — последовал хладнокровный ответ бесстрастной, привыкшей ко всяким неожиданностям служебной дамы. — Вероятно, повреждена линия электропередач. Когда дадим свет — неизвестно...»

С началом войны на Украине истории подобного рода стали обыденностью. Под Волновахой во время интенсивных артобстрелов не единожды оказывался перебитым кабель компьютерных сетей. В паузах между боями дежурные бригады с риском для жизни — неизвестно, когда эти паузы будут нарушены, — устраняли аварию, и приходилось терпеливо ждать, когда восстановится связь с привычным миром.

Часы одиночества — они так томительны и грустны! — компенсировал чтением какой-нибудь бумажной книги. Для пожарных случаев выбрал чтение, точнее — перечтение — Стендаля. К его длинным, многословным романам я относился приблизительно так же, как Сент-Бёв, но книги об искусстве, дневники и письма очаровывали с юности. Стендаль оказывался не к месту и не к «образу мыслей» в часы военных действий и ремонтных работ, и я с трудом ворочал периоды благородного синтаксиса, понимая, что никуда не денусь и надо продержаться, пока не запустят Сеть.

Однако в случае, о каком идет речь, все сразу пошло не так. Мне ничего не хотелось, — ни перечитывать Стендаля, ни рыться в домашней библиотеке в поисках более подходящего чтения. Я был полон впечатлениями уходящего дня: в полдень закончил читать роман Патрика Модиано, даровавший наслаждение чудесным стилем. Красота в моем представлении предпочтительнее точности, и гармония нередко враждует со смыслом. Но в прозе Модиано пропорции так изящны, что точность не вредила красоте, и наоборот. Наслаждался балетными композициями Джорджа Баланчина в исполнении французских танцовщиков, их я предпочитаю всем остальным. Слушал миниатюры Губайдулиной «Offertorium» и «Танцующее солнце»... Искусство создано для печали, и без него ощущаешь одиночество такой силы, какое не испытывал прежде...

А потом...

Потом вдруг отключился свет. С металлическим шорохом взлетели под потолок серебристые полоски жалюзи, и в комнату хлынули нежные весенние сумерки. Кое-где зажглись фонари; глубоко внизу быстро и почти бесшумно, как разноцветные птицы, проносились автомобили самых современных модификаций — без привычного рычания двигателей и запаха отработанного горючего. Передвигались темные, бесполые фигурки спешащих людей — очевидно, домой с работы, куда еще можно торопиться «в час меж волком и собакой»? Время дневных забот прошло, а время ночных удовольствий еще не наступило. Да и велика ли разница меж тем и другим там, внизу, — подумал я с невольной обреченностью, словно шествовал вечерней улицей, полный дневных впечатлений и дневной усталости.

От ужаса, что еще недавно я был одним из этих несчастных, таким же, как они, носителем вечной суеты, меня пробрала зябкая дрожь. Хорошо, что я здесь, наверху, — подумал я, окидывая взглядом смутную панораму погружающегося в ночную тьму города. И никогда, никогда не окажусь там, откуда я прибыл, с теми, от кого однажды ушел, не оглядываясь. С их вечной маетой, похожей на броуновское движение молекул, грязными улицами, дышащими испарениями фастфудов и стритфудов, человеческого пота, пыли и дешевой косметики; с их почтами, аптеками, супермаркетами, банками, пивными и таксомоторами; с их женитьбами, разводами, роддомами и домами скорби, — со всем тем, что роднило и сближало меня с этим миром. Теперь я от него свободен. И вкушаю яства, ему недоступные. Да и, откровенно говоря, совсем ему не нужные...

Когда наконец дали свет — два часа пролетели почти в полной темноте и размышлениях — я испытал... разочарование. Свет был частью того прекрасного и безнадежного мира, какой я оставил в неспешном своем бегстве. А простился с ним только сейчас, когда тьма покрыла его, чтобы сделать его уход частью жизни, счастливой и неприхотливой.

Январь 2017 г. — апрель 2019 г.
г. Мариуполь

СТРАНА РОССИЯ

Михаил Румер-Зараев

Исчезнувший мир

Документальная повесть

Глава восьмая. Землетрясение

Завод умирал. Я ощутил это по некой детали, которая, возможно, была бы не замечена посторонним человеком. Как-то в конце девяностых в сумрачный зимний день я ехал на метро, Между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики» поезд выходит на поверхность и идет мимо километровой длины сборочного корпуса, построенного уже после моего ухода с завода. Здесь же располагалась открытая площадка, куда выталкивали недоукомплектованные автомобили, с тем чтобы, не задерживая ход главного конвейера, потом смонтировать на них не доставшие в тот момент комплектующие изделия. Такое было и в мои времена. Но здесь этих недоделанных автомобилей было что-то уж очень много, вся площадь оказалась забита под завязку.

Но не только это поразило меня. Машины стояли с открытыми или с разбитыми окнами, полуоткрытыми дверями, так что зимний ветер и снег залетали внутрь, выводя из строя бортовое электрооборудование и обивку салона. Подумалось: до какой же степени равнодушия должен дойти коллектив, чтобы выставить под открытое небо в зимнюю непогоду автомобиль с открытым окном.

Я давно не был на заводе. Жизнь моя протекала в других измерениях, в сельских мирах. Но завод оставался ностальгической частью моей юности, так же как Митя и Иван были частью нашего общего детства. С Митей мы виделись редко, но обязательно — на его днях рождения, на которые приглашались, не исходя из нужности человека, как это часто бывает, а по принципу близости — по старой дружбе, душевному родству.

Митя уже давно был главным инженером нашего завода. И по уверениям давних моих знакомцев являлся мозгом и двигателем тех радикальных перемен, которые там происходили — строительства новых корпусов, освоения современных технологий, выпуска новых моделей автомобиля.

Мы иногда перезванивались, но все чаще не заставали друг друга в Москве. Маршруты наших командировок разительно отличались один от другого. Меня уносило в какую-нибудь сибирскую глухомань. Он же оказывался то в Гарвардской школе автомобильных менеджеров (и английским, и немецким владел неплохо), то в южнокорейской фирме Хонда или Хундай, так правильнее произносить, объяснял он мне по возвращении название этого знаменитого автомобиля, вытесняющего с

Окончание. Начало см.: «ДН», № 4, 5, 2020.

рынков старые европейские марки. У каждого из нас были свои игры, что не мешало теплоте наших отношений.

Неизменным гостем на Митиных днях рождения как друг детства был Иван, который за эти годы сделал головокружительную карьеру — стал одним из руководителей Госплана на правах министра. Он был на этих сборищах хотя и прост, мил, но вместе с тем вельможно снисходителен. Митина карьера виделась ему где-то далеко внизу, хотя цену его производственной хватке он знал, что выяснилось впоследствии уже в новые времена, когда жизнь свела их в общем деле. Я же рассматривался ими как в перевернутом бинокле, в дальней дали многократного уменьшения.

Мы как-то заговорили об афганской авантюре, Иван терпеливо выслушал мои либеральные ахи и охи и мягко сказал: «Ты многого не знаешь». И начал как в разговоре с недоумком чертить в блокноте схему окружения нашей страны вражескими силами, среди которых главная, конечно же, Америка.

Я слушал его с тоской, вспоминая, как в пригородном поезде средних лет женщина, видимо, возвращаясь после встречи со служащим в армии сыном, вздыхала: «Пусть десантник, пусть с парашютом прыгает, только бы не Афганистан. Соседке прислали: “Погиб при исполнении воинского долга”».

Всю ту зиму и весну шли похоронки в отвыкшие от таких страшных вестей русские семьи. Но об этом говорилось потаенно, шепотком, сосед — соседу. Официально-то нет у нас никакой войны, есть братская помощь.

Весна восьмидесятого. Помнится мне сейчас та весна восьмидесятого года. Бледные и помятые, безвитаминные лица. Очереди за гнилой картошкой, кусками жилистого мяса. Вялость, сонливость, перемежаемая вспышками нервного озлобления на всех, кто тебя окружает, на этот нестерпимый быт. Одно только хорошо: город очищается от грязи, льда, корой покрывающих его всю зиму. Сейчас все это сходит, подсыхает. Мостовые парят на солнце. Серые глыбы снега забились по дворам. Но и им жить осталось недолго, приоткрыты крышки уличных люков, журчит, стекая туда, талая мутная вода.

Если бы она уносила наши тревоги. Все жестче становятся голоса радиодикторов, все страшнее сообщаемые ими новости. На наших закрытых журналистских совещаниях приводятся цифры, которые как никому были известны моему снисходительному Ивану. Миллиарды — в Афганистан, миллиарды — на Кубу, а экономика и так до предела расшатана, дышит, как загнанная лошадь. Промышленность по существу успевает выполнять только военные заказы. Самые необходимые товары — мыло и ткани, автомобили и мотоциклы — становятся все более дефицитными.

На селе считают дни, оставшиеся до выгона скота на пастбище. Отощавшие коровы доедают последние запасы старого силоса, прелой соломы. В ход идет так называемый веточный корм — запаренные веники. Откуда же тут быть молоку? Молочные заводы работают вполсилы. В городах уже не купить не только мяса, но и масла, творога. Страна на грани белкового голодания.

Но ко всему привыкает русский человек. К необъявленным войнам, к бесконечным очередям за самым необходимым, к безделью на работе, к отвратительному портвейну по прозвищу «чернила»... Да и так ли страшно все это? Ведь другого не было никогда.

Тем не менее сквозь голый физиологизм этого существования пробивается и биение духовного пульса общества. Битком набиты тесные залы художественного салона на Малой Грузинской, где выставляются современные нонконформисты. Бесконечны очереди в театр на Таганке, единственный живой московский театр. В ежевечернем ритуале склоняются миллионы семей у радиоприемников в час передач зарубежного радио, чтобы хоть что-то противопоставить фанфарному звону, идущему со страниц газет, с телевизионных экранов.

Все это было, было, было... И помнится так ярко и выпукло лишь людьми моего уходящего поколения. Впрочем, на смену тем бедам конца двадцатого века приходят

новые страсти и конфликты века двадцать первого. Но они так далеки от меня, от моего глухоманного деревенского существования.

Рип ван Винкль. Однако пора в этих моих воспоминаниях возвращаться на завод. Меня все-таки тянуло туда, хотя и понимал я, что дважды войти в одну реку невозможно. Река совсем другая. Тем не менее я как-то в начале девяностых позвонил Мите, попросил принять меня, показать производство. Он неожиданно легко согласился, оговорив, правда, как много лет назад, условие — дать ему на прочтение, коль скоро я буду писать, статью перед публикацией. И так же как тогда, когда он был начальником цеха, назначил раннее утреннее время.

Этим утром он был свеж, одет в дорогой, хорошо сшитый костюм, гладко выбрит и благоухал хорошим одеколоном. Я внутренне усмехнулся, вспомнив куртку и грязный халат, в котором он ходил по цеху, и то, как он, выхватив рукавицы у рядом стоящего рабочего, взвивался по лестнице на верхушку умолкнувшего пресса, погружая руки в его внутренность. И кабинет у него теперь был не чета тому цеховому, с засаленными от спецовок стульями, с дурацкими плакатами о научной организации труда. Теперь эта была просторная комната, скорее зал, с современной импортной мебелью, со сложными технологическими схемами на стенах. Эдакая лекторская аудитория, где не только проводят производственные совещания, но и принимают гостей.

Впрочем, в кабинете мы тем утром не задерживались. Спустились во двор, где нас ждала машина, блистающая на утреннем солнце хорошо вымытым кузовом, — последняя заводская модель. Та самая модель, вокруг которой было тогда столько споров в конструкторской среде. Одни считали, что кузов слизан с французской «Симки», а движок Уфимского завода, что стоял и на ранних моделях, безнадежно устарел и требует замены. Для других — это был семейный автомобиль, заполнявший пробел между тесноватыми для семьи вазовскими машинами и слишком дорогой для людей среднего слоя «Волгой».

Но мы не собирались обсуждать модельный ряд заводских машин, меня больше интересовало производство. Митя сел за руль (он всегда ездил только на машинах своего завода, пренебрегая положенной по его высокому положению «Волгой», а то и импортной маркой, которых было полно в гараже экспериментального цеха), и мы отправились в путь по заводским территориям.

Где там мои молодые времена, когда я, натянув свою бежевую спецовочную куртку с торчащими из верхнего кармана трубкой и блокнотом, бежал поутру в цех за новостями. Теперь, четверть века спустя, по стогектарной территории завода, вмещавшей в себя около десятка корпусов с огромными пролетами, можно и нужно было передвигаться на машине.

Конечно, он прежде всего повез меня в свой прессовый цех, теперь это был прессовый корпус. И я дал заворожить себя, сопоставляя увиденное в этом корпусе с памятной мне картиной четвертьвековой давности с ее теснотой, мельканием грязных рукавиц, толкающих стальной лист в лязгающие челюсти штампов, с дымным воздухом, казалось, пропитанным страхами перед таяньем заделов и всей атмосферой задыхающегося в тисках непосильных планов производства.

Сейчас все было гулко, сумрачно, малолюдно. Лист проходил почти без прикосновения человеческих рук от пресса к прессу, объединенных в автоматические линии, превращаясь в готовую кузовную деталь. Заделы хранились на стеллажах огромного, высотой с шестиэтажный дом склада с компьютерным управлением. В корпусе механосборочного производства мелькали огни табло и дисплеев, управлявших движением деталей, обрабатываемых на токарных, фрезерных, шлифовальных автоматах, также объединенных в механизированные линии. Главной фигурой здесь был не станочник, как в прежние времена, а наладчик.

Умеряя свои восторги, я напоминал себе: «Ты бы еще через двадцать пять лет пришел сюда, не такое бы увидел. Не стоять же этому заводскому миру без перемен

вопреки техническому прогрессу. Просто ты сам — как Рип ван Винкль, который проспал двадцать лет и проснулся, не узнавая своей деревни и своей страны».

Уловив Митин иронично-испытующий взгляд, я сказал ему об этом: «Я как Рип ван Винкль, помнишь, мы читали в детстве Вашингтона Ирвинга... Ничего здесь не узнаю». — «Дело не в тебе. Дело в нас. Мы тут не сидели, сложив руки». — «Я вспоминаю день, который мы провели вместе, когда ты был начальником цеха и весь ужас того производства. Правда, я и сам тогда варился в этом котле, все знал, все понимал. А сейчас пришел как гость, как турист, и вижу внешнюю картину, которая, конечно же, впечатляет, но, думаю, что за ней стоит драматизм, который ты мне не открываешь». — «Спрашивай, отвечу, как могу».

Вот именно «как можешь», думал я. Конечно же, несмотря на нашу полувековую дружбу, он видит во мне прежде всего журналиста, который пытается докопаться до изнанки заводской жизни, которую ему, хозяину завода, вовсе ни к чему открывать. Это ж не те времена, когда я, работая в многотиражке, был свой, теперь я чужой, будь хоть трижды другом детства. И потому ответы его на мои вопросы были гладки, обтекаемы и выдавали привычку общения с прессой. Я спрашивал о рекламациях, о качестве машины, о том, что открывает технический контроль, и, в конечном счете, это мог быть разговор о кадрах. Ведь техника техникой, но за ней стоят люди, в значительной мере та лимита, расселившаяся по заводским общагам, на которую трудно было положиться и в мои, и в нынешние времена.

Эти слова — «лимита», «общага» — так странно звучали в его роскошном кабинете, где он с указкой стоял у стены, увешанной технологическими схемами, живописующими замечательное настоящее и прекрасное будущее завода.

Когда я, пытаясь прорвать завесу этих живописаний, в лоб спрашивал, где он берет людей для этих автоматических линий, мерцающих компьютерными огнями, он отвечал округлой тирадой: «Да, мы еще не достигли необходимых отметок в производственной культуре, в четкости, а иногда и в квалификации обслуживающего персонала. Теперь приходится иметь дело и с высокоточной механикой, и со сложной электроникой, эта техника требует не только высочайшей квалификации, но и особого стиля работы, если хочешь, требует нового мышления. Именно здесь мы, к сожалению, пока еще не всегда на высоте, хотя, конечно, заметно продвигаемся, как говорится, к мировым стандартам».

Меня обескураживал этот тон, хотелось сказать: «Митька, не выпендривайся», но я понимал, что другого ждать не приходится.

Потом пошли обедать в директорскую столовую — маленький зал, куда допускались с десяток самых главных начальников. Там он представил меня директору, который с трудом узнал меня, но я-то помнил его, когда он был еще начальником главного конвейера и, признаться, недолюбливал за комсомольское горлопанство. Бывало, еще только зарождается срыв где-нибудь в цехе моторов, еще бегают диспетчеры, неся в подоле халата дефицитные детали, а он уже вешает красочный плакат «комсомольского прожектора», призывающий ускорить, улучшить, не допустить. В своей недописанной повести о последнем дне старого директора я изобразил его как одного из несостоявшихся преемников моего героя. И ошибся. Он стал директором и неплохим, судя по рассказам моих заводских приятелей. Жестким, конечно, но справедливым и ценящим старые кадры, не дающим их в обиду. Митю он не просто выдвинул, вознес до положения второго лица, но и всячески поддерживал, дал простор для его планов, не вмешивался в его распоряжения.

В мои времена он был худощав, статен, скор на ногу, носился вдоль главного конвейера так, что полы халата развевались. Сейчас же выглядел неважно — обрюзг, лицо отечное, мешки под глазами, но другого его облика ждать было трудно, учитывая нервное напряжение, в котором он жил.

Мы выпили по рюмке коньяка, повспоминали прошлое, и я пошел себе восвояси писать для научно-популярного журнала заказанную беседу с Митей.

Могильщики. Этот мой последний визит на завод был лет за семь до поразившего меня зрелища недоукомплектованных автомобилей с распахнутыми дверями и разбитыми окнами. Что же произошло за эти семь лет?

Вскоре после нашего обеда с коньяком и воспоминаниями скоропостижно умер директор, прямо в кабинете сразил его инфаркт. На заводе все полагали, что преемником станет Митя. Ну, кому еще возглавить завод, как не ему — автору технологических перемен, за которые он так яростно сражался на всевозможных ведомственных и межведомственных советах и совещаниях, двигателю новаций, которые он так жестко продвигал в цехах и отделах завода и которые выводили производство на современный технический уровень? Он был плоть от плоти этого завода, пройдя здесь столь долгий путь, пользуясь уважением ветеранов за преданность делу, за сдержанность, за умение без крика и хамства выходить из самых запутанных производственных ситуаций. Все, что кипело у него внутри, там и оставалось, не выливаясь на подчиненных, с которыми он был ровен, так же как и не искателен с начальством. Да и сам он понимал, что больше некому, кроме него, сесть в директорское кресло.

Но человек предполагает, а начальство располагает. И расположило оно так, что в это кресло сел наркомовский сынок, тридцатипятилетний красавец, спортивный, стройный, брови вразлет, которого его чадолюбивый родитель, бывший наркомом еще при Сталине, а потом многолетним министром, протащил по карьерной лестнице на разных заводах, начиная с низов, и вытолкнул, что при его связях было нетрудно, на директорскую должность, предназначенную Мите.

Этот парень привел свою команду, таких же, как он, молодых ребят. На Митю они смотрели с добродушным презрением, как на человека «с раньшего времени», ожидая его добровольного ухода. И, конечно же, он ушел. Куда? Как? Как складывалась его судьба? Об этом чуть позже. А пока — о судьбе завода.

Надо сказать, что ноша на плечи этого молодого красавца легла немалая. И думается мне, что был бы он поумнее, а его батя более трезво оценивал бы обстановку в промышленности, им бы на семейном их совете стоило выбрать другой карьерный путь для сына. Оседлать какой-нибудь НИИ (тем более, что кандидатская степень имелась), где можно спокойно пересидеть смутное время, не беря на себя ответственность за этот огромный заводской корабль, который провести через рифы и отмели нового времени мог только очень дальновидный и умелый человек.

Я потом не раз спрашивал Митю: «А ты смог бы?» Он отмалчивался и однажды процедил сквозь зубы: «Отстань. Не трави душу». Видно, у него болело, саднило, может, думалось, что сдался без боя или дезертиром себя считал.

О заводских делах после своего ухода он не говорил ни слова, хотя, думаю, многое знал, ведь звонили ему оттуда давние сослуживцы, многие из которых также покидали завод, рассказывали, сетовали, рассчитывая на сострадание, сопереживание...

Но я и без Митиных рассказов узнавал о заводских событиях, время от времени встречая своих давних знакомцев. Особенно памятна была случайная встреча с Валей Беляковым, тем самым мотористом экспериментального цеха, с которым мы некогда слушали дурацкие излияния секретаря райкома. В его лаборатории, где он обычно сидел перед испытательным стендом в своей любимой позе, поджав ногу и по-птичьи склонив голову набок, был клуб отдела главного конструктора, куда кто только не забегал — от замов главного до раллистов-испытателей. Валя знал все, что происходит на заводе, воспринимая любую новость с ироническим прищуром своих серых глаз. Он и сейчас, уйдя с завода и подрабатывая частным ремонтом машин, сохранял информированность обо всем там происходящем, что было удивительно, так как жизнь его проходила между гаражом, где он чинил машины безруких любителей, и пивной, куда он меня завлек при нашей случайной встрече.

После второй кружки пива, разбавляемой водкой из четвертинки, которую, как я помнил, он всегда носил с собой, речь его становилась не менее связной, но все больше оснащаемой матерком и современным жаргоном, который я не всегда

понимал, что, впрочем, могло свидетельствовать о моем отрыве от народной жизни. Горбачёва он называл «Мишка меченый», автопромовских чиновников жополизами, а само министерство было для него сборищем мажоров и тольяттинских шестерок. За этим последним эпитетом угадывалась давняя конкурентная ревность старых заводчан к ВАЗу, который, по их мнению, отрывал от их завода самые лучшие куски пирога государственных ресурсов. При всем том из его полупьяного монолога узнавалось многое. И в том числе такое.

Завод одним из первых в отрасли перевели на самоокупаемость, что Валя приписывал интригам тольяттинских шестерок. Не ВАЗ, не Камаз, а именно наш завод прежде всего отлучили от материнской финансовой груди государства, а это для любого советского предприятия было равносильно вхождению в холодную мутную реку — неизвестно, выплывешь ли.

— Помнишь, как во время крещения Руси, — сказал Валя, всегда любивший демонстрировать свое знание отечественной истории, — Владимир Ясно солнышко велел бросать языческих идолов в Днепр. Бросали и кричали: «Выдыбай, боже». Вот и нас бросили под крики министерских жополизов.

— Ну, и как, выплыли?

— Как же... Эти сраные мажоры начали нас учить: надо мол хозяйствовать в новых рыночных условиях. Покажите всем пример. Нужен вам новый моторный цех — берите кредит.

— Взяли?

— А куда деваться. С этим уфимским движком новая модель, что молодой парень с сердцем старика. Отродясь таких кредитов не брали, а тут взяли. Но берешь-то чужие, а отдаешь свои... Начали строить, заказали оборудование, а тут инфляция нехилая, и на деньги эти мало чего можно было сделать. Но банк, знай себе, индексирует объём долга. Что тут делать. Ничего не остается, как брать новый кредит, потом другой...

Денег не хватает, приходится экономить на комплектующих. Железо стало поступать такое, что начинало цвести через год-два, а потом прогнивало насквозь. Да и остальное тоже давало о себе знать — дерьмовая отделка салона, тот же хилый движок, свой моторный цех так и не построили. Все трещало по швам. Зарплату не платили по три месяца — люди побежали. Здесь ведь не Тольятти, не Набережные Челны — моногорода, где кроме как на автозаводе работать негде. У нас, понимаешь ли, столица: хочешь — в менты иди, а не хочешь — в бандиты.

— Ну, в Тольятти бандитов хватало.

— Это верно. А где их нет.

— Ну а что ваш директор, этот наркомовский сынок?

— Да он-то метался, как мог. Все казалось, что при его связях, да и не только его, отцовских тоже, спасет завод от банкротства. Кто только у нас тогда не побывал — и премьер, и мэр, и помощники президента. И письма Ельцину писали слезные — спасите наши души, не дайте умереть прославленному предприятию. А уж если не суждено жить нашей машине на отечественном рынке, так слух прошел, что директор закорешевался с шефом «Рено» и тот, мол, обещал собирать у нас свою последнюю модель. Все это туфтой оказывалось. Долги росли, измерялись миллиардами рублей, спрос на машины падал, хотя мы ее предлагали уже по цене ниже себестоимости. Долго, конечно, наш наркомовский сынок выдержать не мог, кишка у него тонка для той ноши, которую он взял на себя. И ему на смену пришел этот вороватый армянин, которому суждено было стать могильщиком завода.

— Постой, постой, — возмутился я, — ты ж никогда не был ксенофобом.

— Я и сейчас не ксенофоб. По мне, будь он хоть негр, хоть монгол, лишь бы честен был. А что он делал... Это был момент, когда город инвестировал в завод сто миллионов долларов. И тут этот честняга-директор создает фирму-посредника под каким-то замысловатым армянским названием и все закупки комплектующих пускает через нее. Через нее же идет и реализация готовых машин. Сколько получала за свои услуги эта армянская фирма, неизвестно. Известно лишь, что до магазинов доходил

сплошной некомплект. А себестоимость машины взлетела чуть ли не до семи тысяч долларов. И это при том, что продавалась она с трудом за четыре. Ну, что это, секрет что ли, что в девяностые возникли национальные мафии? Такая мафия быстренько довела завод до банкротства, и началась распродажа оборудования, сдача в аренду площадей и черт его знает, чего только не началось. Вот когда мы все вспоминали твоего дружка Митяя, уж он-то этого не допустил бы, не знаю, как, какой ценой, но завод не похоронил бы. Давай выпьем за упокой души нашего дорогого покойничка.

И мы точно так же, как некогда с моим конструктором с «Красного пролетария», сделали по глотку водки из заветной Валиной четвертинки, запив ее пивом.

— Знаешь, — а ведь я там бываю, — сказал Валя на прощанье.

— Где? — не понял я.

— На заводе.

— Так ведь он не работает.

— Ну и что. Люди туда приходят. Кто попользоваться чем-нибудь, кто просто так, как на кладбище, помянуть покойника, как мы с тобой его сейчас помянули. Сегодня у нас что? Вторник? Значит, завтра среда, и я пойду туда. Хочешь со мной?

— Пожалуй.

В мире сюрреализма. В серых зимних сумерках на площадке у проходной, через которую я столько лет ходил в молодости, — стадо машин. Разные модели, разные годы выпуска, но все они рождены в заводских корпусах, что темными своими очертаниями высятся за бетонными стенами, окаймляющими территорию. На одной из этих стен рядом с проходной черной краской несмываемо — «Козлы, отдайте нашу зарплату!»

— Видал, — говорит мне Валя. — Народ не безмолствует. Здесь когда-то, если помнишь, плакат висел «Народ и партия едины!»

— «Различны только магазины», — добавил я. — А чего люди здесь толкутся?

— По средам здесь нечто вроде фанклуба и черного рынка. Обмениваются запчастями, что-то прикупают, тут и барыг полно. Советуются, обсуждают характер своих колымаг, они ж для них живые, хоть и трудный ребенок, а свой, привычный.

Он говорил просто и грустно, без обычных своих вывертов.

А из толпы неслось: «Мужики, бампер никто не продает? А стеклоочистители?» В другом месте площадки — «техсовет»: «Конечно, руль у него легкий, а вот движок уж больно долго прогревается... Кузов жидковат, но если хорошо обработать... Шум в салоне и передняя подвеска слабая...»

Белякова здесь знают и сразу же обступают, засыпая вопросами по движку. Видно, слава великого моториста так и идет за ним еще с прошлых заводских лет. Но мы здесь долго не задерживаемся, раздвигая толпу, пробираемся к проходной, где мужик в черной униформе охранника, пожав Вале руку, беспрепятственно пропускает нас на территорию.

И вот мы медленно бредем по полутемному заводскому двору, этому главному проспекту, по которому я некогда бегал и зимой, и летом, заходя в корпуса, где в дымном воздухе, в шумах и запахах масла и эмульсии, кипела столь близкая мне тогда жизнь со всеми своими страстями и конфликтами. Сейчас эти тускло-кирпичные здания безмолвны и безжизненны, лишь кое-где слабо светится окно отблеском забытого под самой крышей фонаря. Мрачен и пуст бесконечно длинный двор, по которому мы пробираемся, подсвечивая себе под ноги фонариком, чтобы не споткнуться о старые ящики с каким-то оборудованием, обломки ржавого железа, устилающего наш путь.

— Земля была безвидна и пуста, — пробормотал Валя, выказывая знание библейского текста, — и тьма над бездной.

Меня же томили другие более современные ассоциации. «Сталкер», любимый мой фильм Тарковского с его поразительным для тогдашней России сюрреализмом, вспоминался мне в нашем путешествии по вымершему заводу. Как они там из индустриального мира с его лязганьем железа, дымами, грохотом поездов шли в зону,

ведомые человеком, совмещающим в себе черты религиозного искателя и диссидента. Зона — это тишина и высокие травы, пейзажи, словно подернутые дымкой сна, но это и опасности, подстерегающие на каждом шагу, страшные, изнурительные испытания.

Это было странное воспоминание. Все увиденное мною на заводе казалось таким далеким от зоны, показанной Тарковским, так же как Валя, мой Вергилий по этому мертвому пространству был далек от образа сталкера, созданного Кайдановским. Но мы пришли сюда, неся в себе воспоминание о нашем прошлом, о том исчезнувшем мире с его драматизмом, который для нас был сродни трагическому мироощущению Тарковского.

В цехе сборки на остановившемся навсегда конвейере висели остовы кузовов.

— Три года так висят, — замечает Валя. — Кнопку нажали. Все встало. И ушли. Помнишь когда-то ходили анекдоты про нейтронную бомбу. Считалось, что она убивает только живую силу. После взрыва город стоит, а в нем — никого. Так и здесь. Кузова висят, а кругом никого.

— Экие у тебя мрачные ассоциации.

— Пойдем дальше, много чего невеселого увидим.

Пошли дальше. Время от времени в этом мертвом царстве встречался кто-то живой из старых Валиных знакомцев, непременно вступавших с нами в горестный разговор. Бывший директор прессового корпуса, видимо, все еще чувствующий себя здесь хозяином, сняв с двери корпуса амбарный замок, пригласил нас в полутемный пролет, где высились огромные, с двухэтажный дом, прессы.

— Это немецкий, это японский... Электроника. Включай и штампуй — двери, капот, панели...

И тут же прервал себя длинным матерком, зачерпнув в ботинок воды, которая, видно, не первый день лилась сквозь худой потолок.

— Сгнила твоя электроника, — язвительно заметил Валя. — Все тут сгнило.

— Все да не все. Вон в механо-сборочном — технический аудит работает. Выясняют, что продано, растащено, а какие станки еще могут работать.

В механо-сборочном корпусе несколько почтенного вида мужиков, подсвечивая себе фонариками, осматривали станки, записывая что-то в блокноты.

Мы походили и по этому корпусу, где-то встречая людей, тенями бродивших среди остатков оборудования. Валя о чем-то тихо переговаривался с ними, а я тактично отходил в сторону, не желая вмешиваться в эту неведомую мне жизнь.

Потом мы вернулись на площадку перед проходной, потолкались среди тусующихся там фанов, а затем отправились все в ту же любимую Валину пивную

— Вот ты говоришь: не пей, не пей, — брюзжал он по дороге, хотя я ничего такого не говорил. — Ну, как тут не пить... Как придешь на завод, словно на кладбище побывал. А русскому человеку как не выпить на кладбище, как не помянуть ушедшую жизнь.

И я тогда то ли в утешение моему спутнику, то ли по какой-то другой неясной мне самому причине рассказал о небольшом элегическом приключении, случившемся в одной из моих сельских командировок.

В какие-то давние времена ехал я в весенний день по районному грейдеру, подсыхающему, затвердевшему, и все кругом парило, сияло в солнечном свете — поля, дорога, купы деревьев в отдалении.

Водитель съехал на обочину подкачать колесо, и я, выйдя размяться, обратил внимание на группу празднично одетых пожилых людей, расположившихся выпить-закусить под одинокой березой на выгоне, неподалеку от дороги.

— Что-то место какое-то неурядное. Чего это пить в чистом поле? — недоуменно заметил я.

— Для них это место самое то, — ответил шофер, отрываясь от колеса. — Была здесь деревня. Да вымерла. Вот они и приезжают раз в году помянуть прошлую жизнь.

Рассказывая Вале об этих сельских поминках, которые сейчас становятся редкостью — старики вымирают, а молодым чужда такого рода ностальгия, — я

отчетливо вспомнил ту картину: березу, выгон с пожухлой прошлогодней травой и тех людей, приехавших в чистое поле поминать свое прошлое. Виделся мне старик в черном выходном костюме и белой рубашке, сидевший поджав ноги на расстеленной пленке со стаканом в руке, и старуха в бордовом платье с цветастой шалью, резавшая на тарелке колбасу. Может, они сидели на том месте, где стоял родной дом? Этот дом плыл в памяти тех людей, осеняя их головы. И другие дома плыли в солнечном, прогретом воздухе, колеблемые ветром времени, как миражи в пустыне.

— Так то ж деревня, — прокомментировал Валя мой рассказ. — Деревням суждено рождаться и умирать. А завод, да какой завод... Я раньше никогда не мог себе даже вообразить, что он может умереть. Реконструироваться, перепрофилировать производство — да. Но исчезнуть со всеми своими зданиями, техникой, тысячами людей, связавших с ним свою жизнь. Как, куда исчезнуть? Провалиться сквозь землю как при землетрясении?

— Так это и есть землетрясение, социальное, экономическое землетрясение, — тихонько прервал его я.

— Брось, брось. Могут меняться формы собственности, формы экономических отношений. Но огромные ценности, то, что называется основными фондами, опыт людей, их уменье, наконец, их жизнь — почему они должны провалиться в тартарары? Ты детективные сериалы по телеку смотришь? Так заметь, во всех этих отечественного производства фильмах бандиты назначают стрелки, как правило, на заброшенных заводах. И это не причуда сценаристов. Они отражают реальность. Сейчас таких заводов множество по всей стране — те же остовы зданий, выбитые окна, ржавое мертвое оборудование и блатные толковища среди этих уединенных стен, которые дожидаются своего полного исчезновения. Вот и наш с тобой завод это ждет.

Вечерний разговор. Мы расстались с Валей при выходе из пивной, которая теперь называлась пивным баром. И в этом, как и в гибели завода, тоже ощущался приход новых времен — не пивняк, не пивнуха, а бар.

Предзимняя Москва приняла меня в свое лоно. Я брел по Волгоградскому проспекту, который в дни моей молодости назывался Остаповское шоссе. В стенах башен и хрущевок горели огни окон, говор и переклик негустой тротуарной толпы не разгоняли моего одиночества, не отвлекали от странных мутных мыслей, бродивших в голове. Ну, кто был тот Остапов, в честь которого когда-то назвали шоссе? Кажется, какой-то рабочий, убитый во время первых грозовых беспорядков в феврале семнадцатого? Почему в честь него назвали улицу? Кто это может знать? И кто вообще помнит, что она раньше называлась Остаповским шоссе? Всякая банальщина лезла в голову — об уходящем времени, об исторической памяти. И вдруг всплывала блоковская строка:

И буду так же помнить дожей,
как нынче помню Калиту.

Это он о реинкарнации.

А ноги привычно несли меня на Абельмановскую заставу, во двор моего детства, к нашему дому, где всю жизнь жил Митя. Конечно, он мог по своему начальническому положению получить хорошую квартиру в заводском квартале в Текстильщиках. Но он решил не уезжать из отчего жилья, разве что по его просьбе завод предоставил квартиру соседской семье, и он после смерти родителей остался в трех комнатах, где с отъездом женившегося сына, ровесника моего Сеньки, им с Лидой стало совсем просторно.

Войдя во двор и испытав привычный ностальгический укол при виде антуража моего детства (краснокирпичные стены, ясень, некогда затенявший своими узкими листьями окно нашей с мамой комнаты, фонтанная цапля, летом полоскавшая горло струей воды), я поднялся по выщербленным поколениями жильцов ступеням лестницы на второй этаж. Дверь открыла Лида, проявлявшая по отношению ко мне особую теплоту после смерти Тани. Безмолвно поцеловав меня в щеку, она прошла на кухню,

быстро накрыла новомодный чайный стол — французское вино, сыр, фарфоровый чайник под ватной бабой — и тактично удалилась в гостиную к телевизору.

Но Митя, конечно, сразу догадался о причине моего неожиданного прихода: «Был на заводе?» — и, разлив вино в бокалы, выпил, не чокаясь.

— Ну, вот, — подумалось мне, — и он с кладбищенскими аллюзиями. Но сегодня-то он, по крайней мере, не отвертится от разговора о заводе, как в прошлые времена, когда у него все саднило и, видно, мучила мысль о собственном дезертирстве. Теперь-то у него другая жизнь и завод — в прошлом, о котором, наверное, можно говорить спокойно.

Митя и в самом деле был спокоен и даже как-то задумчив, выслушивая мой рассказ об увиденном и услышанном в тот вечер.

— Вообще-то твой моторист во многом прав, — сказал он, когда я закончил свой рассказ. — Кредиты для строительства моторного корпуса и в самом деле стали триггером, а по-русски говоря (не люблю я эту иностращину, заполонившую язык), спусковым крючком для наших последующих бед.

Он все еще произносил слово «наших», хотя давно уже ушел с завода.

— Но если ты поговоришь с этим последним директором, которого твой моторист называет «армянским вором», то он тебе скажет, что распродавал непрофильные активы.

— Какие, на хрен, непрофильные активы? Я понимаю — дом культуры, детские сады, которые были на содержании завода, учебный комбинат, хотя и без всего этого не обойтись, но станки с программным управлением, автоматические линии, прессы твои многотонные, которые ты мне тогда еще с такой гордостью показывал, это тебе непрофильные активы? И ведь продал, сукин сын, говорят, куда-то в Индию, в Китай, выходит, там они могут работать, а у нас нет. А те, что еще остались, гниют, заливаемые дождем через дырявую крышу. Эх, если бы ты видел свой прессовый цех...

— Не трави душу, — хрипло прервал меня он и, помолчав, словно преодолевая себя, продолжил. — Конечно, коррупционная составляющая при дележе такого огромного богатства в наших условиях неизбежна. Но я о другом. О сделанных ошибках в технической стратегии. В середине девяностых завод еще можно было спасти, если бы...

— Если бы что?

— Если бы не ошибки руководства.

— А может преступления?

— Да нет. В таком конспирологическом духе пристало рассуждать твоему мотористу, для которого мир черно-белый: воры начальники и их жертвы работяги. Допускаю, что воровство могло быть, но не оно погубило завод, а ошибочные решения, которые следовали одно за другим. Ошибочной была ставка на импортные комплектующие, которые после дефолта недопустимо задрали цену на машину. Здесь сказались недооценка валютных рисков, неправильный маркетинговый прогноз,

А чего стоил переход на мелкосерийный выпуск дорогих машин бизнес-класса на платформе старой модели с этими дурацкими былинными названиями — «Юрий Долгорукий», «Иван Калита», «Князь Владимир»...

— Говорят, это инициатива московского мэра. Это он любитель патриархальной старины. Им бы еще назвать машину «Владимир Ясно солнышко»...

— Да, ясно солнышко... Вот так оно и светило. Но мэр мог не понимать, что предприятие, рассчитанное на выпуск сотен тысяч массовых автомобилей, не сможет покрывать свои расходы за счет эпизодических продаж мелкосерийных «люксов», к тому же созданных на устаревшей платформе непрестижного массового автомобиля. А директор должен был понимать.

— Опять же говорят, что денежные субсидии на поддержку производства шли от правительства Москвы, которое было фактическим собственником завода. И там носились с мечтой о «русском БМВ». А противостоять собственнику, сам знаешь, непросто. Но ты мне скажи, что теперь будет с заводом?

— Что будет? Торги будут. Банкротство уже состоялось, впереди аукцион, распродажа остатков оборудования, зданий, земли. Я слышал, что «Рено» собирается в моторном корпусе создавать производство своих машин.

— Так что же, конец национальному автопрому?

— Вообще-то считается, что лет эдак через пять-шесть каждый второй новый автомобиль, проданный в России, будет иномарка. Рынок начнут завоевывать иностранные фирмы, создающие свои сборочные производства на российской территории. Подсчитано, что сборка машин в России позволяет удешевить их на тысячу — полторы тысячи долларов, а рост покупательной способности населения должен делать эти цены доступными в России.

И ведь как в воду глядел мой дружок Митя в том ночном разговоре. Спустя несколько лет узналось: «Рено» и правда создал сборочное производство своих машин на территории выкупленного моторного корпуса, строительство которого стало триггером на пути к гибели нашего завода. Отремонтировал этот самый «Рено» здание, завез импортное оборудование, набрал русских рабочих, зажав их в тиски своей западной системы организации труда под присмотром французов, и пошел собирать свои машины по полтораста тысяч в год, используя только частично наши российские комплектующие детали, а все остальное завозя из Франции.

В других, так же приведенных в порядок корпусах расположился какой-то «Технополис», сдающий площади под разные современные производства — чипов, продукции нанотехнологии, сложных лекарственных препаратов. Остатки территории выкупила какая-то строительная компания, объявившая о своем намерении сооружать там жилой квартал.

Вот и все. Как поется в старой песне: «И по камешку, по кирпичику растащили кирпичный завод». Нет завода, как и не было. Исчез он, оставив лишь зарубки в памяти уходящих из жизни людей. А что касается предсказания Мити о будущем российского автопрома, то его собственная судьба оказалась связанной с исполнением этого пророчества.

Глава девятая. В особой зоне

Говорит Митя. Я помню твой приход ко мне домой на Абельмановку после путешествия по мертвому заводу вместе с этим твоим мотористом и твое состояние, близкое к отчаянию — все пропало, все летит в тартарары — и завод, и страна, и люди. Что? Помню ли я свое пророчество о конце национального автопрома, о завоевании нашего рынка инофирмами? Помню, конечно. Я и сам был тогда не в лучшем состоянии. Казалось, что с моим уходом все рухнет на заводе. Оно, конечно, рухнуло. Но отечественный автопром существует. Правда, в каком состоянии? Волжский автозавод, который в восьмидесятые выпускал более семисот тысяч машин в год, сейчас, в двадцать первом веке не производит и половины, да и владеют им в основном голландцы. Камский автозавод, который считался самым крупным в мире предприятием по производству грузовиков... Здесь то же самое — нынешний выпуск камазов составляет меньше половины прошлого.

Скукожился наш автопром, как шагреневая кожа. Конкуренция мирового рынка? Но сказать это — значит ничего не сказать. Как начинался мой новый завод? Это история долгая.

Вскоре после того нашего ночного разговора мне позвонил Иван. Я знаю, ты его недолюбливаешь, и наша детская дружба для тебя не в счет. Но не отдать должное его способностям нельзя. Ты вспомни начало его карьеры, которое на наших с тобой глазах происходило. Ведь он пришел на завод начальником цехового планово-экономического бюро, а уходил — начальником заводского планово-экономического отдела, между тем ему тридцати еще не было. Генеральский сынок? Нет, отец его здесь

не причем, он, кстати, к тому времени уже в отставке был. Конформист, демагог, комсомольский работник? Это здесь тоже ни при чем. А что касается конформизма, то ты что ж хочешь, чтобы человек, сделавший такую карьеру, ставший одним из руководителей государства, был диссидентом? Ну, подумай, что ты говоришь... Конечно, он человек системы, его воспитавшей, что, кстати, ему не помешало в конце перестройки сделать по поручению Горбачёва довольно глубокий анализ путей выхода из экономического кризиса.

Конечно, после развала Союза он оказался у разбитого корыта — без должности, без работы и даже без пенсии, он к тому времени еще не достиг пенсионного возраста. Почти месяц просидел дома, запершись, никого не желая видеть. Пил? Может, и пил. Но не сильно. Он ведь всегда был не по этой части. Другие союзные министры из тех, кто постарше, крест на себе поставили, выращивали розы на даче, мемуары писали. А он, пожалуй, единственный из советской элиты, в конце концов, стал успешным предпринимателем. Он вообще-то был сделан из того теста, из которого делают крупных предпринимателей — гибкость, ум, контактность, уменье маневрировать, рисковать...

Как складывались наши отношения, как мы оказались в одной лодке? Он был единственный, кто позвонил мне, узнав, что я ушел с завода, когда я сидел дома, как он после развала Союза, также запершись, подогревая себя коньяком, и телефон мой молчал как мертвый, пожалуй, впервые в моей жизни. Позвонил и нагрянул с бутылкой, с цветами для Лиды, и начался наш кухонный разговор, который я помню в деталях до сих пор по прошествии двух десятков лет. Без всяких сочувственных слов по поводу моего ухода с завода, без комплиментов моему опыту и сантиментов, связанных с нашей дружбой, он предложил мне принять участие в реализации его идеи, которая, признаться, мне показалась несколько странной на первый взгляд и уж во всяком случае трудно осуществимой. Речь шла о создании фонда для привлечения в отечественную промышленность иностранных инвестиций. Предполагалось использовать знания, опыт и связи бывших союзных министров, оставшихся теперь не у дел. Каждый из них приводил свою команду специалистов, чем обеспечивался широкий спектр инвестиционных проектов и консультационных услуг.

Господи, как же он был красноречив в тот вечер, как рисовал передо мной картину огромного хозяйства Союза, создававшегося многими десятилетиями, а сейчас распадавшегося, с прерванными экономическими связями, со взаимными претензиями региональных элит. Сколько в этом гигантском пироге лакомых кусков для зарубежных инвесторов, если только правильно составить и умно подать проект.

— Что ж мы гробовщиками будем, кладбищенскими копателями? — спросил я, вспоминая картину нашего мертвого завода.

— Ты с ума сошел! — закричал Иван. — Мы благодетелями будем с нашими-то знаниями и опытом работы в этом хозяйстве. Только по уму все надо делать, принять новую действительность и уметь оседлать ее. Я сейчас пробиваю постановление правительства об учреждении фонда, там предусмотрены частичное освобождение от налогов, помещение в центре Москвы для штаб-квартиры... Конечно, и средства нужны для раскрутки, дальше-то будем получать проценты от заключенных сделок деньгами или акциями. Ты не думай, я тебе не Нью-Васюки предлагаю. Мне ведь еще в бытность мою в Госплане приходилось заниматься привлечением западных денег для спасения нашей агонизирующей экономики. Так что старые связи остались, и я знаю, что говорю.

Это было предложение, от которого нельзя было отказаться. Я согласился. Да и ничего другого у меня не было. А вскоре многое из того, о чем шла речь в тот вечер, начало сбываться. Вот тебе один только пример.

В Средней Азии действовал горно-обогатительный комбинат, добывающий едва ли не половину мирового производства свинца и цинка, но оставляющий в отвалах до трех граммов золота на тонну при том, что мировая норма — один грамм. Мы ж богатые, можем себе позволить и такое.

Между прочим, среди основателей фонда был бывший министр цветной металлургии, который нес косвенную ответственность за такую расточительную технологию. Теперь-то он был готов участвовать в проекте фильтрации отвалов, его ребята нашли соответствующий завод в Южной Африке. Иван полетел туда, сумел заинтересовать не кого-нибудь, а всемирно известную фирму Оппенгеймеров, которая вложила деньги в проект, а мы получили свои проценты от прибыли. Это только один наш инвестиционный проект, имелись и другие — в горной металлургии, в нефтехимии... Был в сфере наших интересов и автопром. И вот тут истоки нашей главной истории.

Ты хоть по роду своей журналистской работы больше занимался промышленностью Москвы, но все же мог слышать о перипетиях строительства Елабужского тракторного завода. Это должно было быть гигантское предприятие, но к началу девяностых его стройплощадка представляла собой типичный советский долгострой — пара пустых корпусов и несколько заброшенных фундаментов. Все это стояло в таком виде пока правительство Татарии не начало вести с «Дженерал моторс» переговоры о создании на этой базе совместного автомобильного производства.

Наш фонд к тому времени завоевал репутацию серьезного переговорщика и консультанта, и татарские руководители поручили нам представлять интересы республики на этих переговорах. Тут уж мне пришлось выступать в одной из главных ролей, и я оценил дальновидность Ивана, привлекшего меня к работе в фонде.

Разногласия начались с первых же шагов. Американцы были уверены, что высоким спросом в России будут пользоваться большие пикапы. Я же считал, что лучше их знаю российский рынок и настаивал на выпуске небольших городских автомобилей. К тому же запросы представителей «Дженерал моторс» по ценам представлялись мне неприемлемыми. Но нет пророков в своем отечестве, татарское правительство по настоянию американской стороны отказалось от нашего посредничества. Казалось бы, неудача. Но как иногда бывает, из небольшой неудачи рождается большой успех.

На прощальном банкете представитель «Дженерал моторс» обмолвился фразой, которую мы с Иваном не раз вспоминали потом: «Если вы такие умные, постройте свой завод». Легко сказать: постройте свой завод. Нам ли не знать, что это значит, как прокатилась по всему Союзу эпопея создания ВАЗа, Камаза — огромные бюджетные деньги, государственные программы, заимствованные из-за рубежа технологии, целые моногорода, созданные под эти заводы. А тут сидим мы — двое ребят с Абельмановки (почему-то я чувствовал себя в этом момент пацаном с московской окраины, который вместе с Иваном шлялся по послевоенным дворам), и нам говорят: «Постройте свой завод и там осуществляйте свои идеи». И тот же американец, будучи, видимо, в благодушном подпитии, сделал нам подарок, значение которого мы смогли лишь впоследствии оценить: рассказал, что в одной из балканских стран стоит новенький комплектный автозавод, построенный под выпуск японского автомобиля. Построить-то его построили, но, видно, не рассчитали ситуацию. После вхождения этой страны в Евросоюз были сняты таможенные барьеры, и европейские компании просто смяли их промышленность, так что завод продается теперь за полцены. Покупайте, мол, ребята, и вперед с песнями. Мало ли что в застолье говорится, но я увидел, как Иван эдак отрешенно задумался, как что-то завертелось в умной его башке.

Потом, когда мы в гостиницу пришли и немного добавили в номере коньяку, он сказал мне, что, еще будучи в Госплане, он разрабатывал проект особой экономической зоны в той самой северо-западной области, где ты теперь живешь, Данька, и где расположена эта вот деревня, в которой мы с тобой предаемся воспоминаниям. Среди преференций, которые предоставляются этой зоне для развития ее промышленности, есть и ввоз оборудования, компонентов и материалов из-за рубежа без уплаты таможенных сборов. Значит, если создавать здесь завод по сборке зарубежных машин, грех не воспользоваться таким преимуществом, экономия большая, ведь, скажем, пошлина на доставку кузова легкового автомобиля составляет почти три тысячи евро.

И вот Иван говорит мне в тот вечер в елабужской гостинице: «А что если нам

купить этот балканский завод, разобрать оборудование до последнего болта и перевезти его в областной центр этой самой особой экономической зоны, здесь смонтировать и начинать промсборку беспошлинно завозимых из-за рубежа компонентов иномарок с тем, чтобы продавать эти иномарки на российском рынке. Это ж какие прибыли могут быть».

Эк, думаю, как его зацепило, в какую авантюру он хочет нас втянуть. Тут деньги громадные по нашим тогдашним меркам нужны. Мы, конечно, на инвестиционных проектах заработали немало, но ведь тут не меньше сотни миллионов долларов надо только на покупку сварочно-окрасочного комплекса. И легко сказать — разберем до последнего болта, а потом соберем в особой зоне. Такого опыта ни у кого нет, разве что отцы и деды наши, когда немцы подходили к Москве, эвакуировали заводы за Урал, разбирали и монтировали там оборудование. Но ведь это когда было — война, крайнее напряжение сил нации... А сейчас... Погибнем мы под обломками этой авантюры. Но не погибли.

Впрочем, долго ли коротко ли, чтобы не размазывать кашу моих тогдашних переживаний и чувств, скажу: убедил меня Иван покупать завод, как в свое время убедил войти в инвестиционный фонд, который, собственно, и принес нам часть денег на покупку, а остальное пришлось добавлять за счет зарубежных кредитов и в том числе полученных в той же балканской стране, там ведь были заинтересованы в продаже завода. Где-то уложились мы в сто пятьдесят миллионов долларов, включая затраты на ремонт корпусов погрязшего в конверсии и умершего военного завода, которые мы приспособили под свое производство.

Уходя с нашего московского завода, я думал, что самый трудный период моей профессиональной жизни позади. Инвестиционный фонд после производственного котла, в котором я варился столько лет, казался курортом. Да, проекты, консалтинг, переговоры, командировки, но разве это сравнить с изматывающим чувством ответственности за твои решения, ответственности за график выпуска машин, а подчас и за жизнь человеческую. Ты ж помнишь, как ходил за мной, когда я был начальником прессового цеха. Между прочим, это тысяча человек с их делами и бедами, сотни прессов, изношенных, обслуживаемых измученными людьми, аварии, травмы и план, план любой ценой. Это был ад, в котором я жил много лет. Потом, когда я стал главным инженером, заместителем директора, стало легче — иной уровень проблем, отношений, ты не чувствуешь себя в такой мере загнанной лошадью. И все же напряжение большое...

Но то, что началось после покупки завода, вернуло меня в этот ад, не такой приземленный, но все же в ад. Я стал генеральным директором завода, а Иван — председателем совета директоров. За ним была экономика, переговоры с зарубежными фирмами, чьи машины мы выпускали, отношения с министерствами, с властью, как местной, так и федеральной, и здесь-то он был как рыба в воде с его связями и опытом. На меня же легли производство, технологии, управление коллективом и много еще чего другого.

Мы начали со сборки южнокорейской КИА, потом подписали соглашение с немецкой БМВ, потом стали собирать машины американской «Дженерал моторс» — «Шевроле», «Опель», «Кадилак». Ты представь себе, что значит выпускать машины пяти разных брендов, да еще у каждого свои модификации. У каждой национальной школы автостроения — у немцев, азиатов, американцев — своя идеология, своя организация производства, свои системы обеспечения качества, закупки оборудования. Мы не могли менять технологии головных заводов, приходилось адаптировать их к нашим условиям работы.

Ты можешь спросить, зачем нам нужна была эта головная боль? Почему не делать ставку на массовый однотипный автомобиль, не выпускать массовую продукцию стандартной комплектации, как это делает Волжский автомобильный завод, Фольксваген. Но эта была их ниша на рынке, а нам нужно было прийти в свою,

незанятую нишу. И мы сделали ставку на мелко- и среднесерийный автомобиль высокого качества, рассчитанный на обеспеченного потребителя.

Такая мелкосерийность при пяти брендах и тридцати модификациях создает сумасшедшие трудности в организации производства. Прикинь: при общем годовом выпуске в сто тысяч машин тридцати моделей на каждую модель приходится выпуск трех с половиной—четырех тысяч машин. Это нормальной работы оборудования на три—четыре дня. И каждые два дня надо делать его полную переналадку... Вообрази, какой тут должен быть уровень организации производства.

Твои коллеги-журналисты иногда спрашивают, почему мы не можем обойтись без зарубежной продукции, почему не можем строить предприятия и производить в России автомобили полного цикла? Но никто сейчас так не делает. Мировой автопром не работает замкнуто в рамках границ того или иного государства. Идет большая мировая кооперация. И Волжский автомобильный завод тоже закупает комплектующие как российского производства, так и у отдельных производителей во всем мире.

А впрочем, что я тебе говорю, ты же был у нас на заводе, видел все собственными глазами и должен кое-что понимать в современном автостроении.

«Тут нам истопник и открыл глаза» Конечно же, я был там, уже прочно живя в своей деревне, которая находилась на окраине той северо-западной области, в центре которой разместился так хитро задуманный Иваном завод. Митя прислал мне на его открытие нарядно оформленное приглашение, и я, проехавши с пересадкой с одного автобуса на другой половину области, оказался в толпе журналистов, чиновников разного ранга и всяких знатных гостей, взиравших кто с показным умилением, а кто с иронической ухмылкой, как премьер-министр перерезает ленточку у входа на сборочную линию.

Потом все отправились на банкет, а я, не будучи охотником до этих многолюдных торжественных застолий с их велеречивыми тостами и грубой лестью по отношению к хозяевам, решил в сопровождении приданного мне технолога побродить по цехам. Все здесь выглядело каким-то щегольски новым в сравнении с тем, что мне помнилось о моем исчезнувшем московском заводе. Двухэтажный сборочный корпус был выкрашен синей краской. Рабочие, одетые в аккуратные чистые комбинезоны, обрабатывали швы сваренного роботами кузова. У окрасочных камер не было привычного запаха краски. На линии комплектации легко и точно монтировали шасси, двигатели, начиняли машину электроникой. Система приборов проверяла качество сборки, потом шли дорожные испытания на полигоне, и машина уходила на товарную площадку, а оттуда по железной дороге отправлялась дилерам, сиречь торговцам по всей России.

Но я знал, что через цеха сварки и окраски проходит лишь небольшая часть автомобилей, а как производятся остальные модели, что стоит за словами «крупноузловая сборка»? Попросил сопровождавшего меня технолога, молодого, непонятно отчего веселого (может, выпить уже успел по случаю приезда гостей) парня показать комплекты узлов и деталей для сборки южнокорейских КИА и, рассматривая под настороженным взглядом моего Вергилия детали крепежа, обнаружил поврежденную краску. Похоже, что эти детали были сняты с готовой машины.

— Ну, и что, — с некоторым вызовом сказал технолог. — Хотите знать подоплеку нашего производства? Ладно уж, раз вы такой догадливый, буду истопником.

— Каким истопником? — не понял я ход его несколько хмельных мыслей.

— Ну, как у Высоцкого: тут нам истопник и открыл глаза.

Картина в его рассказе рисовалась такая. Машина, будь то корейская КИА или немецкая BMW, могла производиться где угодно, даже за океаном, где, скажем, у германского концерна был свой завод — глобализация, что тут поделаешь. И вот она приплывает из Америки в порт Бремена, где расположен крупнейший разборочный центр. Там с нее снимают двигатель, коробку передач, фары, колеса и много чего другого и уже в виде автокомпонентов, за которые не надо платить таможенную

пошлину (о, хитроумный Иван!), отправляют на завод, где происходит так называемая крупноузловая сборка.

Теперь мне стала понятна подслушанная в толпе знатных гостей во время перерезания ленточки реплика некоего пожилого осанистого господина со знакомым лицом (уж не бывший ли министр автопрома это был), который тихо сказал своему соседу: «Конечно, они ребята лихие. И все же это не полноценное производство, они просто обходят таможенные барьеры».

На следующий день ранним утром я уезжал к себе в деревню, не желая отвлекать своим присутствием Митю от обязанностей хозяина этого праздника. Я оставлял ненадолго обретенный заводской мир с его блеском свежеокрашенных кузовов, медленным движением конвейеров, теснотой современной техники и всякими причудами глобализированной автоиндустрии и вновь оказывался в стареньком «Икарусе», увозившем меня в глубину совсем иной России.

За окном проплывали сосновые леса, березняки, зеленовато-бурые, местами уже вспаханные, бугрящиеся сырыми глинистыми пластами поля с разбросанными по ним кучами торфа и навоза, болотистые низины с потемневшими стогами прошлогоднего сена.

Время от времени мелькнет столб-указатель с названием деревни и откроется с десяток бревенчатых под драночной крышей домов, кирпичная коробка магазина, длинное облезлое строение коровника. Обгоняем попыхивающий соляркой трактор, грузовик с торфом, лошадку с телегой, загруженной молочными бидонами, и уходим вдаль к районным городкам со старинными названиями, в одном из которых у нас недолгая стоянка на автостанции, где можно выйти, размять ноги, потоптаться, покурить.

Площадь у автостанции в этот субботний ранний час пуста. Несколько закрытых ларьков. Рядок «Жигулей» да мотоциклов. Доска объявлений — щит с некрашеными щелястыми досками с вкривь и вкось наклеенными на них рукописными листками.

«Продается изба. Обращаться — деревня Мосолово к Ивановой Евфросинье Ивановне»

«Меняю Кировск Мурманской области — трехкомнатная квартира в центре города со всеми удобствами — на райцентр».

«Продается мотоцикл с коляской. Прошел пять тысяч километров».

«Продается нетель крытая. Срок в январе. Обращаться к Никандровой Марии».

Почерки разные — уверенный, разгонистый северянина, старческий, с пляшущими буквами — Евфросиньи Ивановны. И как судьбы-то человеческие проглядывают за этими выцветающими листочками бумаги: тяготение в родные места у одних (никаких тебе городских удобств не надо — вернуться бы в родной сельский райгород); старческое одиночество и стремление перебраться в город, к детям — у других; усталость от хозяйства Никандровой Марии и привычка к технике владельца мотоцикла (не забыл ведь и пробег указать). Прямо-таки социальный срез российской деревни на этом щите объявлений.

Бытие наше состоит из мелочей. Перебраться или нет Евфросинье Ивановне в город, быть или не быть Марье Никандровой с телкой, купить или продать сельскому механизатору мотоцикл — все это атомы событий, из которых складывается вселенная народной жизни, совсем другой, чем у обитателей синего двухэтажного корпуса, в котором я вчера побывал.

И такая тихая российская глушь в этих селах и малых городках, что словно обволакивает тебя покоем и качает в потоке времени, смешивая века и события — варягов и греков, походы Невского и Конева, польские и литовские войны, мирный быт помещичьих усадеб и драмы коллективизации — все плывет в мягком солнечном сиянии бабьего лета, в сонном шуршании желтой листвы, опадающей с деревьев.

Тихие сельские занятия. Поездка в областной центр разбередила во мне интерес к заводским мирам, казалось бы, утраченный за годы отрешенного от прошлого

деревенского житья. Удовлетворить этот интерес я мог только с помощью интернета, тем более что автомобильная тема там присутствовала в разных измерениях. Предсказание, некогда сделанное Митей по поводу заполнения отечественного рынка иномарками, собранными российскими руками, сбывалось. В Москве и Питере шла сборка «Рено» и «Тойоты», «Ниссана» и «Хундая». А уж Калуга, провинциальная Калуга, славная в советские времена лишь как родина Циолковского, так та и вовсе стала центром мирового автостроения. Там и «Фольксваген», и «Вольво», и «Пежо» собирали руками калужан под присмотром западных специалистов.

Правда, наряду с сообщениями об открытии новых заводов и рекламных описаний их деятельности все чаще появлялись нарекания потребителей на результаты этой деятельности.

Право, мне иногда казалось, что эти посты пишет мой дружок Валя Беляков, постаревший, но не утративший своего иронического задора, негативного мировосприятия и досконального знания иномарок. И жаргон посетителя московских пивняков, и ирония по поводу косоруких сборщиков, после которых машину надо отправлять обратно к дилеру или на станцию технического обслуживания — все было то же самое.

Особенно авторов этих постов раздражали рекламные рассуждения руководителей предприятий по поводу качества их машин, которое по их заверениям уж никак не хуже зарубежного.

«Пусть не пиз...т насчет качества, — писал один из прототипов Вали. — В семье два авто. Один собран в Южной Корее другой — у нас. Что в Корее собрано, не ломается, а с нашей — одна беда. На техобслуге торчит в год по сорок-шестьдесят дней. То коробка шумит, то в салоне что-то захрустело. А у знакомого бэха тоже наша и тоже проблемы, хотя есть знакомые, у которых из Германии машины и проблем нет никаких. А насчет того, как много заводов построено — это бред. Качаем нефть на запад, потом оттуда везут комплектующие и наши граждане собирают то, что произвели другие. Производить и собирать — две разные вещи».

Особенно меня поразил крик души некого обладателя бэхи (так теперь на жаргоне называют БМВ), собранной на Митином заводе. Полтора года этот несчастный гонял свою машину по дилерским ремзонам и станциям техобслуживания, пытаясь избавиться от разнообразнейших дефектов, начиная от выхлопных газов в салоне (на заводе забыли поставить какую-то прокладку) и кончая скрипом при вращении руля и отказом усилителя рулевого управления. Обращался к юристам, в суд, но так ничего и не добился.

Я вообще-то избегал разговоров с Митей на автомобильные темы после того, как он, построив дом в моей деревне, приезжал туда пару раз в году для отдохновения. Но однажды не выдержал и подсунул ему интернетный пост этого страдальца с его бэхой.

— Ну, что скажешь?

— Да ничего. Надо уметь обращаться с машиной.

— Что ты говоришь, Митька, — вскричал я. — Это ж предмет ширпотреба и, как всякий предмет ширпотреба, должен быть рассчитан на дурака, а не на специалиста с хорошо поставленными руками. Где же твоя хваленая система проверки качества, которая, по вашим словам, действует не хуже, чем на головном заводе? Почему все пишут, что зарубежные машины качественнее тех, что собраны из тех же деталей у нас? В чем тут секрет?

Он мрачно пожал плечами, и я решил не мучить его вопросами, на которые у него, похоже, нет ответа.

И вот приблизился тот ноябрь (о нем я рассказывал в начале моих записок), когда Митя неожиданно нагрянул в деревню, неся в себе некую тайну своего прибытия. Впрочем, таился он от меня недолго. Несколько оттаяв в нашем деревенском житье, которое на него всегда действовало расслабляюще, он сказал, что получил отставку со своей должности генерального директора завода. Никакого особого повода для этого не было, просто, как понимал и сам Митя, наступила пора замены команды, и

к руководству приходило следующее поколение, сменявшее стариков — основателей предприятия. Да и сам Иван, будучи фактическим хозяином и владельцем контрольного пакета акций, постепенно отходил от дел, уступая место сыну и давая ему возможность приводить новых людей.

Учитывая роль Мити в создании и развитии предприятия, его отставили не просто так — пошел, мол, на заслуженный отдых, тем более что в пенсии он при его не очень большом, но все же существенном пакете акций не нуждался. Нет, ему предоставили какую-то почетную должность — то ли советника, то ли консультанта: офис в Москве, секретарша, зарплата, но никакого влияния на ход дел он теперь не оказывал. При некоторой неопределенности обязанностей и массе свободного времени он мог, в сущности, отдыхать, но это-то его, человека, всю жизнь варившегося в адском котле производства, в гуще заводских событий, и убивало. И я боялся, что такая перемена образа жизни может привести к обострению разных скрытых болезней, которые таятся в организме всякого пожилого человека, и в конце концов убьет его. К сожалению, такие мои предположения оказались пророческими, жить ему оставалось всего два года.

Но об этом потом, а пока мы проводим время в тихих сельских занятиях, ловим рыбу, ремонтируем его несколько обветшалый после гибели Володьки дом, подолгу застольничаем, подогревая наши разговоры небольшими возлияниями. Вот тогда-то Митя и рассказал мне историю создания завода, произнес тот монолог, который я привел выше в этих моих записках. А я в свою очередь делился с ним плодами своих исторических штудий, размышлений, возникающих у меня при чтении и перечитывании исторических авторов — от Карамзина до Ключевского, — чьи сочинения я заботливо собирал в своей прошлой жизни, как бы предчувствуя, что они составят отраду моей одинокой старости.

Как ни странно, по какой-то не совсем ясной филиации идей эти размышления были в русле моих безответных вопрошаний о причинах низкого качества автомобилей отечественной сборки, в связи с чем я рассказал Мите о любопытном разговоре, состоявшемся у меня во время очередной поездки в Москву.

Томимый жаждой встреч хоть с кем-то из прошлой жизни, я позвонил своему двоюродному брату, с которым не был особенно близок, но все же родня. И он поделился со мной радостью: сын, несколько лет назад уехавший в Германию, приехал на недолгую побывку к старикам-родителям. Я охотно откликнулся на приглашение прийти, посидеть за праздничным столом и вскоре оказался в объятиях моего молодого родственника, здоровенного двадцатипятилетнего парня, о котором я помнил, что он с юных лет ходил в спортивный зал, накачивая мышцы и занимаясь так называемым бодибилдингом.

— Давай за детей наших выпьем, — сказал хозяин дома, бравый, несмотря на немалые годы, военный отставник. — За то чтобы они жили не тужили и водочку не пили. Твой ведь, кажется, тоже не принимает.

— Я так давно его не видел, что даже и не знаю, что он принимает. В последний раз, когда я его видел в Израиле, сказал, что не пьет, нет потребности.

— И у моего нет потребности. А вот в спортзал ходить есть потребность. Говорит, если не качается, плохо себя чувствует.

Выпили по первой. Сын улыбнулся и подмигнул мне. Был он, вопреки сложившемуся в России образу качка, характера добрейшего — славный интеллигентный московский парень. Не найдя работы по своей инженерной специальности (незадолго перед отъездом был получен институтский диплом), он устроился на «Фольксваген» на сборочный конвейер, что навело меня на воспоминания о моей автозаводской молодости. Вспомнилось, как отец спрашивал, когда я приходил с завода, что там говорит рабочий класс. Его молодость пришлась на двадцатые, тридцатые годы, и им тогда хотелось припадать к мнению рабочего класса, как к гласу народному. Но для меня такого понятия, как рабочий класс, в сущности, не было. Были просто люди и говорили они о разном, житейском. Кое с кем из своих сверстников я дружил. Но они

смотрели на свою работу как на переходный этап жизни. Надо учиться, но не у всех это получалось. Во всяком случае, сборку автомобилей они не считали занятием на всю жизнь, хотя, в конце концов, кое-кто работал на конвейере долгие годы.

Поделившись этим воспоминанием с племянником, я в ответ услышал: «У нас все по-другому. Если уж человек попал на "Фольксваген" и получил постоянный контракт, он считает себя устроившимся на всю жизнь. Это вполне престижное и уважаемое положение. И получают они вполне приличную зарплату, так что можно содержать семью, иметь нормальное жилье — квартиру, а то и дом. Их дети часто кончают профессиональные школы и также имеют рабочие профессии. Пьют ли они? Пиво и помногу. А если водку, то малыми дозами. Вот эдак, граммов по пятьдесят».

— Русских, наверное, пьяницами считают. А как тебя-то воспринимают с твоей трезвенностью? Удивляются, наверное?

— Их во мне многое удивляет. И не только трезвость. Они несказанно удивились, узнав, что я инженер. Инженер в их представлении — это солидный высокооплачиваемый человек, недаром столько лет потративший на учебу.

— А как они вообще относятся к иностранцам?

— Плохо. Не все, конечно, но человек пять в бригаде не любят иностранцев и не хотят, чтобы они здесь жили.

— За что? Конкуренция на фоне безработицы?

— Возможно, и это. Но, понимаете, ауслендеры работают хуже.

— Что значит хуже? Не довернул гайку?

— Не довернул гайку. Стремится попасть на более легкую операцию. А немцы работают здорово. Четко, старательно, добросовестно. Похоже, что у них это впитано с молоком матери.

— А бригада — это сколько человек?

— Пятнадцать, из них четверо иностранцев.

— Стало быть, и ты хуже работаешь?

— Я нет. За то и уважают.

— А о чем они говорят? Что их интересует? Политика, экономика, международные дела?

— Ни в коей мере. Плевать им на политику. Спорт — об этом говорят. Сами не прочь сходить в кегельбан, да чтоб пивка выпить пару бутылочек. Они не забивают себе голову политикой.

— Ну, а можно там расти по работе, скажем, мастером стать?

— В принципе можно. У нас один грек несколько лет учился вечерами после работы и стал мастером. Но это исключение, остальные довольны своим положением и ни о какой учебе или карьере не думают.

— Работа вообще трудная?

— Первое время физически очень трудно. Потом привыкаешь, делаешь все автоматически, так что голова свободна и думаешь о чем-нибудь своем.

На этом наше интервью было прервано моим кузеном, провозгласившим: «Давайте-ка лучше выпьем за твою молодость, за твое будущее, сынок, за то, чтобы оно не было исчерпано знакомством с немецким рабочим классом и ждало тебя нечто более интересное».

Мы выпили и пошли смотреть по телевидению очередную политическую передачу. Благо, в России идет вечное политическое гулянье.

— Занятно, — сказал Митя, выслушав мой рассказ. — Как все-таки сидит в тебе профессия: надо же — проинтервьюировать в Москве немецкого рабочего.

— Да какой он немецкий рабочий — наш московский парень, занесло его на «Фольксваген». Сейчас многих наших ребят носит по свету.

— Но в известном смысле этот твой парень прав. Немцы работают лучше, честнее, что ли, чем наши. И в чем тут дело — не знаю. Может, в национальном характере.

Загадки национального характера. Мы заговорили о загадках национального характера. Я вспомнил, как некогда в Казахстане заехал в одно немецкое село. Оно заметно отличалось от соседнего русского и чистотой, и добротностью домов, и результатами хозяйственной деятельности, колхоз там был один из лучших в районе. И ведь жили эти немцы в российской империи с екатерининских времен, не меньше полутора веков, претерпев высылку в тот же Казахстан во время войны, и не растворились в местном окружении, сохранив национальные черты — добросовестность и трудолюбие. Была ли в этом загадка национального характера? Опять-таки, если углубляться дальше в историю, то вспомним, как поражался Карамзин в своих «Письмах русского путешественника» благоустройством и внешней культурой немецких бауэров. Но культура культурой... Да, есть Гёте, Шиллер, Гумбольдт — обычно называемые в контексте таких рассуждений имена, но ведь, напоминали мы себе, в двадцатом-то веке в германскую историю как проявления немецкого духа вошли газовые камеры, Освенцим, Холокост. А потом — примирение, покаяние и трудолюбивое восстановление разоренной войной страны, вывод ее на передовые рубежи мировой экономики.

«Они дисциплинированны, законопослушны, — говорил мой наблюдательный племянник, — и в морду тебе не дадут при любом конфликте. Работают себе честно и добросовестно, в кегельбан ходят, пиво пьют». Ну, а то, что некогда эта добросовестность и законопослушание порождали беспрекословное выполнение безумных и жестоких приказов, так это с кем не бывает. В русском-то национальном характере загадка на загадке.

В стране, где религия, казалось бы, пропитывала жизнь и быт всех слоев общества от крестьянства до аристократии, где церковь создавала основы духовного существования общества, после семнадцатого года те же люди, что вчера крестились и молились, били поклоны перед амвоном и целовали иконы, сдирали кресты с церковных куполов, жгли монастыри, превращали храмы в овощехранилища. Не могли большевики вершить эту вакханалию без народной поддержки. Но проходит столетие, и снова церковь претендует на формирование духовных скреп общества, а местные начальники неумело крестятся и держат свечку на богослужении.

А в 1913-м, в дни трехсотлетия Романовых, — какой взрыв монархических страстей, народного обожания царствующих особ... А пять лет спустя, когда низложенного императора везут в сибирскую ссылку, на станциях охрана с трудом отгоняет от вагона осатаневшую толпу, рвущуюся растерзать кровавого Николашку.

Объяснений таких национальных деяний полно — социальных, политических, экономических объяснений. И все же многое здесь загадочно, так же как загадочным было для меня упорное нежелание русского крестьянства расставаться с общинной формой существования. Уж чего только ни делал Столыпин в начале двадцатого века, пытаясь перевести российское село на нормальные капиталистические рельсы хозяйствования и разрушая для этой цели тысячелетнее здание общины. В рамках проводимой им аграрной реформы отменялась подушная подать и круговая порука, утверждалось право главы каждого крестьянского двора приватизировать общинные земли, находящиеся в его пользовании, позволялось объединять разрозненные полоски земли, стимулировавалось создание хуторов и отрубов... Тем не менее дело шло со скрипом, и сразу же после Октябрьского переворота все пошло вспять. Произошло мгновенное восстановление общины со всеми ее порядками — переделами земли, чересполосицей, властью сельского схода. Осередняченное село, разделив помещичьи, монастырские и другие частновладельческие земли, стало хозяйствовать так, как считало нужным — теми же архаичными и уравнительными методами вплоть до конца второго десятилетия двадцатого века, пока Сталин не затеял очередной утопический проект, заливший кровью и насилием сельскую Россию.

Митя слушал мои исторические филиппики с полным вниманием и, как мне казалось, с пониманием и под занавес нашего разговора о столыпинском проекте задал мне хороший вопрос: исчерпала ли себя община к началу двадцатого века как объект

реализации «базовых инстинктов» российского крестьянства? Я сказал, что нет, судя по тому, как крестьянские массы препятствовали ее разрушению даже при условии низкой эффективности хозяйствования в тех условиях. Другой вопрос, почему именно такая форма коллективного существования была столь устойчива в сельской России на протяжении многих столетий? Объяснение этого явления трудными природными условиями при продвижении русских на северо-восток, когда только сообща можно было чего-либо добиться, не работало. Российский этнолог Светлана Владимировна Лурье, изучая жизнь финнов, находящихся примерно в таких же природных условиях, как и русские поселенцы, отмечала, что представители этой северной народности действовали всегда в одиночку, селились на новой земле лишь со своим семейством и в одиночестве вступали в борьбу с природой, какие бы трудности их ни подстерегали, предопределяя тем самым хуторскую систему расселения, к которой, собственно, стремился Столыпин.

Почему у двух географически близких народов столь разный подход к формам сельского существования? Лурье, будучи представителем науки, изучающей процессы формирования и развития различных этнических групп, на этот вопрос дать ответа не может. И такое различие в менталитете двух народов остается очередной непознанной загадкой национального характера.

Так судили и рядили мы, два усталых российских старика, о тайнах отечественной истории. А за окном курилось редкими печными дымами вымирающее село, являя собой результат всяких аграрных утопических проектов. Их реализация и привела к формированию мертвых жизненных пространств, обитатели которых перебрались в города. И в одном из них звенел новой жизнью созданный Митей завод.

Замедление жизни. Год спустя после недолгого визита Мити в деревню я, будучи в Москве, зашел в его офис, выбитый некогда в центре города Иваном еще при создании инвестиционного фонда. Он сидел в просторном кабинете, неспешно перебирая какие-то бумаги, а увидев меня, расцвел улыбкой, обнял и потащил обедать в расположенный неподалеку узбекский ресторан, где нас кормили вкуснейшим пловом и поили отличным красным вином. На прощанье он подарил мне сувенирный фирменный зонтик-трость с разноцветной широкой покрышкой. Такой зонт был скорее пригоден современному городскому денди, а не скромному деревенскому жителю. На случай дождя я имел просторный брезентовый плащ с капюшоном, в котором ходил на осеннюю рыбалку. А дареный этот зонт поставил в углу избы как один из памятных предметов моей мемориальной коллекции. В нее входили старые фото, остатки Таниного сервиза, которым я вообще-то не пользовался, а теперь еще и этот цветастый зонт, напоминавший о Мите. А вскоре к этим мемориальным предметам присоединился и Митин дом, осиротевший после смерти хозяина.

Я спросил на похоронах у его сына, что он думает делать с домом. Он на минуту задумался.

— Да не знаю. А что с ним делать? Продавать? Да кто ж его купит в этой деревне. Хотите, возьмите его себе.

— Зачем он мне? У меня свой дом есть.

— А мне-то он зачем?

И в самом деле, зачем деревенский дом ему, преуспевающему банковскому деятелю. Он, наверное, отдыхает где-нибудь в Испании или Таиланде. Что ему делать в нашей глуши?

— Ну, пусть стоит, — сказал сын в заключение.

Дом так и стоит, постепенно ветшая, отсвечивая мертвыми окнами. Разве что я иногда зайду что-нибудь подправить, подколотить... Но делаю это все реже. И жизнь моя все замедляет свое течение, бывает, и по неделе не выхожу из комнаты. Разве что кто-нибудь из старух соседок окликнут из проулка: «Семеныч! Ты живой?» И я отвечу, приоткрыв окно: «Живой!»

СТУДИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
«ШКЕРЕБЕРТЬ»

«Не розумівся: ти в Едемі, в раї?»

В феврале 2020 года в Минске в формате международной гуманитарной программы «Минская инициатива» прошел мастер-класс по сравнительному поэтическому переводу студии «Шкереберть» при непосредственном участии известного украинского поэта, лауреата Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко — Петра Мидянки, чьи стихи в переводе на русский и белорусский языки мы предлагаем нашим читателям.

Галина КЛИМОВА

Петро Мидянка

Патріотична елегія

І ти не знав, що вернешся в місця,
Де сяє гостре лезо від різця.
На овиді золочені вершини.
Нові будинки і нові церкви,
Оранжерейне листячко смокви
Та в канцеларні лубочні картини.

Пливла Бронецька гомінка вода
І піднебесна сипалась слюда
І пробивалось сонце в кожну шпарку.
Тут не зійшлися клани ані рід.
Латинські назви листяних порід —
Із уст лісничого у світлотінях парку.

Все діялося в гомоні століть,
Неначе квадрокоптера політ
Понад горбаті вулички й сараї.
Бо то була таки твоя земля
Оті воскові в чагарях поля.
Не розумівся: ти в Едемі, в раї?

ПЕРЕВОДЫ НА РУССКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫКИ

Дмитрий Артис (Москва)

И ты не знал, что возвратясь домой,
Увидишь свет, как отблеск ножевой,
Над горизонтом царствуют вершины.
В жилищах и церквушках новодел,
Инжир в оранжереях поредел,
Но в офисах — лубочные картины.

Здесь рокотом Бронецкая вода,
И крошится небесная слюда,
И солнце осыпает золотыми.
Не собиралось племя или род,
Названия всех лиственных пород
Лесничий произносит на латыни.

Всё деялось на триста лет вперёд,
Как будто квадрокоптера полёт
По-над полуразрушенным сараем,
Равнина зарастала ковылём,
Но это всё равно твой отчий дом,
Хоть называй Эдемом или раем.

Яна-Мария Курмангалина (Москва)

Не знал ты, что вернёшься в те места,
Где сталь луча последнего чиста
На кромке позолоченной вершины.
Где много новостроек и церквей,
Смоковницы в тепле оранжерей,
В конторах те же пыльные картины.

Волнуется Бронецкая вода,
Из поднебесья сыплется слюда,
А солнце светит ярко и поныне.
Здесь не сходились кланы или род.
И лишь названья лиственных пород
Лесничий в парке помнит на латыни.

Всё это длилось в гомоне веков,
Так вертолёт гудит средь облаков,
И гул плывёт над крышами сараев.
Ты чувствуешь, что здешняя земля,
Её кусты, лощёные поля,
Твой личный рай, где сердце ищет рая.

Роман Рубанов (Курск)

И ты не знал, вернёшься ль в те места,
Где будут лезвием резца блистать
Вершины горизонта в свете дивном.
Церквей и новостроек пёстрый вид,
Инжир оранжерейный шелестит,
Жизнь канцелярий, как лубок, — наивна.

Шумела здесь Бронецкая вода,
Из поднебесья сыпалась слюда,
И солнце жгло лучами золотыми.
Здесь не ведёт начало чей-то род.
Лесник названья лиственных пород,
Идя по парку, шепчет на латыни.

История свершается в веках.
А квадрокоптер смотрит свысока,
Как льнут сараи к улочкам бегущим.
Да, здесь всегда была твоя земля,
И восковые, в зарослях, поля
Ведут тебя дорогой к райским кущам.

Ольга Сульчинская (Москва)

И ты не думал, что опять придёшь
Сюда, где лезвием сверкает нож.
На горизонте золотятся горы.
Всё новое: и церкви, и дома,
Растёт оранжерейная хурма,
Лубочный вид глядит со стен конторы.

Текла, шумя, Бронецкая вода,
Из поднебесья сыпалась слюда
И солнце забавлялось светотенью,
Не древние сходились племена,
Латинские припомнив имена,
Лесник давал их каждому растенью.

И шум веков был слышен — тот же звук,
С которым квадрокоптер чертит круг
Над улочкой горбатой, над сараем.
И не было родней, чем та земля,
Кусты и глина, стылые поля.
И ты не знал, назвать ли это раем.

Анна Павловская (Москва) – перевод на белорусский язык

Каб ведаць, што прыедзеш да мясцін,
Дзе блішча асцярожны мастыхін.
Далёка залацістыя вяршыні.
Дзе новая будуецца царква
І распранае лісцікі смоква,
Як на салодкай дробязнай карціне.

Бранецкая злавалася вада,
З нябесных схілаў лілася слюда,
Пляскала сонца ў кожную прарэху.
Ні клан, ні род не з'явяцца на сход.
Лацінскімі найменнямі пародАслепіць вас ляснічы на пацеху.

Усё адбылося і мінуў той год,
А зараз квадракоптэра палёт
Над стогнамі ў гарбатым даляглядзе.
Ці чуў цяпло сваяцтва ад зямлі —
У карчажынах воскавых палі.
Здавалася, што ты ў Эдэмскім садзе?

Петро Мидянка

Димеш

Німує скрипка і затих рояль,
Лише отари подались на пашу.
Ти з Мараморошa поїхав на Ардял
Ще молодий, мій рідний бутиняшу.

Січки в дров'яниках. Цілі ряди полін.
Строї смерек, сокиру не піднімеш.
Але нікому з прийшлих поколінь,
Лише мені захочеться у Дімеш.

Де ще дешевий сушиться тютюн,
Де ще каміння тямить твої кроки.
Чорний сатин заробітчанських трун...
Жива форельна плине у потоки

Евгения Джен Баранова (Москва)

Немеет скрипка, и затих рояль,
Стада овец отправились на пажить.
Мараморош сменял ты на Ардял,
Да только дома до сих пор не нажил.

Поленьев ряд, дрова в сарае спят,
Отряды пихт — секиру не поднимешь.
Никто не возвращается назад,
И только я попасть мечтаю в Димеш.

Где сушится табак или укроп,
Где камень звук шагов твоих запомнил.
Горит сатин — заробитчанский гроб.
Живёт форель — что раньше, что сегодня.

Анна Маркина (Москва)

Немела скрипка, и затих рояль,
Отары шли по луговой росе.
Из Мараморoша уехал на Ардял
Мой юный, дорогой мой дровосек.

Строй пихт. Ряды поленьев. Связки дров.
Так тягостно, что руку не подымешь.
Сюда не рвутся — этот край суров
Для молодых. Но я поеду в Димеш.

Где сушится копеечный табак,
Где шаг твой ещё помнит камень стойкий,
Сатин на гастарбайтерских гробах,
Форель живая плещется в потоке.

Олеся Мифтахова (Киев)

Молчит скрипач, давно затих рояль,
И только стадо нынче вышло в поле.
Из Мараморoша уехал ты в Ардял,
Мой лесоруб, ты выбирать не волен.

Ряды поленьев, полон дровяник.
Деревьев строй, топор ты не поднимешь.
Из поколений, что пришли на миг,
Один лишь я хочу уехать в Димеш.

Там, где дешёвый сушится табак,
Где помнят шаг твой каменные блоки.
За чёрной тканью мёртвого раба
Форель живая вновь плывёт в потоке.

Роман Рубанов (Курск)

Умолкла скрипка, и затих рояль,
Отары к пашням движутся картинно.
Из Мараморoша ты едешь на Ардял,
Мой лесоруб с нетронутой щетиной.

Вязанки дров. Поленница полна.
Строй елей тесен — топора не вскинешь.
Скажи, кому из прошлого нужна
Дорога, как не мне, в далёкий Димеш.

Там где дешёвый сушится табак,
И каждый камень в жизни что-то значит.
Сатин на гастарбайтерских гробах...
Форель в ручьях живых стоит и плачет.

Петро Мидянка

Заводчиков

Чорнявий Ґена ще не був мажор,
Не був ні кірасиром, ні гусаром,
Але тоді на мілітарній парі
На «калаші» показував затвор.

Один відомий безголосий хор
Співав «Орденоносне Закарпаття».
І наші всі ідеї та заняття
Так трепетно оберігав майор.

Кидав у мене Вайсброт сірники,
Сторчма ставали сині коробки.
І раптом нас накрило злющим матом.

Завмер увесь філологічний взвод,
Коли розкрився офіцерський рот:
Строчив мораль, як чергу з автомата...

Дмитрий Артис (Москва)

Черноволосый Гена — не мажор,
Ни кирасиром не был, ни гусаром,
Но как-то нам на милитарной паре
От «калаша» показывал затвор.

Один известный безголосый хор
Гремел: «Орденоносне Закарпаття...»
И мысли наши в тишине занятий
Так трепетно оберегал майор.

Кидался Вайсброт спичками в меня,
Вставали коробки, как солдатня,
И вдруг накрыло нас отборным матом.

И бегал взвод филологов гуськом,
Когда он офицерским языком
Строчил мораль, как чёрт из автомата.

Герман Власов (Москва)

Хоть смуглый Гена и не был пижон,
Не слыл кавалергардом и гусаром, —
Тем методичней на военке с жаром
Взводил затвор, пристегивал рожок.

Прославленный и безголосый хор
Гремел «Орденоносне Закарпаття».
Весь наш моральный облик и занятья
Столь трепетно оберегал майор.

Бросался Вайсброт спичками в меня
И синий коробок вставал стоймя.
Нас накрывало трехэтажным матом.

Филологов звено бросало в пот,
Когда раскрытый солдафонский рот
Строчил мораль, как бы из автомата.

Яна-Мария Курмангалина (Москва)

Был не ханжа наш Гена, не мажор,
Не кирасир, не числился гусаром,
Когда спокойно на военной паре
На «калаше» показывал затвор.

Один известный безголосый хор
Гремел «Орденоносным Закарпатьем»,
И все идеи наши, все занятья
Так трепетно оберегал майор.

Кидал мне спички Вайсброт от тоски,
И на ребро вставали коробки,
Когда накрыло класс звенящим матом.

И замер весь филфаковский наш взвод,
Не веря в то, что офицерский рот
Строчит мораль, как чёрт из автомата...

Анна Маркина (Москва)

Чернявый Гена жил не как мажор,
Тогда ещё особо не гусарил.
Однажды он нам на военной паре
На «калаше» показывал затвор.

В то время громкий безголосый хор
Терзал «Орденоносным Закарпатьем»,
Пока идеи наши и занятья
Старательно оберегал майор.

Пулялся Вайсборт спичками в меня,
Шли коробки от линии огня,
И вдруг нас обложило резким матом,

Филологов опешил целый взвод,
Когда моралью офицерский рот
Лупил по людям, как из автомата.

Роман Рубанов (Курск)

В мажорах Чёрный Гена не ходил,
Гусаром не был, но, однако, ловко,
На паре по военной подготовке
На калаше всегда затвор взводил.

Один известный безголосый хор
Запел «Орденоносне Закарпаття».
Все наши помыслы и все занятья
Так трепетно оберегал майор.

В меня бросался спичками Вайсброт,
И коробки вставали в полный рост.
Внезапно нас накрыло крепким матом.

Филологический наш замер взвод,
Когда плевался офицерский рот,
Моралью, как огнём из автомата.

Анна Павловская (Москва) – перевод на белорусский язык

Чарнявы Генька шчэ не быў мажор,
Не быў ён кірасірам і гусарам,
Але аднойчы на вайсковай пары
На «калашы» зашморгваў затвор.

Адзін наперад анямелы хор
Спяваў «Орденоносне Закарпаття».
На ўсіх занятках нашых і заняццях
З лішка шчадрот нас вартаваў маёр.

У мой бок кідаў Вайсброт сярнічкі,
І стаяком паўсталі карабкі.
І раптам нас накрыла злосным матам.

Замёр увесь філалагічны ўзвод,
Калі адкрыўся афіцэрскі рот:
Страчыў мараль, як чэргі з аўтамата...

Петро Мидянка

Олімпієв

Сидів на іспиті з очима, як у пса,
Задача з траєкторією кулі
Мене вернула у часи минулі...
Вціляв набій не в тіло — в небеса!

Хотілось розстріляти вогневу
Цю підготову й того офіцера.
Весь час ходив сердитий, як пантера,
Забув фронти, бої й передову.

Біда,що кулі і понині свищуть,
Хоч він розліг уже на кладовищі,
Яко совковий гордий відставник.

І вогнегасник на щитку, і зброя —
Ще воякаа, червоного конвоя,
Котрий, як вічний привид, ще не зник...

Дмитрий Артис (Москва)

Сдавал экзамен, был похож на пса.
Задачки траекториями пули
Меня в часы минувшие вернули...
Я целил не в людей, а в небеса!

Хотелось избежать мне огневой
Той подготовки, грохнуть офицера.
Ходил он, как сердитая пантера,
Забыв о схватке на передовой.

Беда, что пули и поныне свищут,
Хоть офицер давно уж на кладбище,
Совковой жизни гордый отставник.

Огнетушитель на щитке, что воин
В червоных латах, выставлен конвоем,
Который вечным призраком возник.

Герман Власов (Москва)

Чей глаз багровый цербером висел,
Билет на траекторию полёта —
В былые дни вернул меня, и вот он...
Не в тело — в небо наведён прицел!

За эту огневую я б к стене
Поставил отставного офицера.
Озлобленный, всю пару, как пантера,
Ходил, не вспоминая о войне.

Одна беда: летит свинец и ныне,
Укрытый под землёй, оставил имя
Совковый воин, мстительный зоил.

Огнетушитель на щите и вилы
Записаны за красным конвоиром:
Он здесь и никуда не уходил.

Анна Маркина (Москва)

Сидел на зачёте — глаза, как у пса,
Пытался найти траекторию пули,
И вдруг, будто в прошлое время вернули,
Услышал, как пули клюют небеса.

Хотелось взорвать, расстрелять тишину,
Учебку, весь класс и того офицера,
Что мерил шагами наш класс, как пантера,
Как будто в себе схоронил он войну.

Беда, что не стихли снаряды вороньи,
Хоть тот офицер уж и сам похоронен,
Совковый охранник режима.

Пожарный щиток. Не кончаются войны.
И бродит вояка красноконвойный,
Как призрак, огнём одержимый.

Петро Мидянка

* * *

Подільських дуфортів заледеніле шкло
Поволі спонукає до канкану.
На гнутих чорних стільцях «Барбакану»
Примощується місто і село.

О тій предивній вечора порі,
Коли довкіл розпочинають танці.
Зелений плин чарує в повній склянці,
Зі стін авангардові малярі.

Не дим канабісу, звичайний нікотин.
Від нього флер — до стійки і картин
Вповзає тихо з дворика тісного

І тільки вдвох потішно сидимо.
Лише не вистачає доміно,
Доки з богеми ще нема нікого...

Евгения Джен Баранова (Москва)

Подольских двориков холодное стекло
Невидимо доводит до канкана.
На гнутых чёрных стульях «Барбакана»
И город примостился, и село.

Есть дивная порода вечеров,
когда вокруг устраивают танцы.
Абсент глядит зелёным иностранцем
на пыль авангардистских мастеров.

Не дым каннабиса, обычный никотин.
Густейший дым — до стойки и картин
Вползает тихо со двора, как сырость.

И ты сидишь, весёлый и хмельной,
И не хватает только домино,
Пока сюда богема не явилась.

Роман Рубанов (Курск)

Двор на Подоле вымощен стеклом,
Как тут не быть весёлому канкану.
На гнутых чёрных стульях «Барбакана»
Усядутся и город, и село.

Вот-вот вечерняя начнётся жизнь,
И очень скоро танцевать потянет.
И отразится весело в стакане
Сползающий со стен авангардизм.

Не травки дым — обычный никотин.
Флёр от него — до стойки и картин
Сквозь тесный дворик медленно доходит.

И только мы сидим смешно вдвоём,
Дай домино, и мы козла забьём,
Пока богема где-то лоск наводит...

Ольга Сульчинская (Москва)

Лёд во дворах Подола, как стекло,
Пока дойдёшь, не избежать канкана.
На гнутых чёрных стульях «Барбакана»
Устроится и город, и село.

У музыки особенный азарт,
Как будто танцы всем пообещали,
Зелёный хмель колышется в бокале,
Красуется на стенах авангард.

Не дым каннабиса, обычный никотин.
Он с улицы добрался до картин
И мимо нас двоих плывёт невинно,

Нам непонятно, почему смешно.
И не хватает только домино,
Пока богемной публики не видно.

Анна Павловская (Москва) – перевод на белорусский язык

Падольскіх мыз заледзянела шкло,
Дрэйфуе паступова да канкану.
На гнутых чорных крэслах «Барбакану»
Ўсаджваюцца горад і сяло.

Складае вечар з новага радку,
Што навакол распачынаюць танцы.
Зялёны сок у авангарднай шклянцы
Даруе захапленне мастаку.

Не анаша, звычайны нікацін
Струменіцца ад стойкі да карцін,
Паціху льецца з дворыка малога.

І мы ўдваіх сядзім нібы ў кіно
І толькі не хапае даміно,
Пакуль з багемы не прыйшло нікога...

Диана Светличная

Случайные люди

Года два назад возвращаюсь я в Бишкек из очередной командировки наземным путем, на КПП Кордай у моего чемодана отлетают колеса. И вот стою я в луже между Кыргызстаном и Казахстаном — волосы развеваются, туфли тонут в глиняной жиже, сидящая рядом с пограничником овчарка воет, с колючей проволоки капает ржавчина, начинается дождь. Чемодан уже не спасти, я пытаюсь тащить его волоком, как бурлак, меня догоняет коллега и говорит: «Напишите-напишите про это! Я даже название вашим запискам придумала “На шпильках по регионам”».

Кыргызстан — это мой дом, это моя вторая Родина, это я. Где бы я ни находилась, мой глаз ищет горы. Чтобы желто-красно-зеленые склоны и белая снежная шапка. И в небе пусть парит неторопливая хищная птица. Размах крыльев — как у самолета, окраска — как у старого дуба. А еще, пожалуйста, озеро с чистой, прозрачной водой. Не теплое море, не бушующий океан, а голубое озеро и берег с красным песком.

Который день мы едем с водителем и переводчиком от села к селу. Внедорожник подпрыгивает, водитель не скрывает своего раздражения — какого черта мы мотыляемся как неприкаянные, месим снег то на кыргызо-китайской, то на кыргызо-узбекской границах, портим настроение пограничникам.

— У меня есть знакомые гиды, они могут рассказать много интересного про озеро Иссык-Куль, заповедники, святые места, — в который раз начинает водитель.

Наивный. Мы объедем весь Кыргызстан и будем разговаривать только с теми, кого нам пошлет случай. Специально подготовленные герои — суррогаты для суррогатов — мое журналистское прошлое. Я не хочу к нему возвращаться.

Каждый наш выезд сопровождается снегопадом, предупреждениями гидрометцентра и МЧС о сходе снежных лавин, тумане и гололеде. Любой гид вам скажет, что знакомиться с Кыргызстаном лучше летом. Летом много солнца, цветов и фруктов. Летом водопады, загорелые лица, обнаженные плечи. Летом открытые юрты, запах дыма, аромат плова. А я вам скажу, что знакомиться лучше зимой. Зимой меньше врут.

Бишкек остался в серой дымке. Труба ТЭЦ и трущиеся друг о дружку автомобили растаяли, испарились. Я снова ощутила запахи. Мой нос опять задышал.

Типовые советские застройки, уродливые элитки, пластик и металл, мишура и каменный сорняк — мой маленький, мой беззащитный город.

Архитектор, чьей руке принадлежит добрая часть лучшего, что есть в Бишкеке, как-то мне рассказывал: «Звонит старинный приятель и просит устроить сына в

Диана Светличная (*Горяйнова Юлия*) родилась в 1979 году в Томске. Журналист. Работала в различных СМИ. Преподает в Киргизско-Российском Славянском университете на факультете журналистики. Печаталась в журналах «Идиот», «Слово Кыргызстана», «Идель», «Лампа и дымоход» и других. Живет в Бишкеке. Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 10.

хорошую строительную компанию прорабом или строителем. Я его спрашиваю, а образование у сына есть? Приятель говорит, да, диплом юриста. Ну, я говорю, тогда не переживай, найдем парню работу! У меня есть связи на военной базе, там нужен механик, ремонтировать реактивные двигатели. Приятель искренне удивляется, говорит: какие двигатели? Он же в этом не разбирается! Я его спрашиваю, а с чего ты решил, что он разбирается в строительстве? Приятель, конечно, обиделся».

Едем в самую туристическую часть Кыргызстана — Иссык-Кульскую область. «Кукурузы! Рыбы! Куруты!» Горы хранят музыку лета. Если остановиться сразу за Боомским ущельем, высокие голоса польются и зазвучит: «Мед! Кумыс! Облепиха!» Зимой по обочинам дорог здесь стоят неподвижные люди, их тела из тумана, голоса их как ветер. Бросьте в пропасть монеты. Пусть вам будет ак жол!

Иссык-Куль зимой — ледяная вода, пустынные пляжи. Город на въезде — Балыкчи (Рыбачье на русском), здесь когда-то было много рыбы и консервный завод. Вон те ржавые развалины тоже когда-то были чем-то важным. Ветер воет, истово жалуется. На боль в пояснице, подагру, мигрень. Дома жмутся друг к другу, из труб идет дым. Одинокая собака стоит на свалке, задрав голову, как будто пытается что-то вспомнить. По железнодорожным путям идут мальчишки с сеткой-авоськой.

Всегда мечтала посмотреть на озеро с вышки зернохранилища. Не знаю, хранят ли тут зерно, но высокое, многоэтажное здание зернохранилища кажется еще вполне жизнеспособным. По фасаду идет металлическая лестница. Подбиваю к безрассудству переводчика. Он молод, горяч, но хочет жить. Сопротивляется. Входим во двор зернохранилища — светлая память прошлому: беленый заборчик, беленый домик. Стены, рамы, двери — все в двух бело-голубых казенных расцветках. На двери — обернутая в полиэтилен формата А4 надпись «ЛАБАЛАТОРИЯ».

Моя классная руководительница говорила так. А еще — «калидор» и «тубаретка». Я не знала более активной женщины. У нее были синий автомобиль «Жигули», несколько огромных собак, связи во всех инстанциях и дочь с кукольным лицом. Ни одна учительница не любила наш хулиганский, невыносимый класс так, как она.

В ЛАБАЛАТОРИИ крашеные полы, крошечные окна, беленые стены, огромное количество экзотических цветов в горшках — маленькие джунгли. Цветы жирные, самоуверенные, растут вверх и вширь, ползут по стенам, занимают большую часть комнаты. Одна моя подруга говорит: цветы хорошо растут там, где много сплетничают. Другая уверена: зелень «колосится» от классической музыки. Музыки не слышно. Из-за цветка выходит крошечная сказочная бабушка. Ну, здравствуйте, сплетница!

Хозяйка джунглей отговаривает меня лезть по лестнице. Лестница, вроде, крепкая, никто не жаловался, но ветер — чертяка, бывает, сносит мужиков, особенно пьяных. И вообще без разрешения главного — нельзя. А кто тут главный? А вон он, в соседней комнате сидит. Начальник зернохранилища. Соседняя комната тут же — как я ее не заметила? Вот же дверной проем без двери. Переступаю порожек — какое-то кино: за канцелярским столом сидит мужчина в меховой шапке и дубленке, читает газету. Здравствуйте-здравствуйте! А где зерно? А что хранится? А можно наверх?

Выходим во двор все вместе: мы с переводчиком, бабушка из сказки, мужик из кино. Задираем головы на металлическую лестницу. Молчим. Ветер свистит, ушам больно.

Ну а что? Лезьте! Надо так надо! В конце концов, это только зерно в дефиците, человеческого материала хватает. Мне уже и не очень-то хочется лезть, озеро и так прекрасно видно. Но откуда-то из недр старого бункера выходит на полусогнутых сильно нетрезвый мужчина, с легкостью вскакивает на железные балки перед лестницей и элегантно протягивает мне руку.

Очень страшно. У меня дрожат колени, из-за ветра ничего не слышно, лестницу трясет и мотыляет. Я позорно проползаю треть пути, прилипаю к железяке и, как раненое животное, сползаю вниз.

Возвращающиеся домой коровы (я не знаю, куда ходят коровы зимой), их

большие все понимающие глаза и просвечивающие на солнце уши возвращают мне веру в жизнь. Я нахожу в себе силы дойти до забора с надписью «Яхтклуб» и посмотреть в лица заливающимся лаем собакам. Они видели мой позор на лестнице и активно высказываются по этому поводу.

К яхтклубу подъезжает роскошная машина. Ее тонированные стекла, переливающиеся диски и сияющие фары на фоне ржавого забора, свалки и покосившегося дома выглядят как НЛО. Собаки замолкают и делают серьезные морды. Из машины выходит маленький человек, у него тонкие ноги, почти детские руки, хрупкая шея, наивное выражение лица. Мужчина открывает своим ключом ржавый замок яхтклуба, подходит к присмиревшим собакам и спрашивает: «Че, жрать хотите?»

Едем дальше. Каракол (бывший Пржевальск), главный город Иссык-Кульской области, зимой живет с оглядкой на горнолыжную базу. Наш отель с камином, шкурами краснокнижных зверей и внимательным персоналом ориентирован на иностранных гостей. Здесь тепло, светло, вкусно.

— Поехать завтра с нами кататься! — приглашает меня сосед-викинг из отеля. Он приехал в Кыргызстан в третий раз и чувствует себя тут своим. «Саламатсызбы» и «рахмат» в столовой за завтраком и за ужином. С ним трое рыжих худосочных друзей-немцев, они чуть скромнее, только улыбаются и машут при встрече.

Гуляем с переводчиком по ночному Караколу. От центральной площади с памятником вождю пролетариата до старинных церквей. На улицах пусто, тихо, темно. Свет горит только возле административных зданий. В который раз мимо нас проносится с мигалкой и воем милиция. Во многих домах закрыты ставни.

Утром на выезде из Каракола нам встречается похоронная процессия. Небольшая группа людей в разноцветных дутых куртках идут вслед за черным гробом.

— Русского хоронят, — замечает переводчик.

— Не по-христиански это, — отзывается водитель. — Наши хоронили бы в обед. Зачем с утра? Нет, не русского...

— И не мусульманина, — говорит переводчик.

Проезжаем мимо кладбища. Его ворота призывно распахнуты. На утреннем солнце переливаются обледенелые ветви деревьев, сквозь них видна синяя гладь Иссык-Куля. Из ворот кладбища выходит человек в черном тулупе. Он как будто из другого времени, из другого мира. Лицо его не выражает никаких эмоций. Я понимаю, что он вышел специально ко мне.

-— Я слышала про поселение, которое было здесь неподалеку, однажды жители этого села выкопали останки всех своих и исчезли, может, вы знаете, что это было?

— Это балкарцы были, — отвечает мне человек в тулупе. — Сталинские переселения знаешь? В сороковых годах это было. Часть этого народа расстреляли, часть к нам отправили. Они тут долго жили, пока не разрешили им обратно вернуться. Перед тем как вернуться, они своих и выкопали. А ты, поди, всякие глупости слышала? Своих они забрали. Чтобы в родную землю закопать.

С главной дороги мы сворачиваем на проселочную. Машина ползет вверх. У нашего водителя снова портится настроение.

— У жены цех, девчонки шьют платья для России. Мы должны лепить бирку «Сделано в Кыргызстане», а заказчик из Москвы истерит, чтобы мы не пришивали этикетку, — рассказывает водитель.

— Почему? — спрашивает переводчик.

— Ну как почему? Они же шлепают потом этикетки западных брендов и продают в двадцать раз дороже! — почти кричит водитель.

— А вам что, жалко? — не понимает переводчик.

— Меня достали уже все эти вруны! Они же всё так продают — и бензин, и продукты, и лекарства!

А дорога сказочная. Горы то с круглыми верхушками, то с острыми шпилями, синие ели, вечнозеленые туи. То вот розово-белый склон, а по хребту синяя полоса, колючий загривок, будто шерсть дыбом. Бесконечная даль, совершенно алтайский пейзаж. В ушах звенит. Сквозь ресницы смотрю свое любимое кино.

— Дееееда! — Кричу вслед уходящему парому. На пароме люди в брезентовой одежде. Замерли, стоят, как неживые. Паром режет воду, за ним рассеченная река срастается вновь. На том берегу Оби жирная трава. Дед взял с собой косу, бабушка собрала обед. Сена много не бывает. Чернушка жует день и ночь. Дед снова меня не взял. Сказал: комары сожрут.

Я стою на глинистом берегу, скользкий ил уходит в воду. Вода серая, небо — как полинялая тряпка, между небом и водой яркая зеленая полоса. Я щурюсь, пытаясь разглядеть подробности этой полосы, но ничего не выходит — далеко. Размытый пейзаж, бесконечный простор. Я стою в центре Вселенной, все вокруг принадлежит мне.

— Жыргалан! — врывается в мое кино голос переводчика. — По-русски это как бы «Долина радости».

Я мгновенно просыпаюсь, навожу резкость на радость, прижимаюсь лбом к окну. В низине — присыпанный снегом поселок. Меньше сотни домов, большая часть из них выглядят нежилыми. На въезде — заброшенные штольни. Когда-то давно этот поселок славился своим углем. Спускаемся к заброшенным шахтам. Они залиты водой, вода замерзла так, как ей вздумалось. Одна шахта — распахнутая пасть акулы, акула замерла и ждет своей жертвы, семь рядов острых зубов торчат сталактитами, только потеряй бдительность, только подойди ближе — акула выпрыгнет из воды, и уже не спастись. Из-за шахты выходит мужичок в хлипкой курточке. Он нас не ждал. Я набрасываюсь на него с вопросами. Он моргает своими синими глазами, на все соглашается — и показать, и рассказать, и провести, и познакомить. Я на две секунды отворачиваюсь, чтобы достать фотоаппарат, этого времени ему вполне хватает, чтобы исчезнуть.

Вторая шахта — нора в горе. Снаружи мороз и солнце, тишина. Внутри духота и темнота, стук молоточков. Рядом с шахтой будочка — кузов старого ПАЗика, в ней самовар и мальчишка в робе защитного цвета. Красными руками чистит картошку, рядом старинный кассетный магнитофон, из динамиков Таня Буланова поет «Ясный мой свет». Парень не удивляется нашему появлению, отвечает на приветствие улыбкой. Пунцовые от мороза щеки, белые, как в кино, зубы. В норе его старший брат и еще двое мужчин. Все они потомственные шахтеры, все они зимой и летом добывают уголь. Я никогда не была в шахте, но мой дед по папиной линии был. День шахтера в моем детстве — великий праздник! Анжеро-Судженск, угольные копи, рано стареющие и тяжело умирающие люди.

— Можно в шахту с вами? — прошу молодого человека.

— Можно, — просто отвечает он.

Идем в темноте. Парень светит мне под ноги, мои ноги разъезжаются, я по щиколотку в воде. Тихо, неторопливо болтаем про всякую чушь. У парня приятный голос, с ним спокойно. Как будто тысячу лет знакомы.

— Средний брат в России работает шахтером. Это же у нас в крови. После шахты не сможешь уже работать нигде. Земля зовет. Невозможно объяснить.

В шахте я беру интервью, делаю фотографии. Мужчины в касках спокойны и уверены в себе. Разговаривают, не отвлекаясь от работы. Стучат по породе, собирают отвалившиеся куски в кучу, забрасывают кучу в кузов. Так добывали уголь в древности.

Через какое-то время я понимаю, что мне тяжело дышать, очень жарко и кружится голова. Я стараюсь делать вид, что все в порядке, но боюсь упасть. В шахте не работает вентиляция.

Мой проводник ведет меня из шахты. Снова светит фонариком под ноги, снова мои ноги разъезжаются, снова я по щиколотку в воде.

— Скоро уже будет виден выход, — подбадривает меня парень, из динамиков его магнитофона Таня Буланова просит меня: «Не плачь!»

Вечером пьем чай в доме у одного из шахтеров. Он недавно вернулся из России, работал там таксистом, не хочет об этом вспоминать, шахтер не должен предавать свое дело. Вот еще — крутить баранку! Позор!

Перед нами накрытый стол, он усыпан боорсоками, в доме пахнет свежим хлебом, бегают дети. Я хочу сделать фотографию хозяина дома, прошу его сесть за стол, он отшучивается, смеется, говорит: фотографируй мать и детей. Из кухни приходит его ладная, справная жена, у нее круглое лицо и светящиеся глаза, она руководит этой вселенной.

— Ай, сядь давай! Что ты человеку мешаешь работать! — прикрикивает она на хозяина дома. Мать хозяина прикусывает губу, втягивает голову в плечи, становится похожей на старую черепаху.

Шахтер-таксист садится во главе стола, делает строгое лицо, я щелкаю несколько раз затвором. Угнетенная женщина Востока смеется, разливает по чашкам кофе. Я спрашиваю ее про чай и пиалки, она отвечает, что это уже не модно.

Мы продолжаем колесить по селам Иссык-Кульской области. Одно ближе к границе с Казахстаном, другое к Китаю. Все эти села разные, везде свои порядки и традиции. Где-то живут совсем по-советски — собираются в клубах, вместе отмечают праздники, шьют костюмы на Новый год, устраивают спортивные соревнования; где-то отгораживаются от старого, пытаются жить по новым правилам, учат английский язык, участвуют в проектах, встречают туристов.

— Готовы мать родную продать, только покажи им деньги, — изливает нам с переводчиком душу подвыпивший мужчина в администрации села. Мы зашли туда в поисках главы поселка, а нашли этого уставшего человека. Ему хочется поговорить и дать интервью на все возможные темы — «знаете, сколько я могу рассказать», — но мне кажется неправильным пользоваться беззащитностью этого человека, и мы ходим вокруг да около администрации — от разрушенной школы до новой мечети — пока не становится темно.

Нет, не любят в этих краях туристов. Нет, не радует здесь никого чужое любопытство. Здесь нет заборов, нет закрытых дверей, здесь все нараспашку, все свои.

— Не надо делать из нас зоопарк. Мы здесь живем. И дальше хотим просто жить. Уберите от нас свои камеры, — говорит подвыпивший мужчина.

Южный берег Иссык-Куля — люблю здесь каждую песчинку. Красные горы, изумрудная гладь. Волны шепчут свою сказку. Тихо-тихо, сладко-сладко. Я не отрываясь смотрю в окно, я снова вижу кино.

— Паааап! — Игривое, неугомонное эхо дразнится, копирует мой писк. Вторая неделя на пасеке. Папа научился печь лепешки и собирать мои волосы в хвост. Ночью мы изучаем звезды, днем — поведение пчел. Пчелы меня не любят. У меня затек глаз и опух нос.

Каждый день мы ходим к роднику и собираем чабрец. Я видела, как горная река унесла корову и как пчелиный народ чуть не сошел с ума, потеряв свою королеву. Папа говорит, пчелы — самые умные существа на Земле.

Я стою на дне глубокой чаши, куда ни глянь — Тянь-Шаньский хребет. Горы тянутся к самому небу, неба мало, беркут считает, оно принадлежит ему. Я не знаю, что там за горами, я не знаю, что будет завтра. Я маленькая птичка. У меня два крыла.

Нарынская область. Крошечное село. Вокруг горы, рядом река. На веревке сушится белье. Белая простыня, белые наволочки, белый пододеяльник. Ветер приподнял края пододеяльника, он, как парус, взметнулся ввысь, замер. Еще немного — село оторвется от земли и, приподнявшись, поплывет среди облаков.

Хозяйка зовет нас к столу. У нее гостит свекровь. Муж хозяйки чабан. Он пасет яков высоко в горах, спускается вниз на выходные. Сегодня такой день. Хозяйка готовит куурдак, она напекла лепешек и выставила на низенький стол все, что у нее есть: яблоки, орехи, мед. А еще хозяйка приготовила деликатес — салат-винегрет.

Овощи в селах Нарынской области — дорогое удовольствие, за ними нужно спускаться вниз за тридцать километров, и стоят они в этом районе дороже, чем мясо, потому что вокруг одни животноводы и ни одного огородника. Пьем чай, делимся рецептами, вдруг с улицы раздается гул, земля дрожит. Сыновья хозяйки выбегают на улицу, вслед за ними мчится мать. Отец спускается с гор — гонит вниз яков.

Яки — сказочный народ. Их мощные тела маневренные и изящные, лица умные и выразительные. Я не решаюсь подойти к яку ближе, чем на три метра, меня охватывает животный страх. Чабан спешивается, проходит мимо огромных лохматых зверей легкой походкой, идет к дому, сыновья висят на нем с обеих сторон, собака заглядывает ему в лицо. Чабан подходит к матери, обнимает, целует. Жене достается его мимолетный взгляд. Жена суетится у стола, бежит за кувшином теплой воды, льет воду на руки мужа, делает озабоченное лицо, смотрит в пол. В дом входят братья чабана. Один в традиционной национальной одежде, второй в спортивном костюме. Жена чабана передает кувшин сыну, сама бежит к столу. За столом уже сидит свекровь, ломает лепешки, раскладывает по пиалам масло и каймак. Все садятся за стол, складывают ладони лодочкой, со словом «аминь» омывают лица невидимой водой. Жена чабана вносит в комнату ароматный куурдак. На большом блюде много мяса, картошки, лука. Собравшиеся разбирают по тарелкам угощение, гудят, смеются. Чабан оборачивается в сторону жены, видит ее спину, пока все заняты едой, он резко шлепает ее по спине и отворачивается. Как в школе. Она вздрагивает, незаметно улыбается, делает вид, что ничего не произошло.

Через несколько дней я окажусь в дорогом бишкекском клубе на вечере джазовой музыки. Там будет много красивых пар — мужчин в костюмах, женщин в платьях. Они будут заказывать виски, курить, говорить об искусстве и политике, обниматься, трогать друг друга. Я буду смотреть на них во все глаза, прислушиваться к их разговорам, но никого из них не запомню. Перед моими глазами еще долго будут стоять лица шахтера, чабана и могильщика. А в ушах будет звучать песня Булановой «Не плачь!»

* * *

Выезд в южный регион Кыргызстана зимой — всегда авантюра. Дорога непредсказуемая, погода изменчивая. Перепады высоты, ледяной серпантин, вероятность схода снежных лавин. От белого снега больно глазам, от яркого солнца горят щеки.

Шестьсот километров тишины. Двенадцать часов живописных пейзажей. Крошечная клякса на карте — на деле оказывается бесконечной дорожной лентой. Сразу за Бишкеком воздух меняет запах и вкус. Хочется взять большую стеклянную банку и законсервировать ветер. Пожалуйста-пожалуйста, цивилизация, не приходи в наши горы!

Суусамырская долина (в теплый период это открытый курорт) зимой сладко спит. Уже через пару месяцев здесь будут стоять юрты, пастись лошади, над казанами поплывут дым, пар, аромат жареного мяса, люди из самых разных частей Кыргызстана приедут сюда на кумысолечение.

Серая трасса — как прорубь в озере: по краям белая вата, кое-где в ней проторены тропки, кто-то из водителей или пассажиров шел двести, триста, пятьсот метров к оставленному в белой пустыне туалету — маленькой белой точке на большом белом листе. В это трудно поверить, это трудно представить.

Высота две тысячи четыреста метров, облака цепляются на макушки гор, снег подтаял, дорога блестит. Водитель опытный, едем не торопясь. На небольшом пятачке рядом с фурами стоит собака — крупная, лохматая, чего-то ждет. Водитель снижает скорость, собака стоит. Приближаемся. Почти поравнялись. Собака решает перебежать

КЫРГЫЗСТАН — МОЙ ДОМ

Фото Дианы Светличной

Река Нарын. *Дорога Бишкек – Джалал-Абад, февраль 2020*

Предгорное поселение в Ошской области. *Январь 2020*

Шахтерский поселок в Иссык-Кульской области на границе с Китаем. *Декабрь 2019*

Село в Джалал-Абадской области. Линия тополей – киргизско-узбекская граница. *Джалал-Абадская область, февраль 2020*

Сельские мужчины сидят у проезжей части.
Джалал-Абадская область, февраль 2020

Молодой як бежит с выпаса.
Нарынская область, ноябрь 2019

Чабан выгоняет стадо.
Нарынская область, ноябрь 2019

Традиционное блюдо киргизов – куурдак. В гостях у чабана.
Нарынская область, ноябрь 2019

Дети возвращаются из школы домой.
Джалал-Абадская область, февраль 2020

Ослики у дома.
Село в Ошской области, январь 2020

Женщина изготавливает войлочный ковер (шырдак).
Нарынская область. Ноябрь 2019

Дом животновода в Нарынской области. *Ноябрь 2019*

Мужчины передвигаются в селе на лошадях.
Джалал-Абадская область, февраль 2020

Сельский магазин в Ошском селе. Почтальон принесла газету хозяйке магазина. *Ошская область, февраль 2020*

Девочка везет кизяк для растопки.
Ошская область, январь 2020

Медсестра возвращается с работы домой.
Джалал-Абадская область, февраль 2020

дорогу, на середине пути ее длинные лапы разъезжаются в разные стороны, она понимает, что не успеет, поворачивает обратно, скользит. Этот кошмар будет сниться мне до конца жизни. Я помню морду этой собаки. Я видела ее глаза.

Водитель ударяет по тормозам, выкручивает руль, но... В машине закончился кислород. Я готова к сходу снежной лавины, к обрыву, к столкновению, к полету.

— Мы должны ее похоронить! — единственное, что могу я произнести.

— Нам нельзя останавливаться, за нами идут фуры, — отвечает водитель.

На моих руках умирали домашние животные. Умирали от болезней и старости. Я гладила их по голове, говорила им глупые слова, успокаивала себя мыслью, что природа знает, как надо. Но здесь природа наблюдала за тем, как жизнью распорядились мы — три идиота в железном драндулете.

— Мы должны были ее похоронить! — повторяю я уже на спуске. Я не помню, сколько времени до этого моего полукрика-полушепота мы ехали в душной тишине. На моих словах машину дергает, ведет юзом, подбрасывает вверх.

—Ко-ле-со! — в полете выдыхает водитель.

Мы все выжили. Никто не пострадал, никто почему-то не испугался. Никого не смутило разорванное в клочья колесо. Для более длительного полета нам не хватило двух-трех метров. Пропасть сияла белизной.

Колесо всегда можно заменить. Колесо ничего не чувствует.

Мы двинули дальше. Через неосвещенные тоннели, туман, по гололеду. Без эмоций, без чувств, без мыслей.

Южные города Кыргызстана в дымке тумана. Утренний и вечерний азан, бородатые мужчины и укрытые с ног до головы женщины, шумные рынки, гортанные звуки, мечети и медресе. Более густой восточный замес, больше специй, эмоций, страстей.

Чтобы почувствовать город, отключаю гугл карты, навигаторы, связь. Со мной переводчица, та самая коллега, которая желала «по регионам на шпильках». Мы — две женщины среднего возраста, одни на юге, без мужчин.

После длинного рабочего дня очень хочется есть. На юге вообще всегда хочется есть. Идем по центральной улице Ош, ловим ароматы, ищем плов. Навстречу нам мужчина с бородкой — сразу не поймешь, хипстер или правоверный — с ним молодая женщина в хиджабе и мальчик лет пяти. Я прошу мужчину сориентировать нас на предмет чайханы с пловом. Он уверяет, что любой таксист знает район мечети и трех чайхан. Рекомендует ехать туда. Мы с коллегой несем этот пароль первому попавшемуся таксисту. Таксист с визгом срывается с места, въезжает в узкий тоннель, мчимся по махале — глухие заборы-заборы-заборы, в конце тоннеля фонарь. За фонарем маковка мечети, поворот в новый тоннель, в одном из домов распахнуты ворота. Мы сомневаемся, отказываемся выходить. Таксист уверяет: приехали. Сдачи у него нет. Идем вместе с таксистом, озираемся по сторонам. Странное место для чайханы. Переводчица нервничает, я вдруг чему-то радуюсь — место для своих, тут, наверное, самый вкусный плов. Входим во двор, традиционный узбекский дом в два этажа. Окна — цветная мозаика в пол, внутри жизнь, свет, тепло. Во дворе много машин разных марок из разных областей. Входим в открытую дверь — что-то похожее на кухню, там женщина без настроения. Наше приветствие повисает в воздухе, она не церемонится, не глядя на нас, ищет размен таксисту. По двору идет молодая узбечка с большим тяжелым подносом, на подносе десять маленьких чайников. Я бросаюсь к ней, спрашиваю про плов. Она проходит мимо меня, как мимо сухого дерева. Я догоняю ее. Все это как дурной сон.

— Нет тут никакого плова, — сквозь зубы отвечает мне красавица. И ответ этот наталкивает меня на неприятные мысли. Я внимательнее осматриваюсь, вслушиваюсь в звуки из-за стеклянных витражей. За витражами слышен женский смех. Женский смех бывает разным.

«С твоим смехом только в публичном доме работать!» — говорила моей коллеге редактор одного издания.

— Куда ты нас привез, паразит?! — набрасывается на таксиста моя переводчица.

— Я думал, вас тут ждут, — оправдывается таксист.

Утром новые села. Предгорные поселения. Дома стоят на подвижном склоне, один дом висит над пропастью. Внизу вместо ржи — бурлящая река. Гора старается не дышать, при малейшем покашливании дом поползет вниз, обрушатся стены, окна, три дерева у входа, привязанный к дереву конь.

— Что же они?! Как же?! Надо спасать! Надо им сообщить! — разговариваю сама с собой я.

— Это киргизская рулетка. Никого спасать не надо! — говорит моя переводчица. — Они прекрасно все знают про гравитацию, характер горы и скорость реки.

В Джалал-Абадской области живем в гостинице с печным отоплением. Стоит она дороже, чем отель четыре звезды в Караколе. В гостинице холодно, неуютно, сыро. В пять утра приходит истопник. Ковыряет кочергой в печке, матерится на двух языках. В гостинице высокие потолки и густоголосое эхо. Двуязычная стена на заре говорит голосами Венечки Ерофеева и базаркома. В семь утра в комнате почти тепло.

Сёла возле китайской границы богатые, технически продвинутые. Практически в каждом доме на стенах тонкие телевизионные панели, кухни в миксерах, блендерах, пароварках. При этом угощение подают из казанов. В одном маленьком домике без забора и водопровода (водопровода нет не только в селах, но и в большинстве городов) я видела круглого робота-уборщика.

Главная проблема южной части Кыргызстана — отсутствие в помещениях туалетов. Входишь в огромную тойкану (ресторан) — натяжные потолки, позолоченная лепнина, мраморные лестницы, кожаные диваны — шик и блеск, роскошь, а туалет на улице.

Одна моя знакомая в Бишкеке выкупила целый этаж в многоквартирном доме. Главной целью перепланировки ее нового десятикомнатного жилища стал перенос санузла из одной части в другую — самую дальнюю. Она заплатила за это огромные деньги, намучилась, получая разрешения, устала от возмущения соседей. Я спросила ее, к чему столько возни? Она ответила, что, будь ее воля, она вообще вынесла бы туалет во двор, потому что отхожее место не должно находиться рядом с местом сна и приема пищи.

Баткенская область — самая южная часть Кыргызстана, она граничит с Узбекистаном и является отдельной областью всего двадцать лет. Здесь меньше животноводов, больше садов, люди занимаются огородничеством и торговлей. Здесь мягкая зима и беспощадно жаркое лето. Пока на территории всех остальных регионов Кыргызстана лежит снег, здесь уже вовсю цветут сады. По дороге из Баткена мы встречаем одиноких женщин с пилами, секаторами, садовым инвентарем. Они обрезают деревья, подвязывают кустарники. Знакомимся, общаемся, узнаем про жизнь без мужчин. Целые села становятся женскими, мужчины уезжают на заработки в Россию, многие там остаются, женщины превращаются в амазонок. У них уверенные лица, сильные руки, они ни на кого не надеются, рассчитывают только на себя.

Вечерами в Баткене страшно. Это единственное место, где мне было страшно. Зияющие черные окна пустующих домов, полуразрушенные здания, неосвещенные улицы. Днем центром города становится небольшой рынок и общественный душ.

Рядом с куцым рынком — здесь нет того изобилия, какое царит на рынках Ош а или Бишкека — пластиковое помещение: по одну сторону туалетные кабинки, по другую душевые. Это помещение пользуется повышенным спросом у местного населения. С утра и до вечера здесь очереди. По одному и целыми семьями приходят

сюда люди с полотенцами и банными принадлежностями. Вот женщина с детьми, вот молодые парни, вот бородатые аксакалы. На входе объявление на киргизском языке: «Туалет 10 сом, душ 50 сом. Мыться не больше 20-ти минут». Пока одни моются, другие обсуждают городские новости.

В центре Баткена стоит киргизская статуя свободы — летящая женщина держит над собой символ киргизской юрты — тундук[1]. Когда такую же статую поставили в центре Бишкека, началось светопреставление. Мужчины в национальных калпаках (да-да, у Буратино колпак, а у киргиза калпак) стонали и стенали — как можно, куда мы катимся! Дескать, женщине доверили мужское, перечеркнули традицию, опозорили! Статую с бишкекской площади убрали. А в Баткене она никому не мешает. Стоит себе, смотрит в светлое будущее.

В крошечной школе одного из сел Джалал-Абадской области я провела некоторое время в поисках героини для материала. Мы стояли кружком с учительницами этой школы — тринадцатью женщинами самого разного возраста: самой младшей было чуть больше двадцати, самой старшей около семидесяти. Хлипкая крыша старой одноэтажной школы готова была в любой момент съехать, продуваемый чердак выл, как загнанное животное, оклеенные пленкой окна плакали. Учительницы лузгали во дворе семечки и пытались понять, какую именно героиню я ищу.

— Чтобы снимать Нургуль или Бактыгуль, нужно спросить разрешения, — сообщили мне.

— Да, конечно, сейчас я позвоню директору, — охотно согласилась я.

— Ай, при чем тут директор? Нужно, чтобы свекровь разрешила! — пояснили мне.

Я провела достаточно времени в густом тумане на границе между Кыргызстаном и Узбекистаном, услышала массу баек и страшилок про то, как на отдельных участках границы пропадают люди, товары, скот. Во всех этих историях у киргизов отрицательный герой всегда узбек, у узбека киргиз.

В центре Оша на главной площади рядом с памятником вечно молодому Ленину есть сквер. Его называют Русским, потому что тут же в сквере православный храм и воскресная школа. Так вот, в этом сквере стоит памятник, о котором в сам*о*м Оше мало кто знает. Это скульптурная композиция: две каменные женщины в национальных костюмах — узбекском и киргизском — склоняют друг к другу головы, рядом стоит колыбель. Никаких подписей у памятника нет. В один из приездов мне повезло встретить экскурсовода, которая рассказала, что на колыбели высечены имена людей, пропавших без вести во время беспорядков 2010 года. Между склоненными друг к другу в скорби матерями висит прозрачная слеза.

— Каждый год материнскую слезу воруют, не дает она покоя вандалам, — говорит экскурсовод. — В обзорных экскурсиях этот памятник не упоминается. 2010 год — это боль и позор нашей страны, нашего народа. Вы и сами знаете.

На древней горе Сулайман-Тоо развевается государственный флаг, с горой связаны самые красивые мифы и легенды киргизского народа. Паломники и туристы стремятся пройти по крутым ее склонам, прикоснуться к вечности, услышать голоса предков. Говорят, что здесь действительно происходит много загадочного и непонятного: незрячие прозревают, бесплодные рожают, парализованные встают. Я хочу в это верить. Пусть будет так.

Я хочу верить в то, что маленькая девочка из крошечного Джалал-Абадского села однажды станет врачом. Мы познакомились с ней почти на бегу, она шла по разбитой дороге с тележкой — худенькая, краснощекая, в огромных галошах, я только спросила у нее про медпункт. Она отставила в сторону свою тележку с кизяком (кизяк — это

[1] Тундук — решетчатое отверстие в потолке юрты, покрытое сверху кошмой, которую отодвигают, чтобы обеспечить освещение и подачу свежего воздуха.

коровьи лепешки с сеном, для растопки, которыми рекомендовал пользоваться народу один из наших вороватых президентов), посмотрела на меня серьезно, как будто пытаясь понять, не шучу ли я, убрала с лица выбившиеся из косицы волосы и очень серьезно ответила: «У нас нет медпункта. Я выучусь на врача — тогда он тут будет».

Дети из горных сел всякий раз ставили меня в тупик, доводили почти до слез, показывали другой мир. Это маленькие взрослые с высокой культурой общения, с четким пониманием своего предназначения в этом мире. Пишу сейчас и понимаю, что мои слова выглядят пафосно и глупо. Но я не знаю, как по-другому рассказать об этих детях. Они умеют выслушать, они не избалованы и внимательны, они никогда не перебьют, не будут льстить или пытаться понравиться.

— Вы журналист? — спросил меня мальчик, запрягавший лошадь на одной из ферм под горами.

— Я сама уже не знаю, кто я, — зачем-то поделилась я с ним.

— Я очень хорошо вас понимаю, со мной то же самое, — задумчиво сказал мальчик.

Во многих селах со мной разговаривали на английском. Русский язык в киргизской глубинке — язык старшего поколения, дети и молодежь или совсем не говорят на русском или говорят очень плохо. Зато английский — пожалуйста. Волонтеров, туристов, гостей — носителей английского с каждым годом здесь все больше.

Я однажды спросила пожилую женщину, мать чабана, как она думает, почему русские в Кыргызстане с таким трудом учат киргизский, а американцы через несколько месяцев свободно на нем говорят.

— Русские уверены, что их язык все знают, ведь они тут свои, а американцы понимают, что они тут чужие и не стесняются учиться, — ответила мне женщина.

Никогда не забуду вечер в доме почтальона — маленькой смуглой красавицы с опущенными уголками губ. Это было в алайском селе под самыми горами. Мы сидели в маленькой комнате, устланной ширдаками[1], в комнате стояла буржуйка, в буржуйке потрескивали дрова. Женщина достала из своей почтальонской сумки извещения на получение алиментов, их было много — казалось, в каждом доме этого села жили брошенные дети, женщина разложила бумаги передо мной, улыбнулась, сказала: «Если уезжают в Россию, потом уже не возвращаются. Когда же перестанут уезжать?..»

В комнате бегали четыре девочки. Старшая заплетала косички средней, средняя целовала младшую, четвертая девочка — совсем еще куколка в розовом — сидела на коленях у бабушки. За окном смеркалось, завывал ветер, а в этом крошечном доме из одной-единственной комнаты было тепло и уютно, и не хотелось никуда уходить.

И мы долго сидели. Говорили и молчали. Молчали и говорили. Пили чай с молоком. Ели варенье из дикой смородины.

Когда мы с переводчицей встали и сделали над столом «аминь», мама почтальона или, как сейчас, говорят почтальонки засуетилась, заметалась по комнате, достала из закромов варенья, орехи, кумыс, прочитала дорожную молитву, расцеловала нас на прощанье.

Так было в каждом доме, в каждом регионе, с каждой семьей, куда бы я ни приехала. Час назад мы были чужими людьми, скакали каждый на своем коне, а преломили хлеб — и навсегда породнились.

Я пишу на обрывке бумаги свой домашний адрес, номер телефона, прошу хотя бы раз приехать ко мне в гости. Мой кухонный стол совсем небольшой, но это не беда, он вместит весь Кыргызстан. Это небольшая страна. Мы тут все — родственники.

[1] Ширдак — войлочный ковёр, одно из самых сложных по технике изготовления изделий из войлока у киргизов.

Ольга Погодина-Кузмина

Ценность своего существования

Мир закрыт на карантин, да такого масштаба, что предсказать не удалось ни одному фантасту. Но вот передо мной книга, где почти каждая страница — удивительное попадание в сиюминутность. «Ода радости», задуманная и написанная по крайней мере за два года до нынешней вирусной катастрофы, заявляет почти все темы, которыми сейчас живет общество пандемии[1].

Тут и сложности выстраивания отношений в изоляции наедине с близкими, и проблемы отечественной медицины, и об руку идущие болезнь и смерть, и «черная Пасха», когда радость праздника мешается с личным горем и надежда проступает сквозь отчаяние. Есть даже глава «Коронная маечка» — о другом, случайном, но будто о сегодняшнем.

Трудно сказать, как отразится на судьбе книги этот ряд созвучий. Узнает ли читатель (а скорее читательница) в обыденной истории себя, захочет ли примерить и присвоить поток переживаний героини, которая в течение одного года родила ребенка-первенца и потеряла мать? Или, напротив, переизбыток мрачных тем в информационном поле оттолкнет потенциально родственную душу и забрать с книжной полки чужую боль и смерть никто не решится? У меня нет ответа на этот вопрос. Что можно сказать однозначно — у Валерии Пустовой, известной в литературном мире как критик и участник знаковых книжных событий, получилось претворить почти документальную историю в художественный текст, местами поэтичный, местами захватывающий, направленный прямо в сердце.

Сделать из своей обыденной жизни литературу гораздо сложнее, чем многим кажется. Тут нужны особая наблюдательность — *«в подзамочную, сверкающую неприкосновенностью лабораторию, тронул, щелкнул и запустил первый опыт по сортировке пестрых житейских фасолинок»* — и умение подняться от частного к обобщению, и достоверный, доверительный тон.

Скрупулезное документирование авторской героиней собственной беды заставляет вспомнить нашумевший роман Анны Старобинец «Посмотри на него», где рассказывалось о драматической стороне материнства. В книге Старобинец героиня узнавала, что вынашивает ребенка с несовместимой с жизнью патологией, и начинает бороться за него, обратив свой внутренний гнев на российских врачей и всё устройство отечественной медицинской системы, которая оказалась не готова поддержать женщину в такой непростой ситуации.

Рак — тема невеселая и, отчасти следуя нарративу Старобинец, автор «Оды радости» довольно подробно описывает организационную сторону вопроса, взаимодействие с врачами и медицинскими учреждениями. Но Пустовая, по счастью, избегает открытого обличения нашего социального устройства и обвинения конкретных должностных лиц — вполне уместных в публицистике, в блогах или в жанре общественной петиции, но в художественном произведении однозначно тенденциозных. Героиня «Оды радости» симпатична уже тем, что старается принять реальность такой, какая она есть, сложной и противоречивой. Наряду с равнодушными и нерадивыми врачами в ее истории появляются и сердечные, готовые оказать помощь,

---

Валерия Пустовая. Ода радости. — М.: Эксмо, 2019.

[1] Журнальный вариант «Оды радости» был опубликован в «ДН» (2018, № 11).

следующие долгу милосердия, а не только должностной инструкции, пронзительным и поэтичным становится у нее абсурд самой жизни.

«Мама съездила на кладбище заказать памятник покойному брату. Памятники дороги, на них надо еще подкопить, хотя она в итоге выбрала экономныи? вариант за 50 тысяч.

В окошке заказа ей предложили сэкономить больше и выгравировать заодно с братовой фотографией — ее собственную. Как удобно: один памятник уже установят, а на нем засечки на будущее...

Мама говорит: "Я стою и думаю..." Я: "Ты еще думала?!" В общем, не стоит, конечно, так далеко загадывать».

«Ода радости» под завязку наполнена бытовыми подробностями. Поездка к бабушке в бывшую советскую республику, в панельный дом, где срезаны батареи, потому что дорого платить за отопление. Разговоры по душам. Последний час, проведенный с матерью. Первый день рождения сына и первый торт. Это книга целиком о чувствах, о тонких переливах переживаний, но ее героиня отнюдь не сентиментальная размазня. Молодая женщина умеет держать удар так, как и предназначено дочери и матери, — стойко, трезво, не перекладывая на других собственную ношу. В книге совсем мало слез и женских истерик, зато много другой, важнейшей материи — любви.

«Мы умели праздновать, веселиться после бури, отмечать удачу после риска, мечтать о вкусном и перебирать нарядное. Мы умели посмеяться — и никогда не плакали.

Вместе — нет, не плакали, не умели вместе, слезы нас разлучали, и каждая злилась, если другой плохо, потому что каждой хотелось, чтобы другой было хорошо».

Пожалуй, в этом состоит главная ценность «Оды радости» — подспудная, но неотступная работа автора над уловлением в сеть художественного текста вещества любви. Это честный труд, вроде домашней уборки, когда нужно разобрать свой угол мироздания — чтобы ход времени не нарушался, не застревал на прошлых горестях и обидах, а напротив, открывал путь новой энергии бытия. Поэтому, кажется, так подробно героиня и очищает-систематизирует отношения с матерью, которые всегда непросты; и объясняет свой выбор мужчины, который становится отцом ее ребенка; и документирует приход в мир нового человека, его дальнейшее становление самим собой.

Еще одна примета, сближающая книгу с реалиями карантинного времени, — жизнь профессиональная, которая для автора связана с литературой, в какой-то момент уходит на дальний план, становится малосущественной в сравнении с личными тревогами. Но вместе с тем Пустовая постоянно поверяет свои чувства и мысли главным своим философским камертоном — кругом чтения.

«Классику пишут, чтобы по ней жить. И я определилась со школы: между Безуховым и Болконским я выбираю того, кто помягче. Побольше, потолще, посмешней. Кого никому не надо, а он будет ждать, и единственно почему не женится вот сейчас на ней, тоже на этом этапе романа всеми отвергнутой, — так только от сознания, что он еще пока не «красивейший, умнейший и лучший человек в мире».

«Евгений Онегин» и «Гуси-лебеди», «Остров сокровищ» и «Хроники Нарнии» перемежаются с книгами современных писателей. Торжественно обставлена инициация нового читателя. Покупка первых книг для малыша — как начало постройки моста через бездну жизни и смерти, языка и культуры, крови и рода.

«Чтобы вылупиться, придется принять ценность своего существования. Чтобы улететь, придется согласиться на ценность своего одиночества».

Отчасти поэтическая, отчасти документальная исповедь «Ода радости» — из тех книг, что бывают *даже* важнее для самого автора, чем для стороннего читателя, в этом ее честность и простота. Эту книгу нужно было написать, чтобы собрать осколки разрушенного мира, а затем бережно, по фрагменту, восстановить мир заново — сначала на бумаге, а затем и в реальной жизни. Решать ту же задачу в ближайшие годы предстоит всем нам.

Светлана Шишкова-Шипунова

Так была ли оттепель?

А мы просо сеяли, сеяли...
А мы просо вытопчем, вытопчем...

Эти две строчки из народной обрядовой песни повторены в эпиграфе новой книги Сергея Чупринина десять раз. Такую вот — очень точную и остроумную — метафору нашел автор для обозначения того, что происходило в нашей стране в годы так называемой оттепели. Одних выпустили — других тут же посадили; одно разрешили — другое тут же запретили. Посеяли — вытопчем; шаг вперед — два шага назад. Мучительные (как для культуры, так и для самой власти) противоречия этого периода, противостояние тех, кто «сеял», с теми, кто «вытаптывал», и составляют содержание и основной смысл книги.

Сергей Чупринин хорошо известен не только как критик, литературовед и главный редактор одного из старейших в стране литературных журналов, он еще дотошный и неутомимый историк и архивист отечественной литературы, составитель нескольких словарей, антологий и энциклопедий. На этот раз Чупринин превзошел сам себя, выпустив огромный, почти в 1200 страниц, большеформатный том, и это тот случай, когда объем имеет значение.Книга вмещает в себя выстроенные по хронологии события пятнадцать лет общественно-политической и культурной жизни страны — с марта 1953-го по август 1968-го — со смерти Сталина до введения советских войск в Чехословакию, на чем, по мнению автора, оттепель, собственно, и закончилась. Тысяча с лишним страниц интереснейшей хроники, изо дня в день, из месяца в месяц, не пропущено, кажется, ни одного значимого события.В отличие от других справочно-энциклопедических изданий «Оттепель...» можно (и нужно!) читать не выборочно, а подряд, как читают роман.Вы можете устать от этого чтения, но точно не заскучаете.

Не поддавшись искушению самому комментировать события, оценивать время и судить живших в этом времени людей (а соблазн был велик), автор ограничился коротким «Предуведомлением» в начале книги и предоставил слово *документам*, лишь кое-где связывая их лаконичными пояснениями. Документов отобрано и процитировано великое множество: секретные постановления ЦК и служебные записки КГБ, стенограммы съездов (партийных и писательских), письма-доносы и письма в защиту, свидетельства очевидцев, переписка советских литераторов друг с другом и с зарубежными адресатами, личные дневники и мемуары, интервью иностранным корреспондентам и публикации в советской прессе, наконец, более поздние (покаянные) комментарии отдельных участников тех событий...

Это совсем не просто — пользуясь одними только документами, так выстроить текст, чтобы в каждой главе (одна глава — один год) разворачивался свой захватывающий сюжет, разыгрывался свой драматический конфликт, прочитывались характеры и эволюция героев. Чем не роман!

Речь идет, главным образом, о делах литературных. Но в хронику включены также значимые события, происходившие в других сферах культуры — музыке, живописи, театре, кино. Автор не довольствуется поверхностным обозначением событий, он каждое разбирает «по косточкам», рассматривает с самых разных сторон.

Вот, например, 1958 год, главным событием которого стало присуждение Борису Пастернаку Нобелевской премии. Цитируется: обширная переписка по этому поводу между ЦК, КГБ,

---

Сергей Чупринин. Оттепель: события. Март 1953 — август 1968 года. — М.: Новое литературное обозрение, 2020.

Генеральной прокуратурой (генпрокурор Р.Руденко в своей записке предлагает лишить Пастернака гражданства и выслать из страны); письмо советского посольства в Стокгольме в адрес Шведской академии («Вызывает удивление тот факт...»); знаменитое выступление В.Семичастного на пленуме ЦК комсомола («Свинья не гадит там, где кушает...») и его же более позднее признание, что «выдать Пастернаку как надо» его заставил Н.С.Хрущёв; секретное постановление Президиума ЦК «О клеветническом романе Б.Пастернака» и здесь же — более позднее признание Хрущёва-пенсионера о романе «Доктор Живаго»: «Я его так и не прочитал...»

Еще интереснее документы, отражающие реакцию в писательской среде, где, как известно, весьма принято было «сдавать» и «съедать» собратьев по перу. И таких документов много: от стихотворения И.Сельвинского («А вы, поэт, заласканный врагами...») до решения президиума правления СП СССР об исключении Бориса Пастернака из Союза писателей. Составитель хроники пофамильно называет писателей, проголосовавших за это решение, среди них были Г.Марков, Л.Соболев, Г.Николаева, назвавшая Пастернака «власовцем», С.Михалков, В.Катаев и другие (всего 43 члена СП СССР). Называет и тех, кто *не*явился на заседание, сказавшись больным или занятым, или вообще без объяснения причин, среди них — А.Твардовский, М.Шолохов, Ф.Гладков, С.Маршак, И.Эренбург... — всего 26 писателей. Читателю любопытно: зависело это только от нравственной позиции человека или дело в том, что более маститые и независимые писатели могли себе позволить игнорировать судилище, а менее маститые и более зависимые — не могли?

С другой стороны, приводятся свидетельства и воспоминания людей, близких Пастернаку и не предавших его даже в атмосфере всеобщего психоза — Вяч.Вс.Иванова, К.Чуковского, Л.Чуковской (потрясенной тем, что за исключение голосовал ее брат Николай), Зинаиды Пастернак, Ольги Ивинской. Письма самого нобелевского лауреата — Н.Хрущёву, Е.Фурцевой («Мне кажется, что честь оказана не только мне, но и литературе, к которой я принадлежу...»), президиуму Союза писателей («Ничто не может меня заставить признать эту почесть позором...»). Письма и телеграммы в защиту и поддержку писателя, ставшего изгоем в своей стране: «Мы глубоко встревожены судьбой одного из величайших поэтов мира...» — говорится, например, в телеграмме, направленной в Союз писателей СССР известными британскими писателями и философами, среди которых — Томас Элиот и Бертран Рассел (оба — лауреаты Нобелевской премии), Грэм Грин, Сомерсет Моэм, Джон Пристли.

Весь этот калейдоскоп документов, писем, живых голосов создает своеобразный полифонический эффект, словно слышишь гул времени, словно сам присутствуешь в наэлектризованной обстановке осени 1958 года. И хочется понять *«силу подлости и злобы»*, явленную собратьями Бориса Леонидовича по перу. Что это было — зависть? страх? искренние заблуждения? Думайте сами, решайте сами.

Так же обстоятельно разбираются в книге и другие сюжеты: как типичная для того времени история с разгромом напечатанного в «Новом мире» романа В.Дудинцева «Не хлебом единым» и — *не*типичная, когда неожиданно легко тому же журналу разрешили напечатать повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Непоследовательность в действиях властей можно в конкретном случае объяснить просто. Рукопись Солженицына попала напрямую к Хрущёву. Только он мог, ни у кого не спрашивая, разрешить или запретить. Он разрешил, о чем потом, возможно, не раз пожалел.

Хроника наглядно демонстрирует, как эволюционировали настроения Хрущёва: вот он разоблачает на XX съезде культ личности Сталина, выпускает из лагерей репрессированных, а вот уже и сам испугался, что дал свободу людям, особенно — после венгерских событий 1956 года — писателям и художникам, и начинает сбавлять обороты, пятиться. Шаг вперед — два шага назад.

Нельзя сказать, что мы чего-то не знали раньше, что книга Сергея Чупринина открывает нам какие-то неизвестные страницы тех лет. Тут скорее другое. Знакомые большинству лишь в общих чертах сюжеты — будь то суд над Бродским, разгром выставки молодых художников-абстракционистов в Манеже или дело Синявского и Даниэля, — если воспринимать их по отдельности, могли казаться «частными случаями», «исключениями из правил». Но спрессованные в ежедневную хронику, они дают такую беспросветную

картину, что сомнений не остается: это были не «случаи», а сама система, не «исключения», а сами правила, это был запущенный еще при Сталине и не перестававший действовать при Хрущёве механизм идеологического диктата и давления. Густота текста, как и густота стычек и столкновений между культурой и властью — такая, что не продохнуть. И вдруг посещает «страшная» догадка: а может, никакой оттепели на самом деле и не было? Может, она просто померещилась?

Но ведь выходили в те же самые годы хорошие книги и фильмы, многие из которых получали призы на международных кинофестивалях («Летят журавли» и др.), в Политехническом музее читали стихи молодые поэты, начал выходить журнал «Юность», молодые актеры создали театр «Современник», появилось целое движение бардовской песни, советские писатели, поэты, артисты стали выезжать за рубеж, в Союз приезжали деятели культуры из-за рубежа, у нас стали переводить и печатать иностранных авторов — Ремарка, Хемингуэя, Экзюпери... Да много чего нового и хорошего случилось в те годы! И про все это составитель хроники не забыл, разве что уделяет этим событиям гораздо меньше внимания, иногда буквально несколько строк, которые «проглатываются» читателем почти незамеченными, теряются на фоне развернутых во всех подробностях, деталях и нюансах драматических сюжетов. Но тут выбор осознанный: Чупринина интересует не романтика оттепели (оставим ее кинематографу), а прежде всего то, как *выживала* в этих условиях литература, а и выживала она не «благодаря», а «вопреки».

Несколько слов о действующих лицах хроники. Обычно с оттепелью ассоциируют у нас группу так называемых «шестидесятников», тогда еще молодых поэтов и писателей — Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину, Рождественского, Аксёнова, Гладилина, Войновича, Искандера, официально не признанных Окуджаву, Высоцкого, Кима...

На самом деле в этот период (как, впрочем, и всегда) *сосуществовало* несколько поколений литераторов. Еще была жива Ахматова, но уже появился Бродский. Еще жили, но уже с трудом находили себе место в современной литературе писатели предвоенного поколения — Зощенко, Олеша, Катаев... Еще не успели состариться и активно переосмысливали свой военный опыт писатели-фронтовики — Твардовский, Симонов, Эренбург... Но уже появились писатели гулаговской темы — Солженицын, Шаламов, Евгения Гинзбург... Еще в силе были Шолохов, Федин, Паустовский, но уже заявило о себе новое поколение «деревенских» (Абрамов, Распутин, Шукшин) и «городских» писателей (Трифонов, Казаков, Нагибин). Были, наконец, «генералы» от литературы, все еще руководившие Союзом писателей, редакциями литературных журналов — Сурков, Кочетов, Софронов...

Все они — люди оттепели, все так или иначе отдали дань этому времени, кто на сугубо литературном фронте, а кто — на идеологическом. И все они присутствуют в книге Сергея Чупринина, варятся в одном котле, дружат и враждуют, спасают и предают, воюют и отмалчиваются. И хотя сам автор никому не навешивает никаких ярлыков, даже далекий от литературной кухни читатель хорошо понимает, кто есть кто.

Аннотированный указатель имен, помещенный в конце книги, насчитывает около 300 персоналий. Там же обширная библиография на тему оттепели. Мало того, каждая глава книги завершается небольшим справочным разделом, в котором, помимо прочего, приводятся списки освобожденных и реабилитированных за этот год деятелей культуры, в большинстве случаев — посмертно...

В книге огромное количество сносок, они обширны, порой занимают до половины страницы, но оно того стоит, в них содержатся дополнительные сведения, не уместившиеся в основной текст, «выпирающие» из него. Эти побочные сведения делают текст еще более объемным, стереофоничным. Так же как разбросанные по страницам книги стихи, начиная с помещенного в самом начале стихотворения Н.Заболоцкого «Оттепель после метели...» (1953) и заканчивая стихотворениями Е.Евтушенко «Танки идут по Праге...» и И.Бродского «За Саву, Драву и Мораву...» (1968). Начало и конец оттепели, которая, конечно, была, но... уж очень холодная.

Скоро многие из ее героев подадутся в эмиграцию, кто-то приспособится к новой реальности, а кого-то просто не станет...

К концу XX века в России вырастет поколение поэтов и писателей, не знающее, что такое цензура и как это — носить свою рукопись на читку в Кремль.

Впрочем, это уже совсем другая история.

Дмитрий Артис

Настоящая история, похожая на сказку

Не хотелось сочинять скучную рецензию на сказку Анны Маркиной «Сиррекот, или Зефировая гора». Уж очень игровой и подвижной получилась она. Поэтому представил себя персонажем этой сказки, глубоко вдохнул и на одном выдохе написал.

ХУДОЖНИК

Я был никому не нужным художником. Чуть свет просыпался, выпивал чашку горячего кофе и отправлялся в ближайший ясеневый парк живописать природу.

В одно осеннее утро солнце светило так ярко, будто в последний раз. Сквозь пожелтевшие кроны пробивались золотые лучи и согревали оголенные корни деревьев. Я сидел на лавочке и смотрел на чудесную игру утреннего света. Шарф щекотал нос. Хотелось чихнуть и прослезиться.

Мимо проходила девушка. Попросил ее немного постоять под ясенем, чтобы посмотреть, как будет преломляться солнечный свет в этой композиции. Девушка отказалась. Сказала, что опаздывает на работу, и ушла. Расстроился. В тот момент подумал, что упустил главное — то, ради чего жил. Чихнул и прослезился. Весь оставшийся день просидел на лавочке прямо напротив ясеня. Не живописал, только смотрел на него и считал желтеющие листья.

На следующее утро девушка сама подошла ко мне и долго просила разрешения постоять под ясенем. Что-то говорила и говорила. Почти не слушал ее. Наконец она замолчала и без моего разрешения встала под дерево. Свет был другим. Девушка казалась лишней. Мне стало жалко ее и себя.

Девушка приходила каждое утро и пыталась узнать, сколько стоят мои картины. Картины мои ничего не стоили, поэтому я сильно раздражался и прятался в шарф. «Теперь какие-то неправильные девушки, — размышлял я, — только и думают, что о деньгах».

Однажды девушка призналась, что пишет истории и хочет стать писателем. Решил отыграться. Попросил ее принести мне что-нибудь почитать. «Вот, — подумал, — принесет, почитаю и скажу ей, что эти истории ничего не стоят. Будет знать, как приставать с глупыми вопросами к настоящим художникам!» Впрочем, девушка и сама знала, что ее рассказы никому не нужны, и после моей просьбы принести что-то почитать она покраснела, а потом улыбнулась.

ХУДОЖНИК И ДЕВУШКА

Девушка принесла мне историю про ненастоящего художника. Ненастоящим он был, потому что его картины никто не покупал.

Она подошла ко мне, протянула вчетверо сложенный листок и сказала:

— Вот моя история!

Я устроился на лавочке поудобнее, развернул листок и начал читать, краем глаза наблюдая за ней. Девушка смотрела на меня внимательно и морщила нос.

История была написана в форме диалога между художником и прохожим. Художник олицетворял собой творческое начало, а прохожий искал логические оправдания в действиях художника, картины которого никто не покупал. В результате нехитрых рассуждений прохожий пришел к выводу, что художник ворует картины и выдает их за свои.

Легкий, почти детский стиль письма, где каждое слово на своем месте. Ничего лишнего, без натужных философствований и натяжек.

Анна Маркина. Сиррекот, или Зефировая гора / Издательство «Стеклограф», Москва, 2019.

Несмотря на то, что в истории не было подробного описания художника и прохожего, я угадал в ней себя и саму девушку. Так получается у нас, художников, когда мы живописуем всего лишь одну ветку ясеня, даже не ветку целиком, а маленький ее кусочек, чтобы человек по этому небольшому фрагменту смог угадать дерево, на котором она — эта ветка — растет. А если уж не угадать, то хотя бы в своем воображении дорисовать дерево целиком.

Девушка, описывая художника, вывела архетип творца — человека, который не заботится о том, чтобы влиться в общество, но ищет способ самовыражения.

Антагонистом художника выступил прохожий, уверенный в том, что любой продукт человеческого труда должен приносить материальные блага. Столкновение двух типов мышления: иррационального и рационального.

Показалось забавным, что образ прохожего чем-то напоминал саму девушку. Так художники, будто ради забавы, рисуют шаржи на себя, выставляя напоказ недостатки, пытаясь сделать их смешными, а не страшными, чтобы легче было преодолевать. В общем, несмотря на то, что девушка в разговорах со мной выступала в роли расчетливого человека, внутри она была совершенно другой — равной мне, художнику.

Я купил эту историю, чтобы девушка сравнила свои собственные ощущения до и после того, как стала хорошо оплачиваемым писателем. Несколько дней она, задрав к верху нос, ходила мимо меня, будто не замечая.

Однажды солнце повторилось. Оно светило так же, как в первую нашу встречу. Я не удержался, подхватил девушку под локоток и начал уговаривать постоять немного под ясенем, чтобы поймать особенный свет и передать его своей картине. Она снова хотела убежать на работу. Но после того как я предложил рассказать историю о деревце, которое научило человека сновидениям, осталась.

ИСТОРИЯ О ДЕРЕВЦЕ И ЧЕЛОВЕКЕ

Моя история о человеке и деревце была длиннее истории девушки о художнике и прохожем. Говорил медленно и красочно, чтобы она подольше оставалась со мной. Я рассказывал о том, как деревце каждый день отдавало человеку по листочку. Человек вдыхал его аромат, засыпал и видел красивые сны. Когда у деревца не осталось ни одного листочка, оно засохло и умерло.

История закончилась. Я замолчал, а девушка посмотрела на часы и поняла, что опоздала на работу. Она позвонила начальнику и сообщила, что сегодня не придет, потому что заболела.

Девушке история не понравилась, потому что показалась не настоящей, а сказочной. Я подумал, что она хочет уйти и сказал, что эту историю поведал мне Сиррекот, а Сиррекоты, как известно, рассказывают исключительно правдивые истории.

Если все художники одинаковые и достаточно одной детали — шарфа, чтобы люди поняли, насколько они возвышенны и одухотворенны, то Сиррекота мало кто знает, поэтому описал его подробнее: Сиррекот — это особенный друг, который живет в ванной, ест белые цветы, зефир и картошку. У него такие большие усы, что на них можно сушить постиранное белье.

В ванной, потому что только там можно спрятаться ото всех. Белые цветы, потому что они самые светлые. Зефир, потому что он самый сладкий. Картошку, потому что она не так дорого стоит. Усы, потому что... А усы, потому что должна же быть от Сиррекота хоть какая-то польза!

Боялся, что девушка уйдет и свет исчезнет. Для меня это было бы равносильно смерти. Вспомнил древнюю легенду о царе Шахрияре и его жене Шахерезаде, которая рассказывала мужу истории, чтобы сохранить себе жизнь. Эта легенда строилась по принципу, как сказали бы литературоведы, «обрамленной повести», когда внутри основного повествовательного произведения существуют тысячи других, второстепенных, со своими отдельными фабульными и сюжетными линиями.

Чтобы девушка не ушла, я решил поделиться с ней новой историей, которую поведал мне Сиррекот. Солнце будто подыгрывало, не пряталось за облака, и я мог спокойно, пока что-то рассказываю, живописать ее, свет и дерево.

ИСТОРИЯ О ЖЕНЩИНЕ И ХУДОЖНИКЕ

Историю, которую рассказал мне Сиррекот, а теперь я рассказывал девушке, была печальной, как вся моя жизнь. В ней говорилось о художнике, который ради любви к женщине искал богатства и славы, совершал нехорошие поступки, но ответного чувства так и не добился.

Не знаю, поняла ли девушка, но я догадывался, что Сиррекот синтезировал хрестоматийные произведения о художниках и портретах («Портрет» Николая Гоголя и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уальда), а также добавил в свою историю романтическую составляющую, напоминающую о любви Нико Пиросмани к Маргарите, хорошо известную всем по песне на стихи Андрея Вознесенского «Миллион алых роз».

Свет был пойман, картина почти закончена. Солнце спряталось за облака, подул холодный ветер. Я позвал девушку пить горячий кофе, а заодно познакомиться с моим особенным другом — Сиррекотом. Девушка на удивление быстро приняла приглашение. Сначала хотел отругать ее за такое безрассудство, потому что нельзя ходить в гости к незнакомым людям, какими бы обходительными и добрыми они ни казались, но вовремя остановился. Все-таки мы знакомы всю осень, а это почти целая вечность.

Дома нас встретил настоящий Сиррекот, чему я сам был премного удивлен. Мне казалось, что я придумал его. Просто представил своего домашнего кота, который опрокинул на себя банку с сиреневой краской, и назвал его Сиррекотом. Но кота дома не было, а был только самый настоящий Сиррекот. Пока я варил на кухне кофе, он развлекал девушку рассказами.

Вскоре кофе сварился, и я присоединился к ним.

ИСТОРИЯ СИРРЕКОТА

Суть да дело, а Сиррекот рассказал нам историю своей жизни. Я слышал ее впервые, хоть и не подавал вида. Просто сидел молча и кивал на каждое слово своего необычного, непонятно откуда взявшегося друга.

Рассказ строился в форме сказки-путешествия. Сюжет напоминал первую повесть Лаймена Фрэнка Баума о вымышленной стране Оз, а также книгу, которая была написана по ее мотивам Александром Волковым — о девочке Элли и волшебнике Изумрудного города.

Сиррекот поведал нам о том, как ходил к Зефировой горе искать своих родителей. По дороге он встретил серого мышонка, изысканного жирафа и большую дрофу. У каждого нового друга были свои желания, которые по сюжету могли исполниться только у Зефировой горы.

История жизни Сиррекота начала забавлять. Почему-то подумал, что серый мышонок выражал собой детские сказки, изысканный жираф (отсылка к стихотворению Гумилева) любовь к поэзии, а большая дрофа — к учебе, потому что именно так называется одно из самых крупнейших российских издательств, выпускающих учебную литературу. Каждый новый персонаж истории Сиррекота был этапом его жизни. Подумал, но вслух не произнес. Вдруг решат, что я сумасшедший.

Начало темнеть. Девушка ушла домой.

После этого чудесного дня стали чаще встречаться и рассказывать друг другу разные истории.

ПОСЛЕДНЯЯ ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ СИРРЕКОТОМ

Однажды Сиррекот рассказал нам историю об одиноком корабеле, который смастерил себе лодку и отправился на ней по лунной дорожке на восток, чтобы найти свою любовь. На рассвете корабел вернулся с молодой и красивой девушкой.

История была сказочной и волшебной. Девушка задремала под нее на моем плече. Я тоже уснул. А Сиррекот запрыгнул в мой сон и через мгновение выпрыгнул из него.

Больше мы Сиррекота не видели. Зато у нас остались его чудесные истории в стихах, которые можем показать всем заинтересованным. Посмотрите, они собраны в последней главе книжки Анны Маркиной про меня и девушку. Книжка называется «Сиррекот, или Зефировая гора».

Мария Михайлова

Время не властно...

Рада Полищук — известный российский писатель, автор более полутора десятков книг прозы. Особенность ее творчества — это, если можно так выразиться, «русско-еврейский диалог», который происходит на страницах ее книг, ибо герои ее произведений — это люди русской и еврейской национальностей, испокон веку жившие бок о бок на просторах Российской империи, потом Советского Союза, а потом и того государства, что возникло на его обломках. Среди них много тех, кто уже находится на пороге небытия, то есть стариков, особенно остро воспринимающих сломы и изгибы прошедшего времени.

Фраза, завершающая книгу и давшая ей название, звучит так: «Конец прошедшего времени». Но на самом деле она означает совсем иное. Прошлое не уходит, оно постоянно с тобой, но сегодня оно ключ к событиям, которые некогда сформировали тебя. Поэтому, обращаясь к прошедшему времени, ты стараешься понять, что же сделало тебя такою, какова ты есть сейчас. Вот эту сращенность, взаимопроникновение и неделимость и старается воспроизвести в своей прозе Рада Полищук, что нередко определяет ритмический рисунок ее повествования. Одновременно важнейшим мотивом писательницы становится расставание с прошлым, которое необходимо отбросить, чтобы продолжать жить. Но расставание с прошлым не есть расставание со временем. Ты можешь расстаться с собою той, какою ты была некогда, сейчас ты, несомненно, другая, но то время проросло в тебя, дает о себе знать — толчками, всплеском, громовым ударом посреди мирно текущей жизни...

Слова «творчество как тайна» были произнесены писательницей еще в самом начале творческого пути. Но, мне кажется, творчество для нее в первую очередь память. Не личная, субъективная, индивидуальная, а та память или прапамять, которая определяет «коллективное бессознательное», память нации, народа, предков, всех тех неведомых ей людей, что жили прежде и являются перед ее внутренним взором, требуя, чтобы им дали выговориться. Поэтому Рада Полищук избирает произвольную композицию. Кажется, что хочет рассказать о чем-то конкретном, определенном, но сюжет вдруг делает зигзаг, и повествование развертывается совсем в иной плоскости, с иными героями, с иной историей. Создается впечатление, будто кто-то из героев властно взял автора за руку и потянул куда-то в сторону, привлекая внимание к тому, что не попало в поле зрения, но является очень важным.

Но и индивидуальную память не следует сбрасывать со счетов: ведь уже в одном из первых рассказов Рады Полищук («Прощальная симфония») героиня, семилетняя девочка, хочет, еще не понимая зачем, запомнить сцену ухода отца, словно кто-то нашептывает ей, что это событие определит ее мироощущение и поведение на долгие-долгие годы... Своеобразная реконструкция времени формирует и содержание финальной повести, давшей название книге. В «Конце прошедшего времени» на условно автобиографическом материале (в центре — сознание безымянной героини) обрисовывается не столько личность автора-повествователя, сколько облик того человека, соприкосновение с которым определило судьбу рассказчицы.

Мила Милова возникает перед нею, словно привидение, когда она «переступает»

Рада Полищук. «Конец прошедшего времени». — М.: Текст, 2019.

временной порог. Рада Полищук оформляет это возвращение к прошлому по «лекалам» волшебной сказки: если после купания в трех водах можно было стать добрым молодцем, то героиня вступает в заколдованный мир ушедших дней после того, как разверзлись хляби небесные (недаром она вспоминает всемирный потоп!), и она, омытая дождевыми потоками, вновь оказывается у той заводской проходной, куда когда-то входила не одну сотню раз... Там и возникают призраки прошлой жизни, верховодит которыми она, Мила М*и*лова, самый странный и противоречивый персонаж из всех героинь писательницы. На первый взгляд это такая ведьма мелкого пошиба, способная действовать и развернуться только в пределах рабочего коллектива. На большее ее не хватает. Гаденькая улыбочка сопровождает ее многочисленные услуги. Она и подлипала, и энтузиастка, и прижимистая бессребреница, и угодливая хвастунья. Автор не скупится на самые неожиданные характеристики, подкрепляя их описанием реальных поступков и действий Милой (очень удачно найден этот симбиоз имени и фамилии, превращенный в итоге в то, что называется постоянным эпитетом). Казалось бы, в итоге должен воссоздаться самый отталкивающий образ человека, бескорыстно, без какой-либо выгоды для себя служащего Злу, который источает зло естественно, как болото — испарения, как смрадное дыхание — болящий... Милая сеет вокруг себя раздор, ненависть, ее поступок может даже стать причиной смерти ни в чем не повинного человека (донеся жене своего начальника о не совсем приемлемом в интимном плане его поведении, она ускоряет его смерть). Однако неожиданно сквозь череду ее вроде бы необъяснимых и злых деяний (объяснение которых кроется, как нам подсказывает автор, в ее неустроенном и обделенном любовью детстве) проступает некая логика спасения, предохранения тех людей, на коих распространяется ее «помощь», от грядущих бед и разочарований.

Так, выясняется, что героиню-«пупсика» (ненавистное для рассказчицы прозвище, данное ей ее новоиспеченной покровительницей) она освобождает от любви к своему начальнику, ибо, как потом объясняет той деревенская колдунья, эта любовь не являлась подлинной. Та, подлинная, еще ждет ее, она впереди, она «еще придет». И самого начальника она отваживает от девушки Лизы, приняв «огонь на себя», переключив внимание той на собственную персону, не убоявшись при этом, что их примут за лесбиянок. Интуитивно она догадывается о сущности Лизы: эта девица привыкла от скуки привечать людей, совершенно не заботясь о том, что с ними станет, когда они перестанут быть ей интересны. И не исключено, что она бы просто разбила сердце МПС (так сокращенно зовут своего начальника подчиненные). Поначалу может показаться, что Милая словно ждет, что МПС станет беспомощным и будет нуждаться в ней ежечасно. Но то, что так именно происходит, совсем не предрешено. Скорее она действует по наитию, в ней есть нечто непостижимое, не осознаваемое ею самой.

Итог, к которому должен прийти читатель, далеко не однозначен. Требуется понять, что не только дорога в ад выстлана добрыми намерениями, но и дорога в рай может проходить сквозь дебри зла. Возникает поистине фаустовская коллизия: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо...» Насчет «вечно», можно и поспорить, но то, что в Милой есть нечто от падшего ангела, изгнанного когда-то Всевышним, страдающего и отверженного, несомненно.

Вот эта тема вины/невиновности, мстительности/прощения, относительности и условности в сегодняшнем мире контуров зла определяет внутреннее напряжение прозы Рады Полищук. Недаром можно срифмовать название ее раннего рассказа «Прощальная симфония» с «Симфонией прощения». Ведь именно так и происходит в повести «Конец прошедшего времени», заканчивающейся прощальным объятием некогда непримиримых соперниц...

А разве не так же выстроен и бабушкин рай в рассказе «Мамин день рождения», где за столом собирается причудливая компания, условная «семья», в которой отнюдь не все присутствующие — родственники. Этих людей притягивают друг к другу травмы, обиды, неосуществленные желания, трагедии неразделенной и разрушенной любви. И это та спайка, что будет посильнее зова крови. И хотя в итоге нелепое семейство редеет, из многочисленных его членов остаются трое

самых стойких — еврейка, армянин и русский, но они — те, кто способен прощать и верить, а главное — не терять вечный ориентир: мамин день рождения в саду, где кружат и кружат белые лепестки опадающих яблоневых цветов. И уже невозможно разобраться, что было счастьем, а где приключилось несчастье — так все переплетено в этой жизни. И уже не знаешь, кому принадлежат слова: «...всякое счастье проваливается на исходе. Из райского сада прямо в тартар» — Соне, несущей память о людях, соединенных некогда паутиной связей, или самому автору...

Раде Полищук удивительным образом удается воссоздать хрупкий мир прошлого с выступающими оттуда «туманно знакомыми» тенями, почти неразличимый в будничной суете, но не менее реальный, чем та жизнь, что «сочится» изо дня в день (какой удивительно емкий глагол использован ею в заглавии рассказа «День за днем сочилась жизнь»!). В этом рассказе местом действия становится кладбище. Не самый, как вы понимаете, приятный уголок Вселенной, однако его писательница часто выбирает местом действия своих рассказов. Именно там к еврею Мойше Фельдману, Моймойше, словно спаситель, явится ставший сиротой еще при живой, но обезумевшей матери русский мальчик Серафим и будет навещать одинокую могилу почившего старика некий «рыжеволосый мужчина в черном сюртуке и черной шляпе» (по всей видимости, исповедующий иудейскую веру, поющий песни на еврейском) — то ли реальный посетитель, то ли изредка спускающийся на землю ангел. Рассказ этот входит в часть, озаглавленную «Давайте все вместе» (другая часть называется «Истории о любви и не только»), и выдает глубокую тайную надежду Рады Полищук о нераздельности рода человеческого, где не через смешение кровей, а через духовное объединение люди будут становиться родными, как стал сыном Серафим для бездетной пары — еврея Моймойши и русской Анюты.

И еще этот рассказ — об относительности всяких градаций, иерархий, социальных страт. Потому что боковым отростком сюжета стало повествование о певчем Иосифе, читавшем на кладбище молитвы по усопшим. Казалось, никогда не занять Моймойше место в первых рядах поющих — не одарил его Господь ни слухом, ни голосом, навсегда суждено было ему остаться «последним после последнего» певчим. Но «все проходит, завершая свой круг на этой земле», и «умер от чужой злодейской руки Йося», а дедов лапсердак и оказавшаяся у Моймойши трость Йоси сделали свое дело: неожиданно для самого себя стал он на Востряковском кладбище последним певчим, поскольку как-то незаметно распалось сообщество певчих и некому уже стало провожать в последний путь покойников. Так, словно по чьему-то мудрому замыслу меняются люди местами: не был певчим Моймойша, а стал им, не дано было ему стать отцом, а оказался он им для Серафима, «исчез старый смотритель», но «явился новый...». Так равномерно и непредсказуемо протекает в этом рассказе день за днем, свивая свиток часов и минут. И только размеренные остановки, которые позволяет себе автор: «Вот как все было...», «Только все по порядку надо...», «Вот какая картина складывается...» — словно маятник, отмеряют отрезки времени. Благодаря этим паузам Раде Полищук удается придать эпический размах частной вроде бы истории. И тогда становится понятно, почему все происходит на кладбище, где стираются всякие различия, а надо всеми начинает веять непостижимая вечность... И действительно по прочтении берет «оторопь вперемежку с ликованием, недоверие к случайному, сдобренное верой в милость Всевышнего...».

О суровой, но и снисходительной милости кого-то, кто взирает на скорби людские, повествуется в рассказе «Ничье старичье Иван и Янкель». Его сюжетная канва — разлад старых друзей-фронтовиков, поссорившихся не как Иван Иваныч с Иваном Никифоровичем из-за «гусака», а навек разошедшихся из-за такой глобальной вещи, как отношение к Богу. Если для одного из них Бог, допустивший неизбывную муку целого народа в прошедшую войну, перестает существовать, то для другого Бог не ответчик за содеянное людьми, а тот, кто, «склонив голову набок, благосклонно наблюдает за ним», тем самым помогая просто проживать день за днем. Бог и примиряет старых друзей, но уже за порогом вечности для одного из спорщиков. Такое примирение наступает и для Эммочки из рассказа «Давайте все вместе», душа которой откуда-то сверху

взирает на вновь соединившееся (надолго ли?) семейство.

Так и качаются у Рады Полищук на весах чаши жизни: «одна против другой — ни хорошо, ни плохо». А иногда не то, что зло от добра не отличишь, а само*е* жизнь становится неотличима от смерти. Разве нельзя назвать небытием существование героини рассказа «Мнимая вдова» до того момента, когда случай вырывает ее из сонного полусуществования, где одна ночная бессонница сменяет другую да слышны лишь шаркающие по паркету шаги домового. Отныне ее жизнь становится полноценной и реально ощутимой, ибо появляется наконец «законное» место и роль, которую ей суждено играть. Так, неожиданная миссия «вдовства» придает всем ее действиям осмысленность. Иллюзия нужности, некоей приобщенности к значимому событию болезненно горько описывается автором, понимающим, как важно человеку придерживаться каких-то правил, быть сопричастным ритуальному бытию, которое все выправляет и устанавливает порядок, как последовательность жестов и поступков по-своему формирует облик, делает тверже шаг, вселяет упорство и желание жить. Любовно выписывает Рада Полищук покупки героини, ее желание приодеться, ее сноровку в приготовлении пищи по случаю поминок... И не важно, что она даже нетвердо знает, как зовут ее вроде бы мужа, важно, что есть абрис бытия, которому можно следовать, есть стержень, на который можно опереться.

Неожидан открытый финал рассказа, когда выясняется, что никакой вдовой героиня быть не может по причине того, что усопшего как такового нет, что все привиделось-придумалось ради приобщения к людскому сообществу. Ведь это означало, что можно влить свой голос в общий хор причитаний, что можно обсуждать незначащие детали, и тебя поймут и посочувствуют. Казалось бы, с «воскресением» потерянного мужа рушится построенный на песке з*а*мок. Но, давая общий план в конце: приблудная собака уютно устраивается между ног хозяйки, обутых в недавно приобретенные кокетливые черные лодочки, и сандалетами «воскресшего» мертвеца, — Рада Полищук вселяет в нас надежду, что все еще может сложиться иначе и что будут отпущены героям не только иллюзорные, но и вполне реальные часы счастья.

Вот это брезжащее обещание иного бытия, того, которое ты можешь сотворить себе сам, кро*я* свое прошлое по своему разумению, извлекая из него нужные моменты, тасуя события, как тебе заблагорассудится, и составляет особенность художественного мышления Рады Полищук. Свободно обращаясь со временем, она обрушивает на своих героев ливень воспоминаний, который может заставить и дрожать от холода, и поеживаться, но из которого они выходят освеженными и, как героиня «Конца прошедшего времени», кажется, даже в чем-то постигшими суть бытия.

Смерть — непременная «участница» событий, разыгрывающихся вокруг стариков. Но она — не счастье, не несчастье, она неизбежность, с одной стороны, а с другой, если попроще, — благодатная составная часть жизни, ибо она «непостижима и тем страшна и привлекательна одновременно». И этих непостижимых скорбных «элементов» много в произведениях Рады Полищук. Умирает Эммочка в «Давайте все вместе», уходят в небытие Моймойша и Иосиф в «День за днем...», Бамара и Любаня в «Там, по другую сторону надежды», кончает с собой Феня, хоронят Шимона-большевика («Фея Феня и Шимон-большевик»). Но, как ни странно, мрачная атмосфера не определяет тональности прозы писательницы. Автору удается благодаря переключениям во времени (прошлое/настоящее), благодаря особой интонации всезнающего рассказчика, взирающего на происходящее sub specie aeternitatis, балансировать на той неуловимой грани светлой печали, которая высвечивает в каждом человеке, покидающем эту землю, и грешное, и высокое. Ее рассказы воспринимаются очень музыкально, как та мелодия, что целую неделю после смерти няни Мани исторгала из себя оставшаяся одинокой виолончель Зига («Первая виолончель земного шара»). Ведь и в старых вещах есть что-то очень трогательное. Как и в старых людях...

А может, это происходит потому, что автор точно знает: «Господь Всемогущ, Ему виднее, где и кому в данный момент надлежит быть. Он как командир, который разводит солдат по постам и выбирает, кого и куда определить...»

Даниил Чкония

Дитя любви

Михаил Холмогоров (1942—2017) — известный русский прозаик и эссеист ушел из жизни в год своего 75-летнего юбилея. Его книга «Презренной прозой говоря» стала своего рода прощанием с близкими людьми, друзьями и его читателем. Свой читатель у него был, читатель, который ценит красоту живого русского языка, читатель, знающий цену точному слову и звуку, умной речи, за которой раскрывались самобытное мышление и незаурядный ум автора. Знакомство с нынешней книгой Холмогорова требует уточнения: читатель у этого автора — есть и будет.

В книгу вошли эссе «Путешествие по воду» и «Хождение за три леса», сочиненные в деревне Устье Тверской области, где он жил в теплые месяцы в течение многих лет, впервые публикующиеся выдержки из «летних» дневниковых записей и размышлений за десятилетие 2006—2016, а также автобиографическое эссе «Кто я? Откуда?», написанное специально для этой книги.

Внешне Холмогоров оставлял впечатление человека неулыбчивого, не склонного к тусовочной атмосфере, что о себе и пишет, хотя на самом деле был умным проницательным собеседником, подчеркну — остроумным. Иронии, и прежде всего самоиронии, у него хватало. Иронический взгляд на окружающий мир обращает на себя внимание читателя с первых страниц этой книги: «Зачат я был между словами "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами" (Молотов, 22 июня 1941 года) и "Братья и сестры... К вам обращаюсь я, друзья мои" (Сталин, 3 июля). Мама, когда я спросил ее об этом, подтвердила: в ту пору было не до контрацепции... Когда у мамы начались схватки, позвонила в ближайший роддом в Леонтьевском переулке, кажется, имени бесплодной Крупской (с тактом у большевиков все было в порядке: если роддом, то или имени бесплодной Крупской или старой девы Клары Цеткин), где родился Олег. "Да-да, — сказали, — приезжайте". Приехала. Там — солдатский госпиталь, всеобщее ржанье. Но надо знать мою маму. "Хорошо, я прямо у вас начну рожать!" Всполошились и сами отвезли на Большую Молчановку, 7, в роддом Грауэрмана. Итак, я дитя не любви, как старший братец, а тревоги. Возможно, это каким-то образом сказалось на моем духовном существовании».

Михаил Холмогоров обладал ранней памятью, благодаря чему в книге немало места отведено воспоминаниям младенческой поры. А живая память взрослого человека предстает перед нами на страницах, посвященных родословной автора. Он не скрывает своей полной достоинства гордости поколениями своих предков, обретении ими дворянства. Осознание дворянского происхождения, по Холмогорову, равнозначно представлениям об ответственности за свою страну, за язык, культуру и нравственное состояние человека. Он не мог оставаться равнодушным к подлости и бездарности людоедской власти, не мог без боли отнестись к рабской покорности этой власти. Отсюда — раннее обретение своей позиции в жизни и литературе, что для писателя было единым: «Разоблаченный обман. По радио все время читали "Счастливый день суворовца Криничного". Иззавидовался суворовцам. Дорвался до книжки — дикая скука и вранье. Такая же история с Гулей Королёвой, героиней книжки "Четвертая высота". И — страшно вымолвить! — мать главной героини нашего детства Зои Космодемьянской и в выступлениях по радио, и, тем более, в "Повести о Зое и Шуре" своей

Михаил Холмогоров. Презренной прозой говоря. — М.: Бослен, 2019.

неискренностью, дидактикой и самохвальством убивала восхищение подвигом дочери. Это была типичная советская училка, к тому же явно прочитывалось, что Шура был нелюбимым ребенком. Все-таки в детстве у меня, судя по отвращениям, вкус был. Я был чувствителен к фальши и в стихах, и в прозе». Последнее замечание автора подтверждается всей его книгой, всем его творчеством.

И с откровенной горечью он размышляет: «Мы всегда опираемся на авторитет старших, оглядываемся на них, ожидая оценки. Но у меня взгляд уходит в пустоту. Грамоту я освоил в конце 1948 года. Папа умер месяца за четыре до этого события, предопределившего, как окажется, мои будущие профессии. Мама успела подержать в руках журнал с первой публикацией моей прозы, но уже не в силах была ее прочитать. Старший брат Олег всего месяца не дожил до того дня, когда я поставил последнюю точку в романе "Жилец". Одно утешает: а вдруг они там все-все знают про нас...»

Размышления Михаила Холмогорова связаны не только с литературой, с чистотой речи, с богатством языка, когда он грустно констатирует: «Что-то не торопится красота спасать наш хрупкий мир. Красота требует мудрости и созерцательной тишины. А глупость шумна, экспрессивна, энергична и зачем-то награждена Вседержителем неуемной и грубой физической силой». Его тревога связана прежде всего с тем, как сменялась российская действительность. Писатель напрочь лишен слюнявого сюсюканья и показного умиления «народом». Холмогоров знает силу языка и слова, но от того не менее тревожно его отношение к путям, избираемой страной жизни. К этой теме взаимоотношения речи и осознанности пути народной жизни возвращается автор на примере Анны Ахматовой: «Едва ли не самое удивительное в мудрости Анны Ахматовой — ее реакция на вторжение фашистской Германии:

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово...

Ну да, слово — главная и даже единственная ценность народа. Особенно русское слово, достигшее в XIX веке неслыханного расцвета. Пруссы слова не сохранили и всем народом растворились в тевтонах-завоевателях, в отличие от латышей и эстонцев, покоренных тогда же и до 1918 года не имевших своего государства/.../. А сколько раз армяне теряли свою государственность!Только речь и надо спасать при всех курбетах истории. Поэзия Ахматовой спасала русский язык от нашествия хама, хлынувшего на печатные страницы после Октября».

Холмогоров непреклонен в своей позиции по отношению к большевистской власти, ее методам и способам править страной. Достается Ленину, Троцкому, Сталину и прочим. Где-то на полях дневника он признается, что жена Елена, друг, советчик, а в некоторых случаях и соавтор, иронически замечает, что он все еще выясняет свои отношения с советской властью. Но частые пассажи на эту тему в книге Михаила Холмогорова показывают, что это вопрос актуальный, как никогда. И здесь не могу обойтись без следующей протяженной цитаты:

«Жалея "маленького человека", поглаживая его реденькие, обсыпанные перхотью волосенки, мы выращиваем тирана. Достоевский еще в "Бедных людях" показал комплексы этого типа, возмущенного "Шинелью" Гоголя. А потом развил в чиновнике Лебедеве и в капитане Лебядкине, разверзнув бездну ущемленной и потому агрессивной идеологии.

Посмотрите на портреты Гитлера — это тот самый маленький человек, которого мы привыкли жалеть, вздыхать по его несчастной судьбинушке. В том и обаяние тиранов, что они — как самые жалкие из нас. Многих и в лидеры выбирали, как временные, всех устраивающие фигуры, послушные сильным умникам, где-то из второго ряда. Того же Сталина в еще ленинском политбюро несколько презирали — звезд с неба не хватал, не то что Троцкий или Каменев. А потом то же повторилось и с Хрущёвым. В конце 80-х ржа и лжа так разъели идеологические конструкции, что все были уверены — ни при какой погоде им не возобновиться. Ничего подобного! Власти пугают самих себя и доверчивый народ Америкой, притязающей на "лакомые кусочки", потихоньку отряхивают от печальных истин

труп Сталина, потакают, тоже негласно, националистам. А сейчас я ожидаю, что свободу слова вот-вот прикроют. Без цензуры — экономически. И мы опять искусаем локти, что не сумели воспользоваться, проворонили последний шанс».

Ярко сказано.

К слову о яркости. В данном случае — о яркости образа. Автор размышляет о творчестве самого яркого русского писателя девятнадцатого века — Николая Лескова. Речь о мощной метафорике, о языке, который кажется истинно народным. Но постепенно, отмечает Холмогоров, возникает чувство назойливости и искусственности лесковской яркости: «Усвоив ее конструкцию, вжившись в ритм, такую прозу можно писать километрами».

Автор полон уважения и понимания достоинств лесковской прозы. Но это не мешает ему предъявлять высокие требования к нему. И ставит в пример прозу более, на его взгляд, мощного таланта — Андрея Платонова. Этим Холмогоров и интересен. Он взвешивает жизнь слова у самых авторитетных имен, делая свои, порой не осмысленные нами, выводы.

Он не боится сопоставлять имена, во-первых, зная, что от классиков не убудет. А, во-вторых, ревностно оценивает дар и его воплощение в творчестве литераторов прошлого или сегодняшнего времени. Вот, пример:

«От Грибоедова осталось: Вальс.

Бриллиант, отданный персидским шахом русскому царю за его несчастную голову.

Комедия "Горе от ума".

Комедия по своей ценности перевесит не то, что бриллиант — весь Алмазный фонд. Даже Пушкину не удалось в одном произведении рассыпать столько будущих пословиц, что он сам признал в известном письме Бестужеву».

Перелистываешь страницы книги Михаила Холмогорова и ловишь себя на желании цитировать его снова и снова. Потому что понимаешь, какой умный собеседник или проводник по жизни и литературе пригласил тебя к общению!

Ближе к завершению книги автор размышляет:

«Боюсь ли я смерти? Нет, не боюсь, да и странно было бы бояться, дожив до семидесяти с лишним лет. Страшны тяготы умирания, физическая боль и бессилие.

А там — просто-напросто переход в иное состояние. Мы так и не знаем, что делается с нашими душами. Ушедшие иногда являются к нам во сне. Но вызвать их, засыпая, — пустое дело. Они если и приходят, то без спросу. Да, в последние минуты бодрствования можешь вызвать их образы, поговорить... Но погружение в сон отметает все надуманные представления и о живых, и о мертвых».

Вспомним, как, посмеиваясь над своим приходом в этот мир, Михаил Холмогоров сказал, что он не дитя любви. Писатель такого дарования, человек такого достоинства, он — дитя любви и живой памяти благодарного читателя.

Ольга Бугославская

Оружие святых

Сергей Иванов исследует юродство одновременно с двух точек зрения — как отдельное и самостоятельное явление христианской культуры и как один из вариантов такого универсального культурного механизма, как провокация и скандал, который внутри себя выработало византийское и русское православие. Имея в виду, что провокация в религиозном культурном контексте не только нарушает границы нормы, но и содержит отсылку к тому, что мыслится как иная, то есть божественная, реальность.

Автор рассматривает культурный феномен юродства в нескольких ракурсах. Во-первых, само поведение юродивого он сначала раскладывает на составляющие его действия, чтобы затем распределить их по уровням: «Такой человек понимает, что со стороны он выглядит жалким, и упреждает чужое презрение утрированным самоуничижением; на следующем витке этого психологического излома человек уже сам дает понять окружающим, что разыгрываемое перед ними самоуничижение неискренно и лишь призвано замаскировать его бесконечное над ними превосходство; на третьем же витке все тот же человек, догадывающийся, что производимое им впечатление на самом деле не совсем безосновательно, хочет путем скандала сорвать самое процедуру вынесения суждений».

Во-вторых, автор подробно останавливается на том, какую роль играло юродство внутри церкви, с одной стороны, и во внешнем мире — с другой.В первом случае речь идет о той функции юродивых, которая заключалась в поддержании, говоря упрощенно, баланса внутри системы, не позволяющего ей деградировать. Глава монографии, посвященная описанию жизни юродивых в стенах христианских монастырей, содержит ссылку на любопытнейший источник — «Рассказы аввы Даниила». Один из рассказов повествует о подвиге юродивой. В одной из обителей среди благочестивых инокинь живет монахиня-пьяница. «Правильные» и набожные насельницы во главе с игуменьей смотрят на нее как на «паршивую овцу», в то время как на самом деле именно эта пьяница и есть проводник божьей воли. Прилежные послушницы видят весь смысл служения богу в неукоснительном следовании прописанным правилам, в результате чего постепенно скатываются к самодовольному и «приземленному существованию, в котором нет места ослепительному сиянию вечности». В этих условиях якобы опустившаяся пьяница, по меткому замечанию автора, играет роль барометра, который «реагирует на убыль Абсолюта». Добавлю от себя, что здесь мы имеем дело с одной из предшественниц Венички Ерофеева, столь же исторически от него очень далекой, сколь идейно близкой.

Сценарии взаимоотношений похабов и вольных и невольных зрителей их представлений чрезвычайно драматичны и разнообразны. Драматизм определяют уже сами исходные условия. Начиная с того, что так называемая тайная святость немыслима без слепоты окружающих, не способных эту святость разглядеть. А сама провокация не была бы эффектной без такого фона, как человеческая жестокость, которую эта провокация обнажает.

Особенно интересной и напряженной была «странная дружба-вражда», которая существовала между похабами и русскими царями. Наиболее запутанную и сложную схему отношений с юродивыми создал Иван Грозный, который и сам то и дело примерял на

Сергей Иванов. Блаженные похабы. Культурная история юродства. — М.: АСТ: CORPUS, 2019.

себя маску похаба. Вернее, иногда он надевал ее сознательно, чтобы использовать в качестве инструмента провокации, а иногда образ юродивого прорывался стихийно, как одна из составных частей его натуры: «Если считать юродствованием максимальное самоуничижение, таящее под собой величайшую гордыню, то нельзя себе представить более характерного носителя этой гремучей смеси, чем Иван Васильевич».

Юродивый — единственный, кто мог позволить себе слова и символические жесты обличительного характера. Поэтому издалека, то есть из нашего времени, его фигура может сливаться с фигурой политического оппозиционера.Однако автор подчеркивает, что современные понятия о «политической храбрости» и политической независимости к похабу неприменимы, поскольку в рамках агиографического жанра проявления «юродской дерзости» мыслились не как политические выпады, а как «знаки иноприродности» самого юродивого, «его непохожести на обычных людей».Когда же в поле зрения власти попадали лица с признаками той самой оппозиционности в простом политическом смысле, власть реагировала на них вполне предсказуемым образом. О том, какова была судьба собственно протестующих, пытавшихся воспользоваться средствами борьбы из арсенала юродивых, можно судить по свидетельству, оставленному иностранным наблюдателем, англичанином Флетчером: «Но иногда случается, что за такую дерзкую свободу, которую они позволяют себе, фальшивым образом прикидываясь пророками, от них тайно отделываются. Так обошлись с одним или двумя из них во время покойного царя (Ивана) за то, что они уж слишком смело поносили правление царя».

В-третьих, в монографии чрезвычайно подробно прослеживается история явления, начиная с его иудаистских и античных корней и заканчивая Новым временем. В частности рассмотрено, откуда взялись такие черты и атрибуты юродивого, как поза божьего избранника, гонимого толпой, и маска притворной глупости, скрывающей подлинную мудрость.

В-четвертых, юродство сопоставлено с родственными по разным линиям явлениями— шаманизмом, карнавалом, социальным протестом, шутовством и институтом священных клоунов, у которых была привилегия «вести себя так, как ни один простой смертный не мог и мечтать». Здесь автор как выявляет и проводит отчетливые границы между всеми этими культурными феноменами, так и обозначает области их пересечения.

И, наконец, еще один важнейший момент — перцепция, взаимоотношения юродивого и той аудитории, которой адресован его перформанс. В зависимости от множества обстоятельств реакция публики на провокативный вызов и саму фигуру юродивого колебалась от благоговения и заинтересованного внимания до скепсиса и равнодушия. Чем была обусловлена реакция и как она проявлялась — одна из главных тем книги.

Сергей Иванов берет луковицу и счищает с нее чешую, слой за слоем, подробно и тщательно исследуя каждый снятый фрагмент и постепенно добираясь до плотной сердцевины.Его книга — это исчерпывающий, всесторонний анализ в форме захватывающего расследования. Но эта работа может быть продолжена в том направлении, которое указал сам Сергей Иванов: «...юродство допустимо исследовать в рамках истории психиатрии — то есть посмотреть, под какие виды душевных расстройств, известных современной медицине, подпадают средневековые описания юродства». В своей монографии Сергей Иванов останавливается на тех эпизодах, когда святость принималась за безумие. Осталось выявить те случаи, когда безумие принималось за святость.

Евгений Абдуллаев

Изгнание из книжного рая

Денег мало в семье. Но зато в полутьме магазина
Книжек хоть отбавляй:
«Мойдодыр», «Гулливер», «Буратино» —
Книжный рай!

Валентин Берестов

Литература на карантине. Все засели по домам; типографии остановились, издателей лихорадит, пишут правительству, прося о поддержке.

«...Уже наблюдается спад продаж на уровне 50—60%, а если будет введен карантин, магазины обречены, — бьют тревогу представители издательства Ad Marginem. — А те, кто выживет, будут вынуждены беспрецедентно поднять цены на книги. Книги перестанут быть доступны как большинству читателей, так и библиотекам, станут предметом элитарного потребления»[1].

Понятно, что самое интересное начнется тогда, когда пандемия закончится (или сделают вид, что она закончилась), все выползут из своих домов и окажутся в новом прекрасном мире. И там — кроме экономических последствий, которые придется разгребать долго и муторно, — много чего не будет. «Вот знакомый поворот — но ни дома, ни ворот...»

С книжными магазинами происходит что-то печальное все десятилетие. Еще лет пять назад «Российская газета», сравнивая их количество на душу населения в России с данными по Германии и Франции, писала, что «цифры, отражающие обеспеченность россиян книжными магазинами, ужасают»[2]. Лучше с тех пор ситуация не стала.

В Европе и США с книжными тоже неблагополучно: интернет-революция ударила и по ним. И британские книгораспространители почти в тех же словах, что и российские, жалуются на неправомерно высокие налоги и призывают правительство «предпринять необходимые шаги, чтобы защитить будущее книжных магазинов».[3]

Книжные сделались уходящей натурой, с ореолом ностальгии. Они стали объектом литературного внимания, о них стали часто писать. Появились романы, вроде «Последнего книжного магазина в Америке» Эми Стюарт («The last bookstore in America», 2011); кстати, Эми Стюарт — не только автор бестселлеров, но и владелица книжного магазина. Или «Книжного магазина» Деборы Мейлер («The Bookstore»,

[1] «Альянс независимых издателей и книгораспространителей» создал петицию, в которой просит правительство РФ принять ряд неотложных мер к спасению книжной отрасли // Сайт «Год Литературы». 26 марта 2020 г.

[2] Михайлова Н. Закрытая книга // Российская газета. 15 декабря 2015 г.

[3] Flood A. Independent bookshops grow for second year after 20-year decline // The Guardian. 7 Jan. 2019.

2013) о вымышленном магазине «Сова» на Манхэттене. Не отстает и нон-фикшн. Стали бестселлерами «Фольклор книжного магазина: самые дурацкие вопросы, которые люди когда-либо задавали в книжном магазине» («Bookstore Lore: the Stupidest Questions Ever Asked in a Bookstore», 2010) Тома Ликтенберга, «Дневник книготорговца» («The Diary of a Bookseller», 2017) и «Исповедь книготорговца» («Confessions of a Bookseller», 2019) Шона Байтелла. «Дневник книготорговца» был довольно оперативно переведен на русский и издан в питерском «Аттикусе». Можно вспомнить и вышедшее на русском в прошлом году занимательное эссе Хорхе Карриона «Книжные магазины» («Bookshops», 2013).

Появился новый термин «книжный туризм»; точнее — «туризм по книжным магазинам» (bookstore tourism). Групповые экскурсии по литературным местам с обязательным посещением книжных. Предложил и стал продвигать эту идею еще в 2003 году Ларри Порцлайн, писатель и преподаватель колледжа из Гаррисберга, Пенсильвания. Вскоре подобные экскурсии стали нередкими и в Европе. Особой популярностью пользуется ирландский городок Хей-он-Уай, где на менее чем две тысячи жителей приходится более тридцати (!) книжных магазинов. Книжный парадиз.

Но и кроме Хей-он-Уая сегодня известно сорок три «книжных города», чьи книготорговые точки (и даже целые книготорговые улицы) стали желанной целью туристов-книголюбов. Список «книжных городов» доступен на страничке Википедии «Book town»; девятнадцать из них являются членами Международной ассоциации книжных городов[1]. Бельгия, Испания, Хорватия, Япония, Австралия, Индия... Россия в списке стран с книжными городами отсутствует; как, впрочем, и другие государства СНГ.

Вообще, запрос в «гугле» «экскурсия по книжным магазинам» (на русском) выдал всего семь ссылок, ни одна из которых к организации подобных экскурсий не относилась. Даже не будучи москвичом, могу легко представить сегодня подобную экскурсию по «книжным местам» Москвы, скажем, конца восьмидесятых — середины девяностых, когда она тоже была раем для книголюба: печатали-продавали уже всё, без оглядки на цензуру, но по еще относительно советским ценам. Книжные на Мясницкой, на Арбате (с книжными развалами перед входом), на Полянке... На «Парке Культуры», с замечательным «Гнозисом» во дворе; уютный «19 октября» на Первом Казачьем; «Восточная коллекция»; не говоря уже о книжных лавках в разных институтах и университетах. Эх.

Последние лет десять я сам себе организую экскурсии: в каждом новом городе обязательно нахожу книжный. Интерес отчасти профессиональный — поглядеть, что местные люди читают; точнее, что им предлагается читать. Но главное, книжный магазин — это интеллектуальное лицо города, лучший способ получить его мгновенный снимок. И, скажем, в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде или Перми — это лицо довольно живое и обаятельное, а вот в Омске или Смоленске — простите, никакое. (Говорят, что-то и там было — но, недолго просуществовав, закрылось.)

Книжные, которые я повидал во время этих экскурсий, были разными. Стандартный вариант: гибрид с магазином канцтоваров, а в «книжной» части доминирует развлекательная и детско-познавательная литература. В том, что книги продаются вместе с тетрадками и карандашами, ничего плохого нет — и ничего показательного тоже. А вот соотношение масслита и детлита с наличествующей серьезной литературой — это уже показатель. Лучше всего, конечно, когда в одном пространстве все это не смешивается, и, скажем, на полке «Религия» Карл Барт не трется бочком с пособием по астрологии или какой-нибудь «Велесовой книгой». Последними пусть торгуют

[1] http://www.booktown.net/members.html.

офени и коробейники, то биш сетевые магазины и вокзальные-аэропортные лавочки (хотя «Улисса» я в свое время купил именно в аэропорту — правда, франкфуртском).

Однако далеко не всем и не всегда удается сохранять такую стилистическую чистоту, у торговли свои законы. Как рассказывал один владелец книжного (бывший), открывая магазин, он объявил, что там не будет никакого масслита. «...И через полгода я сам, вот этими руками, притащил шкаф для книг Донцовой...»

Книжные выживают по-разному. В Европе и США они, как и библиотеки, идут по пути превращения в своего рода местные культурные центры (communal centers), постоянно что-то организуя и предоставляя площадку для различных мероприятий. Уже давно никого не удивляет сочетание книжного магазина с кафе, коворкингом и даже баром...

Со времен пушкинского «Разговора книгопродавца с поэтом» бытует представление о неустойчивой, зависящей от мимолетного вдохновения природе писательского ремесла — в противоположность приземленной и стабильной книжной торговле, умеющей легко обратить плоды вдохновений «в пук наличных ассигнаций».

История литературы свидетельствует об обратном. Почти в любой развитой культуре, начиная с древности, мы находим поэтов и прозаиков; а вот книжные лавки — далеко не везде. В Европе они появляются не раньше пятнадцатого века. В России к началу девятнадцатого века их было всего две...

А потом — потом в России происходит то, что многим поколениям казалось привычным и нормальным (и чью игру закатных красок мы наблюдаем сегодня). Происходит читательская революция, количество книжных лавок стремительно растет; в 1885 году только в Петербурге и Москве их было около шестисот. И это одно из условий создания той самой русской классической литературы, от Пушкина до Толстого. Поскольку классика, как мне уже приходилась писать в одном из «барометров» (2016, № 6), — это не только высокий, образцовый уровень письма; это высокая социальная востребованность. Это готовность активной части общества тратить на книги свое время, свои интеллектуальные силы и, не в последнюю очередь, свои кровные рубли.

В начале двадцатого века в России было уже, по разным данным, от 3,5 до 5 тысяч книжных магазинов. В советское время происходит вторая читательская революция, вызванная приобщением всего населения страны к грамотности. Книжный магазин, вместе с театром и музеем, становится особым, почти сакральным местом. Только в отличие от театра, в него можно было войти в любое время, а в отличие от музея (и, опять же, театра), не нужно было платить за вход. Даже с тоннами «макулатуры», которую никто не покупал, книжный магазин был тем пространством, само нахождение в котором повышало социальный статус человека, его самооценку, заставляло его по-иному двигаться и говорить.

Как, например, вспоминал Булат Окуджава: «Сын прачки, отец... очень тянулся к интеллигенции, к культуре. И меня приучал. Каждую неделю водил в книжный магазин, причем обставлял это с такой торжественностью и столь серьезно предлагал мне самому выбрать книгу, что я и по сей день помню эти походы...» («Огонек», 1991, № 19).

Мой отец не был сыном прачки, но «сценарий» приобщения меня в детстве к книжному был аналогичным. И у многих читателей, думаю, тоже.

В 1988 году в СССР было 17,5 тысяч книжных магазинов; около 8,5 тысяч — в РСФСР. Сегодня их на территории Российской Федерации по одним данным — менее тысячи, по другим — около двух тысяч.

Произошло возвращение даже не к уровню начала прошлого века, а к середине позапрошлого. Следствие распространения Интернета? Но большая часть российских книжных закрылась еще в девяностые, в до-интернетную эпоху. И чаще не из-за

нерентабельности; просто здания, где находились книжные, как правило, в центре города, привлекали внимание других бизнес-структур...

И все же, да, самым тяжелым испытанием для книжных магазинов — как и издательств — стал именно Интернет. Электронную книгу вообще сложнее, чем «бумажную», делать и, главное, сохранять товаром. Но даже когда ее невозможно скачать ни с какого пиратского ресурса, а можно только легально, за плату, с издательского, — книжный магазин как посредник здесь уже не требуется.

Означает ли это, что книжные в нынешнем виде обречены на вырождение, как об этом повествует «Последний книжный магазин в Америке» Эми Стюарт или прошлогодний шорт-листер «Большой книги» — «Собаки Европы» белоруса Ольгерда Бахаревича?

«В Берлине 2050-го хватало всяческих достопримечательностей. Относительно недалеко от кебабницы, на Йоахим-Лев-штрассе, стоял двухсотлетний дом, в цокольном этаже которого располагался старый книжный магазин. Магазин бумажных книг — насколько Скиме было известно, магазин этот интересовал только самых сумасшедших туристов и продавцов разного хлама» («ДН», 2019, № 3).

И это пророчество, пожалуй, помрачнее брэдберивского «451 градус по Фаренгейту», где книги сжигаются. Кстати, в последней экранизации романа, вышедшей два года назад, чтение в обществе будущего допускается, но ограничивается Интернетом — разумеется, тщательно контролируемым.

Впрочем, судьба «магазинов бумажных книг» будет зависеть не столько от развития технологий, сколько от будущего *самого процесса чтения*. Но об этом я надеюсь поговорить уже в следующем, после-карантинном, «барометре».

Кирилл Штольц

Литературный синтез

Рубрика «Блог-пост» продолжает расширять свои границы и обращаться не только к теме литературного блогинга, но и к более общим вопросам о функционировании литературы в цифровом пространстве, взаимодействии литературы и новейших технологий. В июньском номере специальный гость рубрики — Кирилл Штольц (прикладной математик, Санта-Барбара, США) рассказывает о «слабом» и «сильном» искусственном интеллекте и о том, как определить критерий «литературности» в технических терминах.

Из недавнего разговора с приятелем:
— Ну ладно, старик, ну что вот нового может сказать искусственный интеллект в литературе?
— А ты что можешь?

Иногда споры заканчиваются неловко, особенно если ты — исследователь в области искусственного интеллекта, а твой оппонент — писатель, которого, как и художника, каждый может обидеть. Обида — гуманитарное, общечеловеческое понятие, один из признаков человеческого интеллекта. Другие признаки — аналитические способности и возможность учитывать сотни факторов при решении разнообразных проблем (так называемая «комбинаторность» мозга). В английском языке для описания человеческого интеллекта есть два слова: intellectual и smart. Первое — это способность удерживать в голове сотни комбинаций и крутить их там же, в голове, как химик очередную рогатую молекулу в трехмерном пространстве: шахматисты, аналитики, любые «люди книги», заучивающие наизусть сотни комбинаций, обладают этим умением. Smart же на русский переводится приблизительно как «смекалка» и предполагает способность проводить параллели между разными предметными областями.

Заставить машину имитировать первый тип ума довольно легко. Машины по природе комбинаторны. Так и родился искусственный интеллект — точнее, «слабый» искусственный интеллект. Он знает все комбинации и обыграет вас в шахматы или «Старкрафт». Но при этом слабый искусственный интеллект не способен понять, что такое шашки или «Вархаммер», если его предварительно не обучить решению этих конкретных задач. Теоретически существует также и сильный искусственный интеллект — тот самый, который smart, и которым нас пугают алармисты. На деле, несмотря на все чаще возникающие в общественном дискурсе мифы об опасности искусственного интеллекта, до «умного» ИИ нам еще очень и очень далеко.

«Натаскивание» на решение определенного типа задач — далеко не новая и весьма распространенная методика.Как один из примеров — именно это сейчас практикуется, например, со школьниками и ЕГЭ.[1] Готовя школьников к ЕГЭ, учителя выдают им списки летнего чтения и экзаменуют путем опросов самых разных типов,

[1] Разница заключается в том, что при «натаскивании» машин можно заглянуть под капот и посмотреть: а какие закономерности образовались в процессе такого обучения? Как мыслит алгоритм в процессе решения проблемы, под которую он был заточен? Скажем, фирменной чертой шахматной программы «Каисса», созданной в 1971 году в СССР, была возможность просмотреть промежуточные этапы анализа следующего хода.

от контрольной до сочинения. В результате одиннадцатиклассник способен написать текст «от себя» с изложением основных моментов литературного произведения. У него есть собственный жизненный опыт, он мыслит и может производить что-то свое. Отсюда возникает ряд вопросов: возможно ли, что этот процесс математически формализуем? представляет ли он собой перебор комбинаций уже виденного? что такое литературный синтез?

Разберем, как с задачей генерации текста справляется машина. Пойдем от простого к сложному. Кажется, Карнеги советовал: если вы хотите, чтобы текст (или речь) выглядели связными, начинайте каждое новое предложение с последнего слова старого: «На нашем острове водятся дикие собаки. Собаки — это животные, требующие регулярного выгула. Регулярный выгул является неотъемлемой частью режима пенитенциарных учреждений». Таким образом можно получить связный текст или бесконечно вести монолог (при условии, что тема и регламент не заданы). По сути, этот пример иллюстрирует основную идею автоматического создания текста — так называемой «цепи Маркова»: любой язык имеет грамматику и устоявшиеся словосочетания. То есть зная два или три слова, мы можем сгенерировать следующее, четвертое. Безусловно, литературные качества такого текста вызывают много вопросов, но мы идем от простого к сложному.

Вообще все простые (а следовательно в основном, ранние) решения задачи генерации текста основаны на, казалось бы, логичном подходе, ориентированном на правила. На проанализированную заранее грамматику или на набор подобранных по ходу пьесы жестких эвристик. Например, так работают деревья решений: на вход подается предобработанный текст, а на выходе получается дерево уточняющих вопросов, ответы на которые либо «да», либо «нет». Так получаются «если-то-иначе» правила. Довольно жестко заданные, но часто не поддающиеся здравому смыслу. Например, «если в предложении есть слово *собака*, то перейти к следующему вопросу в дереве про *блохи*, иначе, перейти к вопросу про *сколько слов в предложении*».

Следующий по сложности концепт называется «TransformerNetwork». Описать его можно формулой «убираем одно слово из предложения и попробуем это слово угадать». Этот принцип лежит в основе работы большинства современных языковых моделей в машинном обучении. А сама парадигма машинного обучения состоит в том, чтобы статистически генерировать такие догадки путем анализа больших корпусов текстов из реального мира.

Резюмируя, можно сделать следующий вывод. На сегодняшний день машина может запоминать, воспроизводить, выбирать наиболее подходящее решение поставленной задачи — и не может выйти за рамки поставленных ей задач. Что же касается «литературности», то, на мой взгляд, в качестве некой интегральной метрики она может быть определена как степень выхода за рамки конкретной задачи. Этот процесс может быть определен как «литературный синтез».

Когда меня спрашивают: «Когда машины станут писать литературу, как люди?» — я обычно говорю, что вопрос изначально сформулирован неточно. Во-первых, предположение, что разумная машина должна быть похожа в своем поведении на человека, в целом неверно. Во-вторых, не существует единой системы координат «ума». Кто умнее — англичанин, который изобрел паровой двигатель, или австралийский абориген, делающий великолепные бумеранги? Или пересмешник, который может запомнить до двухсот звуковых последовательностей и воспроизводить их безошибочно? Существуют разные виды интеллекта, основанные на разных наборах навыков.

Всю свою жизнь человек расширял и «дополнял» свои органы. У Ильина в «Рассказе о великом плане» постоянно говорится о расширении и дополнении рук и ног машинами. В двадцатом веке мы расширили и дополнили сначала память (все меньше и меньше интересных собеседников без гугла под рукой), а потом и некоторые другие отделы мозга. Устный счет проиграл калькулятору как инструменту. Следующие на очереди — расширение и дополнение эмоций, чувственности за счет искусственного разума, не наделенного сознанием, но наделенного причудливыми эмоциями.

Я придерживаюсь мнения, что возможно существование целого пласта литературы, которая будет иметь мало общего с созданной человеком, но тем не менее будет иметь право называться литературой. И самый интересный вопрос: а кому же будет принадлежать авторское право, если ИИ сможет создать нечто значимое?

Борис Минаев

В ритме танца

Театр Николая Коляды раз в год приезжает в Москву на гастроли. Зал давно облюбован — театральный центр на Страстном бульваре, не большой и не маленький, человек на 300.

Заполнен он на каждом спектакле под завязку, на многие спектакли билеты раскупаются заранее, их не достать. И так целый месяц (это всегда происходит в январе, на студенческих каникулах). Я уже не первый год хожу на Коляду в Москве (посчастливилось, правда, и в Екатеринбурге, в родном его городе кое-что посмотреть, но мало). Хожу — и постоянно вглядываюсь в зал: ну, а кто это? Что за поклонники у этого театра?

С особым чувством сейчас вспоминаю этот зал — ведь это было мое последнее «живое» театральное впечатление перед эпохой коронавируса и он-лайн театра.

Надо сказать, что театральная публика — это вообще невероятно тонкая материя. В каждом театре она совершенно разная. Не хочу обижать никакой московский театр своими, может быть, поверхностными наблюдениями — но точно, разная. С разным настроением, разным выражением лица, одета по-разному, более громкая и более тихая, к разным социальным и возрастным слоям принадлежащая, и внутри себя в каждом театре — тоже делится эта публика на разные слои и группы. Ни разу, кстати, не видел социологических исследований на эту тему — а жаль...

Так вот, к Коляде приходит совсем особая публика, среди них, конечно же, есть тонкий слой театралов, которые в курсе всего нового и современного, что происходит, но основная группа — те, для кого «театр» вообще — это и есть театр Коляды. Недаром сам Николай Владимирович всегда встречает «свою» публику только сам, лично. Причем как встречает! Не просто делает короткие объявления перед спектаклем, как Иосиф Райхельгауз в театре «Школа современной пьесы» или (иногда) Кама Гинкас в МТЮЗе.

Нет, он встречает в прямом смысле — разговаривает уже в театральном фойе с каждым, кто хочет задать вопрос, рекламирует театральные сувениры, раздает автографы на своих книгах, фотографируется с кем угодно.

И это, конечно, не случайно.

Поклонники Коляды-театра знают, что в родном Екатеринбурге театр вначале располагался на улице Тургенева, в старом, под снос, деревянном доме — там еще долгое время был «Центр современной драматургии», после того как сам театр переехал на Ленина, в бывшее здание кинотеатра.

Но и в том, и в другом здании всегда были и есть символические для Коляды предметы — клетки с канарейками, какие-то настенные коврики с оленями, рушники, стеганые «дорожки», наволочки с кружевами, патефоны, вышитые салфеточки

и прочая старая рухлядь, бережно собранная из обветшавших квартир или даже просто со свалок.

И это не «дизайн», не «стилистика» — это выраженный в знаках дух театра, который всегда был устроен по принципу дома, семьи, бедной уютной квартиры, где живут твои друзья и где ты всегда можешь найти ночлег.

Собственно, про «ночлег» — это отдельная песня, как-то раз я брал интервью у молодого драматурга Анны Батуриной, автора пьесы «Фронтовичка», воспитанницы Коляды. Она мне порассказала, как в старом доме на Тургенева ученики Коляды обретали «угол, где голову преклонить» в прямом, а не переносном смысле, приезжая сюда из разных уголков Сибири и Урала, работая тут «дворниками и сторожами».

Коляда — это вообще целый мир. Ведь не поймешь, кто он в первую очередь — режиссер, драматург или просветитель. Видимо, третья позиция на сегодняшний день — главная: сотни молодых талантов прошли через семинары и школу Коляды, сотни пьес молодых драматургов были прочитаны и сыграны на его фестивалях, и если в Москве мы гордимся фестивалем «Любимовка», который оставили в наследство Михаил Угаров и Елена Гремина, трагически рано ушедшие из жизни, то вторым таким мощным древом нового российского театра стал, конечно, Коляда-фест в Екатеринбурге. Да и вообще все, что Николай Владимирович сделал для молодых, пишущих для театра, — все его выездные семинары, школы, курсы, и так далее, и так далее.

Конечно, Коляда-театр — это в хорошем смысле слова творческая «секта» (или семья, одно в данном случае другому не мешает): люди здесь объединены в одно целое вокруг фигуры этого театрального «вождя», и что-то я никогда не слышал о подспудных конфликтах внутри, о бунтах на корабле, о подавлении бунтов или о чем-то подобном, не доносилось, может, что-то такое и есть, но как-то они очень стараются быть дружными и любить друг друга.

Все это долго и скучно объяснять словами, достаточно прийти и посмотреть на него живьем — на это лицо, на эти глаза, на эту тюбетейку знаменитую и лысину, когда тюбетейку снимают, на эту странную смесь шута, балагура и мудреца, балансирующего на грани между всеми персонажами Островского, Чехова и Горького сразу.

Коляда как учитель, как человеческий тип, как драматург (а я, кстати, даже не успел сказать о том, что Николай Коляда — активнейший драматург, автор десятков пьес, которые ставятся и за границей, и в России)... но для меня все-таки центральная, важнейшая его ипостась — это именно Коляда-режиссер.

Он создал на сцене мир, который ни с чем нельзя сравнить, никуда нельзя перенести (почему нельзя — отдельный, сложный разговор), который даже описать-то трудно, не то что воспроизвести или скопировать.

Этот театральный мир (именно «мир», не метод), конечно, похож на магию, он захватывает с первой секунды (если спектакль получился удачным), но, конечно же, эта магия переступает рамки собственно театра. Это не всегда театр... Это не только театр...

Но что же?

Впервые я это понял на «Борисе Годунове» (а я видел в своей жизни очень много разных «Годуновых», включая любимовский, где играл Губенко и бросал этот огромный железный лом через всю сцену, и он летел и вонзался так страшно, что сразу тебя пробирал холод грядущих исторических событий — и они настали очень скоро). Там, на «Годунове» Коляды, я просто оцепенел — когда актер, игравший Бориса, вдруг начал бросать ошметки сырого мяса об стену, прямо в задник театральной декорации, он бросал их все время, пока произносил знаменитый монолог — и это было, поверьте,

еще страшнее, чем губенковский лом. Эта главная материя русской истории — красное, кровавое мясо — была найдена так ненатужно и точно, что я тогда подумал: я видел на сцене очень остроумные, очень точные метафоры, но такой — никогда.

Вспоминается и «Вишнёвый сад», пластмассовые стаканчики, из которых пьют водку, потом по ним ходят, потом в них валяются, потом ими бросаются друг в друга, потом из них возводят целый неприятно хрустящий мир — и пьют, пьют, пьют...

Коляда выстроил этот полупьяный, пьяный, запойный, спившийся «Вишнёвый сад» вопреки классическому Чехову (уж Антон Павлович бы в гробу перевернулся), зацепившись буквально за какую-то одну фразу, одну интонацию в тексте, но...

Но когда все это безобразие со стаканчиками становится уже почти нестерпимым, ты вдруг понимаешь, что да, это правда, все эти люди хотят именно забыть и забыться, утихомирить свою боль любым способом. И Чехов — собственно — писал именно об этом.

Ну и наконец «Слуга двух господ» Карло Гольдони — невозможное, нереальное хулиганство плоти, с уничтожением, размазыванием, разрыванием и поеданием десятков килограммов фруктов, когда весь этот праздник молодого тела и духа становится и невыносим и прекрасен.

Тоже метафора — метафора жизни, метафора молодости человечества с его надеждами на вечное счастье.

Но... конечно, главное, что придумал Коляда на сцене — это тот бесконечный «танец», телесный «хор», который кочует из постановки в постановку. Здесь у него нет отдельных актеров, которые перебрасывают друг другу реплики — это общее тело и общее ритмичное движение. Собственно, это движение, этот шаманский хоровод и создает то ощущение «больше чем театра», о котором я говорил выше. Двигаясь по сцене в мрачном ритме, ритмично издавая звуки или притоптывая, этот «хор» или этот «хоровод» создает у зрителя почти мистическое ощущение соприкосновения с чем-то большим, чем слова.

...Что бы ни ставил Коляда — Чехова и Пушкина, Гольдони и Теннесси Уильямса — это, собственно, репертуар старого советского театра (кроме пьес самого Коляды). Причем он выбирает именно те пьесы, которые шли смотреть зрители всегда: и в каком-нибудь сибирском или казахском райцентре (если там был театр), и в столичных академических дорогих театрах, и в заводских домах культуры. Это театральная азбука, из которой Коляда всегда вычленял что-то свое, а именно — вот этот «хор» без слов, «хоровод» без танца, мистическую пляску, которая говорила всегда об одном — о русской душе, ее всегдашней устремленности к «празднику», к бунту, к буйному переосмыслению всего и вся.

Недавняя премьера спектакля «Скрипка, бубен и утюг» оставила у меня — именно в этом контексте — очень странное и горькое впечатление. Если раньше внутри Чехова, Гоголя, Гольдони Николай Владимирович всегда искал и находил этот «русский праздник», превращал знакомое действие в какую-то беспрерывную гульбу, как бывает на русской свадьбе или на русских поминках, и каждый раз это получалось у него в точку, и каждый раз знакомый текст уплывал куда-то в глубину «русского подсознания», то вдруг в этом спектакле — он решил показать эту гульбу, эту свадьбу-поминки, этот адский в своем размахе и пьянстве праздник — сам по себе. Как есть. Без каких-то других аллюзий, без всяких Чеховых, Гоголей, Грибоедовых и Гольдони.

И вдруг оказалось, что праздник-то взял и кончился...

Трудно сказать, хотел ли режиссер этого, когда замыслил показать нашу сегодняшнюю русскую свадьбу (в какой-нибудь провинциальной районной столовой-

кафе, как он сам это объясняет перед спектаклем)? Хотел ли он увидеть внутреннюю пустоту «русского праздника»? Выхолощенность всей этой пошлятины, разудалой веселости?.. Но так получилось: «праздника» — как основной движущей силы русской души (в каком-то особом шукшинском смысле) — его больше нет.

Нечего праздновать. Нет сил праздновать. Неохота.

Вот про эту самую «неохоту» и поставили пьесу в Коляда-театре. В дело идет все — идиотский «ди-джей», с его шуточками и привычной наглой интонацией массовика-затейника, режущим ухо микрофонным отвратительным голосом, и странные мужские танцы, неожиданно прижившиеся тут, и адские песни, и пьяная гульба, и пьяные морды, и несчастные тетки, готовые кичиться друг перед другом — да все идет в дело...

Все знакомо до боли.

Незнакомо одно — что праздника нет. Тот дикий русский праздник, который так любили показывать в этом театре, так хорошо, наизусть знали все его детали и интонации, так много в нем видели смысла — вдруг стал скучен, пуст и потерял всякий смысл.

Ведь без этого праздника русскому человеку и подвиг не мил, и работа, и семья... Да, в общем, все не мило. Вся жизнь. Если праздника нет — то и зачем?

Это очень мрачное предзнаменование. И даже странно и немножко страшно, что Коляда сделал это открытие в самом начале наступившего года больших испытаний.

Summary

Bulat Khanov. Entertainments for the Birds with Clipped Wings

This novel is about the youth. One of the protagonists is trying to escape from Mother's supertutelage, another — from devastating relationships with his neurotic girlfriend, one more — from his supersecured family dissatisfied with the son's worthlessness. In a small town of Elneth Ener cross the ways of all the three looking for themselves, concerned with feminism, sexism and the like harassments.

Three Debuts under One Cover

Alexandra Stepanova enters the «thick magazines' space» with the long short story «Buzzer» — phantasmagoric narrative about some numbered radio station, khanty's Golden Woman, a goth-boy and Bromala's Voice bestowing immortality. Elena Ermolovitch and Olga Ptitzeva in their short stories unroll quite unusual plots.

Poetry

In this issue are presented: powerful, saturated with allusions and metaphors societal poetry of Vyacheslav Shapovalov, philosophical and at the same time emotional poems by Mariya Vatutina, vivid lyrics by Vadim Mesyatz and Sergey Popov and also the poems of the well-known Ukrainian poet, winner of Taras Shevchenko's National prize Petro Midyanka both in original and translated into Russian and Belorussian.

Diana Svetlichnaya. Random People

«We'll travel all over Kirgizstan and will speak only with those whom the chance sends us. Specially prepared interviewees are my journalistic past which I never want to return». Thus was the idea of D.Svetlichnaya, journalist and writer from Bishkek, and she realized it. Now the readers may go all the way together with her.

Evgenij Abdullaev. Expulsion from the Books' Paradise

«Literature is in quarantine. Everybody stays at home; printing houses came to a halt, publishers are in a fever It's clear that the most interesting part will begin when the pandemic is over (or seems to be over), all of us crawl out of the houses and we find ourselves in a brave new world. Apart from the economical problems there will be many other troubles». In his essay the author meditates over the present and the future of bookshops and the very process of reading.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на **http://дружбанародов.com**

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Малый Гнездниковский пер., 12/27)

«Русский путь» (Нижняя Радищевская ул., 2. (Дом русского зарубежья)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**

в любом городе страны.

Верстка: Елена ЖИРНОВА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

Цена свободная

Индекс 70250

7/2020

Читайте:

Александр Гриневский.
Роман «Кыш, проклятые!»:

«...— Девятое мая через три дня... А если б не взяли? Только представь на минуту, что у них всё получилось! Мавзолей. Правительство. Сам! Маршируют колонны, и тут — на тебе! Крылатые мужики в воздухе! Клином идут над толпой, плакат свой мудацкий тащат!

Леонид Сергеевич хотел улыбнуться: ведь пронесло, успели, но, взглянув на полковника, осёкся. Тот сидел, растёкшись в кресле, белый в желтизну, на лбу — испарина. Как бы с сердцем не того...

— Что они, говоришь, на плакате намалевали?

— «Не хотим жить на птичьих правах!» Красное полотнище — три на полметра, буквы — белым, по бокам — деревянные рейки с проволочными петлями на концах.

— С петлями... — задумчиво повторил полковник.— Это они себе на шею петли приготовились накинуть. Нет, ты представь, перед мавзолеем — несутся эти, крыльями машут... двое — с развевающимся плакатом и трое — за ними в ряд! Звено истребителей, твою мать!

— Товарищ полковник, Вадим Александрович! Ну что вы себе душу рвёте? Взяли их! И взяли благодаря вам! — заспешил, заторопился сказать. — Вы! Вот оно, оперативное чутьё!..»

И многое другое...

ISSN 0012-6756

Дружба народов • 2020 • №6 • 1—272